

ИЖ (О) В) Ь) И Т'И
М И П

9)



1(9) (6 3)

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 9

Сентябрь, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Р. ГАМЗАТОВ — Звезда Дагестана. С аварского. Перевел Н. Гребнев	3
Е. ГЕРАСИМОВ — Семья Алешиных. Из рассказов о старых товарищах	7
В. ТЕНДРЯКОВ — Рассказы радиста	50
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Новые стихи	75
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Краски Закавказья. Путевые заметки	78
УОЛТЕР МЭККИН — Бог создал воскресенье. Повесть. Перевела с английского М. Миронова	113
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
М. БЕЛКИНА — В яблоневом саду	155
ПУБЛИЦИСТИКА	
Г. ВОЛКОВ — Эра роботов или эра человека?	176
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
А. ШТЕЙНГАУЗ — Инженер и природа	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Академик Е. В. ТАРЛЕ — Пушкин как историк	211
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	221
А. Турков. Золотой список золотых людей.— Корней Чуковский. В защиту Бернса.— В. Портнов. Жар непосредственности.— А. Каменский. Трудности жанра.— Л. Николаева. Новое слово о Тургеневе.— Ал. Гладков. На арене цирка.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	238
И. Минц. Ленин и внешняя политика СССР.— М. Гутин. Вехи борьбы и побед.— Я. Тавров. Коллектив и его судьба.— В. Твардовская. Исторические концепции революционных демократов.— С. Смуглый. Просто о сложном.— Г. Кублицкий. Замаскированная нищета.	

Трибуна Читателя

Продолжаем обсуждать вопросы школы	259
Коротко о книгах	280
Книжные новинки	287

Р. ГАМЗАТОВ

★

ЗВЕЗДА ДАГЕСТАНА

С аварского

И звезда с звездой говорит.

Лермонтов.

Видел я немало городов,
Зданий с Аполлонами на крышах.
Видел у подъездов медных львов,
Каменных богинь в глубоких нишах.

Юноши с биноклями в руках,
Женщины на тонких каблуках
К театральным входам устремлялись,
И входили внутрь, и, как в ручьях,
В мраморных простенках отражались.

Здесь я видел баловней судьбы,
Заполнявших и партер и ложи,
Видел старцев, у которых лбы
На бумагу нотную похожи.

Я, бывало, тоже замирал
На вершине верхнего балкона,
И в безумье горло мне сжимал
Бедный мавр, карая Дездемону.

Дон-Кихот освобождал меня,
Кот ученый говорил мне сказки,
Демон тучей укрывал меня,
Пролетая над землей кавказской.

Это я Марию полюбил,
А не гетман старый и опальный,
Это я искал и находил
Золушке башмак ее хрустальный.

Шел извечный спор добра и зла.
В этом споре и меня, бывало,
Сколько раз беда чужая жгла
И слеза чужая ослепляла.

Опускался занавес стеной.
Люди аплодировали в зале.
Я не слышал их. Передо мной
Сакли дагестанские вставали.

Где я только не был,
но всегда
В устье Сены или в бухте Нила
Наша дагестанская звезда
Среди тысяч с неба мне светила!

И хоть знал я, что она мала,
С нею шел я и стремился к свету.
Та звезда, какую б ни была,—
Без нее мне в мире света нету.

Почему ж кой-кто у нас в горах
И сегодня говорит уныло,
Что для всех народов в небесах
Одного достаточно светила?

Говорят, что нечего мудрить,
Что, поскольку звезд на небе тыщи,
Надо эти звезды упразднить
И соединить в одну луницу.

Пусть одна луна дарует свет —
Так как мал народ и край наш тесен.
Может быть, пожертвует сосед
Свой язык для наших книг и песен.

И порой ученый мой земляк
Кашляет и заведет беседу:
Мол, не стоит разжигать очаг —
Можно за теплом сходить к соседу.

Родина, твой сад цветет весной
И плодами знаменует осень,
Дерево моей земли родной
Тоже и цветет и плодоносит!

Пусть еще тонки его ростки,
Пусть оно плодами не богато.
Но деревья, что сейчас крепки,
Тоже были слабыми когда-то!

И опять мне слышатся слова
Прорицателей весьма упорных,
Что на нашем дереве листва
Опадет и омертвеют корни.

Я скажу гадателям в ответ:
Эти корни высохнут едва ли,
Для того ль их горцы сотни лет
Кровью и слезами поливали?

Я готов поклясться головой:
Пусть аварцев нас на свете горстка,
И у нас родится Глинка свой,
И умы встревожит Пушкин горский,

И пилоты звездных кораблей,
Врезываясь в небо голубое,
Может быть, напев страны моей
В память о земле возьмут с собою.

В нашем крае не рожден Шекспир,
Здесь Петрарка не слагал канцоны.
Кто же виноват, что в этот мир
Мой народ пришел слепорожденным?

Слишком долго шел он без дорог,
Слишком много испытал он горя.
Современник, мы нашли исток,
Наши сыновья дойдут до моря.

Вам, потомки, жить и песни петь,
Брать вершины, набирая силу,
Мы в поэзии добыли медь,
Вы найдете золотую жилу.

Снова полночь. Я гляжу в зенит —
Перечеркнут мир дорогой млечной,
И звезда с звездой говорит,
Переняв повадки человечьи.

Первых и не первых величин
Блещут звезды в небесах,
и знаю:
На снега моих родных вершин
Смотрит вниз звезда моя родная.

Как всегда, горит она впотьмах,
Осняет землю добрым взглядом.
Ей не тесно в звездных небесах,
И другой звезде не тесно рядом,

Хватит места ей и всем другим
В небесах — как на земле поэтам.
О, моя звезда, гори своим
Слабым, но неповторимым светом.

Перевел Н. Гребнев.



Е. ГЕРАСИМОВ

★

СЕМЬЯ АЛЕШИНЫХ

Из рассказов о старых товарищах

1

Давно хотелось мне побывать у Мити Алешина в Машиносталях — подмосковном городке, пугавшем меня своим слишком уж индустриальным названием. От Москвы до Машиносталя можно доехать на автобусе по новому, отличнейшему шоссе за два часа, но проходили годы, и я все никак не мог выбраться к нему. И вот наконец-то еду, вспоминаю его и других товарищей своих давних комсомольских лет, вспоминаю и думаю: как по-разному у всех нас сложилась судьба...

С Митей Алешиним я познакомился в начале двадцатых годов, когда Москва, несмотря на начавшийся уже переход к новой экономической политике, еще сохраняла облик поры военного коммунизма.

Мы работали с ним тогда в отделе коммунального хозяйства райсовета, на Кузнецком мосту, в большом доме с черными полуколоннами в подъезде, похожими не то на гигантские поршни, не то на водопроводные трубы.

Райсовет и его отделы занимали верхние этажи этого дома, а нижний этаж — торговые помещения меховой фирмы Рогаткина и Ежикова с сыновьями — был занят под склад старой мебели, изъятый райкомхозом из опустевших после революции барских квартир. Нужно было производить раскопки, чтобы вытащить что-нибудь из хаоса сваленных тут буфетов, гардеробов, столов, диванов и кресел. Митя Алешин, заведовавший этим складом бесхозного имущества, был тогда высоким, сухопарым, белобрысым парнем лет шестнадцати, со светлыми, какими-то всегда удивленно вытаращенными глазами.

К нему на склад приходили товарищи, получавшие в райкомхозе вместе с ордером на жилплощадь записку на необходимую для этой площади мебель. Что именно из мебели надо было выдать, в записке не указывалось. Предполагалось, что лишнего никто не возьмет.

Какой-нибудь другой заведующий, получив такую записку, сказал бы: «Выбирайте, что вам нужно, — все перед вами» — тут и обязанностям его конец.

Кто-нибудь другой, но не Митя Алешин. У Мити было повышенное чувство ответственности. К тому же за мебелировкой к нему приходили обычно люди, много лет жизни отдавшие революции, и Мите хотелось удовлетворить их как можно лучше.

Сколько это стоило ему сил и какие огорчения доставляло! Пока Митя пытался выдернуть из груды намертво сцепившейся мебели какой-нибудь более или менее целый стол или стул, они становились такими же безногими калеками, как и все остальные. А что касается буфетов и

гардеробов, то до них и смысла-то не было добираться, так как жилплощадь, которую райкомхоз давал по ордерам, не была рассчитана на небольшие габариты этих доставшихся нам от старого мира грандиозных сооружений.

Когда какой-нибудь демобилизованный из Красной Армии комиссар уходил со склада раздосадованный, Митя, поднявшись ко мне наверх, говорил:

— Вот проклятые черти, эти буржуи! Оставили нам в наследство такие буфеты, что их никуда не сунешь. Это же не буфеты, а целые дворцы! Кому они нужны? Сколько ни мучился, а ничего подходящего для товарища опять не нашел. Разве подберешь у нас буфет на комнату в каких-нибудь двадцать метров? Без толку только ломаешь эту буржуйскую мебелировку. Спалили бы ее в котельной, что ли...

Я был старше Мити на два года, имел пятиклассное образование, успел уже побывать на фронте и поэтому занимал сразу два ответственных поста — секретаря коллегии райкомхоза и секретаря комсомольской ячейки райсовета. Зимой в райкомхозе было холодно — никак не могли наладить паровое отопление, трубы замерзали, лопались, — и я сидел за своим канцелярским бюро в кавалерийском полушубке с красным шарфом, перекинутым через плечо, и в черной мохнатой папахе, длинные прядки которой свисали мне на глаза. Эта папаха, потерянная в бегстве из Ростова деникинским казаком и подобранная мною на берегу Дона, так пугала некоторых посетителей, что они не решались приблизиться ко мне и если приближались, то только в силу крайней необходимости — без моей подписи из райкомхоза не выходила ни одна бумага.

Не считая протоколов, которые я вел на заседании коллегии, все мои служебные обязанности сводились к подписыванию исходящих бумаг. Их было великое множество — ордеров, повесток, извещений, постановлений, инструкций, выписок из протоколов и разных так называемых отношений, стекавшихся на мое бюро непрерывным конвейером из всех подотделов райкомхоза. В содержание бумаг я не вникал — на то у нас были специалисты-исполнители: жилищники, благоустроители и бытовики, занимавшиеся банно-прачечными и парикмахерскими делами. Они то и составляли бумаги, а я только подписывал их от имени коллегии как высшего органа райкомхоза, подписывал и передавал управделами — товарищу Насте, кругленькой, подстриженной под мальчишку женщине в рыжей телячьей куртке. Она сидела напротив меня за таким же, как и я, бюро с задвижной рифленной крышкой, закрывавшейся на ключ, — наследство от помещавшейся ранее в нашем доме банкирской конторы братьев Джунгаровых. Основной обязанностью управделами было ставить на бумаги штампы и печати, и она стучала своими инструментами весь рабочий день с короткими перерывами только для того, чтобы вынуть изо рта окурки и сунуть новую папиросу.

Такое разделение труда позволяло всем думать, что секретарь коллегии выше управделами отдела и что, следовательно, в райкомхозе после заведующего (он же председатель коллегии) я — самый главный.

Когда Митя Алешин, соскучившись у себя на складе, заходил к нам в комнату, он подолгу стоял возле моего бюро, восхищенно глядя, как я молниеносно, с лихим росчерком подписываю одну за другой десятки бумаг. Ему невдомек было, что я подписываю их, не читая. Он думал, что все дело в необыкновенном устройстве моей головы, которая в одно мгновение схватывает глазами все, что машинистка напечатала на бумаге.

— Ну и голова же у тебя на плечах! — говорил он. — Мне бы такую голову!

В комсомольской ячейке, состоявшей преимущественно из мальчиков-курьеров и девушек-техсекретарей, Митя, будучи моей правой рукой, проворачивал всю работу по ликбезу и помголу. Мне оставалось только выступать на собраниях с докладами по текущему моменту и международному положению: оратор я был тогда речистый — способность, начисто потерянная впоследствии, может быть, потому, что никогда уже больше я не имел таких доверчивых и благодарных слушателей, как наши райсоветовские девушки из бывших гимназисток и подростки-курьеры, успевшие послужить на побегушках одни у Мюра и Мерилиза, другие у Рогаткина и Ежикова.

Митя Алешин на собраниях по своей скромности не выступал, но вопросов задавал много. Больше всего интересовало его международное положение — почему до сих пор не началась мировая революция и когда же она наконец начнется? Пора бы уже, а то вот в Поволжье голод, народ помирает, а буржуи вылезают из своих нор и открывают лавочки на Сухаревке.

Митя Алешин был приемным сыном заведующего нашим отделом, взявшим его на воспитание еще в восемнадцатом году, когда он остался сиротой. В то время товарищ Леонид — так звали нашего заведующего, — будучи председателем какого-то подмосковного ревкома, находился уже в свободном браке с товарищем Настей. Они тогда решили, что семья их должна быть подлинно коммунистической, а раз так, то не все ли равно, какие у них будут дети — свои или чужие. Вскоре, уезжая на фронт, они отдали Митю на время в сельскую коммуну бывших ссыльных и политкаторжан. Друг с другом они не расставались всю гражданскую войну, вместе воевали, вместе работали в особых отделах воинских частей и в прифронтовых чрезвычайных комиссиях. Кончилась война, поселились в Москве и опять взяли Митю к себе — в бывшую гостиницу «Марсель», превращенную в общежитие для ответственных работников. Митя как будто не очень был доволен этим — он считал себя уже самостоятельным, не нуждающимся в опеке человеком. К тому же ему больше нравилась жизнь в коммуне; расхваливая ее, он говорил:

— А вот в нашей Марсели по вечерам все сидят в своих комнатах и каждый сам из своего пайка стряпает на примусе.

Его названный отец вспоминается мне еще совсем молодым человеком, лет двадцати трех или четырех, но уже окруженным ореолом своего революционного прошлого.

В те дни, когда не было заседаний коллегии, товарищ Леонид только заглядывал в райкомхоз на часок-другой.

Появляясь в дверях нашей комнаты, по-девичьи красивый, румяный с мороза, высоколобый, в слегка сбитой на затылок круглой меховой шапке с торчащим горкой бархатным верхом, придававшей ему вид молодца-боярина, в такой же пушистой меховой куртке с распахнутым воротом, в высоких белых бурках, он на мгновение задерживался у порога, чтобы, прежде чем пройти в свой кабинет, молча, одним коротким, в задумчивости отвешенным кивком головы поприветствовать своих сидящих в комнате сотрудников.

Ничего не видящий вокруг взгляд нашего заведующего заставлял думать, что он пришел к нам прямо с заседания или президиума райсовета или райкома партии, а скорее всего откуда-нибудь еще выше, где обсуждались дела, конечно, не райкомхозовские, а гораздо более важные, может быть, даже вопросы назревающей мировой революции.

Пройдя через общую канцелярскую комнату к себе в кабинет, он не закрывал за собой дверь — должно быть, хотел показать, что не в пример старому царскому начальству не отгораживается от своих подчиненных.

венных. Нам видно было, как он подходил к столу и сразу же брался за телефонную трубку, некоторое время держал ее на весу, будто раздумывал, звонить или не звонить, сбрасывал шапку с головы на стол, снова надевал ее, затем, если телефонный разговор не предназначался для наших ушей, делал товарищу Насте, сидевшей по другую сторону двери, знак рукой, что теперь дверь надо прикрыть.

Товарищ Леонид никого не вводил в курс тех личных отношений, в которых он находился с управделами своего отдела, но и не находил нужным скрывать их. Это и позволяло ему подавать товарищу Насте знак рукой, чтобы она перестала на минутку прихлопывать к бумагам райкомхозовские печати и штампы, вылезла из-за своего бюро и прикрыла дверь в его кабинет.

Немного погодя, он сам открывал дверь, после чего садился за стол и уже окончательно снимал с головы свою боярскую шапку. Это означало, что управляющая делами может зайти к нему с бумагами. Они у нее были приготовлены в папке, она совала папку под мышку и входила в кабинет, оставляя дверь открытой. Видно было, как она стоит у стола завотделом, вынимает из папки одну бумагу за другой, молча подает ему их, не переставая при этом дымить папиросой. Видно было, и как он, отмахиваясь рукой от дыма, подписывает бумаги: подпишет, не читая, и брезгливо отбросит в сторону.

Товарищ Леонид терпеть не мог канцелярщины. Не любил он и заседательской суеты. Председательствуя на коллегии, он сидел за столом в свободной позе, немного боком, откинув одну руку на спинку стула, а пальцами другой руки постукивал по столу, будто одновременно и председательствовал, и задумчиво наигрывал что-то на рояле. Докладчики — это были заведующие подотделами — коротко излагали подготовленные своими ответственными исполнителями решения. Если решение не было подготовлено, товарищ Леонид взмахом руки прерывал докладчика, и дело возвращалось исполнителю для доработки к следующему заседанию. Проекты решений у нас не обсуждались, а только утверждались или откладывались.

Когда по какому-нибудь запутанному квартирному делу, откладываемому с одного заседания на другое, в конце концов приходилось открывать прения, товарищ Леонид уже не играл на столе пальцами, а стучал ими все громче и громче, пока стук, перейдя в нетерпеливую барабанную дробь, не заглушал прения.

В общем, видно было, что для товарища Леонида райкомхозовские дела — сущая мелочь, и если он председательствует тут, то только потому, что для него еще не успели подобрать в Москве соответствующего поста, но, конечно, скоро подберут, и тогда он будет председательствовать на президиуме райисполкома или где-нибудь повыше.

Мне тогда тоже сулили, что я далеко пойду по руководящей линии. Мой отец, беспартийный почтово-телеграфный служащий, но человек честолюбивый, говорил:

— Вот что значит комсомол! Я в твои годы и мечтать не мог о такой карьере.

Он был уверен, что я уже причастен к высшим сферам советской власти. Причиной тому служил совнаркомовский паек, который я получал в ту зиму за свою райкомхозовскую деятельность, — были тогда такие дополнительные пайки для ответственных работников. Правда, я получал неполный паек — полный у нас в отделе полагался одному заведующему, — а только половинный, но все же хоть и половинный, а назывался он совнаркомовским.

Кто знает, как сложилась бы судьба секретаря райкомхоза, если бы в ту переходную от гражданской войны к нэпу зиму он не поклонился

сразу двум кумирам: заведующему райкомхозом товарищу Леониду и... Печорину. С последним он тогда только что познакомился на вечерних курсах по подготовке в вуз.

Товарищ Леонид тянул его к высшим сферам политической деятельности, а Печорин манил на Кавказ.

Когда в воздухе забродило весной, верх взял Печорин. Может быть, повлияло и то, что к весне нэп стал усиленно развязывать частную инициативу. Так или иначе, но однажды, вместо того чтобы пойти в райкомхоз подписывать исходящие бумаги, я закинул на спину солдатский мешок и укатил на Кавказ в теплушке топографической партии в качестве подсобного рабочего, на обязанности которого было таскать по горам теодолит.

2

К Мите Алешину в Машиностанль я ехал на автобусе, но это был не пригородный автобус — в таком всю дорогу будешь стоять на одной ноге или тебя завалят тяжелыми мешками, а на дальнем, междугородном, комфортабельном, который мчится без остановок по сто и больше километров, — Машиностанль его первая остановка после Москвы.

В этом длинном, как ракета, автобусе пассажиры, полулежа в мягких креслах с высокими, откинутыми назад спинками, обычно всю дорогу дремлют, предаются воспоминаниям или мечтам, тем более зимой, когда в окнах только искрится на солнце изморозь, как это было в ту поездку, и похоже, что ты летишь на самолете.

Предстоящая встреча с Митей Алешиним, которого я не видел много-много лет, настраивала меня на благодушнейший лад — я уже предвкушал, как мы будем с ним сидеть до утра, вспоминать и вспоминать о своих далеких комсомольских годах.

Мой сосед дремал, но, время от времени открывая глаза, косился на меня и наконец спросил:

— Что это вы все улыбаетесь и улыбаетесь?

— Да так, кое-что вспоминается, — сознался я.

После бегства из райкомхоза я надолго потерял Митю Алешина из виду, совсем забыл о нем и вдруг — это было уже в начале тридцатых годов — неожиданно и негаданно встретил его на площадке строительства Харьковского тракторного.

Пора моих литературных мечтаний осталась уже далеко позади, и я снова чувствовал себя на боевом коне. Редактор газеты, в которой я работал разъездным корреспондентом по сектору 518 строек, отправляя меня в командировку на Тракторный, возбужденно шагал по своему кабинету, ерошил на себе волосы и, довольно потирая руки, говорил:

— Вы понимаете, что там заваривается!? Двести пятьдесят замесов на бетономешалке типа «кайзер» с предельной технической нормой в двести сорок — это же мировой рекорд! А сегодня на теплоэлектроцентрали Тракторного новый штурм — комсомольцы обязаны дать триста бетонозамесов за смену! Грош нам с вами будет цена, если мы не используем этот рекорд для нового подъема соцсоревнования... Не теряйте ни одной секунды, задание сверхоперативное. Пулей — на аэродром! Завтра утром на моем столе чтобы лежала телеграмма. Дадим на первой полосе под шапкой во всю полосу: «Триста — эта цифра энтузиазма молодых стала жизнью. Комсомольский натиск творит чудеса. Доблести социалистического труда нет пределов». — Он кинулся к столу, выхватил из стаканчика красный карандаш, начертал на листке блокнота эту трехэтажную шапку, долюбывался ею, а потом сказал: — Ну, одна нога тут, другая там!

Любил я эти сверхоперативные задания. Бывало, сунешь чистый блокнот в планшетку, подхватишь ее рукой, чтобы на бегу не раскрывалась, не хлопала по ногам, и мчишься из редакции к остановке трамвая, из трамвая к автобусу, из автобуса на аэропорт, к билетной кассе, от кассы к самолету. Слава тебе богу, самолет стоит еще на взлетной дорожке. Теперь можно утереть лицо, а то пот заливает глаза.

Комсомольцы Тракторостроя ставили на теплоэлектростанции новый рекорд во вторую смену, а когда я с харьковского аэродрома добрался до стройплощадки, было уже за полночь. До конца смены оставались считанные минуты.

Бегу в темноте на скопление электрических огней, туда, где гремит духовой оркестр. Натыкаюсь на какие-то трубы, карабкаюсь через горы щебня и песка, и вдруг земля подо мной обрывается, я вскрикиваю «ух!», лечу куда-то вниз и шлепаюсь распростертыми в полете руками в скользкую, сырую глину.

Подпрыгивая, пытаюсь ухватиться за край котлована, изловчившись, ухватываюсь, наконец пробую подтянуться наверх, но пальцы соскальзывают, срываюсь, ругаю себя: «Надо же было, черт меня дернул, залезть в эту проклятую яму», и слышу неподалеку крики «ура».

Оркестр играет победный марш. Ясно, что триста бетонозамесов стали жизнью. Еще несколько минут — и герои бетонной кладки разойдутся по своим баракам, начальство уедет в город и где кого тогда искать мне ночью, чтобы завтра утром телеграмма о новом рекорде тракторостроевских бетонщиков лежала на столе редактора?

В отчаянии я тщетно предпринимаю новые попытки покрепче ухватиться за край котлована. И вдруг слышу голос:

— Ребята, что там за черт лезет из-под земли?

К краю котлована подходят парни в майках и заляпанных жидким бетоном сапогах, и среди них кто-то высокий, худой, в ковбойке с распахнутым воротом и с нагрудным кармашком, раздувшимся от напиханных в него бумаг, стоит и, выткнув голову, на меня смотрит.

Митя Алешин — я узнал его потом, когда мне помогли выбраться из котлована — работал на Тракторострое в комсомольском комитете. Он был уже женатым человеком и жил в бараке для семейных. Ну, кто не знает эти бараки тридцатых годов, разделенные дощатыми перегородками на маленькие клетушки с дверьми и топками, выходящими в сквозной, от тамбура до тамбура, коридор!

Сюда, в клетушку, обклеенную газетами, где едва помещались полутораспальная кровать, небольшой стол и три табуретки — две у стола и третья, с примусом, у дверей, под полкой с посудой, — Митя и привел меня в ту ночь, после того как я, выбравшись из котлована, тут же проинтервьюировал возвращавшихся с работы бетонщиков.

Простыня с красной каймой поверху и понизу, под которой висела на стене одежда, марлевая занавесочка на полке с посудой, полотняная с мерзкой — на окне, горшочек со столетником, обернутый зеленой, вырезанной по краям зубчиками бумагой, настольная лампа под самодельным абажуром из такой же бумаги и с такими же зубчиками — все свидетельствовало о домовитости хозяев этой барачной клетушки.

Когда мы пришли сюда, оба обескураженные удивительными обстоятельствами своей неожиданной встречи, жена Мити спала. Разбуженная нашим появлением, она не поглядела, кого это ночью привел с собой муж: должно быть, привыкшая к таким ночным посещениям, сразу повернулась на другой бок и, спасаясь от ударившего в глаза света, по-детски натянула одеяло на голову.

Света лампы, засиявшей из-под бумажного абажура, хватило бы на целый барак.

— Чего это ты пятьсот свечей палишь?— спросил я.

— Зимой холодновато было, жена руки отогревала у этого юпитера,— объяснил Митя.

Доказательством тому, что у этой лампы можно согреться, служили темные подпалины на абажуре. Так как сейчас и без лампы было тепло, Митя отодвинул ее подальше от нас.

Внешне он мало изменился, разве что стал только еще более худой — из-под ворота расстегнутой ковбойки выпирали острые ключицы, и на белобрисой голове его появился пышный начес. Он по-прежнему таращил глаза и от этого выглядел совсем мальчишкой, но улыбка этого мальчишки говорила яснее ясного, что если он и не собирается прорабатывать меня за то, что было десять лет назад, когда я ни с того ни с сего сбежал из райкомхоза, то все же отказывается понять, как я мог поступить столь несерьезно, а еще секретарем комсомольской ячейки был! Он ведь думал, что с меня можно брать пример во всем, а я такое отколол! Не понимал он, конечно, и как это сейчас получилось у меня несерьезно — корреспондент прилетел из Москвы и тут же свалился в котлован!

Это видно было по тому, как он недоуменно улыбался, глядя на меня, всего измазанного в глине, и по тому, как сказал, когда я сейчас же, с места в карьер, взялся за блокнот:

— А может быть, все-таки лучше сначала умыться и вообще немножечко привести себя в порядок?

Привести себя в порядок мне, конечно, было необходимо. Я умылся, почистился и, посмотрев на Митю, даже причесался, потом, заторопившись, снова взялся за блокнот. Митя, присев рядом, молча глядел, как я строчу корреспонденцию. О, это был совсем, совсем не тот взгляд, что когда-то вдохновлял меня в райкомхозе! Это был взгляд человека, глубоко озадаченного моей несерьезностью.

— А может быть, лучше не спешить? — спросил он несколько погодя и, видимо, решив вправить мне мозги, начал объяснять, что триста бетонозамесов в смену — это целая революция в железобетонном деле, и что опыт ее надо передать в газете не кое-как, с кондачка, а со всеми техническими расчетами, иначе пользы будет чуть.

Техники железобетона я побаивался, да и времени не было разбираться в сложностях, поэтому в своем репортаже я больше напирал на энтузиазм и на художественную сторону, в ту пору особо ценившуюся в нашей газете, но оказалось, что все расчеты, вся техника, о которых говорил Митя, у него при себе, в нагрудном кармане ковбойки,— труды комсомольской рационализаторской ячейки,— и мне волей-неволей пришлось заняться ими.

Долго втолковывал мне Митя премудрости бетонных работ, приводил расчеты времени на отдельные операции в минутах и секундах, подсчитывал человеко-часы, которые можно сэкономить, совместив перемещение инертного материала в барабане бетономешалки с загрузкой его, ускорив ход этого барабана, подъем ковша, усилив подачу воды, объяснял, какого размера должен быть распределительный ящик для бетона, как должны двигаться тачки, чтобы не сталкиваться, и прочее и прочее.

Для большей ясности Митя стал изображать все это карандашом, и передо мной на листе бумаги вслед за бетономешалкой и тачками начали появляться люди. Сначала это были маленькие фигурки бетонщиков, быстро пририсованные им к тачкам, а потом на переднем плане появились оркестранты с трубами и барабаном. Как нетрудно было догадаться, Митя по свежим впечатлениям восстанавливал во всех подробностях картину только что закончившегося штурма на теплоэлек-

троцентрала, — штурма, на котором был завоеван новый мировой рекорд по бетонозамесам и на который я опоздал.

Я хотел было завладеть этой живописной панорамой бетонных работ — пригодится для очерка, но Митя почему-то быстро скомкал бумагу и кинул ее под стол.

Редакция тогда задержала меня на Тракторострое — соревнующиеся бригады бетонщиков больше месяца непрерывно гнали здесь кривую бетонозамесов вверх, — и мы с Митей Алешиным, одним из организаторов этого соревнования, каждый день встречались на стройплощадке.

— Тем и материала я дам тебе сколько хочешь. Ты только ходи за мной и записывай, — говорил он.

И я ходил за ним по пятам с блокнотом в руке, от конторки прораба к бетономешалке, от бетономешалки куда-нибудь на верхотуру лесов, к плотникам, работавшим на опалубке, или арматурщикам, от них — снова к прорабу.

— Ну что, товарищ Алешин, какие еще у тебя условия? — со стоном в голосе спрашивал его, устало кладя телефонную трубку на рычаг, охрипший от крика прораб, прозванный в газетах «железным».

Сколько было этих условий — вплоть до духового оркестра, — которые прораб должен был обеспечить комсомольским ударным бригадам, ставившим мировые рекорды по бетонозамесам! Митя перечислял их по бумажке, пункт за пунктом. И если прораб начинал ссылаться на какие-нибудь объективные, не зависящие от него обстоятельства, Митя незамедлительно перебивал его:

— Нет таких крепостей, которых мы не могли бы взять!

А когда прораб, вынужденный согласиться, что действительно таких крепостей нет, почесав голову, склонял ее ниц, Митя на всякий случай предупреждал:

— Ну, смотри же, а то вот товарищ корреспондент из Москвы ходит за мной. Ты хоть и железный, но с помощью печати мы с ним быстро вправим тебе мозги — будешь знать, что значит недооценка социалистических методов труда.

Кому только не вправлял Митя мозги: бригадирам, десятникам, прорабам, начальникам участков и начальникам отделов управления — технического, рационализации, снабжения...

Один был только на стройке человек — неказистый деревенский парнишка, бетонщик, — с которым Митя никак не мог совладать.

— Эх ты, мелкобуржуазная душа! — прорабатывал он этого парнишку. — Мировые рекорды ставишь в лаптях, а сапоги в своем единоличном сундучке хранишь на замке. — А потом сказал мне: — Комсомолец называется — на рекордах всю картину портит нам.

— А чего я буду хорошие сапоги топтать на трамбовке бетона? — упорствовал парнишка.

Он надевал сапоги только по праздникам, берег их, чтобы, вернувшись в деревню, было в чем пройтись по улице с гармошкой.

— Ну и деревня же! — сокрушался Митя. — Человеку сапог своих жалко, а что на него смотрит весь мир, на это ему плевать.

В обеденный перерыв мы с Митей ходили в рабочую столовку, наскоро глотали там первое и второе, в которых — и в том и в другом — явно преобладали над всем зеленые, твердые, как сырая картошка, соленые помидоры. А вечером, если у Мити не было никаких собраний, он звал меня к себе на олады. Таня, его жена, была мастерицей жарить их на примусе у открытой двери, чтобы чад шел в общий коридор. Олады у нее получались все как одна и так ровно поджаренные, что коричневые ободки и серединки казались припечатанными.

Мы запивали их жидким мутно-розовым киселем, который Таня приносила из столовой в молочном бидоне, а Митя все подливал и подливал в кружки — он очень любил этот киселек.

Жена была под стать ему ростом и такая же худая, с длинной тонкой шеей, плотно охваченной ожерельем из темного, крупного, неотшлифованного янтара.

Вернувшись с работы — работала Таня чертежницей в проектно-отделе, — она сразу же, ни на минутку не присев, развивала бурную деятельность: торопилась справиться с домашними делами — постирать, погладить, заштопать, зашить все, что надо, между делом нажарить нам тарелку оладий, сбегать за киселем в столовку, и, справившись со всем этим, снова бралась за чертежи. Таня всегда приносила с собой сверхурочную работу. Мы с Митей разговаривали, поедая оладьи с киселем, а она корпела над чертежом, переводя его с карандаша на тушь, и отрывалась от стола, чтобы только разогнуть на минутку спину и при этом, если наш разговор давал к тому какой-нибудь повод, позудить Митю.

В годы нэпа он разошелся со своим названным отцом. Когда я спросил его, в чем тут дело, Митя сказал:

— Да ну его! Настю бросил, связался с артисткой... В общем, совсем оторвался от рабочего класса. — И больше не стал распространяться об этом, давая тем понять, что раз человек оторвался от пролетариата, то и для него, Мити Алешина, человек этот уже отрезанный ломоть.

Таня смотрела на все совсем по-другому — с чисто житейской трезвостью.

— Ух, какой принципиальный! — сказала она, насмешливо глянув на мужа. — Скажи уж просто, что учиться не хотел, потому и ушел.

Митя промолчал, считая, видимо, что вступать в спор с Таней бесполезное занятие, кому-кому, а жене мозги все равно не вправишь. Тогда Таня обернулась ко мне. Выпрямив спину и обхватив руками затылок — время от времени Таня принимала такую позу, чтобы не сгорбиться от своей сидячей работы, — она стала объяснять, как глупо поступил Митя, отказавшись от возможности учиться живописи, на чем настаивал его названный отец по совету одного знакомого художника, расхваливавшего Митины рисунки:

— Ну, не дурак ли? У него были все данные, чтобы быть художником, а он пошел работать учеником в подвал к какому-то жестянщику на Сретенке...

— А может быть, Таня, довольно уже об этом? — осторожно попросил Митя.

Не так-то легко было остановить Таню, когда она принималась зудить.

— Вы думаете, почему он загубил свой талант? Потому что художники, артисты — это для него гнилая мелкобуржуазная интеллигенция, а он признает только пролетариат. Один пролетариат. И вот вместо училища живописи пошел к жестянщику штамповать примусные иголки.

— Не к жестянщику, а в штамповочную мастерскую, и не иголки для примуса, а пряжки для ремней, — поправил жену Митя.

Нет, Митя несколько не раскаивался, что променял искусство на штамповку.

— Что ж, — говорил он, — тогда и нэпмановская штамповочная мастерская, снабжавшая всю Москву пряжками для ремней и примусными иголками, тоже была производством, рабочие ее входили в объединенный фабзавком металлистов, при фабзавкоме была комсомольская ячейка, комсомольцы жили коммунальной.

— Какая там коммуна — шайка беспризорников, ночевавших на фабзавкомовских столах, — язвительно комментировала Таня.

Пропуская это мимо ушей, Митя невозмутимо продолжал свое. Комсомольская ячейка при фабзавкоме металлистов на Малой Лубянке твердо поставила его на ноги, и если он имеет сейчас квалификацию слесаря, токаря, фрезеровщика и на комсомольскую работу пришел не из райкомхоза, а с производства, то только потому, что ушел от своего отца за то, что тот оторвался от рабочего класса, и попал в эту дружную коммуну ребят, спавших на фабзавкомовских столах, по очереди носивших свое грязное белье в китайскую прачечную на Трубной и питавшихся вскладчину чайной или ливерной колбасой с пеклеванным хлебом...

3

Прошло шесть-семь лет, и мы с Митей Алешиним снова встретились, на этот раз в Свердловске, в гостинице «Урал», которая тогда только была сдана в эксплуатацию и к тому же несколько преждевременно, с неналаженным еще паровым отоплением, отчего командировочному населению этой гостиницы приходилось согреться зимой, в трескучие уральские морозы, кто как мог.

Мой окоченевший в номере сосед после неудачной попытки согреться чаем — кипятка в гостинице не оказалось — побежал в магазин за водкой, и в это время что-то стряслось на электростанции — весь город погрузился во тьму. Однако соседу как-то удалось добыть в темноте пол-литра. Он предложил мне разделить с ним компанию. Мы уже чокнулись стаканами, когда на наше счастье электростанция дала свет. При свете обнаружилось, что в стаканах у нас не водка, а чернила.

В суматохе с этими чернилами, которыми мы чуть было не отравились, я не сразу заметил, как в номер вошел третий постоялец.

В те годы, колеся по заданиям редакции с одной стройки на другую, я уже привык к самым неожиданным встречам на вокзалах, в поездах и гостиницах, и эта встреча меня не очень удивила. Мы с Митей Алешиним узнали друг друга, когда он спросил, какая тут койка свободная, и я обернулся на его голос. Митя был в тулупе, валенках и с портфелем, как обычно снаряжались тогда с помощью завхозов командировочные товарищи, если им приходилось добираться до места назначения гужевым или автомобильным транспортом.

Моему потерпевшему соседу было не до нас. Он возился с чернилами, сливая их из стаканов обратно в бутылку, и на чем свет стоит костил вредителей:

— Ну что это такое происходит? Куда ни сунешься, всюду орудуют враги. Сколько их уже перехватили, а толку никакого — кругом одно вредительство: в гостинице замерзнуть можно, на электростанциях каждый день аварии устраивают, в магазинах вместо водки чернила подсовывают.

— Да бросьте вы панику разводить! — попросил его Митя Алешин. — Если всюду одни враги, то кто же тогда строит социализм?

Когда бедняга побежал с бутылкой в магазин требовать, чтобы ее обменяли, Митя сказал мне:

— И вы, газетчики, тоже разводите панику — чуть что где не так, какая-нибудь недоработка — и кричите уже: вредительство! Враги народа! С этим нужно поосторожнее.

Митя был уже не на комсомольской, а на партийной руководящей работе: секретарь парткома нового, недавно начавшегося на Урале большого строительства — Уралстроя.

— Не к нам ли собрался? — спросил он и сказал, что пора бы, а то строительство уже развертывается. — Поедем, не пожалеешь — опять будешь, как тогда на Тракторострое, каждый день строчить по очерку.

Нет, не те уж были времена, не того требовала теперь от меня газета, с тех пор как нашего старого редактора — энтузиаста оперативного репортажа — послали куда-то учиться, а к нам пришел идол, с утра забирающийся в кабинет с подшивками старых газет и выходящий из своей берлоги только под вечер — с длиннейшей передовицей, скроенной из одних цитат. «Откуда взята эта формулировка?», «Кем это апробировано?», «Что за отсебятина?», «Кто вам позволил изъясняться своими словами — вы что, Пушкин?» — только и слышно было теперь в кабинете редактора, когда ему приносили подготовленный к набору материал. Все, что не было списано из других газет или не было апробировано свыше, наш идол считал вредной отсебятиной. Как отсебятину чистой воды он изгнал с газетных полос сначала очерк и фельетон, а затем репортаж и вообще всякую информацию, исходящую не из официальных источников. Газета стала заполняться одними победными рапортами и длинными статьями разных руководящих лиц.

Митя и на этот раз был для меня счастливой находкой: требовались статьи хозяйственных и партийных работников строительного фронта. И я, как только узнал, что Митя секретарь парткома Уралстроя, сразу же заговорил с ним о статье. В таких случаях улаживать людей обычно не приходилось — почти все легко соглашались быть авторами, просили только подготовить им текст статьи. Но Митя Алешин стал отнекиваться — нет, нет, какой он писака! А когда я объяснил, что ему нужно будет только подписать статью, а напишу ее я сам, он сказал, что еще не дорос до того, чтобы за него писали, — невелика шишка.

Нет, нет, говорил Митя, ему, как партийному работнику, к тому же еще молодому, неудобно выпячивать свою персону. Вот помочь мне собрать материал — от этого он не отказывается. Мне нужно только поехать с ним на Уралстрой. Там он даст сколько угодно материала, а подписать статью, если нужно, чтобы она была поавторитетнее, может сам начальник строительства товарищ Широков — это человек действительно авторитетный: член обкома партии, известная на Урале фигура, делегат XVII съезда партии.

Ну что ж, если мне удастся заполучить на Уралстрое статью такого авторитетного товарища, как Широков, то стоит туда съездить, решил я, и через два-три дня, когда Митя справился в Свердловске со своими делами, сел с ним в персональную машину самого Широкова, на которой мой приятель приехал со стройки. В машине оказались предусмотрительно захваченные для меня Митей у свердловского экспедитора Уралстроя тулуп и валенки.

По дороге он растолковывал мне, какие вопросы надо будет осветить в статье Широкова, и больше всего напирал на то, что Широков принципиально против штурмов, показных рекордов и всякой шумихи, нарушающей производственный ритм, что сейчас на строительстве одних темпов мало, главное теперь — хозрасчет, плановость, четкий производственный ритм, индустриальная культура и что если где процветает штурмовщина, то, значит, там еще не научились строить по-хозяйски.

Я не стал напоминать ему, как он сам организовывал рекорды с музыкой: мало ли что было? Не те уже времена.

Нельзя сказать, что за эти годы Митя набрался солидности, но уверенности в себе у него явно прибывало с годами.

После двух часов езды, почти все время лесной дорогой, мы в своих длинных тулупах вылезли из машины в каком-то большом, стоявшем на берегу озера поселке с деревянными, крашенными желтой охрой домиками, высокими тесовыми заборами такой же окраски, узенькими тропочками между снежных сугробов — по этим тропочкам и можно было только пройти на улице. В центре поселка по одну сторону площади

высилась труба старенького заводика, а по другую, как раз против проходной в заводской ограде, стояла большая черная от времени изба с осевшим на бок крытым крыльцом — пивная в бывшем кабаке, и возле нее очередь покупателей с объемистой тарой в руках, больше с ведрами, будто очередь не у пивной, а у колодца.

Просидев несколько дней в холодных стенах новой, еще не устроенной для житья гостиницы, хорошо попасть в такой уютный поселок, где над каждым домом столбом тянется в мрзозное небо теплый печной дым и кажется, что отовсюду пахнет пирогами.

— Не пирогами, а блинами, — сказал Митя.

Я попал сюда как раз к масленице, о которой совсем забыл — не думал уже, что кто-то еще справляет ее.

Уралстрой находился в пяти-шести километрах от этого полурбочего-полукрестьянского поселка, но руководящий и инженерно-технический состав строительства жил здесь — в домах раскулаченных хозяев.

И Митя Алешин жил в таком основательном, крепко построенном доме с закрытым со всех сторон подворьем, с наглухо запертыми воротами, с чугунным кольцом в тяжелой калитке. Остановившись у ворот, Митя хотел пропустить меня, как гостя, вперед, но я не смог управиться с кольцом, за которое надо умеючи взяться, чтобы открыть калитку. Когда Митя взялся за него, калитка будто сама открылась.

— Никого, кроме хозяев, не признает, — посмеялся Митя.

Я вспомнил, как он негодовал, что у каждого свой примус, каждый сам себе варит и жарит, как ему нравилась жизнь в коммуне бывших политкаторжан, а потом в комсомольской коммуне фабзавкома металлистов на Малой Лубянке, где коммунары спали на канцелярских столах, вспомнил и тоже посмеялся:

— Какого подворья хозяином стал!

У Мити Алешина было уже двое детей: большеголовый, лупоглазый и лопоухий мальчишка лет шести и четырехлетняя кукольно-красивая девочка, оба беловолосые, в отца. Жена по-прежнему работала чертежницей, но теперь она устроилась так, что ей давали на дом уже всю работу, а не только сверхурочную. Умелость и ловкость в домашнем хозяйстве позволяли Тане и при двух детях отлично совмещать свои семейные обязанности с работой. Она успевала даже кабанчика откармливать и держала с десятков кур — Митю приходилось усиленно питать, потому что у него легкие были на подозрени.

В доме, где жили Алешины, — три комнаты, кухня, передняя, не считая разных чуланчиков и кладовых, — было пусто: стоит ли обзаводиться мебелью, если долго не засиживаешься на одном месте? Однако чистенькие занавесочки, накидочки, половички и горшочки с цветами вполне возмещали скудость мебелировки.

В то время уже началась переоценка бытовых традиций, и кое-что ранее, в годы революционной встряски, начисто отрицавшееся теперь незаметно снова входило в быт. Вот, например, масленица.

Мы с Митей приехали из Свердловска в воскресенье. Не успели еще в передней вылезти из тулупов, как Таня, ждавшая мужа с уже подходившей для блинов опарой, бросилась к телефону и стала кому-то кричать, чтобы живо собирались и через полчаса были тут, — Митя уже приехал, привез с собой старого приятеля, журналиста из Москвы.

Повесив трубку, Таня радостно сообщила, что на блины придут Митрофан с Матреной, — она еще утром пригласила их.

Митрофан оказался самым начальником строительства Широковым, Матрена — его супругой.

Широков вошел в комнату розовый, улыбающийся, с бутылкой коньяка в одной руке и с полукилограммовой коробкой черной икры в дру-

гой — осанистый, круглоплечий, с волнисто вьющейся, будто в парикмахерской завитой, шевелюрой, в синем бостоновом костюме.

Жена не уступала ему в дородстве, но темное бумазейное платье, пуховая шаль, валенки — все было на ней простое, деревенское.

— Ах ты, батюшки-светы! — воскликнула она, увидев детей. — Как же это я забыла, деточки, гостинца вам принести!

Таня, возившаяся на кухне, пришла взглянуть на гостей и остановилась в дверях со сцепленными на затылке руками: по-прежнему пользовалась каждой свободной минуткой, чтобы до отказа выпрямить спину. Лицо ее светилось от удовольствия, что она принимает у себя гостей, — должно быть, не часто позволяла себе это.

А как воодушевленно командовала она потом, когда все сели за стол:

— Вы для кого это, Митрофан Степанович, притащили икру? Не будете есть — унесете обратно.

— Ложкой, ложкой берите, Матрена Ефимовна! Что там подцепишь ножом?

— С коньяком не очень-то торопитесь, Митрофан Степанович. Блинов много — успеете управиться со своей бутылкой.

Митя запротестовал было:

— Таня, может быть, ты оставишь Митрофана Степановича в покое?

Но Таня прикрикнула на него:

— Ты уж помолчи!

И Митя больше звука не издал.

Широков подтрунивал над этой сценой будто бы несвойственной Алешину покорностью, уверял Таню, что только она одна-единственная на всем свете могла сделать его ручным, ему вот, как он ни старается, не удастся приручить — ужас какой принципиальный секретарь парткома, хоть кол на голове теши, все равно от принципов не отступит и на полшага, вроде его Матрены, вбившей себе в голову, что раз она была простой крестьянской бабой, то и умереть должна такой — не к лицу ей одеваться по-городскому.

Заговорив о Матрене, Широков вспомнил, как в свои комсомольские годы ворочал финансами у себя в волости. Матрена, с которой он тогда только что расписался в загсе, заждавшись его дома, приходила ночью к нему в волисполком. Он там при огоньке плошки — керосина не было — сидел один-одинешенек за столом, заваленным деньгами, в какой уже раз пересчитывал их, шелкал на счетах и все не мог подбить итог — разный получался: то на миллион больше, то на миллион меньше. Ну что ты будешь делать — никак не сочтешь все полученные за день по налогам миллионы! Матрена сядет рядом, поглядит, как он считает деньги, да и заснет, приткнувшись к столу.

Широков рассказывал это весело — вот, мол, какие мы были с Матреной.

Как сказала мне потом Таня, досталось Матрене, когда ее Митрофана послали из волости в город учиться. Учился он на рабфаке, затем в институте, а она одна жила в деревне, батрачила, чтобы посылки ему посылать. И вот сейчас Митрофан большой начальник, а Матрена простая деревенская баба, и, может быть, она только в тягость ему, но он из благодарности скрывает это от нее и ото всех.

Над статьей Широкова я работал у Мити дома, за его письменным столом, на котором с одного бока высилась стопка вчетверо сложенных газет, с другого — стопка книг, брошюр и тетрадей с разными конспектами, выписками и цитатами, а на середине, между этими двумя стопками, стояла чернильница-непроливайка. Все было разложено тут по-ученически аккуратно. Митя запрещал детям подходить к его столу, а тем более что-нибудь трогать на нем.

— Без своих конспектов и цитат он как без рук,— подсмеивалась над мужем Таня.

Вечером, когда Митя возвращался со стройплощадки, мы с ним работали вместе — он давал мне материал в развитие тезисов Широкова. Иногда в комнату заходила и Таня. Она была в курсе всех дел на строительстве и имела свое мнение касательно того, о чем нужно писать в статье, о чем не нужно. Услышав, что мы хотим отметить главного инженера строительства как автора проекта комбината, Таня сказала, что она бы этого делать не стала — зачем выдвигать человека, который имел какое-то отношение к промпартии и по Шахтинскому процессу был осужден на пять лет? Тем более что, как говорят, с проектом не все благополучно: а вдруг обнаружится какое-нибудь вредительство?

Таня посоветовала Мите не забывать, что сейчас прежде всего нужна бдительность, если он не хочет схлопотать себе неприятностей. Митя ответил, что бдительность бдительностью, а паника паникой, и, кстати, Широков тоже говорит, что все эти разговоры о проекте — чепуха и надо их пресечь, а то они мешают людям спокойно работать. И тогда Таня разволновалась, стала кричать, что нечего товарищу Алешину равняться на Широкова, Широков может говорить все, что ему вздумается, его знает сам Сталин и в обиду не даст, а товарищ Алешин еще ничего такого собой не представляет, ему еще надо завоевывать авторитет.

Кончилось тем, что Митя встал и молча вышел в другую комнату.

— Вот попробуйте пробить его шкуру! Непроницаемый! Ничего в жизни не понимает,— сказала Таня.

Дня через три статья была готова и после нескольких поправок подписана Широковым. Послав ее в редакцию, я собрался уезжать, но Митя уговорил меня задержаться: в субботу на Уралстрое большой праздник — торжественное открытие Дома инженерно-технических работников.

Дом этот обращал на себя внимание. Идешь по заваленной снегом улице узенькой тропинкой вдоль деревянных заборов, ворот, домиков со ставнями и крылечками — и вдруг перед тобой вырастает большой куб из железобетона и стекла. Единственный в сплошь деревянном поселке, серый, сверкающий стеклами своих квадратных окон, укрытый с трех сторон соснами-великанами, с расчищенной перед ним в глубоком снегу площадкой, с матовыми шарами фонарей у подъезда, этот куб казался здесь каким-то чужеземцем.

На открытие Дома итээр я пошел вместе с Алешиными, которым по случаю праздничного вечера пришлось оставить детей одних. Родители волновались — конечно, рискованно возлагать ответственность за четырехлетнюю Олечку на шестилетнего Сашку, но Таня не могла отказать себе в удовольствии побывать на праздничном вечере в кругу руководящих работников строительства. И разве не заслужила она этого удовольствия, целые дни горбя спину над чертежами и крутясь по хозяйству?

Таня и тут не упустила случая пожаловаться на Митю. Для него, кроме работы, ничего на свете не существует, ну разве что поиграет с сыном в шашки. А позаботиться о семье, попросить что-нибудь у начальства — упаси боже! Конечно, теперь уже не то, что раньше, когда приходилось ютиться в барачных клетушках, таскать кисель из рабочей столовки. Теперь совсем другие условия, Митя уже на руководящей работе. Но все равно на одну его зарплату по-человечески не проживешь. Другие как-то устраиваются. Существуют какие-то спецфонды, а ему Широков предлагает на лечение — отказывается из-за каких-то дурацких принципов. Вот потому и приходится ей целые дни крутиться как белке в колесе, самой все шить, чтобы не стыдно было перед людьми, — теперь ведь не те времена, когда можно было ходить как попало.

Ох, как не терпелось Тане попользоваться наконец-то благами культурной жизни! Завившись горячими щипцами, нарядившись в свое единственное, только что перешитое шелковое платье, надев очень крупные для ее длинной тонкой шеи черные бусы, она первая выскочила из дому и, выйдя на улицу, так припустила шаг, что мы с Митей сразу отстали от нее. Обернувшись, крикнула, чтобы мы шли поживее, и опять помчалась. Мы едва догнали ее. Она перевела дыхание только в вестибюле Дома итээр, где все толпившиеся у гардероба, как по команде, заулыбались и стали наперебой здороваться с ней.

Войдя в фойе — одну половину его занимал буфет с накрытыми по-ресторанному столиками, а другая — сверкавшая зеркально навощенным паркетом, с радиолой в углу, была предназначена для танцев, — Таня воскликнула:

— Прямо как в Москву вернулась!

Она обежала фойе, заглянула в усталенную ковром читальню — там вокруг полированных столиков с газетами и журналами стояли глубокие мягкие кресла, сунулась в бильярдную — там любители уже гоняли белые шары по зеленому полю, пощупала шелковые гардины на окнах, зеленые плюшевые портьеры на дверях и всплеснула руками:

— Какая роскошь!

На торжественной части вечера она усадила меня рядом с собой в первом ряду зала, как раз против Мити, сидевшего на сцене в президиуме, на председательском месте, и все время крутила головой. То она насмешливо глядела на мужа и толкала меня локтем — глядите, глядите, до чего же важный, хотя Митя, несмотря на свой новый костюм, во все не выглядел важным, просто он относился к ведению собрания со всей присущей ему серьезностью; то она оборачивалась к кому-нибудь, кто сидел сбоку или позади, и опять же подшучивала над мужем. Подшучивала, но кто же не видел, как она довольна, что ее Митя открывает это торжественное собрание, предоставляет слово самому Широкову и все-все сидящие в зале знают, что она жена секретаря парткома! Как бешено она аплодировала Широкову и всем выступавшим, сообщая мне при этом, кто он такой по должности и какие за ним числятся достоинства и недостатки! Обо всех она тут все знала. И на концерте самодеятельности не было ни одного выступавшего, о котором она не сообщила бы мне на ухо чего-либо.

После концерта Таня пошла танцевать, а меня Митя затянул в дальнюю комнату на втором этаже, где Широков собрал своих ближайших помощников, чтобы укромно, не толкаясь в общем буфете, выпить и закусить. Помощникам его приходилось делать это стоя, так как, кроме одного кресла, здесь не на что было присесть. В кресле сидел Широков. Все стояли возле него полукругом, жевали бутерброды, разговаривали, отходили к столу, уставленному бутылками и закусками, выпивали немного и снова с бутербродами возвращались к Широкову. Так по-холостячки уединялось тут руководство строительством, пока в комнате вдруг не появилась Таня уже чуть навеселе — кто-то успел угостить ее в буфете.

— Ах, вот вы где! — закричала она. — Нечего сказать, хороши руководители — от народа прячетесь! Но от меня нигде не спрячетесь — всюду найду! — И сейчас же принялась хозяйничать, притащила откуда-то стулья, тарелочки, вилки, ножи.

Мите это не понравилось, он нахмурился и хотел что-то шепнуть Тане, наверное, что неудобно все-таки, никто сюда своих жен не звал, но Широков захолопал в ладоши, вылез из кресла, сел к столу и предложил выпить за очень кстати появившуюся хозяйку.

Сразу стало совсем по-семейному. Из тостов, которые Широков по

очереди провозглашал за всех присутствующих, и из общего разговора, становившегося все более шумным, я понял, что большинство сидящих за столом работало с Широковым и раньше, на других стройках, что все тут знакомы семьями, знают всю подноготную друг о друге. Тогда уже складывались вокруг энергичных и авторитетных начальников такие дружные, крепкие коллективы, перебивавшиеся вместе со своим начальником после окончания одной стройки на другую. В этой солидной, под стать Широкову, компании Митя Алешин казался скромным комсомольским деятелем. Выделялся своим очень интеллигентным видом и один старичок в пенсне, державшийся подтянуто и строго, как военный. Это и был главный инженер строительства, когда-то имевший какое-то отношение к промпартии. Широков, со всеми разговаривавший на «ты», к нему обращался на «вы» и с какой-то особой мягкостью, даже нежностью в голосе. Видимо, ему было приятно, что в его крепком коллективе молодых, выросших при советской власти людей есть и такой старорежимный спец. То, что этот спец замаран в деле промпартии, вряд ли могло беспокоить Широкова — дело давнее.

Возвращались мы с Алешиными запоздно, сильно под парами. Таня, повиснув у Мити на руке, стаскивала его с узкой натопанной тропинки в глубокий снег, я ждал их, пока они барахтались в сугробах, дурачились — толкались, обнимались, целовались. Потом мы сидели на каком-то чужом, освещенном луной крыльце, и Таня с Митей уговаривали меня бросить свою разъездную работу в газете и остаться на Уралстрое, уверяли, что Широков даст мне должность референта по информации, буду сидеть на одном месте, освещать в печати опыт одного строительства, а потом, может быть, и что-нибудь художественное сочиню.

«Что ж, может быть, и верно, стоит остаться здесь до конца строительства», — подумывал я, глядя вокруг: давно хотелось мне подольше посидеть на одном месте и написать что-нибудь художественное, чтобы было и производство, и быт, и любовь, и такие вот снежные пейзажи с луной.

А утром, когда я проснулся, Митя и Таня стояли у телефона, Митя был в одном нижнем белье, босой, вертел в руке телефонную трубку, будто не знал, куда еще позвонить. Таня, схватившись за голову, смотрела на него остановившимися глазами.

На мой вопрос, что случилось, Митя ответил, что ночью арестован Широков, в чем дело, никто не знает, — подняли с постели и увезли в Свердловск, ужас какой-то, ничего нельзя понять...

Я уже не слушал — надо было скорее бежать на телеграф, передать в редакцию, что посланную мною статью печатать нельзя.

Вернувшись с телеграфа, я не застал Митю — он уехал на стройплощадку. Таня сидела за столом, обхватив руками встрепанную голову. Притихшие дети стояли рядом посреди комнаты и смотрели на мать испуганными глазами.

— Что же это такое? Что теперь будет? — бессмысленно твердила Таня. Она вставала, ходила, снова садилась и все время повторяла одно и то же: — Что же это такое? Что же теперь будет?

Я думал о статье — что будет, если ее уже напечатали? В тот же день я уехал с Уралстроя. К моему счастью, статью не напечатали, но все же мне досталось за то, что чуть было не подсунул в газету материал врага народа.

После этого мы с Митей Алешиным встретились еще однажды в Москве, во время финской войны. В тот день я привез домой из военкомата едва уместившуюся на такси кучу обмундирования и снаряжения, поло-

женного стрелковому командиру запаса, призванному в действующие части.

Облачившись в ватную стеганку, такие же стеганые брюки, в кое-как натянутую поверх стеганки шинель, шлем с вязаным подшлемником, нацепив портупею со свистком, кобуру с пистолетом ТТ, полевую сумку, фляжку, противогаз, котелок и поглядев на себя в гардеробное зеркало, я подумал, что военкомат, пожалуй, не зря аттестовал меня на должность командира роты. Смушал меня только немного пистолет ТТ, и я поспешил заняться им.

В гражданскую войну мне приходилось иметь дело лишь с винтовкой и револьвером системы «наган». А во время переподготовок комсостава запаса мы, командиры взводов и рот, решали на карте и макетах тактические задачи преимущественно за командиров полков, дивизий и даже корпусов, так что где уж тут было заниматься изучением новых образцов стрелкового оружия. Из пушки мне как-то дали выстрелить на боевом учении, когда артиллеристы стреляли через головы пехоты, и, к счастью, это обошлось благополучно для последней, но из пистолета ТТ я никогда не стрелял, сейчас держал его в руке впервые.

И так и сяк вертел я этот густо смазанный на складе пистолет, стараясь всадить в него обойму с патронами. В квартире, кроме меня, никого не было, и когда в передней задребезжал звонок, сунув пистолет в кобуру, я пошел открывать дверь во всей нацеленной на себя амуниции.

За дверью стоял с чемоданчиком в руке Митя Алешин. Мой грозный вид его несколько не удивил. Он спросил только:

— Ты что это, тоже на финский фронт собрался?

— Как видишь, обмундировали,— ответил я.— Завтра уезжаю в Мурманском направлении.

В передней, прежде чем раздеться, Митя окинул меня взглядом и сказал:

— Да, пора уже кончать эту войну, а то что-то затянулась. Вот уже очереди за керосином появились.

Со времени моей поездки на Уралстрой я получил от Алешина два или три письма и знал, что в связи с арестом Широкова Митя был исключен из партии за потерю бдительности, некоторое время сидел без работы с начавшимся у него процессом в легких, потом, кое-как выбравшись из болезни, устроился токарем на небольшой старый механический заводик под Свердловском. В письмах Митя не жаловался на свою судьбу, писал, что чувствует себя на заводе неплохо, перевыполняет нормы, считается стахановцем и думает, что с помощью местной партийной организации, которая дала ему отличную характеристику, ему удастся добиться восстановления в партии.

В Москву Митя приехал по вызову центральной Комиссии партийного контроля, где пересматривалось его дело после того, как он апеллировал к XVIII съезду.

Эта наша встреча была короткой и суматошной. Нам не дали поговорить. Только я стащил с себя нацепленное для примерки снаряжение, как ко мне нагрянула куча товарищей из нашей газеты, решивших, что коли человек идет на войну, то надо достойно его проводить, и поэтому запасшихся по дороге целой батареей бутылок.

Проводы затянулись до поздней ночи. Мне неудобно было перед Митей. Молча, как чужой, случайно оказавшийся у меня человек, сидел он в бесцеремонной компании газетчиков, подымавших тосты за победу, за ордена, за мое счастливое возвращение с войны. Все они ждали повестки из военкомата и отчаянно храбрились, распевали боевые песни. Алешина они совершенно не замечали, но подливать ему в стакан не забывали.

Мите вскоре стало плохо — видимо, давно не случалось выпивать, да и от болезни ослаб. Мне пришлось уложить его на кушетку мертвенно побелевшего, с мокрым от пота лбом. Кушетка была для Мити мала, ноги свисали с нее, загорая живая дверь, и я видел, как они дергались у него во сне. Особенно неприятно было, что все выходившие из комнаты цеплялись за его ноги.

На другой день, когда я проснулся, Мити уже не было — он ушел в КПК, сказав моим родным, что если задержится там, то приедет протиться прямо на вокзал, к отходу поезда. Случилось, что никто из родных не смог проводить меня. Кажется, потому, что поезд отходил в рабочие часы, а тогда только что были установлены строгие кары за нарушение трудовой дисциплины. Не пришел на вокзал и никто из моих товарищей по газете, хотя все они записали в свои блокноты время отхода поезда и номер вагона.

Поезд отходил с Северного вокзала и был специально предназначен для призванных в действующую армию командиров и политработников запаса. Обмундированные и снаряженные для войны в Заполярье, немолодые уже лейтенанты, капитаны и политруки стояли на перроне у своих вагонов в тесных кучках провожающих, а те, кого никто не провожал, толклись у тамбуров и тоже постепенно соединялись в кучки — они узнавали друг в друге недавних мимолетных знакомых по военкомату, который их призывал. А я стоял один, ругая своих товарищей, обещавших прийти к поезду, и, все еще не теряя надежды, высматривал, не ищет ли меня кто.

В каком бы боевом настроении ни ехал ты на войну, но если тебе уже под сорок и тебя никто не провожает, ой-ой как сиротливо чувствуешь себя на вокзале. В молодости одиночества в таких случаях мы не ощущали.

Меньше всего я рассчитывал увидеть на перроне Митю Алешина. «Не успеет, — думал я. — Пока-то пропуска дождется, пока-то дело его найдут. Да и до меня ли ему сейчас там, в КПК?» И вдруг — это было уже за две-три минуты до отхода поезда — увидел его мелькнувшую в толпе голову в кепке. Митя бежал, держась руками за уши — в ту зиму стояли тридцати-сорокаградусные морозы.

— Прости, никак не мог раньше, — сказал Митя. — Там ведь не одно мое дело, а тысячи.

— Ну как? — спросил я.

— Не знаю еще, разговор был предварительный. Назначили на прием... А тебя что — никто не провожает?

Митя был так удивлен этим, что растерянно поглядел вокруг, будто не мог поверить мне. И потом, пока оставшиеся до отхода поезда минуты мы стояли у вагона, я все время чувствовал, что он чем-то смущен, что ему чего-то неловко.

Я говорил Мите, что он может располагаться в моей комнате и жить сколько нужно.

— Да ты не беспокойся... Пожалуйста, нисколько не беспокойся. Я могу и в общежитии... — говорил он, притоптывая ногами в ботинках — обувь не по тогдашним морозам — и потирая уши.

Теперь мне кажется, что Митя Алешин чувствовал себя тогда на вокзале виноватым: мы вот уезжаем воевать куда-то в Заполярье, а он тут в Москве толчется, ждет решения по своему персональному делу и не очень-то уверен, что достоин быть в партии, — ведь что ни говори, а врага-то он действительно проглядел. Откуда Мите было знать то, чего никто из нас тогда не знал?

Прошло много-много лет,— без малого четверть века! — и вот я еду к Мите Алешину в Машиносталль. После того как мы расстались с ним в Москве на вокзале во время финской войны, я надолго потерял с ним всякую связь. И только года два назад, как-то вернувшись из командировки, нашел у себя дома оставленную им записку: будучи в Москве, он разыскал мой новый адрес, зашел, но, к сожалению, не застал. Митя писал мне, что в 1940 году решением центральной Комиссии партийного контроля он восстановлен в партии и после этого все время работает в системе трудовых резервов — сначала в Сибири, потом в Казахстане, а с начала пятидесятых годов в Машиносталли помощником по политической части директора ремесленного училища.

Еду, вспоминаю наши давние встречи. С тревогой думаю, какой-то Митя Алешин теперь — ему ведь тоже давно за пятьдесят, досадую, что скоро Машиносталль, а вокруг ничего не видно. Напрасно я по-мальчишески скребу ногтем оледеневшее стекло и пытаюсь продуть в нем глазок — крепкий мороз напрочно сковал окна автобуса, мягко, бесшумно мчащегося по магистральному шоссе. Мой сосед-старик посапывал, уткнув нос в меховой воротник пальто, его портфель потихоньку сползал с колен, пока наконец не шлепнулся ему под ноги.

Проснувшись, сосед подхватил портфель, посмотрел на часы и, собравшись снова задремать, попросил меня в случае чего разбудить его в Машиносталли. Я сказал, что волей-неволей придется сделать это, иначе не вылезу со своего места — тоже схожу в Машиносталли. Успевший опять уткнуться носом в воротник, старик сонно пробурчал в ответ, что терпеть не может ездить в Москву — укачивает на автобусе, но ничего, «скоро мы с вами будем ездить в Москву на электричке». Он, видимо, счел меня за машиносталлевца. А когда я сказал, что впервые еду в Машиносталль, он сразу встрепенулся и живейшим образом выразил огорчение по поводу того, что я еду не вовремя:

— Как жаль, что зимой! Побывали бы у нас летом на празднике цветов!

И стал расписывать мне, какой это чудо-город Машиносталль, когда колонны трудящихся и школьников шагают мимо трибуны с поднятыми над головами огромными букетами — с улиц вытекают на площадь реки цветов.

— Так много цветников в городе? — удивился я.

— По зеленым насаждениям идем в области на первом месте, с цветами пока дело хуже — букеты к празднику собираем главным образом в окрестностях, за розами приходится посылать машины в Москву, но ставим себе задачу в ближайшие годы выйти на первое место и по цветам... Между прочим,— заметил он,— праздник цветов — моя инициатива.

«Ах, вот в чем дело!» — подумал я и поинтересовался, по специальности ли он цветовод или только любитель.

— Я — главный архитектор Машиносталли,— ответил он и тут же стал рассказывать мне, что раньше город стоял на двух китах — машиностроительном и сталелитейном, потом появился третий кит — станкостроительный.

Из дальнейшего я понял только, что Машиносталль — прообраз городов будущего, но при строительстве его, начавшемся в первую пятилетку, была допущена ошибка — лес вырубался сплошь, а вот сейчас приходится исправлять ошибку с помощью этих самых китов, не жалеющих денег на зеленые насаждения и цветы.

В Машиносталли, когда мы сошли с автобуса, меня сначала ослепил сверкавший на солнце снег, потом я увидел завихрившуюся под ногами

и умчавшуюся прочь дымчатую поземку, двойные шары белых фонарей на черных столбах, высокие ярко-желтые, солнечного цвета пятиэтажные дома с арками и балконами, а затем витрину мебельного магазина, возле которого на снегу стояли круглые столы с подбитыми к ножкам досками наподобие полозьев. На этих полозьях, как на санках, люди растаскивали купленные ими столы в разные концы большой, окруженной новыми домами площади. Ветер сгонял верхний легкий слой снега, и столы свободно скользили по оледеневшему пласту. На середине площади толпы ребятишек копошились по краям глубокого котлована, скатывались вниз — кто на лыжах, кто на санках, кто просто на ногах по ледяной дорожке.

Нет, совсем не индустриально выглядела на первый взгляд Машино-сталь в этот солнечный зимний день.

Главный архитектор, постучав ногой по темному пятачку асфальта, с которого ветер начисто смел снег, сказал:

— Тут было такое болото, что ногу не вытянешь. Все это, — он взмахнул своим тяжелым портфелем, и тот пролетел в воздухе полукругом от левого плеча к правому, — все это выстроено за последние пять-шесть лет, а раньше город был весь там. — Он махнул свободной рукой назад, где за темными, стоящими в ряд казарменными корпусами высоко подымались в синее небо заводские думы.

«Митя Алешин, наверное, еще не вернулся с работы, значит время у меня есть — пройду-ка немного по Машиностали, посмотрю, что за город», — подумал я и, увязавшись за главным архитектором, пошел с ним по бульвару, разделявшему невиданно широкую улицу на два проезда. Проезды эти с молодыми штамбовыми и кустарниковыми насаждениями вдоль тротуаров сами по себе были достаточно широки. Дома тут напоминали мне Песчаные улицы Москвы — сквозь их арки видны были дворовые скверы, детские площадки, голубятни и какие-то затейливо раскрашенные павильончики. Конец улицы упирался в стену леса.

— Большой красивый город, и лес под боком, как в глухой деревне! — порадовался я.

— Так в этом же вся соль! — живо подхватил главный архитектор. — Город растет своими микрорайонами не вширь, а в длину, по линии строящейся электрички. С любого места до леса пять — десять минут ходьбы. Летом до работы можно успеть погулять в лесу. Город и дача — все здесь у нас вместе.

Чего еще лучшего желать! Машиносталь нравилась мне все больше. Подпортил впечатление только Дом культуры — гигантских размеров горбатый сундук с тяжелейшими колоннами, сооружение удивительно надменного вида, подавляющее все вокруг своим дворцовым величием.

— Ничего не поделаешь, строилось при культе, — буркнул главный архитектор.

Мы свернули за угол, надменная громада осталась позади, и меня вознаградила за нее небольшая березовая роща — десятка два старых деревьев. Сквозь высокую легкую колоннаду их белых — белее снега — стволов проглядывал веселый фасад светло-желтого дома с зелеными балкончиками.

«Наверно, раньше тут был сплошной березовый лес», — подумал я и заговорил с главным архитектором о том, что береза красива всегда, зимой и летом, а зимой красивее ее дерева нет, и что здесь, в Машиностали, с ее широкими, светлыми, полными солнца улицами, старые березы особенно хороши — как жаль, что их мало осталось!

— А я о чем говорил! — сказал он, вдруг сердито насупившись. — Надо было не вырубать лес, а строить город в лесу по просекам.

Я представил себе городские улицы, на которых все дома укрыты такими вот белыми живыми колоннадами — улицы в березовом лесу! Подумал: одни улицы березовые, другие — сосновые, третьи — дубовые. Размечтался о таких лесных городах с улицами-просеками, а потом поглядел вокруг, и мне показалось, что мы вернулись назад — перед нами стоял тот же гигантский сундук с дворцовыми колоннами.

— Тоже Дворец культуры, но не тот же,— сказал главный архитектор.

— Да,— согласился я.— Этот кажется побольше, и колонны у него помассивнее.

Неподалеку высился фронтон еще одного дворцового сооружения такого же типа с множеством тяжеловесных колонн.

— Сколько же у вас всего этих дворцов? — спросил я.

— Больше нет, только три,— буркнул он и вдруг, будто спохватившись, остановился, посмотрел на меня исподлобья и заговорил совсем как милиционер с гражданином, взятым на подозрение: — А вы, собственно говоря, куда направляетесь? По какому делу прибыли в город? В командировку или как?

Я сказал, что приехал в Машиностанль не по делу, а просто так, к своему старому знакомому, товарищу Алешину, и спросил, не знает ли он такого.

— Алешина? Какого это Алешина?.. Нет, нет, никакого Алешина не знаю,— сердито сказал он, повернулся и, не попрощавшись, помчался куда-то через улицу.

Глядя, как быстро улепetyвает от меня главный архитектор Машиностанли — старик, а какой шустрый оказался,— я подумал: следовало бы мне знать, что прежде, чем разговаривать с человеком о делах, касающихся его служебных обязанностей, нужно представиться, предъявить документы, а то вот какие неприятности могут получиться!

Посетовал я на свою опрометчивость, а потом увидел ресторан с шелковыми шторами на высоких окнах и благоразумно рассудил, что неудобно приезжать в гости голодному — сначала надо пообедать.

Расположившись за столиком в почти пустом зале, я убедился, что в этом городе рестораны отличаются от московских только тем, что тут в дневное время официантки сидят сложа руки, поджидая клиентов, и, как только тыходишь, тотчас встают, предлагают тебе свой столик и подают карту меню. Глаза разбегаются — такой выбор закусок, блюд и напитков, но официантка, слава богу, не торопит: стоит спокойненько с блокнотиком наготове и задумчиво почесывает за ухом карандашиком.

Я уже говорил, что предстоящая встреча с Митей Алешиным настраивала меня на благодушнейший лад. А это очень много значит — настроить себя на определенный лад.

Рядом шумит за столиком молодежь. Как будто всё, всё — длинноносые туфли, узкие брючки, пестрые пиджачки, яркие галстуки, дико взлохмаченные прически — свидетельствует, что молодежь эта не простая, а золотая, так знакомая тебе по газетным фельетонам. Долго, старательно, тесно сдвинув головы, изучает золотая молодежь карту меню и наконец-то заказывает... по полпорции горохового супа, по порции котлет на брата, две селедки и две бутылки пива на всю компанию. Вот тебе и модные мальчики — самые обыкновенные студенты, по бедности своей сумевшие склотить только по полтиннику, чтобы отпраздновать в ресторане успешное окончание зимних экзаменов.

За другим столиком — под лазоревым морским пейзажем с изумрудными скалами, в золотом багете — сидят двое парней в валенках и ватных стеганках, с открытыми мужественными лицами, прямо как с фо-

то на первой полосе газеты. Челюсти у них работают без отдыха, как машины, перемалывают уже по второй, а может быть, и третьей порции шашлыка. Водки им больше не подают — перешли на гаванский ром. Кто они — передовики производства, только что получившие премиальные, или шоферы-леваки?

А вот появляется в ресторане и какой-то весьма солидный товарищ. По-хозяйски медленно и устало, должно быть, после утомительно долгого заседания, проходит он, ни на кого не глядя, через весь зал по ковровой дорожке за колоннами и скрывается в уютно укрытой плюшевой портьерой кабинке.

Хоть и в отдельной кабинке, а тоже, видно, любит товарищ после окончания рабочего дня посидеть за маленьким графинчиком.

Расплачиваясь, я спросил у официантки, всегда ли в ресторане так пусто.

— Когда хоккей — всегда. А сегодня решающая встреча со «Спартаком», — ответила она и пожаловалась, что сегодня-то уж наверняка никто больше не зайдет, однако ресторан раньше времени закрыть нельзя — директору-то что, он уже умчался на стадион, и шеф-повар тоже сейчас сбежит...

Митя Алешин жил на 7-й Социалистической. На мой вопрос, как туда лучше добраться, официантка ответила сочувственно:

— Не знаю уж право, как вы сейчас доберетесь туда. На автобусе надо до Стадиона станкостроителей. Попробуйте, остановка рядом, только вряд ли сядете — там уж бог знает что творится, просто смертоубийство.

Действительно, на остановку автобуса, если ты не акробат, лучше было не соваться. Машины отходили с пассажирами, висевшими в дверях друг на друге. Некоторые срывались, падали на мостовую, но, быстро перевернувшись, снова, как тигры, прыгали на клубок свисавших с машины людей, чтобы зацепиться за чью-нибудь спину.

Отказавшись от такого непостоянного для меня способа передвижения, я подошел к одиноко стоявшему возле ресторана «москвичу», хотел постучать в окошечко, разбудить дремавшего на своем сиденье водителя, но не успел это сделать, как услышал за своей спиной зычный и веселый голос:

— На стадион рветесь? Если так, садитесь — подкину.

Хозяином «москвича» оказался тот самый солидный товарищ, который полчаса назад медленно, устало прошел через ресторанный зал и скрылся за портьерой в отдельной кабинке. Теперь, выйдя из ресторана, он был бодр, благодушен, сам открыл мне заднюю дверку машины, сказал: «Прощу!» — сел впереди, с водителем, и мы мигом обогнали тащившийся впереди автобус с кучей повисших в дверях пассажиров.

— По правде сказать, мне не на стадион, а на Седьмую Социалистическую, — признался я.

— Они там все Социалистические рядом... и все на очереди у меня вот тут, — добавил мой благодетель, похлопав себя по мощному загривку.

— Как это на очереди? — не понял я.

— Очень просто. Строили дома с коридорной системой и общей кухней, давали людям по комнате, а теперь семьи выросли и дело идет к коммунизму — надо переселять в отдельные квартиры... Вы к нам из Москвы? Журналист или писатель?

— Почему так думаете?

— Во-первых, потому, что на приеме у себя не видел, значит, не наш, — засмеялся он. — Слава богу, председатель горсовета уже шестой год — знаю свой народ.

— А во-вторых?

— Во-вторых, в ресторане видел, как вы строчили в блокнот. И официантка шепнула: какой-то приезжий, ко всем приглядывается и все что-то записывает...

«Вот это председатель!» — подумал я. Прошел через зал, ни на кого не глядя, а заметил, что какой-то приезжий сидит за столом с блокнотом.

Он тут же стал подкидывать мне материал, вероятно на тот случай, если вздумаю и о нем что-нибудь написать:

— Вчера ко мне приходит на прием человек, просит поставить на очередь. «Так-так, говорю, площадь пятнадцать метров, прописано, включая тещу, четверо. Ну что ж, ваше законное право требовать улучшения, но...— смотрю на него пристально, так вот.— И он показал, как пристально и хитро посмотрел он на того человека.— Но, к сожалению, ничего не выйдет»,— говорю ему и тут же накладываю резолюцию: «Отказать». Товарищ возмущается — как это так? Имеет законное право на улучшение, а ему отказывают. Это, говорит, издевательство. Грозится, что будет жаловаться в горком партии: не может он больше жить в одной комнате с психической тещей! «Что вы! Что вы! — успокаиваю его.— Зачем вам жить с тещей? Пусть себе живет, как жила до сих пор у сына, у него ведь не одна комната, а три и семья небольшая, а то, что теща прописана у вас, так это уж не так важно, хотя, конечно, по закону ей следовало бы прописаться там, где живет, то есть у сына».

Он захохотал от всей души, довольный, что при нем ни один ловкач в городе не обманет советскую власть — всех он тут знает как облупленных.

— Ну, так вы, конечно, знаете и товарища Алешина из ремесленно-го? — спросил я.

— Алешина?! Митяя?! — воскликнул он. И тут я узнал, что еще в двадцать четвертом году он был с Митей в одной комсомольской ячейке, вместе жили в коммуне при фабзавкоме металлистов на Малой Лубянке...

Приятно, когда незнакомый человек предлагает подвезти тебя на своей персональной машине, но если оказывается, что у тебя с ним есть общий товарищ давних комсомольских лет, то это уже дарованная тебе судьбой удача.

— Так, значит, тоже старая комсомольская гвардия! — обрадовался он, узнав, что я давнишний товарищ Мити Алешина, и тотчас перешел со мной на «ты»: — Раз так, давай знакомиться. Петьшкин, Павел Иванович,— представился он и велел водителю, не сворачивая к стадиону, ехать прямо на 7-ю Социалистическую.

Он сказал мне, что если бы не «Спартак», то вместе со мной сейчас нагрянул бы к Митяю — давненько уже не видел его, но пропустить встречу со «Спартаком» — это уже выше его сил, так что просит извинить его: сегодня только подвезет, а завтра, может быть, заглянет, тогда поговорим, вспомним свои комсомольские годы.

— Ох, и время же было! — сказал он.— Секретарь нашей деревенской комсомольской ячейки ходил босой, с наганом за поясом. Придет во двор к крепкому хозяину, спрашивает: «Ну как, дядя Терентий, надумал хлеб сдавать или вас еще пощекотать надо?» Отчаянно веселый парень был. Говорил нам на собрании: «Учитесь у меня, ребята, как кулаков щекотать надо». А щекотал он их наганом, похаживая вокруг гоголем, — то за одним ухом пощекочет, то за другим. «Ну как, все еще не надумал, дядя Терентий?» Вот как воспитывали нас!

Шофер остановил машину на углу 7-й Социалистической. Дальше проезда не было: эти улицы Машиносталя непроезжие — мостовых тут нет, вместо них между рядами двухэтажных домов кое-где разбиты

скверики с садовыми столиками и скамейками, а кое-где тянутся на-строенные в ряд сарайчики.

Почти все окна в домах были темные. Я спросил, что это значит — ведь время еще не позднее. Петышкин объяснил мне:

— Кто на хоккей пошел, а кто сидит, уткнувшись в телевизор.

— А Митя Алешин что предпочитает? — спросил я.

— Можешь быть спокоен — по вечерам всегда дома. От телевизора не оторвешь.

5

Когда приезжаешь к своему старому товарищу, которого не видел четверть века, рука как-то не сразу подымается постучать к нему в дверь. А вдруг так постарел, что не узнаешь, или, того хуже, разговаривать будет не о чем — мало ли что может случиться с человеком за четверть века!

И теперь вот, когда оставалось только постучать в дверь к Мите Алешину, мне почему-то вдруг стало страшновато. На какое-то мгновение я замешкался, глядя на стоявший у дверей большой решетчатый ящик. Потом я заметил, что такие же деревянные, решетчатые, аккуратно сбитые ящики стоят у всех дверей, с двух сторон выходящих в длинный и широкий коридор. От этого коридора на меня повеяло чем-то давним. Увидев, что в ящиках хранится картошка, я вспомнил семейный барак, в котором жил Митя Алешин на строительстве Харьковского тракторного — там тоже некоторые жильцы держали картошку в ящиках, выставленных в общий коридор,— вспомнил и тотчас с легкой душой громко забарабанил в дверь.

Дверь открыла Таня, выбежавшая с каким-то шитьем в руке и с наперстком на среднем пальце, на первый взгляд точно такая же, как я ее помнил, только немного поблекшая. Со свойственной ей и раньше театральностью она попеременно изобразила на лице испуг, удивление, радость, затем закричала:

— Митя, угадай-ка, кто к нам заявился? — и из крошечной передней кинулась в комнату, остановилась в проеме дверей, загородила его собой: — Нет, нет, ты сначала угадай кто,— кричала она мужу, размахивая перед ним шитьем.

Из передней я заметил только, что волосы у Мити уже седые. Я раздевался, а он ждал по ту сторону двери, пока Таня уgomонится и пустит его посмотреть, кто же это пришел. Наконец Таня вышла в комнату — троим в передней не повернуться было,— и Митя увидел меня.

— А-а... это ты! — сказал он как будто без особого удивления, и только по глазам его видно было, как он рад, что мы с ним снова встретились.

Сначала мне показалось, что, несмотря на поседевшие и поредевшие волосы, Митя для своего возраста так же, как и Таня, отлично сохранился. Бывают такие люди, которых и седина и морщины как-то мало меняют. В облике его все еще оставалось что-то комсомольское. Но глаза... Те же большие, светлые, а взгляд уже не тот — мягкий, добрый, раздумчивый, совсем стариковский взгляд.

Мы никогда с Митей не целовались при встрече, не было у нас такого обычая, но на этот раз я неожиданно для себя потянулся к нему, мы обнялись и крепко расцеловались.

Спустя несколько минут мы сидели за столом друг против друга, а Таня, стоя посреди комнаты, хватаясь за голову и делая страшные глаза, рассказывала, что они с Митей пережили после того, как я, перепуганный арестом Широкова, поспешно уехал с Уралстроля:

— Ночью услышу только, что машина по улице едет, и вскакиваю уже, кидаюсь к окну, думаю: сейчас остановятся возле нас и в калитку забарабнят, как вы сейчас забарабанили. Митя проснется, спрашивает: «Ты чего это?» — «Ничего, говорю, слава богу, проехала мимо...» Со дня на день ждала, что его заберут, а он придет с работы и молчит весь вечер, как воды в рот набравши. Ничего от него толком не добьешься.

Таня махнула рукой: нет, этого всего не расскажешь, что тогда было пережито! А потом опять начала жаловаться на Митю — ужасно сгруппил он тогда. И надо же было быть таким дураком! Вместо того, чтобы еще раз заострить на партийном собрании вопрос о бдительности, взял да брякнул сгоряча: «Три дня уже переливаем из пустого в порожнее о потере бдительности, бьем себя кулаками в грудь — не пора ли, товарищи, и за работу взяться?» Нечего сказать — секретарь парткома! Вот и вылетел из партии.

Пока Таня выпаливала мне это все скороговоркой, Митя добродушно улыбался и время от времени одним глазом посматривал на стоявший в углу комнаты телевизор — передавали какой-то старый шпионский кинофильм (и по случаю нашей встречи Митя не выключил телевизора, только отключил звук).

— Удивительно все-таки, как его тогда не посадили. Не понимаю этого! — воскликнула Таня.

Я спросил Митю, поверил ли он тогда, что Широков оказался агентом какой-то иностранной разведки.

— А как же я мог не поверить? Поверил, хотя в голове это никак не укладывалось, — ответил он.

А Таня сказала, что она ни капельки не верила в эту несусветную чушь.

— Что-то я не слышал тогда от тебя, что это чушь, — заметил Митя.

— Ну вот, посмотрите на него! — воскликнула Таня и развела руками. — Как будто в то время можно было так говорить!

Когда она вышла на кухню готовить ужин, Митя сказал:

— Не знаю, что было бы, если бы не Таня. Иногда такое несет, что уши вянут, начнет зудить — конца нет, но когда действительно трудно приходится — не жалуется. Надо было на работу устраиваться, переезжать, а денег едва на дорогу хватило, только переехали — разболелся, слег, вся семья на ее плечи свалилась, но ничего — вытащила. Двужильная она у меня. Молодец!

Таня услышала это и крикнула из кухни:

— С таким растяпой, как ты, будешь двужильной! Председатель горсовета — друг его с комсомольских лет, а я с керосинкой должна возиться. Больше десяти лет уже живем в Машиносталя и все не может добиться квартиры с газом.

Услышав, что я уже успел познакомиться с товарищем Петышкиным, Таня прибежала из кухни.

— Ну и как он вам понравился? — спросила она.

Я сказал, что мы с ним уже на «ты».

Митя усмехнулся:

— Он со всем городом на «ты».

— Самый популярный человек в Машиносталя, — объявила Таня. — А если бы вы знали, какой отчаянный сорванец был! Ужас что такое! В Москве в одних трусиках по улицам ходил.

— И сейчас такой же артист. Больше всего любит произвести впечатление, — сказал Митя.

— Конечно, не то, что ты! — с вызовом бросила Таня и пошла на кухню.

В доме, где сейчас живут Алешины, когда-то было общежитие учеников ремесленного училища. Перебравшись в Машиносталль, они получили в этом доме одну комнату площадью около тридцати метров и постепенно своими стараниями, вернее стараниями Тани, потому что Митя в этом отношении круглый ноль, переоборудовали ее в двухкомнатную квартиру с крохотной кухонькой и такой же передней. Обставлена она скромно: мебель, собранная с бору по сосенке — старомодная, та, какую, не ходя далеко, можно купить по дешевке и у своих соседей, помешанных, как все сейчас, на современных стандартных полированных гарнитурах.

В общем, видно было, что Алешины по-прежнему не роскошествуют, но и того небольшого достатка, который они имеют, им хватает, чтобы жить прилично, уютно и чистенько. Конечно, лучше жить в квартире с газом, но, оказывается, можно поддерживать в кухне чистоту и при керосинке. Надо только соорудить над ней, как это сделала Таня, вытяжную трубу с раструбом. Покрытое кремовой эмалевой краской, это сооружение нисколько не портит общего вида кухни. Наоборот, даже украшает ее, весьма гармонируя со стоящей на столе стеклянной, покрытой марлей банкой с коричневым настоем плавающего в ней целебного, похожего на медузу гриба. Все это придает кухоньке вид какой-то кулинарной лаборатории. И как уместен тут зеленый лук, который и зимой отлично растет в ящике на подоконнике!

Нет, не потому, видимо, завела Таня разговор о квартире с газом, что ей осточертела керосинка.

— Ну что из того, что Петышкин — его старый товарищ? — возмущалась она. — Если товарищ, так, значит, к нему уже нельзя обратиться по делу? — И вдруг сказала: — Вот какое он у меня дите!

Это было сказано счастливо и не без гордости.

Давно ли я отлично пообедал в машиносталевском ресторане, но это не помешало мне отдать должное Таниной картошке — так аппетитно выглядела она, сочно поджаренная на постном масле тонкими, длинными ломтиками и до того ровно подрумяненная, что ломтик от ломтика не отличишь, посыпанная мелко-мелко нарезанным зеленым лучком. Тем более что к жареной картошке были поданы на стол соленые грузди и квашеная капуста.

Захваченная мною из Москвы бутылка «столичной» оказалась как нельзя кстати. Таня, правда, сказала, что она не позволяет Мите этого вредного для его здоровья баловства, однако рюмки в буфете нашлись, и она поставила их всем троим. При этом Таня предупредила, что, как только услышит стук в дверь, сейчас же уберет со стола и рюмки и бутылку, а то придет Сергей — он на хоккее — и начнет канючить, чтобы ему тоже дали, — воображает, что раз в техникум поступил — значит уже взрослый.

О существовании Сергея я еще не знал — он родился после войны. Таня вдруг страшно забеспокоилась о нем: со встречи Нового года явился домой подвыпивший и к тому же в шестнадцать лет начал уже, кажется, потихоньку курить; каждый день берет деньги на обед, а между тем из техникума приходит голодный как волк — наверное, половину тратит на папиросы да еще из стипендии оставляет себе три рубля в месяц — на что он может истратить их, если не курит и не пьет?

— Ужас до чего распущенный стал мальчишка! — сказала Таня.

Она сложила руки на столе, подняла плечи, закрыла глаза и даже помотала головой, показывая, какой это ужас.

Митя и Таня давно уже стали дедушкой и бабушкой, но внучат своих пока знают только по фотографиям. Такова судьба многих дедушек и бабушек, дети которых кочуют сейчас по стране так же, как

кочевали они сами в свои молодые годы. Впрочем, дети кочуют уже не только по стране, а по всему земному шару. Митя похвалился мне радиограммой, полученной из Кейптауна на мысе Доброй Надежды от своего старшего, Сашки,—поздравляет родителей с Новым годом по пути в Мирный.

— Вспомнил все-таки,—сказал Митя, очень довольный этим.— А в прошлом году из Йемена забыл поздравить.

— Из Йемена он с Октябрьской годовщиной поздравил,—сказала Таня.

Сашка окончил гидротехнический, работал на строительствах в Африке и в Азии, теперь вот отправился в Антарктику. Жена его врач, живет с двумя детьми во Владивостоке. Любят друг друга, но годами не видятся...

Митя объяснил мне это тем, что Сашке очень хочется всюду побывать и по своей специальности ему это полезно. А Таня добавила:

— И машину хочется купить. Дома будешь сидеть — не зарабатываешь на нее. У него запросы не те, что у нас с Митей. И машина нужна, и еще кое-что.

Митя помолчал, а потом сказал:

— Да, Оля у нас поскромнее в своих запросах, но тоже большая непогода.

Дочь Алешиных, которую я помню четырехлетней кукольно-красивой девочкой, уже пять лет как окончила Энергетический институт. Она работает с мужем — они поженились еще в студенческие годы — уже на третьей электростанции. Начали на Урале на только что построенной ГЭС, откуда перебрались в Сибирь, из Сибири махнули в Среднюю Азию и вот уже пишут, что их опять тянет на какую-нибудь новую станцию, потому что по их специальности интереснее всего работать в пусковой период, а потом становится все скучнее и скучнее — одно и то же каждый день.

Из всего этого я понял, что если бы не было у Алешиных Сергея, которого им еще надо поставить на ноги, то при всех своих детях и внуках жили бы они сейчас в Машиносталях одинокими дедушкой и бабушкой. Для Мити это не так страшно — у него работа, а у Тани осталось только домашнее хозяйство — работать по своей специальности она не может уже несколько лет: с правой рукой что-то случилось.

— Сохнет,— говорит она, показывая свою худую, как щепка, руку с большим пальцем, прижатым к ладони,— он у нее не подымается и не сгибается.

А энергии у Тани, как это по всему видно, еще пропасть. Куда бы она дела ее, если бы не Сергей?

Таня то и дело поглядывала на часы — волновалась, что сын долго не возвращается со стадиона: не случилось ли с ним там чего-нибудь?

— Когда он уходит болеть на хоккей, я весь вечер сижу как на иголках,— сказала она.

— А что может случиться? — спросил я.

— Все, что угодно, даже голову могут проломить бутылкой,— ответила Таня.

Я не понял, при чем тут бутылки.

— Да вы что — никогда не были на хоккее?! — удивилась Таня.

Пришлось признаться, что за всю жизнь видел хоккей только один раз и то на экране кино или телевизора — не помню уже.

— На экране ничего похожего на то, что у нас на стадионе,— сказала Таня.— Митя был раза два и закалялся ходить, после того как сквозь валенок порезал ногу битым стеклом. Представляете, что там происходит? Нет, лучше уж дома посидеть у телевизора.

Словом, у Тани было основание волноваться за Сергея, и когда раздался его нетерпеливый стук в дверь, она, выскочив из-за стола, забыла убрать в буфет недопитую нами бутылку «столичной».

На ходу скинув с себя в передней пальто и шапку, Сергей ворвался в комнату, грохнулся на стул, вытянул ноги в валенках и, продолжая охать, застучал нога об ногу. Таня кинулась к нему, потом закричала:

— Митя, погляди! Вот чем кончилось — этот негодяй, кажется, отморозил себе пальцы!

Глядя на Сергея, я подумал, что он в том же возрасте, в каком был Митя, когда мы работали с ним в райкомхозе, — такой же высокий, худой, светловолосый и светлоглазый, но выражение лица у него еще совсем детское. Митя в ту пору, несмотря на свои всегда как будто от удивления вытаращенные глаза, выглядел куда более взрослым. Или это только оттого, что в шестнадцатилетнем возрасте мы были уже людьми, которые самостоятельно решали свою судьбу?

Перепуганная Таня, стоя на коленях перед развалившимся на стуле сыном, изо всех сил натирала ему водкой ноги. Когда тревога улеглась и Сергей начал обуваться, Таня разразилась бурей негодования: нет, никогда больше этот олух царя небесного не увидит хоккея, как своих ушей, — никогда в жизни, если он не хочет раньше времени свести ее в гроб...

Переждав, пока буря утихнет, парень стал зябко поеживаться. Таня опять забеспокоилась: не простыл ли он?

Митя, взявшись за бутылку, посмотрел на жену.

— Ладно уж, налей ему рюмку, а то еще воспаление легких схватит, — сказала Таня.

Лихо опрокинув в рот рюмку и закусив подхваченным вилкой шматком кислой капусты, Сергей стал выпаливать новости со стадиона в том бешеном темпе, в каком это делают спортивные радиоккомментаторы.

Я ничего не понял, если бы не Таня. Теперь, когда тревога ее улеглась и негодование было излито, она могла уже полностью разделить бурные переживания сына, и ее лицо красноречиво выражало все перипетии игры, о которых он рассказывал, захлебываясь от спешки. Митя тоже не остался равнодушным к тому, что уже почти одержанная машиностаевскими хоккеистами победа вдруг выскользнула из их рук. (А почему — я все же так и не понял.) Он хоть и перестал бывать на стадионе с тех пор, как порезал там ногу бутылочным стеклом, но тем не менее продолжал болеть за сборную Машиностаи по хоккею. Не так громко, как Таня, но и он поохал, переживая неудачу команды своего города, особенно вратаря этой команды, его бывшего воспитанника по ремесленному — ныне профтехническому — училищу.

На некоторое время я был совсем забыт. Потом началась передача «Последних известий», и вся семья Алешиных придвинулась поближе к телевизору. То же самое пришлось сделать и мне, чтобы не остаться в одиночестве.

Митя подсел к своему стоявшему возле телевизора письменному столику, на котором так же, как на Уралстрое четверть века назад, с одного бока лежала высокая стопка аккуратно сложенных газет, а с другого — стопка книг, брошюр и тетрадей. Между ними, кроме чернильницы, теперь стояли еще в рамках под стеклами фотографии его старших, уже кочующих по свету детей.

«Последние известия» Митя слушал с карандашом в руке, делая в тетради записи, необходимые ему для политзанятий у себя в училище. После окончания телевизионной передачи Митя взялся за «Атлас мира», нашел на карте Африки какие-то упомянутые в «Последних известиях»

английские колониальные владения, которые получили в тот день независимость, и сделал в тетради соответствующую выписку из приложенных к атласу справочно-статистических сведений: и это тоже пригодится ему на политзанятиях.

Я глядел, как он старательно занимался всем этим, а потом, положив тетрадь на место, подравнял ее со всеми лежавшими в стопке тетрадями и брошюрами, глядел и с какой-то вдруг затеплившейся к нему нежностью думал, что вот дожил человек до старости и остался верен себе во всем, хоть годы не проходят даром.

О многом еще хотелось мне поговорить с ним, и я чувствовал, что ему тоже хочется этого, но Таня решила, что на сегодня достаточно — пора и на боковую.

Она постелила мне в маленькой комнатушке Сергея, где койка и письменный столик со стулом стояли впрытик одно к другому. Когда я уже улегся и потушил свет, Митя зашел ко мне, поставил стакан воды на ночь и вдруг спросил:

— С Леонидом не встречался в Москве?

Я сказал, что однажды встретился, но это было давно, и я тогда не решился с ним заговорить — слишком уж важно шествовал он по улице. Я даже обрадовался, что он шел, глядя куда-то наискосок вверх, с надменно отрешенным от всего вокруг взглядом, — не хотелось попасться ему на глаза. Но когда он прошел мимо, я с минуту постоял, глядя на его медленно и как-то торжественно уплывавшую спину.

— Пытался пойти по театральной линии, — сказал Митя. — Был директором какого-то московского театра, но что-то не повезло, сейчас работает управдомом, правда, дом не простой — высотный.

— А я-то думал, что мой бывший кумир стал по крайней мере замминистром!

Митя забыл, что он уже пожелал мне спокойной ночи, и снова присел на койку, немного помолчал и опять заговорил о Леониде. «С чего это?» — подумал я, вспомнив, что в свое время он и разговаривать не хотел о нем, — отрезанный ломоть.

И тут впервые я услышал от Мити, как это случилось, что он попал к товарищу Леониду в приемные сыновья.

— Приехал он к нам в деревню с продотрядниками выкачивать хлеб из кулацких амбаров, а я тогда после смерти матери батрачил у одного богатого мужика, — рассказывал Митя. — С моего хозяина и начали — у него в двух сусеках полно было зерна. Ну он и остервенел, схватился за вилы — тогда в деревне еще не привыкли к продрозверстке. И другие мужики, у кого в амбарах имелось зерно, повыскакивали на улицу с вилами. Трех продотрядников закололи, остальные на подводах кто куда... Леонид один остался в деревне. Стоит посреди улицы с маузером в руке и глядит на мужиков: ну, мол, давай, давай, подходи, кому жизнь недорого. Смелостью хотел взять, но мужики озверели от крови, ревут, как быки, лезут на пули с вилами. Выпустил он всю обойму, повернулся и побежал. Толпа — за ним, вся деревня уже, с бабами и мальчишками, вывалила в поле. За полем — железная дорога, и как раз товарный поезд проходил. Машинист глядит в окошечко — что такое? К поезду бежит человек, за ним толпа гонится с вилами. Смекнул, в чем дело, и замедлил ход. Мужики уже нагоняли Леонида в поле, еще бы минутка и подняли бы его на вилы, но он успел вскочить на паровоз. Дня через два вернулся в деревню с отрядом уездного чека и — прямо к нам во двор. Увидел моего хозяина, сдиравшего во дворе шкуру с зарезанного барана: «Ах ты сволочь, на тебе и за хлеб, и за барана от советской власти!» — и в лоб ему из маузера всадил одну за другой две пули. Потом, когда стали хлеб выносить из амбара мешками,

подхожу к нему и спрашиваю: «Товарищ комиссар, с хозяином моим вы полностью расплатились, а кто же со мной будет расплачиваться за работу? Мне и за себя, и за мамку полагается получить — она тоже полгода батрачила на хозяина, пока не померла от тифа». — «А отец где?» — спрашивает он. «В германскую еще убит». — «А лет тебе сколько?» — «Тринадцать». — «Звать как?» — «Митька». — «Так вот, Митька, — сказал он, не долго думая, — раз я твоего хозяина расстрелял за сопротивление советской власти, значит расплачиваться с тобой некому, кроме меня, — поедешь со мной в город и будешь моим сыном». Вот он какой был!

— Какой? — не понял я.

— Царь, бог и герой, — сказал Митя. — В двадцать лет из учительской семинарии выскочил прямо в уездные диктаторы. На вороном коне разъезжал по городу весь с ног до головы в черной коже, только звезда красная. От отца своего, дьякона — знаменитый в уезде бас был, красавец мужчина в сажень ростом, — еще в семинарии отрекся.

Поговорили мы о Леониде — какой из него сейчас управдом? Митя сказал, что, наверное, такой же, как комендант их училищного общежития: в свое время в лагере для заключенных был каким-то начальником, а по его важности можно подумать, что в коменданты общежития попал из министров временно, по недоразумению.

— Ну, это другое, — возразил я и высказал предположение, что у Леонида началось все с архиреволюционного радикализма, которым в годы гражданской войны особенно грешили те, кто тогда отрекался от своих отцов.

— Ты так считаешь? — сказал Митя и затем вдруг заговорил о Петышкине, вспомнил, как он в фабзавкоме металлистов замки ломал и сам их чинил, чтобы содрать с секретаря двадцать копеек на ливерную колбасу для комсомольской коммуны.

В Машиносталя Петышкин, прежде чем стать председателем горсовета, был директором ремесленного училища — он-то тогда и перетащил сюда Митю своим помполитом, наобещав ему кучу всяких благ.

Я сказал, что Петышкин обещал зайти завтра. Митя махнул рукой.

— Он уже пять лет обещает зайти и все никак не соберется. В бане только с ним и встречаемся. В парильне он с веником как бог, а потом в буфете пива кружки три выдует и всех, кого увидит, по плечу похлопает от удовольствия.

Нет, не жалуется Митя своего старого товарища по комсомольской коммуне. Поговорили мы с ним и об этой коммуне. Из восьми комсомольцев, ночевавших на столах фабзавкома металлистов на Малой Лубянке, трое погибло на войне, двое — в лагерях на Севере. В живых остались Алешин, Петышкин и еще один — ныне академик. Я спросил Митю, бывал ли он у этого своего бывшего товарища.

— Ну, чего я так высоко полезу? — сказал он.

Допоздна проговорили мы с ним. Он несколько раз подымался с койки:

— Ну, довольно, не буду тебе больше мешать, отдыхай.

Однако не уходил, немного потоптавшись, спрашивал:

— Да, скажи вот, как ты думаешь... — и снова присаживался на койку.

Ни на Тракторном, ни на Уралстрое Митя ни о чем никогда не советовался со мной — только наставлял и поучал. И то, что теперь он то и дело спрашивал: «А как ты считаешь?», «А как ты думаешь?» — было мне приятно, ново и вызывало у меня к нему ту душевную близость, какой я раньше не чувствовал, хотя мы и были с ним старыми товарищами.

На другой день — это было воскресенье, — поднявшись утром с постели, я посмотрел в освещенное солнцем окно. В той маленькой камерке, где меня положили на ночь, окно общее с кухней, отделенной от нее дощатой, обклеенной обоями перегородкой. Из этого полуокна, между рамами которого висела длинная, набитая разными свертками и банками авоська — свидетельство того, что в квартире обходятся без холодильника, — видны были только угол двухэтажного каменного дома с пристроенным к нему зачем-то барачного типа тамбуром из свежего теса, старый, осевший на бок деревянный сарайчик, возле него — присыпанный угольной пылью снег и развешенное на веревке разноцветное белье.

«Да, тут вот пейзаж невеселый», — подумал я, вспомнив то, что увидел в городе вчера, сойдя с автобуса.

С этого и начался у меня разговор с Алешиными за завтраком, после того как их сын — чуть было не сказал внук, потому что в их отношениях к нему есть что-то дедушкино и бабушкино, — наскоро похватав жареной картошки, запихав в рот ломоть серого хлеба с маслом и одним духом вытянув стакан суррогатного кофе, умчался куда-то, подхватив с собой лыжи. Пока Сергей не ушел, разговаривать за столом можно было только о том, каким опасностям подвергаются на каждом шагу шестнадцатилетние мальчишки, возомнившие себя взрослыми людьми. Таня возмущалась тем, что они играют в хоккей с шайбой, а не с мячом, — с мячом не страшно, а шайбой можно покалечить ноги. Возмущало ее и то, что если эти мальчишки станут на лыжи, то черт сейчас же несет их на озеро, а там берег крутой и ничего не стоит сломать себе шею. Митя особого беспокойства на этот счет не выказывал, однако глядел на Сергея весьма укоризненно: нехорошо, брат, мать волнуется, а тебе хоть бы хны — и ухом не поведешь.

Только когда Сергей ушел и Таня, выскочившая вслед за ним в общий коридор, чтобы крикнуть что-то вдогонку, вернулась к столу, хозяева смогли заняться гостем.

Я сказал, что если поглядишь у них в окно, то не скажешь, что Машиносталя — новый город и даже, как говорят, прообраз городов будущего.

— А вы что хотите! — воскликнула Таня. — Разве с моим Митей дождешься квартиры в новых домах? На проспекте Мира люди живут, как при коммунизме, а мы все еще в первой пятилетке сидим...

Обождая, пока Таня выговорится, Митя сказал:

— В Машиносталях все есть — есть еще и старый поселок торфяников, который до революции один был тут на болоте.

— Вот-вот, хорошо еще, что нас с тобой туда не сунули! — перебила его Таня. — Ты бы и там в какой-нибудь халупе просидел до полного коммунизма. — А потом стала расхваливать Машиносталя: нет, что ни говори, а город хороший, проспект Мира — это же Москва, и в магазинах на этом проспекте — как в Москве, и лес рядом — за лето можно насолить грибов на всю зиму и ягод собирать на варенье — в этом году она много насолела и наварила... — Плохо только, что прачечной у нас в городе нет и неизвестно, когда будет, — неожиданно сказала она в заключение.

После завтрака мы с Митей продолжили этот разговор на улице — он предложил мне пройтись по городу. Сколько он кочевал по стране, прежде чем прочно осел наконец в Машиносталях. Как же ему было не показать мне этот город!

Выйдя из дому, мы очутились как раз против того деревянного тамбура, пристроенного к торцовой стене соседнего каменного дома, который я увидел, когда, проснувшись, поглядел в окно.

— Самострой? — спросил я.

— Самострой, — сказал Митя. — Дверь из общего коридора выходит прямо на улицу, а в коридоре люди держат картошку: вот когда начались сильные морозы — и побоялись, что замерзнет.

Затем я показал на сарайчик, возле которого лепилось еще несколько таких же сколоченных из старья клетушек.

— Много их еще в городе?

— Кое-где уцелели. Что тут из-за них было! — Митя pokrутил головой. — Какое-то высокое начальство приехало из области, новые дома похвалило, а на сарайчики поморщилось — портят вид города. Петьшкин учел это и постарался: на другой же день двинул целую колонну бульдозеров. Дело было летом, в одном сарайчике кто-то крепко спал с перепоя. В спешке недоглядели, и бульдозер чуть не придавил беднягу вместе с сарайчиком. Нашему главному архитектору худо тогда пришлось.

— А при чем тут архитектор? — спросил я.

— Петьшкин не сам руководил этой блиц-операцией — ему поручил... А потом ему же выговор закатил за то, что слишком поспешил, — добавил Митя и усмехнулся: — Король!

Тут я к слову рассказал ему о своей встрече с главным архитектором города и как тот вдруг убежал от меня.

— Похоже на него — энтузиаст, но испуганный оттого, что часто впросак попадает, — сказал Митя. — Дворцы с колоннами — не его выдумка, а ругают за них его. До сих пор еще прорабатывают, потому что один дворец надо еще достраивать, а денег на него уже не дают.

Я спросил, как же это все-таки случилось, что в городе чуть ли не в ряд соорудили три огромных Дворца культуры, а прачечную до сих пор не могут построить.

— Три промышленных кита у нас, — сказал он. — Первым построил дворец сталелитейный кит, на шесть колонн. Машиностроительный побил его восьмиколонным, а станкостроительный размахнулся на десять колонн да еще с тыла четыре поставил. И стадионом своим этот кит побил всех — стадионов у нас теперь тоже три, один другого больше... Да и бани три, — вспомнил он, — любят наши киты еще попариться с венником.

— Киты китами, а горсовет что же — разве не хозяин города? — спросил я.

— Что горсовет без промышленных китов? Сам у них на иждивении сидит. Вот и прачечной потому нет.

И Митя стал объяснять мне, в чем тут дело. Оказалось, что если раньше все в городе строили промышленные киты, как их называют тут, каждый сам по себе и для себя, то теперь этот порядок ломается, однако с трудом, потому что финансирование городского строительства по-прежнему идет главным образом через промышленность, так что будет ли в Машиносталя прачечная, зависит теперь... Митя думал, думал, от кого же это теперь зависит, перечислял много разных инстанций, а потом, запутавшись в них, сказал:

— В общем, только не от горсовета... Ну, что Петьшкин против директоров наших заводов? Они же все трое с золотыми звездами и депутатскими значками.

Выйдя на улицу Первой пятилетки, прилегающую к сталелитейному заводу, мы остановились перед опущенным шлагбаумом: по заводскому железнодорожному пути, пересекавшему эту улицу, маленький парово-

зик «овечка» дергал то вперед, то назад с десятков платформ с железным ломом. Толпа перед шлагбаумом росла, машины останавливались, выстраивались в хвост, а железнодорожный составчик все дергался и дергался.

— Чего это он? — спросил я, кивнув на машиниста, равнодушно поглядывавшего назад из окошечка своей «овечки».

— Груз через весы пропускает, — объяснил Митя.

Улица Первой пятилетки, поры нашей с ним молодости, а уже какой стародавностью веет и от этого паровозика, и от этого шлагбаума, и от углового дома по ту сторону железнодорожного пути — двухэтажного, выбеленного мелом, с железным козырьком над дверью.

— Вот он, наш горсовет, — сказал Митя, когда мы подходили к этому дому. — А вот и старейший ветеран его. — Здравствуйте, Варвара Степановна! — приветствовал он пожилую женщину, широким мужским шагом входившую в дверь под козырьком.

На ней была рыжая, изрядно потертая, может быть сохранившаяся еще со времен гражданской войны телячья куртка — весьма ноская одежда, но ныне ее редко увидишь, — и вязаный головной платок. Она напомнила мне, и не только телячьей курткой, мужской походкой, но и фигурой, плотной, низкой, лицом, по-бабьи добрым, мягким, со строгим, деловым взглядом, — нашу райкомхозовскую управделъшу, товарища Настю, хотя та, когда я ее знал, была еще совсем молодой, краснощекой девицей.

Женщина молча кивнула Мите, придерживая рукой и ногой открытую с растянутой пружиной дверь, другую руку она не вынимала из глубокого кармана куртки. Взгляд ее говорил, что она спешит, но если Мите что-нибудь нужно от горсовета, то пусть заходит к ней, она может уделить ему несколько минут даже сегодня, в выходной день.

— Что же это вы, и в воскресенье работаете? — спросил ее Митя.

— Ничего не поделаешь — к завтрашнему дню надо срочно подготовить материал по жалобам трудящихся, — сказала она и, видимо, убедившись, что Митя поздоровался с ней просто так, без особой нужды, снова молча, даже как-то сердито кивнула и скрылась за громко хлопнувшей дверью. У меня осталось впечатление, что она осудила Митю за то, что он проходит мимо горсовета вместо того, чтобы, коли уж встретил ее тут, воспользоваться этим и обратиться к ней по какому-нибудь вопросу.

— Лет тридцать уже сидит в горсовете и все за одним и тем же столом, на одной должности — заведует общим отделом, — сказал Митя. — Давно уже бабушка, полный дом внуков и внучек, но на пенсию еще не собирается. Все в городе зовут ее по имени и отчеству, все кланяются, а знаешь, какая у нее ставка? Не за деньги, за уважение работает...

Потом мы минуты две шли молча. Наш разговор во время этой прогулки по Машиностали часто обрывался на полуслове — Митя вдруг задумывался, шел, глядя на побелевшие на носках швы своих суконных на войлоке и резине ботинок — дешевая и хорошая в крепкую зиму обувь для пожилых мужчин, — и я, посматривая сбоку на него — худого, длинноногого, с болтающимися завязками спущенных наушников шапки, — думал, что все мы, за редкими исключениями, к старости становимся ближе к жизни, проще, человечнее, душевнее.

Мне кажется, что когда мы с Митей шли рядом молча, то думали и вспоминали с ним об одном и том же.

— О товарище Насте ничего не слышал? — спросил я.

— Нет, понимаешь, ну прямо как в воду канула, — сказал он.

В отличие от тех старых подмосковных городов, где целые века проходили, не оставляя заметного следа, в Машиносталя каждая улица хранит печать своего времени, и время это исчисляется здесь не столетиями, а годами нашей собственной жизни.

Сначала мы с Митей шли улицами, возникшими в тридцатых годах. Большие, стоящие плотной шеренгой, голые багрово-кирпичные дома казарменного типа соседствуют тут с одной стороны с такими же багровыми корпусами заводских цехов, а с другой стороны чего только не построено: и дома, похожие на бараки, хотя и двухэтажные, и дома-коттеджи, и даже такие, что напоминают дореволюционную уездную Россию с ее земскими управами и прочими казенными учреждениями.

Но вот мы выходим на площадь, к гигантским белым фигурам физкультурника и физкультурницы, которые стоят друг против друга у ворот стадиона, он — с футбольным мячом, она — с теннисной ракеткой в руках, и сразу попадаем из тридцатых годов во вторую половину пятидесятых. Это видно по расходящимся отсюда широким улицам с белыми шарами фонарей на столбах, по веселым фасадам пяти- и шестизэтажных легких домов с зелеными красными и синими балкончиками, будто украшенными флагами, по круглому, сверкающему своими многочисленными стеклами и свежими красками павильончику на углу против стадиона.

Ну, как было не заглянуть в этот заманчивый павильончик, тем более что мороз уже крепко хватал за нос. Митя сначала отговаривал меня, но я убедил его, что это будет не вредно.

— Разве только чашечку кофе из «экспресса»,— сказал он, уступив мне.

Величественная буфетчица с белой короной на голове, стоявшая за стойкой у сверкающего никелем кофейного аппарата «экспресс», спросила:

— С коньячком?

— Да, так, чтобы хорошенько согреться.

— Это можно,— сказала она и, живо опрокинув в две чашечки по рюмке коньяку, стала орудовать у своего громоздкого аппарата, приводящегося в действие множеством рычагов. По тому, как она сосредоточенно двигала ими, похоже было, что мы присутствуем при запуске в космос межпланетного корабля. Только что-то уж очень долго пришлось нам ждать, пока она привела этот «экспресс» в движение и нацедила из него несколько капель кофе в коньяк.

Мы вышли из этого царственного павильончика хорошо согрешившиеся, и Митя повел меня на проспект Мира показывать Машиносталя во всей красе ее нынешних дней.

Да, нельзя не пожалеть, что раньше лес здесь вырубался сплошь, подумал я, опять вспомнив разговор с главным архитектором города, когда мы вышли с Митей на проспект Мира. Эта построенная за последние годы улица оказалась точно такой, о каких я размышлял вчера — улицы-просекой. Сначала я был уверен, что мы вышли из города — впереди простиралось широкое полотно асфальта, прорезавшее старый березовый лес. Странно было только, что и тут один за другим идут автобусы, висят фонари на дугах, стоят столбы со стрелками указателей переходов, и не зря стоят — из леса к шоссе выходят много людей, пересекают его и снова скрываются в лесу. Но вот мы перешли шоссе, и асфальтовая дорожка через березняк вывела нас на широкий городской тротуар, прямо к витрине гастронома. Митя объяснил мне, что проезжую часть проспекта Мира от его тротуаров отделяют лесопарковые полосы шириной метров в тридцать, потому-то и кажется, что это не улица, а шоссе в лесу.

Свернув с дорожки, мы пошли по тротуару. С одного бока от нас белели стволы старых берез, в просветах между ними мелькали машины, а с другого бока высились пяти- и шестизэтажные дома с магазинными витринами. На солнце светло-желтая окраска домов, оттененная белизной снега и берез, выглядела празднично яркой, золотистой. Я сказал Мите, что между улицей Первой пятилетки и проспектом Мира лежит не так уж много лет, а кажется — целая эпоха.

— Тут селятся станкостроители, — сказал он. — Самый богатый у нас народ. Горсовету перепадает из их жилфонда только десять процентов.

В связи с этим опять зашел разговор о горсовете, и Митя высказался в том смысле, что, если говорить трезво, горсовету все равно не справиться со всем жилфондом, так уж лучше пусть хозяевами остаются заводы — это будет вернее, а то, что одни предприятия имеют больше средств на жилищное строительство, другие меньше, так это и правильно: уравниловки тут не может быть, так же как и в зарплате, и обижаться тут нечего — пока живем еще не в коммунизме.

Потом Митя повел меня закоулками куда-то в сторону от проспекта Мира — там должны были, как он слышал, скоро жечь последние, еще сохранившиеся в Машиносталя бараки дореволюционного поселка торфяников. Но мы опоздали: бараки эти, стоявшие на пустыре между новыми многоэтажными домами, уже догорали. Мы пришли на окруженное снегом пепелище, похожее на неглубокий котлован в черной земле. На дне его мерцали гривки огня. Казалось, что горит сама земля и огонь идет из глубин ее. Выжигая из земли осевшую в нее деревянную гниль старых бараков, огонь горел тихо, беззвучно, как электрический.

Только угол одного барака, с пристроенной к нему из разного хлама терраской, остался почему-то незатронутым огнем. С терраски свисала доска, и несколько мальчишек старались отодрать ее совместными усилиями с каким-то почтенным гражданином. Когда мы подошли ближе, я узнал в нем главного архитектора города, в отчаянном усердии рисковавшего своей дорогой шубой. Увидев рядом молодого человека, который нацеливался на него объективом фотоаппарата, мы с Митей весело переглянулись: ах, вот почему он так старается! Конечно, если есть шанс войти в историю, то тут уж нечего жалеть свою шубу.

Фотоаппарат щелкнул, и главный архитектор, стряхнув с себя обсыпавшую его труху и пыль, быстро зашагал куда-то вместе со своим фотографом, а мальчишки продолжали растаскивать уцелевший от огня угол последнего в городе барака.

— Бесхозные были, потому и простояли дольше всех, — сказал Митя про сожженные бараки. — Заводские, так те давно уже снесены, а эти ни за кем не числились, никто квартплату с жильцов не брал — жильцы хозяйничали сами, пристраивали, что хотели и как хотели, населения развелось — в каждом бараке на деревню хватило бы. Чтобы из одних этих бараков расселить людей по домам, горсовету пришлось израсходовать все свои десять процентов жилфонда за нынешний год.

Я подумал, что Митя, наверное, не раз уже втолковывал это Тане, когда она начала насадать на него, чтобы он похлопотал наконец о новой квартире, — неудобно ему соваться с этим вопросом, когда надо переселять людей из старых бараков.

Пора было возвращаться домой — Таня ждала с обедом, но Митя почему-то решил, что я обязательно должен познакомиться с работами машиносталевских живописцев: кто-то приехал из Москвы и сегодня проводит смотр их картин в мастерской художественного фонда. Митя сказал, что ни в одном городе, наверное, нет столько художников, сколько в Машиносталя, и это не какая-нибудь богема — рабочие, техники,

инженеры, большинство, правда, в живописи самоучки, но есть и с дипломами художественных училищ, эти работают в конструкторских отделах заводов конструкторами-художниками: превращают чертежи в рисунки — специальность, имеющая теперь большой спрос в промышленности. А для себя, для души все пишут только пейзажи — летом в воскресные дни, если хорошая погода, они с раннего утра вместе с грибниками тянутся из города в лес и на речку со своими ящичками и складными стульчиками.

Мастерская художественного фонда в Машиносталя помещается по соседству с ателье легкого женского платья, с улицы вход к ним общий, а затем: направо — художники, налево — портнихи. Когда мы вошли в мастерскую, смотр уже начался. Посреди комнаты на табурете сидел пожилой седовласый мужчина в пальто. Вероятно, это и был приехавший из Москвы представитель от Союза художников. Пригнувшись, он рассматривал пейзажи, которые по очереди, вынимая из объемистых папок, расставляли перед ним на полу у стенки местные художники, стоявшие полукругом позади и по бокам от него.

Происходил отбор картин для областной выставки. В тишине время от времени раздавался только голос седовласого:

— Эти вот березки отложите, они с мыслью... и эти сосны тоже, а закат уберите, идеи в нем не вижу, — говорил он.

Вперед нельзя было протолкнуться, и мне, чтобы увидеть что-нибудь, приходилось вставать на носки, вытягивать шею. А Митя с высоты своего роста мог глядеть на сменяющиеся у стены пейзажи, не особенно вытягиваясь.

Пейзажи не отличались разнообразием — березки, сосны, дубы, закаты и снова березки...

Посматривая на Митю, внимательно обзоревавшего эти пейзажи окрестностей Машиносталя, я подумал, что не случайно он привел меня к художникам. Значит, его все-таки тянет к живописи. Не жалеет ли он теперь, на старости лет, что упустил предоставлявшуюся ему возможность пойти в художественное училище, променял его на штамповочную мастерскую.

Потом, когда мы вышли на улицу, я спросил его об этом.

— Нет,нисколько,— сказал он.— Большим художником все равно не стал бы, а вот так, как наши конструктора-художники, неделю рисовать с чертежей модели машин, а в выходные дни писать для души пейзажи — это не для меня, не умею разбрасываться.

Интересно походить по незнакомому городу с человеком, который давно в нем живет и все тут знает, тем более если это твой старый товарищ и ты его теперь, спустя много лет, заново узнаешь.

На обратном пути мы заглянули в два-три лучших машиносталевских магазина — Митя хотел, чтобы я сам убедился, что в Машиносталя не хуже, чем в Москве.

7

Когда мы вернулись домой, Таня сказала, что приходил Ваня Волошин, пожалел, что не застал Митю, подождал его минут пять и ушел.

Таня предполагала, что с ним что-то стряслось.

— Пришел, снял шапку, сел и все пять минут трепал себя вот так, — сказала Таня и не пощадила своей прически, показывая, как он возбужденно тормозил себя за волосы.

На мой вопрос, кто такой Ваня Волошин, Митя ответил коротко:

— Мастер наш один. Электротехник.

За обедом он все время молчал. Я уже начал привыкать к тому, что время от времени Митя впадает в задумчивость, и в ожидании, пока он что-то там додумает, разговаривал с Таней. Она жаловалась мне, что вот знакомых у них в городе много, одних бывших учеников Мити сколько, и заходят к нему люди часто, когда им надо посоветоваться по какому-нибудь делу или когда что-нибудь стряется, а просто так, сидя за столом с Митей, не поговоришь — целый час может просидеть, слова не проронив, все только слушает.

Митя, склонившись над тарелкой, задумчиво подбирал вилкой макароны с фаршем, и до него как будто не доходило то, о чем мы разговаривали.

Наконец, отодвинув от себя тарелку, Митя заговорил об этом самом забегавшем к нему сегодня Ване Волошине — как он, еще будучи учеником машиностаналевского ремесленного училища, брякнул, что живым людям не полагается ставить памятники, и чуть не вылетел за это из училища. Прошло уже лет десять, суть дела забыта, но кое-кто еще помнит, что ему когда-то приписывали какие-то бредовые идеи — это о памятниках-то! — и теперь кричат: «И раньше был известный псих, а как окончил филологический, совсем свихнулся». Филологический он окончил заочно, уже работая в училище мастером по электротехнике, рассказывал Митя.

Я спросил, чего это электротехника понесло вдруг в филологию.

— Думаю, что из-за любви к своей жене, — сказал Митя. — Жена у него учительница; когда он ухаживал за ней, училась на филологическом.

— Тоже мне идея! — усмехнулась прибиравшая стол Таня. — Училась бы своей специальности и был бы уже инженером, а то что такое — филолог с университетским значком, а работает простым мастером... Он и до сих пор блажит, хотя у него уже двое детей, — сердито бросила Таня, уходя на кухню.

Снова немного помолчав, Митя стал рассказывать, как недавно при приеме Волошина в партию один мастер пришел к секретарю партбюро и заявил, что теперь он сам убедился, что у Волошина в голове не все в порядке — заучился: настраивает учеников против администрации.

Мите, как помполиту, пришлось разбираться — что это вдруг случилось с Волошиным. Выяснилось, что накануне вечером в столовой училища Волошин — он в тот день дежурил — накинулся на мастеров за то, что они распоряжаются здесь на кухне, как у себя дома, заказывают для себя специальные блюда — бифштексы и рамштексы, — отлично зная, что все готовится им поваром за счет общего котла. Ну, и взъелись же на него...

Митя и сам давно знал про это, но, как он сказал мне, постепенно притерпелся к разным поблажкам мастерам — они ведь тоже не кто-нибудь, а рабочие люди. Но потом он все же решился пойти на ссору — иначе ему не отстоять было Волошина.

Таня, мывшая на кухне посуду, вернувшись к нам, присела к столу послушать, о чем это Митя говорит, и сразу насторожилась, потом нахмурилась и вдруг раскричалась:

— Как же это так — со всеми перессорился, а я только сейчас случайно узнаю об этом. Нет, ты просто не человек, а дерево, дерево! Настоящее дерево! Столько времени молчать!

Таня еще несколько раз выкрикнула:

— Дерево! Дерево! — Громко постучала костяшками пальцев по столу, показывая, какое он дерево, и продолжала кричать, уже обращаясь

ко мне: — Ну, что с ним делать? Теперь ведь они его самого съедят за эти бифштексы. Вот увидите — в конце концов они его обязательно съедят. Разве он может защитить себя? Других защищает, а когда самого себя надо защитить — совершеннейший теленок!

Я ждал, что Митя зажмет руками уши или, ничего не сказав, уйдет в другую комнату, закрыв за собой дверь, как он делал это в таких случаях раньше, или, может быть, скажет: «Не беспокойся, не такой уж я теленок, как ты думаешь, не так-то легко меня съесть», — что-нибудь в этом роде, но он сидел и молча смотрел на Таню с виноватой улыбкой.

Наверно, ему было неловко, что он скрыл от жены свои служебные неприятности, а со мной вот поделился ими, а может быть, и жаль, что она нечаянно узнала об этих неприятностях и теперь вот волнуется за него.

Таня вскоре успокоилась и даже, подойдя к Мите, погладила его по голове.

— Ох, и беда мне с тобой! — сказала она.

Митя задумчиво вертел в руке положенную мною на стол коробку спичек, разглядывал ее яркую цветную наклейку, потом вдруг встал и спросил, не хочу ли я сходить с ним к Волошину — надо все-таки узнать, что там у него стряслось.

Я не отказался — не так часто встречаешь техника с филологическим образованием.

Волошин живет на окраине города, собственно говоря, уже за городом, на улице, похожей на деревенскую, где нет ни тротуаров, ни мостовой, ни фонарей — вся она завалена снегом. Как сказал Митя, дома тут строились рабочими в индивидуальном порядке на государственные ссуды, а кто будет мостовую прокладывать — неизвестно, два завода спорят об этом, и горсовет пока не принимает улицу в свое ведение, даже почта не признает ее, да и как почте признать, когда улица не имеет еще названия, а дома — номеров.

— Петышкин как-то осенью поехал на эти кулички, но не доехал, застрял в грязи на своем «москвиче». С тех пор воюет с директорами из-за дороги, а они валят один на другого, — говорил Митя.

Мы пробирались с ним во тьме тропинкой, протоптанной в снегу вдоль штакетных заборчиков, сопровождаемые лаем собак. И у дома Волошина нас встретила надрынным лаем прыгавшая за калиткой маленькая черная собачонка, до того злая и верткая, что переворачивалась в воздухе, и казалось, из кожи вылезет вон, но обязательно перепрыгнет через калитку и вцепится в меня или в Митю. Митя тщетно призывал ее к благоразумию. Собачонка успокоилась только после того, как из-за угла дома выбежал хозяин в одной сорочке с галстуком, без пиджака и, подхватив ее на руки, погладил по голове.

Митя представил меня Волошину:

— Мой товарищ, вчера приехал, двадцать три года не виделись...

— Двадцать три года! — воскликнул Волошин, и я подумал, что, конечно, для него это огромнейший срок, не то что для нас с Митей, уже потерявших счет годам.

Не похож Ваня на семейного человека, отца двух детей, на вид он скорее подросток, однако руку пожал мне так крепко, что я потом долго потирал ее. К нему удивительно подходило имя — Ваня, именно Ваня, а не Иван, тем более не Иван Васильевич, как он называл мне себя.

Дом Волошина только что построен. Снаружи это обычная деревенская изба, но внутри он распланирован и отделан по-городскому. Во-

лошин строил его несколько лет своими руками в свободное от работы время и в те же годы заочно учился в университете — непостижимо, как этот недоросток мог совместить все: работу, учение, постройку дома.

Раздевшись в передней, мы вошли в большую, ярко освещенную комнату с свежестыканным полом и стенами. Видно было, что хозяйка этого нового дома еще не набрались сил обставить свое новое жилище как следует: в комнате стояли только покрытый клеенкой стол и несколько стульев. Зато на стенах висело много дешевых детских ковриков с желтыми и зелеными зверушками. Такие же коврики я увидел через открытую дверь и на стенах второй комнаты, спальни, где по полу были рассыпаны разноцветные кубики и среди них валялись тряпичные куклы. Оттуда вышли и остановились в дверях, глядя на нас, две маленькие девочки — старшей из них было не больше четырех лет.

Мы сели у стола, и Митя спросил Ваню Волошина, почему он не обождет его, когда заходит.

— Да я только узнать... — замылся Ваня, а потом вскочил. — Нет, неужели это правда, что вы от нас уходите?

— Ухожу? Куда?!

— Слышал, что у вас был разговор...

Митя сказал, что разговор действительно был: кое-кто чего-то вдруг заинтересовался, нет ли у него настроения перебраться поближе к Москве, но он ответил, что ему и тут неплохо.

— А я-то испугался: неужели, думаю, Дмитрий Павлович после этой истории с вольфрамом сдаст свои позиции. Значит, нет? Ну, тогда все, все!.. Я сейчас, одну минутку! — сказал Ваня и куда-то выбежал.

Я спросил у Мити, что это за история. Он объяснил: потребовалось в училище два килограмма вольфрама, надо было как-то оформить это через заводское начальство, но директор не захотел канителиться, скомандовал мастеру, и тот, когда повел ребят на завод, там, в цехе, потихоньку рассовал им эти два килограмма по карманам.

Вернувшийся в комнату Волошин с порога радостно объявил, что жена сейчас быстренько сообразит что-нибудь к столу, и, подсев к нам, он обеими руками, по-деревенски, пригладил свои волосы.

— Ну и что? — подтолкнул я остановившегося на полуслове Митю.

— Пока ничего. Говорят: подумаешь — вынесли в карманах! Так не для себя же, а для училища, чтобы лишней волокитой не заниматься.

— А знаете, что ребята говорят? — сказал Волошин, обернувшись ко мне. — Сами мастера учат нас воровать у государства — вот что они говорят! Как же Дмитрию Павловичу не поднять было шум?

— Положим, шум-то поднял ты, — сказал Митя. — Я только поддержал.

— Нет, вы подумайте только! — заволновался Волошин. — Учат учеников тайком, в карманах, выносить с завода материал — и говорят, что это пустяк. Если это пустяк, то кого же мы тогда воспитываем? У нас так: лишь бы учебная программа была выполнена, а все остальное — пустяки. Мастера питаются в столовой за счет общего котла — пустяки. Нательное белье топором изрубили — тоже пустяк, нечего шуметь, сор из избы выносить.

— Как это топором? — спросил я.

— Ребята свалили во дворе на колоду да изрубили, как капусту. Не носят наши ребята кальсоны, силой не заставишь, круглый год ходят в майках и трусах. А им положены рубашки и кальсоны, и ничего тут не поделаешь — бери, такой порядок.

— Третий год уже просим заменить кальсоны на трусики — ну что за проблема, а как в стенку горох, — объяснил мне Митя.

— Вот и доходит до того, что белье рубят, как капусту. Говорят, что все это пустяки, мелочь, нечего шум подымать, а я буду! Не могу этого видеть. Только вы уж, Дмитрий Павлович, не сдавайте своих позиций. А то я решил, если Дмитрий Павлович уйдет от нас, то я тоже не останусь — на завод пойду электриком, на кранах буду работать.

«Нет, действительно Ваня Волошин, видно, стал филологом только для семейного счастья — почему человеку не предоставить себе такую роскошь, если он это может», — решил я и с нетерпением ждал, когда же покажется нам покорившая его филологичка.

Она появилась с тарелками в руках и, поздоровавшись, стала молча накрывать на стол. На строгом учительском лице ее совершенно ясно было написано, что возится она с нами только потому, что такова уж несчастная доля любой женщины, даже с высшим образованием: раз ты жена, то подавай гостям мужа угощение, хотя тебе совсем не до того и ты не только мужняя жена, а и преподавательница литературы в старших классах.

Но Ваня Волошин или ничего не читал на лице жены, или читал нечто совсем противоположное. Глядя, как расставляются на столе тарелки с колбасой, сыром и хлебом, он так счастливо улыбался и потирал руки, будто ему хотелось сказать нам и он только стеснялся: вот как у него дома все хорошо и какая у него замечательная жена.

Когда она присоединила к поставленной на стол закуске бутылку десертного вермута и затем удалилась из комнаты, так и не проронив ни одного слова, Митя не без грусти сказал:

— Ну что ж, Ваня, давай выпьем с тобой по рюмочке — и мы пойдем, а то у жены твоей, наверное, куча неисправленных тетрадей и к урокам готовиться надо.

Мы не засиделись. Ваня пошел проводить нас, и опять он вышел во двор в одной рубашке с галстуком, опять взял на руки свою злую собачонку. Митя гнал его назад, боясь, что он простынет на морозе.

— Я-то?! Да что вы, Дмитрий Павлович! — И Ваня похлопал себя по груди, показывая, какой он здоровяк.

Он проводил нас за калитку. Когда мы остались одни, Митя сказал:

— Посмотрел бы ты, каким изголодавшимся заморышем приехал он к нам в училище. Долго никак не мог наесться досыта. У себя в деревне жил без отца, с больной матерью, — отца его, председателя колхоза, после войны посадили на десять лет за то, что хлеб в поле сгнил.

Остаток вечера мы провели дома, у телевизора, наслаждаясь семейным уютом и покоем, которому нисколько не мешал грохот, иногда раздававшийся за стенкой, — там скандалил пьяный сосед.

— Это он только по воскресеньям, а в будни его не слышно: придет из своей сапожной мастерской и стучит у себя тихонечко, — сообщила мне Таня, как и вчера сидевшая у телевизора с шитьем.

Шла спортивная передача, и мы с Митей в ожидании «Последних известий» успели поговорить и о смягчении международного положения, и о трудностях сельского хозяйства, и о задачах художественной литературы. С ним можно поговорить обо всем, все его интересует, и он не будет кричать, волноваться, сердиться, если в чем-нибудь не согласится с тобой, скажет лишь: «Ты так думаешь?»

На экран мы поглядывали только время от времени, когда уткнувшийся в него Сергей начинал хвататься за голову или уж слишком громко переживал. Один он полностью был поглощен происходящей на экране спортивной борьбой. Таня спросила, а кто же будет сдавать за него черчение, и он ответил, не отводя глаз от экрана:

— А ты сама и будешь.

Это тоже не нарушило семейной идиллии у телевизора — Таня ограничилась тем, что сделала большие глаза, а Митя покачал головой. «Ну что ж,— подумал я,— зато дома мир и тишина».

8

Я рассчитывал вернуться в Москву к своим делам в понедельник с утренним автобусом, но случилось так, что мне пришлось задержаться. Когда я проснулся в понедельник, Мити уже не было дома. Он ушел на работу раньше, чем я предполагал. Так как мы накануне вечером не догадались на всякий случай попрощаться, ему следовало бы, уходя из дому, разбудить меня, но он постеснялся сделать это, как и тот раз в Москве во время финской войны.

Неудобно было мне уезжать, не попрощавшись с Митей, и я решил, что ничего особенного не случится, если задержусь в Машиносталя до вечера, а пока поброжу по городу.

В морозную солнечную погоду — в ту зиму эта погода держалась в Подмоскowie на редкость устойчиво — в Машиносталя дышится легко, как в лесу. «Да,— думал я,— Машиносталя не чета какому-нибудь Красноборску, недаром, как свидетельствовала тому попавшаяся мне на глаза доска с объявлениями об обмене квартир, люди стремятся в этот город из Одессы, Львова, Херсона, Симферополя и Феодосии». А после того как, дойдя до конца города и вернувшись в центр, я зашел в знакомый уже мне павильончик с «экспрессом» и согрелся здесь чашечкой кофе с коньяком и рюмочкой коньяку без кофе, мне показалось, что даже развешенное по балконам на веревках белье нисколько не портит, а скорее, наоборот, украшает Машиносталя. И когда я невзначай оказался возле дома с вывеской «Горсовет», меня вдруг осенила идея зайти к товарищу Петышкину. Мы же с ним уже знакомы и даже на «ты». И предлог есть — почему забывает Митю Алешина, своего старого товарища по комсомолу?

Крутая деревянная лестница привела меня в полутемный коридор второго этажа, а коридор — в большую комнату общего отдела. Там у дверей висела на вешалке куча верхней одежды и головных уборов, напротив вешалки стоял потертый кожаный диван, а в другом конце комнаты, у окна, за большим столом с приставленным к нему сбоку маленьким столиком для пишущей машинки сидела знакомая уже мне заведующая отделом.

Сейчас на своем рабочем месте тридцатилетней давности, с папиросой в руке, она еще больше напоминала мне нашу райкомхозовскую, как в воду канувшую потом Настю. Вот и печать она поставила на бумажке, которую подал ей посетитель, точно так же поставила, как это делала товарищ Настя — левой рукой, держа правую с папиросой на отлете.

Я спросил, можно ли увидеть товарища Петышкина. Заведующая общим отделом посмотрела на меня удивленно, будто я с неба свалился, и молча показала пальцем через плечо на дверь с вывеской. На ней было черным по белому написано: «Петышкин». И я понял, что руководителям здесь чужд дух бюрократизма и чтобы попасть к председателю горсовета, не нужно ни к кому обращаться: каждый может сам открыть дверь и посмотреть, у себя ли он.

Петышкин разговаривал по телефону и был в кабинете не один: люди сидели и возле его стола, и на диване, и у другого длинного стола, торцовой стороной примыкавшего к председательскому, и на стульях, расставленных вдоль стен, сидели вразброс по одному самым неприглядным образом — кто, развалившись и вытянув ноги на всю их

длину, смотрел в потолок, кто, уткнувшись в папку с бумагами, задумчиво почесывал карандашом затылок, а какая-то женщина под самым носом кричавшего в телефон председателя стряхивала со своей папиросы пепел в его пепельницу. Ясно было, что люди собрались здесь свои, горсоветовские, чтобы увязать какой-то вопрос, и я попятился было назад, но Петышкин, увидев меня одним глазом, почему-то нетерпеливо поманил пальцем к себе, а потом этим же пальцем показал на свободные стулья: чего, мол, топчешься в дверях, садись, будь как дома.

Я сел на первый попавшийся стул и по своей журналистской привычке сейчас же вынул из кармана совершенно не нужные мне тут блокнот и авторучку.

— Ты мне, пожалуйста, не юли, отвечай прямо: выполнишь в срок или нет, — кричал в трубку Петышкин. — А то вот тут у меня в кабинете сидит сейчас журналист из Москвы, приехал специально по этому вопросу, собирает материал... Да, да, именно от редакции «Известий»...

При этом он ужасно хитро подмигнул мне. Все обернулись в мою сторону, увидели, что я сижу с раскрытым блокнотом, и стали многозначительно переглядываться. Ну, думаю, и влип же в историю... С чего это ему в голову пришло, что я от «Известий»?

А Петышкин все подмигивал мне. Потом, откинувшись на спинку стула с трубкой в руке, он устало потянулся и говорил уже благодушно, лениво:

— Вот это я понимаю, это уже другой разговор, так мы сейчас тут и запишем, а то юлишь, смешно просто...

Положив трубку, он встал и объявил:

— Все, товарищи, все будет обеспечено.

Я вспомнил одного своего старого знакомого, бывшего директора завода, ныне министерского работника, человека очень обаятельного, особенно когда он улыбается, который знает это и не пройдет мимо зеркала, чтобы не улыбнуться самому себе, — вспомнил и подумал, что Петышкин тоже, если бы возле его стола было зеркало, сейчас обязательно бы глянул в него хоть краешком глаза.

Когда мы остались одни, он сказал мне:

— Вы уж извините, что я воспользовался случаем для психической атаки.

Не знаю, забыл ли он, что позавчера в машине сразу перешел со мной на «ты», или здесь, в его служебном кабинете, это не имело значения, но улыббался он так же обаятельно, как и мой старый знакомый.

Мы не долго оставались одни, в кабинет то и дело кто-нибудь заходил. Петышкин разговаривал с людьми, подписывал бумаги, накладывал резолюции, звонил по телефону — при этом все номера набирались на память, — кричал, ругался, и все это делалось с таким удовольствием, даже когда кричал, будто только что человек дорвался до настоящей работы и никак не может насытиться ею. А в короткие промежутки между звонками и разговорами он говорил мне:

— Да, да, верно, нехорошо, обязательно надо зайти к Митяю, у него в училище без меня сразу начались нелады с новым директором, сейчас вот снова, а я ничего не знаю, сам он не зайдет, нет, нет, такой уж, не то чтобы гордый, а как вам сказать... Я-то уж его знаю. Партия для него прежде всего. Скромница и честнейший человек, но с ним и мне трудно-вато бывало — очень, очень уж прямолинейный, гибкости иногда не хватает... Да, да, зайду, обязательно зайду, во что бы то ни стало... Крутишься вот так целые дни как белка в колесе. Старуха моя жалуется — с утра до ночи одна-одинешенька. Приду, а она сидит и плачет. Сколько лет уже прошло после войны, а все об одном думает. Два сына у нас были, и оба убиты. Начнет перечитывать их письма с фронта — и в слезы...

На прощание Петышкин сказал, что если мне потребуются какие-нибудь материалы по горсовету, то я в любое время могу заходить к нему и пусть меня не стесняет, что у него всегда полный кабинет народа.

Нет, он все-таки не верил, что я приехал в Машиностанль только для того, чтобы повидать своего старого товарища, и никаких материалов тут не ишу.

Потом я еще долго ходил по городу, но уже больше размышлял, чем поглядывал вокруг. Я думал, справедлив ли Митя в отношении своего бывшего товарища по комсомольской коммуне. Конечно, они люди очень разные, но что ни говори, а вылетели-то они из одного гнезда. И почему это мы в молодости совсем как-то не замечали, что характеры у нас у всех разные, а если и замечали, то это не имело для нас особого значения?

Когда я вернулся к Алешиным, Таня сказала, что Митя ждал меня, ждал и, не дождавшись, пообедал, иначе бы опоздал на лекцию о международном положении для партактива, а пропустить ее никак не мог, потому что лекцию читает известный московский международник...

— Вы, конечно, знаете его. Он сын... Ах, как же его фамилия? — Она стукнула себя по лбу. — Вот дырявая башка стала!.. Отец его еще во время революции работал вместе с Лениным.

Я напомнил Тане фамилию лектора, и она ужасно ругала себя за то, что фамилия такого знаменитого большевика могла выскочить у нее из головы.

Я решил, что раз Митя пошел на лекцию, придется задержаться мне в Машиностанли до завтра.

Таня весь вечер горбилась над чертежом: несмотря на то, что рука у нее, как она говорит, сохнет, переводила с карандаша на тушь заданную Сергею в техникуме работу по черчению.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— А что мне еще остается делать, если он завтра должен сдать чертеж, а сам где-то болтается с товарищами, — сказала она.

Таня работала за столом, а я стоял у открытой форточки и курил: сама Таня не боится табачного дыма, но она оберегает от него Митю, и поэтому курить мне у Алешиных приходилось только в форточку, которая у них всегда открыта.

В ожидании Мити мы разговаривали о том о сем. Между прочим, я поинтересовался, как Таня отнеслась к тому, что Мите предлагали перейти на работу поближе к Москве, но он отказался.

— Никуда мы не поедем из Машиностанли, — сказала она решительно. — Довольно уже намотались. Куда только не носило нас!

— Разве это плохо? — спросил я.

— Кто говорит, что плохо, — ответила она.

Но когда я вспомнил о нашей встрече на Тракторострое и как Митя воевал там за социалистические рекорды по бетонной кладке, Таня сказала, что вот это ей обидно: сколько бетонщиков прославилось на всю страну, а то, что заводилой всего дела был товарищ Алешин, никто до сих пор не знает, и поругала меня, что я тогда не написал о нем.

— Может быть, еще напишу, — пообещал я.



В. ТЕНДРЯКОВ

★

РАССКАЗЫ РАДИСТА

Солнышко

Давно вышли из строя старушки «6-ПК», про которых радисты говорили: «Шесть-пэка» натрет бока» — полк получил новые радиостанции. Меня назначили начальником одной из них.

Есть начальник, есть поблескивающий ручками на панели управления благородно серый инструмент — «12-РП» в двух упаковках. Не хватало лишь подчиненного штата.

Положено — три радиста, но где там три... Сняты с полевых кухонь помощники поваров — меняй черпак на винтовку, иди в роту, окапывайся, стреляй. А помощника повара радистом не поставишь.

Хожу в начальниках, отлаживаю рацию, надоедаю своему непосредственному начальству — командиру радиовзвода лейтенанту Оганяну:

— Даешь штат!

— Обещают.

— Трех?

— Одного.

— Ну, двоих выхлопчи.

Оганян молчит, напускает на себя значительность. Он и сам хотел бы трех. Одна надежда — Оганян упрям, авось переупрямит.

Не вышло.

У нашей землянки появляется парень — плотноват, плечист, с заправочкой бывалого вояки, лицо кругло и румяно, как домашний пирог, и по всему лицу от уха до уха растеклась улыбка — предел добродушия, чуть-чуть приправленная снисходительностью. Улыбается, словно говорит: «Не тушуйся, я — парень простой...»

А я и не собираюсь тушеваться — как-никак начальник, не хватай голый рукою.

— Солнышков.

— Что — солнышко?

— Не солнышко, а Солнышков, фамилия моя такая. Зовут Виктором.

А физиономия лучится улыбочкой. При такой физиономии да такая фамилия — ну и ну, попадание в яблочко.

Я веду улыбчивое Солнышко к зуммерному столу.

Мы уже давно стоим в обороне, не только выкопали землянки с накатами, не только пробили от землянки к землянке тропинки, но даже соорудили перед своим входом такую роскошь, как зуммерный стол с ключами и гнездами для наушников. За этим столом мы время от времени тренируемся в приеме и передаче «морзянки». Время от времени, не

насилуя себя, так как наш лейтенант Оганян покладист, считает, что фронт и без того тяжел, незачем излишне обременять солдата.

Солнышко сел за стол, покосился на ключи, но улыбается так, словно я не будущее его начальство, а милейшая теща, собирающаяся поставить перед ним масляные блины и забористый первачок.

— Ты работал радистом?

— Угу.

— Батальонным? Полковым? В артиллерии?

— На «катюшах».

Ответы мгновенны, никакого раздумья, взгляд прям, открыт, добр, и ни на секунду не сходит задушевная улыбочка с полных губ.

— На «катюшах»? Ого!

О «катюшах» в окопах рассказывают легенды. И всякий, кто хоть как-то был связан с этим таинственным и могучим оружием, сам легендарен для пехотинца. Вот ведь где побывал парень, хотя я бы предпочел, чтоб он пришел ко мне с флота или из авиации — там классные радисты.

— На ключе работал?

— На чем?

— На ключе. Вот на этой штуке.

Улыбка и ответ:

— Немного.

Не так-то просто оценить мастерство, скажем, бухгалтера или артиллерииста. Надо долго испытывать, приглядываться, да и после этого не всегда-то появляется твердая уверенность — справляется на «пять» или вытягивает на «тройку». Но мастерство радиста узнается сразу и с математической точностью, стоит только задать вопрос. И я его задал:

— Сколько групп принимаешь?

— Чего?

— Сколько групп цифрового текста на слух?..

И вперые Солнышко на секунду замялся, но только на секунду, не больше.

— Сколько? Да сорок.

— Сорок!

На меня напала робость. А вдруг да, чем черт не шутит... Лучшие наши дивизионные радисты принимали тогда на слух двадцать три пятизначных группы в минуту. Двадцать три — лучшие! А я, обученный впопыхах за какой-нибудь месяц в школе младших командиров, я, от природы не блиставший способностями, один из тех, кому «медведь на ухо наступил», принимал всего восемь групп, ну, при удаче и усердии — девять. Сорок! Я даже не знал — существуют ли такие виртуозы. Наверно, существуют. Вдруг да редчайший экземпляр сидит передо мной, глядит счастливыми глазками мне в зрачки, улыбается: «Ничего, мол, не тушуйся, я — парень простой».

— Вы... — начальническая спесь слетела с меня, я стал заикаться от уважения. — Вы не ошиблись?

— Ну, может, не сорок, может, двадцать. Точно не помню.

— А может, пять или четыре? — спросил я.

— Может, и пять, — охотно согласился он.

Я сердито уставился на него, а он глядел невиннейше, глядел и улыбался, и в его улыбке — все то же: «Ты не тушуйся, сам видишь, я — парень простой».

И я не выдержал гонора, расхохотался. Счастливо засмеялся и он.

— Ну, ладно, скажи — кем был?

— Минометчиком. Командиром батареи быть приходилось.

Ну уж нет, теперь меня так просто не купишь — был бы командиром, хоть какие-то знаки различия на петлицы нацепили, а они чисты.

— Плиту таскал?

— Таскал.

— Вот этому верю. Раз плиту таскал, будешь таскать и рацию. Спина, вижу, крепкая.

Я ведь знал, что мне все равно другого не дадут, выбирать не приходится.

Так у меня появился подчиненный — первый и единственный в жизни, других не имел.

Из всей радистской премудрости Витя Солнышко усвоил на слух лишь две цифры — «двойку» и «семерку». Первая напоминала по звуку фразу: «Я на горку шла...», последняя — «дай, дай закурить...»

Но в нем сразу же открылся талант — быть там, где его не ждали.

В первый же день моего начальствования я высунув язык бегал по штабу полка, искал своего подчиненного. Был на кухне, был в землянке связных, сбегал в тыл к обозникам, всюду спрашивал:

— Не видали Солнышка?

Мне отвечали:

— Задери голову. Вон же висит, никуда не упало.

Наконец я рванулся к телефонистам, чтоб обзвонить все штабы батальонов, и увидел рядом с дежурным по коммутатору его, Солнышка, как всегда, счастливо улыбающегося.

На другой день я встал пораньше, чтоб мой подведомственный штат не успел испариться, поднял с нар:

— Идем, буду учить, как разворачивать рацию.

Вышли в степь. Я стал показывать, как укреплять шесты, как разбрасывать усы антенны. Витя Солнышко потел, усердно бегал вокруг меня, присаживался у развернутой радиостанции, а я колдовал с высокомерным видом древнеегипетского жреца:

— «Тюльпан!» «Тюльпан!» «Тюльпан!» Я — «Клевер!» Я — «Клевер!» Как слышишь? Как слышишь? Даю настройку: раз, два, три, четыре, пять... Пять, четыре, три, два, один... Как слышишь? Я — «Клевер!» Прием.

Щелчок переключателя, шорох и хруст в наушниках, а затем буйно-напористый голос с полковой радиостанции:

— «Клевер!» «Клевер!» Я — «Тюльпан!» Слышу вас хорошо. Прием.

И Витя Солнышко восторженно шлепал себя по ляжке:

— Ах ты, кузькина мать! Аж в ухо бьет.

Неудивительно — полковая радиостанция находилась в каких-нибудь пятистах шагах от нас.

Наконец я доверил Вите Солнышку микрофон, приказал:

— Сам установи связь.

Солнышко решительно взялся за дело.

— «Клевер!» «Клевер!» Эх, так твою перетак! Спутал... «Тюльпан!» «Тюльпан!» — заорал он па всю степь. — Как слышишь?!

— Слышу. дай бог. Даже без рации, — последовал ответ.

— Вот ведь техника! — умилился Солнышко.

Когда я доверил Вите упаковку питания, он от усердия такого наплел, что чуть не сделал короткого замыкания. Мне пришлось долго ковыряться.

Наконец анодные батареи были прикреплены к своим клеммам, аккумулятор — к своим, я поднял голову:

— Напортачил... Ну, вот... Все в порядке...

Однако не все в порядке. Вити Солнышка не было на месте. Там, где он сидел, — лишь примятая полынь. А только что минуту назад я слышал над ухом его виноватое сопение.

Справа, слева, спереди, сзади нет — исчез! Степь пуста, только в стороне возятся незнакомые артиллеристы с пушкой.

— Эй! — крикнул я слабо. — Хватит в прятки играть! Вылезай!

Не тут-то было. Спрятаться можно только в сурчиную нору — степь, как блюдо. И меня охватило отчаянье — кого это мне подсунули? Что у него вместо пилотки — шапка-невидимка на башке?

Как ни совестно, а пришлось связаться с полковой рацией:

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Не сбежал к вам Солнышко?

— «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Опять закатилось? Сочувствуем. Здесь вроде не светит...

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Буду сворачиваться...

— Сворачивайся, «Клевер». Но как ты притащишься с двумя упаковками?

— Как-нибудь притащусь. Черт бы побрал помощника...

Я один свернул радиостанцию. Шесты, оттяжки, две упаковки по бокам — я, груженный, словно ишак, побрел к штабу с твердым намерением предстать перед лейтенантом Оганяном, потребовать — даешь другого.

Но едва я сделал пять шагов, как Солнышко вырос передо мной потный, пыльный, с мазутным пятном на щеке, с широченной улыбкой — счастливый человек, не ведающий о своей вине.

— Артиллеристам помогал... В воронку ввалились...

И я непедагогично раскричался:

— Шалава! Ты и в бою такие нырки устраивать будешь? Сегодня же доложу! Полетишь к чертовой матери из радистов! С меня хватит. Пусть другие нянчатся!

А Солнышко задумчивее улыбался: «Ты не тушуйся зря... Сам видишь, не хотел тебя обидеть».

Он взвалил на свои плечи и приемопередатчик, и набитую тяжелыми батареями упаковку питания, зашагал бодро, улыбаясь в открытую степь.

Пускалось солнце, в лицо дул вечерний, прохладный ветерок.

И я размяк...

Мы меняли оборону, были походы. Телефонисты не успевали наводить связь. И тут радисты, от которых наше командование обычно отмахивалось: «Э-э, вижу да не слышу, проволочка надежнее», оказались нужны.

В походах я держал Витю Солнышка за гимнастерку. Он нес упаковку питания и в любую минуту мог исчезнуть, и тогда наша радиостанция будет нема, как камень.

Новые места, новые землянки, новая жизнь.

Немецкие батареи утюжили степь, перепадало и нам, приютившимся в пологом овражке. Один снаряд пролетел под брюхом старой коняги, таскавшей полевую кухню, подпалил, сказывают, даже шерсть, срубил жиденькую ветлу, врезался в землю и... не взорвался. Случалось и такое.

Отбивалась одна атака за другой, передовая захлебывалась.

Я устал следить за Витей Солнышком.

Пролетавший «мессер» обстрелял повозки, подвозившие боеприпасы к минометной батарее, уложил одного и ранил второго повозочного. Старшина, сопровождавший повозки, растерзанный, с дергавшейся от контузии щекой, метался среди степи.

И, конечно, старшине подвернулся не кто иной, как Витя Солнышко, улизнувший из-под моего надзора. И, конечно, он, не раздумывая долго, взгромоздился на одну из повозок, погнал коней через степь, к передовой...

Средь окопанных минометов, выставивших стволы к синему небу, метался лишь командир батареи, остальные сбежали. С пологого взлобка скатывались немецкие автоматчики, падали в высокую траву и ползли. Командир батареи снимал замки...

Автоматные очереди хлестали по огневой, курилась пыль, брызгали комья глины от брустверов. Обычно летящие в воздухе пули высвистывают застенчиво и вкрадчиво, сейчас они истерично визжали, рвались сухими хлопками. Автоматчики били разрывными.

И в это-то время на место, откуда сбежали не новички, а обстрелянные солдаты, ворвалась пара взмыленных коней, запряженных в повозку. Витя Солнышко стоял во весь рост и нахлестывал разгоряченных лошадей, обезумевших от близкой автоматной трескотни, свирепого визга пуль, остановить их было нельзя, они могли унести и ящики с минами, и лихого повозочного прямо к немцам. Витя направил лошадей на окоп, они перемахнули, а повозка влетела колесами и перевернулась, вывалив прямо на батарею мины, а заодно и самого Солнышка.

Лошади помчались через высокую степную траву, перевернутая повозка кидалась из стороны в сторону, спугивая на пути автоматчиков.

А Солнышко, схватив из разбитого ящика мину, бросился к миномету. С ним-то он умел справляться куда лучше, чем с радиостанцией «12-РП». Подскочил и командир батареи...

Первая мина разорвалась в траве, неподалеку от рухнувших коней. Сразу же выскочили сутуловатые фигуры автоматчиков, пригибаясь, бросились назад, на пологий склон взлобка, столкнулись с теми, кто спускался, перемешались, замялись.

Вторая мина, взвывая к небу, описав крутую дугу, опустилась в сутолоку на склоне... За ней еще и еще... Автоматчики бросились врассыпную...

На пригорке остались только трупы и воронки. Принялись бросать за пригорок наугад, для остротки... Трудились до тех пор, пока не упали в бессилии, и Витя Солнышко счастливо известил:

— Прикурить дали...

А командир батареи вдруг расплакался. Он был еще очень молод, мо- ложе самого Вити Солнышка.

— Ты чего? — от души удивился Витя.

— Думал: или эти прихлопнут, или... или... расстрел. Батарея-то драпанула... Они ползут — и конца им нет...

Мне не рассказал Витя, что он ответил, думаю, просто улыбнулся: «Не тушуйся, парень...»

Оправившись, командир батареи вдруг спросил:

— Да ты-то кто?

И, конечно, Витя не без гордости ответил:

— Радист.

Тут же, не медля, решил удивить своими знаниями:

— На слух принимаю... Вот слушай: «двойка» — «я на горку шла». Уловил? А вот: «Дай, дай закурить». Уловил? Это, брат, «семерка».

Но командир минометной батареи, размазывавший по лицу грязь пополам со слезами и потом, не сразу оценил ученость Вити Солнышка.

Тут появился хромавший на обе ноги, с дергающейся щекой старшина, который вел за собой сконфуженных минометчиков. Старшина выглядел теперь иным — не растерянный и растерзанный, а грозный начальник, спасший положение:

— Дерьмоеды! Курицы мокрые! Ишь, разлетелись, сучьи дети!.. — кричал он на минометчиков.

— Коней я тебе угробил, — сообщил Солнышко. — Вон там лежат... Кони добрые, должно, овсом кормил...

— Коней достанем. Я ведь за тобой на второй повозке гнался, у меня тоже правую подшибло... Спасибо тебе, парень. Счастье мне, что на такого героя наскочил... А эти?..— Грозный старшина повернулся к минометчикам.— Минометы побросали! Я бы вас, сукиных сынов, уж тогда заставил поплясать! Вы бы у меня повертелись, блохи прыгучие! Кланяйтесь в ножки парню, что выручил.

Солнышко не стал вмешиваться во внутренние дела, решил проститься:

— Ну, бывайте здоровы — мне пора.

— Да ты кто есть-то? — спохватился и старшина.

— Радист,— почтительно ответил за Витю командир батареи и еще почтительнее добавил: — На слух принимает.

Других сведений о Вите Солнышке он сообщить не мог.

А в это самое время я занимался привычным делом — бегал по штабу полка и справлялся:

— Солнышка не видали?

И мне сочувствовали:

— Опять закатилось?

— Закатилось, холера. Чуть отвернись — уже нет. Жизнь проклятая, буду проситься в телефонисты.

Он появился к вечеру. Я его застал в землянке. Сжав коленями котелок, он уписывал кулеш, взглянул на меня, с набитым ртом поприветствовал своей неизменной улыбочкой.

— Что мне с тобой делать? — в лоб спросил я.

Но вразумительного ответа не дождался. Солнышко улыбался.

А утром радистов одного за другим стали таскать в штаб полка. Принимал сам командир, подполковник Усиков.

— Кто из вас лучше всех принимает на слух?

Первым назвали Квашнина, он из кадровых, старый радист, вряд ли уступит в приеме на слух армейским и дивизионным радистам.

— Где был вчера от трех часов до шести?

— Дежурил. Ровно в пятнадцать ноль-ноль связывался со штабом дивизии.

— Не подойдет. Кто из вас еще хорошо принимает на слух?

Перебрали всех, дошли до меня.

— На слух принимаешь?

— Так точно. Немного.

— Хотя бы немного. Где был вчера от трех до шести?

— Здесь, товарищ гвардии подполковник!

— Где это — здесь?

— В штабе полка, товарищ гвардии подполковник!

— Где именно?

— Искал Солнышка.

— Но-но, без шуточек.

— Виноват, Солнышкова. У меня радист — фамилия Солнышков. Его искал, товарищ гвардии подполковник.

— Ах, есть еще радист?

— Недавно назначили.

— Он на слух принимает?

— Никак нет, товарищ гвардии подполковник!

— Так какой же он радист?.. А впрочем, других больше нет... Позови-сюда это... как его, Солнышко...

Всем было ясно — случилась какая-то неприятная заварушка. Сам

командир полка разбирается. А кто еще из радистов мог отлучиться и набедокурить, как не Витька? И мне стало жаль его.

В душе я надеялся, что его, как всегда, придется долго искать, а там, глядишь, случится что-нибудь — или приказ о наступлении, или вызов командира полка в штаб дивизии. Замнется, забудется, мимо пройдет.

Но на этот раз Витя Солнышко был на своем месте. От безделья он нашел себе занятие — надраивал полый шинели алюминиевый котелок и пытался разглядеть свою глупую рожу в доньшко. При этом сам себе улыбался.

— Иди, командир полка тебя вызывает.

Нисколько не смутился, нисколько не удивился, словно командир полка вызывал его каждый день не по одному разу. Оправил под ремнем гимнастерку, надвинул пилотку — на два пальца над бровью, — с сомнением поглядел на свои пыльные, покоробленные кирзовые сапоги — стоит ли их чистить, решил: не стоит, сойдет и так, — двинулся, пристукивая каблуками, унося затаенную улыбочку — отзвук той, с какой гляделся в дно котелка.

Вернулся через полчаса — над круглой физиономией торчит пилотка, край на два пальца над несуществующей бровью, заправочка — как положено, улыбочка — как всегда: «Не тушуйся, я — здесь...»

— Ну?..

— К ордену представляют.

— За что?

— Немцев остановил. Наломали бы дров...

— Не пойму... Какой орден?

— Может, Красного Знамени, может, Ленина.

— Героя не хочешь?

— Может, Героя, а что?..

Его представили к ордену Красной Звезды. Но от представления к получению — путь не малый, на этом пути случаются и кочки.

До сих пор был лозунг: «Вперед на запад!» Сейчас на танках, подерживающих наш полк, выведены надписи: «Вперед на восток!» Сталинград лежал к востоку...

На пути наступления подвернулись землянки.

Неплохо немцы тут обжились. Первые, кто заскочил в землянки, дивились:

— Эва! Музыкаой забавлялись.

Щупали черный рояль.

— Мать честна! А зеркало-то! Откуда такое сперли?..

Ворочались перед огромным трюмо, любовались — рожи грязные, ошпаренные морозом, мятые, пузырящиеся под ремнями шинели, кирзовые под сумки, сумки с гранатами, обвисшие подшлемники, косо сидящие каски — хороши, так и подмывает шархнуть от самого себя.

Но кто-то шмякнул свой вывоженный в окопах вещмешок на крышку рояля, в валенках, в полушубке полез на инструмент:

— Эх-ма! Разведу сейчас музыку — три ночи не спал.

Другой ткнул его в зад:

— Пододвигся-ка, место двуспальное...

Были тут и широкие нары, укрытые ковром. На них лишь завистливо косились, но не занимали — тут начальство заляжет.

Устроились в два этажа — на нарах командир батальона со своим штабом, под нарами и на полу, спина к спине, голова к голове — телефонисты, рассыльные, мы — радисты, какие-то случайные солдаты из взвода ПТР со своими неуклюжими, как старинные пиццали, ружьями. Их пробовали выставить на мороз, но где там — угнездились, огрызаются,

дымовыми шашками не выкуришь. Набились так, что ладонь ребром не протиснешь, к выходу по малой нужде пробирайся по плечам, ногам, головам.

Солнышко рядом со мной, держу на прицеле, не отпускаю от себя ни на шаг. Но вот поднялся.

— Куда?

Лезет к двери, мнет лежащих, те ругаются:

— Полегше, дядя. Не мостовая — люди живые.

— Куда?

— Тернежу нет... Сейчас вернусь.

Вернулся, не обманул, но застрял, не доходя до меня, возле сержанта Степанова из телефонистов. У Степанова влажные, доверчивые глаза, лицо без хитрости, а сам пройдоха, каких мало. Выманил у меня старую добротную полевую сумку на подметки для сапог, обещал сала. Сапоги он себе сшил, а сала — выкуси. Солнышко и Степанов шепчутся, к ним прислушивается солдат из ПТР — острая морщинистая физиономия старой лисы. Не к добру.

— Солнышко!

Ползет ко мне.

— Что там затеял?

Сдвинул шапку на лоб, почесал затылок, чуточку обескуражен, только чуточку, на большее никогда не хватало.

— Слушай, младший сержант... Отпусти на часок.

— Эт-то куда?

— Да надо.

— Ложись и спи.

— На нейтралке, в овраге, — немецкие склады...

— Ну и что?

— Как — что? Говорят, спирт в канистрах — залейся. Консервы разные...

— Ладно, ладно — забудь.

— Ты пивал коньяк?

— Ну, нет.

— А я пил.

— Положим...

— Хочешь, принесу?.. Заграничный! Запах, что духи.

— Коньяк тебе нужен! Шило в заднице!

— На часок, на один часок!

— Ложись!

Я неумолим. Вдруг да отдадут приказ — вперед! Останусь с двумя упаковками, без помощника. Нет уж, дудки, сегодня не выгорит.

Витька повздыхал, поканючил, поерзал — уронил голову на вещмешок, через минуту спал сном младенца.

Уснул и я...

Проснулся оттого, что мой бок никто не греет. Поднял голову — рядом пусто, Солнышка нет. Приподнялся на локте: черт бы всех побрал, нет и Степанова, да и старик солдат из пэтэровцев исчез.

Смыться во время наступления — это уж слишком. Взять бы да доложить... Но на фронте не церемонятся: самовольный уход расценивается как дезертирство — если не расстреляют, то, как пить дать — упекут в штрафную роту. Как ни зол на Солнышка, а подводить под монастырь желания нет.

Кошусь на дежурного телефониста. Он в любую минуту может встрепенуться, почтительно дернуть за хромовый сапог комбата:

— Товарищ капитан! Вас — ноль один. Срочно!

Ноль один — командир полка, он отдаст приказ о наступлении. И всколыхнутся все, а я буду сидеть у двух тяжелых упаковок, как бабамешочница на вокзале, пропустившая поезд.

Но телефонист, распустив губы, дремлет без шапки у телефона, веревочная петля наброшена на стриженую голову, с ее помощью телефонная трубка без рук держится у уха... Ходуном ходит землянка — невпроворот сап и храпение, все спокойно...

Наступая на плечи, руки, головы, выслушивая сонные ругательства, я выбрался на волю...

Темноту хоть режь ножом, только у самых ног серовато маячит снег. Идет ленивая ночная перестрелка. Пролает автоматчик с той стороны, наш ответит: «Слышишь, не сплю, сукин сын, так-то...» Очнется от дремоты третий, четвертый, тоже для порядка пустят очередь в черные небеса, забрешет вразнобой передовая, как разбуженные собаки в деревне.

Выкатилась ракета, выписала знак вопроса, погасла, не долетев до земли... После ракеты перестрелка не разгорелась, а увяла, значит — ползущие под немецкие окопы Витя Солнышко с приятелями не замечены...

Все спокойно. Такое спокойствие может длиться час, два, сутки, трое суток, недели и месяцы. Под Старыми Рогачами всем казалось, что остановились на часок, а простояли два месяца... Все спокойно...

Я влез обратно в теплую, густо запашистую землянку, добрался до своего места.

«Эх, сниму стружку!»

Через несколько минут я спал.

Они перекурили с солдатами, сидевшими в передовых окопах, предупредили их: «Обратно полезем, дуриком-то не стреляйте, еще ухлопаете...» Командиру роты обещали поднести при удаче. Командир роты не остановил их, что ему — не его состав, головы потеряют — он не ответит.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Нейтральная полоса — место для разгону, нельзя же сидеть с противником нос к носу вплотную. Нейтральная полоса — земля, из которой уже вышибли противника, но не прибрали еще к рукам. Земля неизведанная, неразгаданная, такая же таинственная, как и намерения врага. Откуда обычно узнаются сведения, что там, в непрощупанной полосе, находятся богатые склады?.. А, как правило, узнаются, распространяются с быстротой молнии среди солдат. До командования они доходят в последнюю очередь.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Немецкий пулемет бил поверх их голов, куда-то в тыл к нам. Трассирующие пули рвали на клочки темноту.

Перележали и вспыхнувшую ракету. Их не заметили только потому, что немцы и подумать не могли — русские решатся разгуливать возле их окопов.

Ракета осветила склон оврага, в нем — темные двери землянок, возле которых снег измят скатами машин. Склады!

Дверей много, склады разные — обмундирования, горючего, боеприпасов. Звериным чутьем угадали те, какие нужны.

Подползли и... рывком к двери — один, второй, третий... Прислушались — тихо. Порядочек, теперь уже так просто отсюда не выкурят.

Поплотней прикрыли за собой дверь, посветили фонариком. Бочки, ящики, бумажные мешки. Кажется, не ошнблись. И запах провиантского склада — затхло-влажный с кислятинкой.

Нашарили парафиновые плошки. Там, где были немцы, всегда валяются эти плошки и пакетики сухого спирта. Этот спирт — не спирт, огнем горит, пить нельзя.

Зажгли плошку, поставили на бочку, огляделись уже внимательнее, с прикидкой — с чего начать?

Нет, не ошиблись!..

Сорвали крышку с первого ящика — пакеты с пестрыми наклейками, верно, концентраты. Ну их к чертям! Второй ящик набит, как снарядами головками, банками консервов. Уже кое-что...

В углу в плетеных корзинах, каждая в своем гнезде, пыльные, богом и людьми забытые бутылки. Поднесли к свету одну, склонились голова к голове, поразмыслили над мудреной этикеткой: «Черт ее знает! А вдруг какая-нибудь жидкость от вшивости...» С грехом пополам — все трое грамотеи, как на подбор, — разобрали:

— Вроде «ром» написано?..

— Что-то похоже.

Все-таки не поверили, выковыряли пробку, приложились по очереди, глянули проникновенно друг другу в глаза: вонюч, как буряковый самогон, значит пить можно.

Не ошиблись!..

Начали набивать вещмешки, не торопясь, без жадности, с умом — бутылку от бутылки, прокладывая стружкой, чтоб не побились, банки консервов захватили на закуску.

Мешки набиты, снова переглянулись, без слов поняли друг друга. Во-первых, зачем нести добро только в мешках, когда можно унести и в собственном брюхе? Во-вторых, не мешает обстоятельно проверить разные марки — какая лучше. В-третьих, под богом ходим, вдруг да на обратном пути шлепнет, так и умрешь, не понюхавши, — совсем обидно.

Выдвинули бочку, подставили ящики. Садись, братва, не стесняйся, будьте, как дома. Расковыряли банку консервов, прикинули бутылку с одной этикеткой, с другой. По этикетке и выбрали ту, которая меньше раскрашена, — ну их, фокусы.

Крякая и закусывая, опорожнили, сообщили доверительно:

— А ничего...

Принялись за вторую:

— А ничего...

Почали третью...

Наконец спохватились: пора и честь знать. Взвалили на плечи мешки.

Сюда ползли — зарывались в снег, сейчас — это лишнее. Расхлобытнули двери:

— Не закрывай. Завтра наши придут.

По-прежнему шла ленивая перестрелка. Били автоматчики. Плевать, пусть стреляют.

Обнялись, двинулись, услужливо поддерживая друг друга. Эх, море по колено! Споем, братцы! Почему бы и нет. Грянули:

Я уходил тогда на фронт

В далекие кра-а-я!..

Перестрелка разом смолкла. Далеко в стороне еще тьявал чей-то автомат, но и он сконфуженно заткнулся. Тишина, непривычная, пугающая тишина.

А в тишине от всей души:

И в Томске есть, и в Омске есть

Моя любимая...

Немецкие автоматчики, зарывшиеся в землю и снегу в нескольких шагах от песни, не стреляли. Неспроста, подвох, черт знает этих русских...

Автоматчики не стреляли, а, должно быть, немецкую оборону лихорадило в эти минуты: кричали телефонисты, подымались с угретых нар офицеры, выскакивали к орудиям расчеты...

И в Омске есть, и в Томске есть...

Сбились, запомнили слова, незлобиво переругнулись, затянули другую:

Эх! ты Галю, Галю молоденька!..

Их накрыл шестиствольный миномет уже у наших окопов, песня оборвалась, попадали в снег... Мины рвали на клочки мерзлую землю, степь задергалась от огненных всплесков. Над хмельными головами исчезло темное небо.

Едва кончилась первая партия выпущенных мин, как снова раздался несмазанный скрип — шестиствольный миномет посылал новые мины. И снова заснеженная земля выворачивалась суглинистой изнанкой...

Ответили наши минометные батареи, ударили с тыла орудия. Вовсю заговорили онемевшие автоматчики...

До утра не успокаивалась взбаламученная передовая.

Утром перед нашей землянкой вырос Витя Солнышко — лицо серое, глаза тусклые, ворот шинели в черной крови, в пятнах засохшей на шинельном сукне крови плечо и грудь.

— Витька! Ранен?

— Угу.

И, шатнувшись, обессиленно повалился навзничь.

Я бросился за санинструктором.

Подвернулся фельдшер, тонкий, ловкий, с кошачьими, ласковыми движениями. Распотрошив свою сумку, он обмыл шею, положив голову Солнышка на колени, быстро перебинтовал.

— Жив? — спросил я.

— Наполовину.

— Умрет?

— Вряд ли.

— Рана опасная?

— Самая чепуховая — кожу на шее осколком рассекло.

— Но что с ним? На ногах не стоит.

— Неудивительно. Мертвецки пьян.

Мне удалось засунуть Витю Солнышка под нары, в самый дальний угол, — пока начальство хватится, авось очухается.

И начальство хватилось. По телефону передали: сержант Степанов убит наповал в голову, незнакомый пэтэровец умер на ротном КП, ему осколком вырвало живот.

В батальон срочно прибыл лейтенант Оганян, заглянул под нары, покачал головой, почмокал губами:

— Нехорошо... Ка-кой молодой!.. А?.. Что из него дальше будет? Порядочный человек или негодяй?

Меня же волновала не столь далекая судьба Вити Солнышка, а та, которая должна решиться в ближайшие дни. Так просто с рук не сойдет, передадут в военный трибунал. Мне тоже достанется...

А из-под нар время от времени высывалась рука, грязная, цепкая, как лешачья лапа, хватала протянутый котелок, потом несколько минут

из подвальной глубины слышалось сопение, чмокание, чавканье — пустой котелок вылетал наружу, и снова — тихо; до тех пор, пока кухня не станет раздавать обед,— жив Витя Солнышко или почил в мире, никому не ведомо.

Огания обещал прислать мне нового человека, но не успел.

Подняли — вперед!

Витя Солнышко вылез на белый свет, грязный, опухший от своего медвежьего сна, как сытый кот, добродушно жмурящийся на суету. Он решительно натянул на себя ляжку упаковки питания.

В наступлении некогда разбирать внутренние неурядицы — шагай вперед, не оглядываясь вокруг. Но после-то наступления — оглянутся, вспомнят, возьмут Солнышка за воротник.

А Солнышко полностью ожил, стал допрашивать меня с пристрастием:

— Ты ром пил когда-нибудь?.. Не-ет. А я вот попробовал.

В наступлении батальонный радист должен находиться рядом с командиром батальона — не отставай ни на шаг.

Наш комбат-два, капитан Гречуха, долговязый, сутуловатый, подборок в мрачной щетине, хотя был шеголем — и брился каждый день, и в самые сильные морозы ходил только в хромовых сапожках.

Мне казалось, что в этого человека просто природа позабыла вложить чувство страха; случилось, он хватал ручной пулемет и вместе с солдатами шел в атаку, полосуя на ходу из пулемета. Солдаты его боялись куда больше, чем целого батальона немцев.

Он лез в самое пекло, за ним лез и я да еще должен глядеть краем глаза, чтоб Солнышко, несущее упаковку питания, не сбилось с пути, не закатилось куда-нибудь на сторону. Комбат Гречуха длинноног, всей ноши у него — пистолет да планшетка, а одна упаковка рации весила около двадцати килограммов. Поспеть за комбатом можно было лишь при отчаянном усердии. И мы усердствовали, всегда поспевали. Но самое обидное: комбат никогда не обращал на нас внимания, не пользовался радиостанцией.

Он не боялся пули, но недоверчиво относился к снарядам: «Прихлопнет — не узнаешь, кто тебя стукнул...» (Словно, если узнаешь, от этого легче.) Развернутая радиостанция вызывала у него раздражение:

— Раскорячились. Запеленгуют, лови тогда снаряды... А ну, подальше с этой шарманкой!

И вот мы ему понадобились.

Роты залегли перед маленькой станцишкой. Впереди ровное место, пересеченное железнодорожными путями, густо-бурячного цвета водокачка, голые деревья окружали две копотно-черные трубы — место бывшего станционного здания.

С водокачки бил пулемет, заткнуть его можно было только артиллерийским снарядом.

Капитан Гречуха ругался, обещал снять семь шкур с каждого телефониста — они путались со своими катушками где-то далеко в степи.

И тут-то Гречуха вспомнил:

— Где здесь эти, с ящиками?

По цепи метнулась команда:

— Радистов к комбату!

Метнулась и заглохла, потому что я находился рядом.

Быстро выкинул штыревую антенну, раскрыл приемопередатчик и с досадой оглянулся, почему Солнышко не подsunул мне под руку вилку от кабеля с упаковки питания. Но ни Солнышка, ни упаковки питания, увы, не было.

— Солнышко!! — в отчаянье позвал я.

И кругом засмеялись. Но из-под сросшихся бровей молча смотрели на меня темные глаза комбата, в них-то смеха не было.

— Солнышко!!

Кто-то спросил в стороне:

— Может, тебе заодно и луну с неба?

Комбат глухо произнес:

— Ну!.. Есть связь?

Если б у меня под рукой был пистолет или автомат, я бы в эту гнуснейшую, самую позорнейшую в моей жизни минуту, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб. Но пистолетом я пока не обзавелся, а автомат мы держали один на двоих — таскать на шее и радиостанцию, и увесистое оружие тяжеловато. Автомат мы носили по очереди, сейчас вместе с ним, как и с упаковкой питания, где-то гулял Солнышко.

— Ну?!

— Связи нет и не будет,— ответил я.— Расстреляйте меня.

— Почему?

— Помощник сбежал с половиной рации.

Комбат пошевелил кобуру на поясе, сказал:

— Тебя, сморчка, я не трону. А твоего помощничка — уж добыюсь — в расход пустят.

В это время подоспели обливающиеся потом телефонисты, притянули нитку. Расторопно подключили аппарат, деловито стали вызывать:

— «Левкой»! Это «Ромашка»... Сидим в квадрате сорок пять. Мешает водокачка. Срочно подбросьте «огурчиков».

И «огурчиков» подбросили...

Через сорок минут мы захватили станцию. Я уже не бежал в хвосте у комбата. Я ненавидел Солнышка, в эти минуты мне было несколько не жаль, что его расстреляют. А то, что это случится, сомневаться не приходилось: комбат-два слов на ветер не бросал.

Мы только что расположились под разбитой «огурчиками» водокачкой, телефонисты едва успели заземлить свой телефон, как раздался голос:

— Товарищ капитан! Гостей ведут!

Комбат поднялся, в его неподвижно-тяжеловатом, с мрачным подбородком профиле я заметил легкое удивление.

Через покалеченный, тощий пристанционный скверик вышагивали два немца, и, видать, не простые солдаты. Один, подтянутый, высокий, с непокрытой, благородно седой головой, глядел в землю. Второй, плотней, пошире, в кепи с наушниками, в длинной, заплетающейся в ногах шинели, суетливо оглядывался и спотыкался на каждом шагу.

Высокий и седой шел как-то скособочившись. Я взгляделся и ахнул: немецкий офицер нес нашу упаковку питания. Да, нашу! Уж ее-то я мог узнать издалека.

Немцы подмаршировали ближе. Сзади них, с автоматом в одной руке, другой почтительно придерживая на весу толстый портфель из желтой кожи, вышагивает Витя Солнышко. Роба, что полная луна в майский вечер, так и светится, на груди болтается новенький электрический фонарик — видать, только что снял с офицера, нацепил на себя. Роба сияет, а грудь — колесом, словно украшена не фонариком, а орденom. И этот солидный портфель — для министра, не ниже.

— Стой!.. Эй, проходимцы! Вам говорят!.. Хальт!

Немцы остановились перед нами. Тот, что нес нашу упаковку питания, смотрел по-прежнему в землю, второй со страхом уставился в заросший черной щетиной подбородок капитана.

Витя, перекинув через плечо автомат, козырнул свободной от портфеля рукой:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить!.. Вот эти по балочке умотаться на машине хотели... Задержал, словом.

— Где? По какой балочке?

— Да тут, за станцией. Без дороги чешут, сволочуги. Я очередь дал, стекло разбил, шофер носом клюнул... А вот эти сидят, как сурки, глаза тарашат, пистолеты держат, а не стреляют... Ну, я им пригрозил: «Вывлежай, буржуазия!»

— Молодец!

— Да вот, чтоб не забыть, в машине ящичек остался. Хотел я их заставить тащить, да раздумал — не справятся. Невелик вроде, а тяжеленек. Железный.

— Сейф! Несгораемый?!

— Кто его знает, может, и сгораемый. И вот это... Вдруг пригодится. — Витя протянул портфель.

— Вот что, друг! Гони их с ходу в штаб полка вместе с портфелем. А ящичек, сообщи, мы сейчас приборем.

Солнышко вытянулся и козырнул:

— Товарищ гвардии капитан! Нельзя мне отлучаться от рации. Пошлите кого другого.

— От рации?.. А-а, это ты?.. — Капитан взгляделся в улыбающуюся физиономию Солнышка. Тот улыбался, как и всем: «Ты не тушуйся. Сам видишь, я прост...» Капитан перевел взгляд на пленных, махнул рукой:

— Черт с тобой!.. Эй! Тищенко! Васильев! Доставить в штаб полка. Да чтоб вежливенько, чтоб волосок не упал!.. — Бросил Солнышку: — Отдай им портфель... Везучий ты, парень.

— Так точно, повезло! — бодро ответил Витя.

— А это что за ящик? — спросил капитан.

— Это наше... Ну-ка, друг, освобождайся. Быстро! Быстро! Ну, вот и все. Бывай покуда, вряд ли встретимся.

За спинами немецких офицеров встали два пехотинца, подтолкнули легонечко:

— Шнель, ребятаки.

Витя бережно положил к моим ногам упаковку питания.

В портфеле, который Солнышко торжественно доставил, оказались бутерброды и бутылка пива, а в железном ящике — документы. Седой офицер, возвративший мне в целости и сохранности упаковку питания, оказался полковником.

К Вите Солнышку прискакал адъютант:

— Ты оружие у этих отобрал. Где оно?

— А зачем им оружие? Отвоевались.

— Не рассуждать! Личное оружие им оставляют.

— Пистолеты если?.. Так они их побросали. Поди подбери. И какое это оружие, сам посуди...

Адъютант уехал ни с чем.

А Солнышко врал: он прибрал пистолеты немецких штабистов, они лежали у нас в карманах. Мне Витя подарил крошечный бельгийский браунинг полковника, чтоб лишка не гневался.

Солнышко не наказали, но и благодарности не объявили, обещанный орден тоже придержали. Он по-прежнему оставался радистом в моем подчинении. Я удесатерил за ним надзор.

В учебе он преуспел: помимо «двойки» и «семерки», стал отличать на слух еще две цифры — «четверку» и «тройку». Первая звучала, как «горе не беда», вторая — «идут радисты...»

Письмо, запоздавшее на двадцать лет

Это произошло летом 1943 года. Имена и фамилии здесь подлинные.

И на фронте случалось отдыхать.

Мы стояли по Донцу во втором эшелоне. Редкие снаряды из самых дальнобойных немецких орудий долетали до наших окопов, да и те, пущенные на авось, не приносили большого вреда. Не рвутся мины, не свистят пули, связные не ползают на брюхе из роты в роту. Телефонисты всюду протянули двойную линию, где нужно — окопали кабель, где нужно — закрепили: ничто не зацепит, ничто не порвет, связь, как в столице, — снимай трубку, говори с кем хочешь. Радисты снова сколотили зуммерный стол, тренировались. Витя Солнышко, если не удавалось улизнуть, дремал на тренировках, проверяя на практике старый солдатский афоризм: «Солдат спит, а служба идет».

Иногда мы ходили купаться на Донец, иногда заглядывали в наполовину уцелевшую прифронтовую деревеньку, где еще оставалось несколько семейств, в том числе одно — мать и дочь. Мать выглядела старухой, дочери было лет шестнадцать — бледная от недоедания, умеренно миловидная, с застенчиво пугливыми глазами. Звали ее Настенькой. На эту-то Настеньку мы и ходили любоваться, просто так, без какой-либо задней мысли.

Чаще нас навевывался лейтенант Оганян. Приходил, садился, молчал, досиня выбритый, насупленный, из-под густых и жестких бровей глядят в сторону загадочно темные, маслянистые глаза. Настенька при нем обмирала от страха. Где ей было знать, что лейтенант Оганян — безобиднейший человек на свете.

Изредка офицерам к солдатскому котелку шей выдавали допаяк — какую-нибудь банку рыбных консервов и пачку печени. Лейтенант Оганян никогда не съедал его один, нес к нам, а уж мы-то без угрызения совести помогали ему расправиться, даже забывали сказать «спасибо». Лейтенант Оганян поставил себе за правило всеми силами оберегать своих подчиненных. Мы не рыли штабных землянок, только изредка, в крайней нужде помогали запарившимся телефонистам наводить связь; всякий проштрафившийся был уверен, что наш взводный станет защищать его с пеной на губах перед начальником связи. Да и учебой нас не обременял. Зуммерный стол был скорее щитом, ограждавшим от попреков: мол, радисты бездельничают в обороне. А мы-таки бездельничали, всласть отсыпались, телефонисты и связные ПСД звали землянку радиовзвода — «Сочи».

Лейтенант Оганян не осмелился признаться Настеньке, зато признался мне:

— Хар-рошая девушка...— Вздох, мечтательно грустный взгляд.— Вот кончится война, останусь жив...— Снова вздох.— Честное слово, женьюсь... Не веришь?

Если б я был постарше и поумней, то наверное бы сообразил и не рассмеялся. Но мне лишь недавно исполнилось девятнадцать лет, я из кожи лез, чтоб выглядеть тертым калачом, не шутите — знаю изнанку.

И я рассмеялся:

— Завтра уйдем, послезавтра забудешь. Сколько еще таких хороших встретишь.

Я не подозревал, что плюнул в душу лейтенанту Оганяну. Он взорвался:

— Мал-чишка! Испорченный человек!

— Ну вот и обиделся...

— Мол-чать! Как разговариваешь?.. Я кто? Лейтенант! Ты кто? Младший сержант!.. Встать! Ка-ак разговариваешь?!

Ну, это было слишком. Разговаривали-то всего-навсего о Настеньке — что ж. я должен вытянуться в струнку, как в тылу на параде, взять под козырек: «Так точно! Хорошая, глаз не отвести! Непременно женись, товарищ гвардии лейтенант!»?

И мы шумно поспорили. Через полчаса помирились.

Но на следующий день меня вызвал начальник связи полка. Он вообще не любил радистов, а меня особенно: без особого на то повода звал «философом» — более презрительной клички для него не существовало.

Начальник связи сидел на нарах без сапог, китель с капитанскими погонами накинут поверх нижней рубахи, шлепает картами, которые он на днях отобрал у нас.

В сторонке сидит смущенный и надутый Оганян. Неужели донес? Такого еще не случалось. Вряд ли...

Начальник связи поднял на меня по-начальнически беспощадный взгляд:

— В-вы!.. В-вы кто так-кой?..

Называет меня на «вы» — значит, табак, попал не в добрую минуту.

— В-вы кто такой, спрашиваю?.. Мол-чать!.. Ка-ак стоите? Где вы правочка?

Я рад бы встать по всем правилам устава навтыжку, но землянка низкая, упираюсь пилоткой в бревенчатый накат.

— В-вы с кем пререкались? Кто он вам?!. Может, он ваш подчиненный? Может, в-вы завтра мной захотите командовать? Может, мне сейчас вскочить и встать по стойке «смирно»?.. Мол-чать!

Молчу. Кошусь на оскорбленно надутое лицо Оганяна и гадаю: он или не он? Похоже, до меня начальник связи песочил самого Оганяна.

— Распустили вас! Интел-лигенция! Жирком заросли, от сна опухли! Ф-философствуете!..

И мне вдруг стало весело: «Чеши, чеши себе на здоровье. Брань на ворота не висит... А что ты со мной сделаешь? Ну-ка... Не расстреляешь, выкуси, вина не та. В стрелковую роту пошлешь — нашел чем испугать».

И, наверно, начальник связи по моему лицу понял: как ни кипятись — не проймешь. Он в сердцах гаркнул:

— Десять суток строгого ареста!

Мы с Оганяном переглянулись: «На фронте — и арест! Ну, брат, оторвал».

— Лейтенант Оганян! Обеспечьте!

Хорошо сказать: «Обеспечьте!»

Случалось рыть разные землянки в обороне, но чтобы была при штабе полка когда-нибудь вырыта землянка гауптвахты — этого не приходилось видеть ни мне, ни Оганяну.

«Обеспечьте...»

У Оганяна, когда он вернулся к себе, был сумрачно сконфуженный вид.

— Куда я тебя обеспечу?

— Это уж не моя забота, — ответил я, демонстративно снимая пояс, протягивая своему озадаченному начальнику.

— Испорченный человек... Что из тебя вырастет?..

— Не имею понятия.

— Надо было заварить кашу... — Он мял мой ремень, не зная, в какую сторону направиться.

— Я не виноват, что дошло до начальства,— съехидничал я.

— А я виноват?.. Думаешь, я донес? А? — возмутился Оганян, возмутился искренне.

Но приказ есть приказ — нужно выполнять.

Оганян, страдая оттого, что ведет без пояса под арест своего подчиненного под взглядами разведчиков, телефонистов, часовых из комендантского взвода, вяло шагал впереди меня для того, чтобы не подумали — конвоирует, и просто из принципа — «глаза бы мои на тебя не глядели».

Армейская истина гласит: ничего нет невыполнимого. Нашлось место и для «губы».

В то время, когда мы только что располагались в обороне, связные ПСД на скорую руку выкопали себе крошечную землянку — сойдет, не простоим долго. Но время шло, мы не снимались с насиженного и уж вовсе не такого плохого места. Связным надоело спать по очереди: они отгрохали обширную жилплощадь с просторными нарами, с двойными накатами. Старую землянку бросили.

Она и спасла Оганяна. Не случись ее, ему пришлось бы уступить мне свою собственную персональную землянку, а самому спать на моем месте, на общих нарах.

— Сиди,— сказал он мне сердито.— Сейчас часового пришлю.

И ушел, забыв забрать мой ремень.

Часовым оказался не кто иной, как Витя Солнышко. Он принес с собой чью-то винтовку и явно недоброжелательное отношение ко мне.

— Ребята купаться собрались,— сообщил он.

— Не выйдет. Сторожи-ка меня, не то сбегу.

— Да беги, с плеч долой. Купаться бы пошел. Пододвинься, что ли?..

Я пододвинулся, мой часовой поставил мне в ноги винтовку, улегся рядом.

Все нары этой землянки были засыпаны письмами. Мы лежали прямо на них.

ПСД — пункт сбора донесений. Отсюда легкие на ногу связные бегают по подразделениям, приносят сведения. Если мы, радисты, — более современная связь по сравнению с телефонистами, то связные ПСД, должно быть, ведут свою родословную от того греческого парня, который принес из-под Марафона в Афины лавровую ветку.

Но ПСД в полку заменяет еще и почтовую контору. Сюда доставляются письма, те же связные их разносят. Здесь, в бывшей землянке ПСД, остались лежать какие-то письма, и лежат они уже больше недели.

Я взял письмо, поперек адреса жирно выведено: «в ы б ы л». Другое — «выбыл», третье, четвертое... Кто-то убит, кто-то ранен, наверно, есть и просто откомандированные — на всех одно и то же слово «выбыл», не сказано лишь куда: в другую часть, в госпиталь или на тот свет?

Знаю, непорядочно читать чужие письма. Знал это и тогда.

Найди мы случайно оброненное письмо, в голову бы не пришло — вскрыть, полюбопытствовать, наверняка постарались бы доставить тому, кому адресовано. Но тут письма — б ы в ш и е, ничьи. И еще, наверно, человек под арестом позволяет себе больше, потому что считает себя вне закона.

Открытки, секретки, конверты, склеенные хлебным мякишем, просто свернутые треугольником письма. Корявые, дрожащие буквы, должно быть выведенные старушечьей рукой, на бумагу, поди, упала не одна слеза — мать пишет сыну, а сын-то «выбыл»... Или крупный, солидно неуклюжий почерк, буква громоздится на букву: «Папа! Я учусь в пятом классе, помогаю маме...» Папа тоже «выбыл»...

Мы привыкли к тому, что постоянно кто-то «выбывает», и не безликие адресаты, о которых знаешь лишь ничего не говорящую фамилию и имя, а товарищи.

Нам вдвоем было всего тридцать девять лет. При любой возможности мы отворачивались от всего, что нам напоминало смерть.

Мы без угрызений совести отбрасывали в сторону и письмо старушки матери, и письмо серьезного пятиклассника. Мы искали другие письма — от девушек, чтобы приобщиться к тому, чего сами еще не испытывали — любовная тоска, разлука, счастливая дерзость от скрытого признания. Мы даже робко рассчитывали про себя не остаться сторонними наблюдателями, а объявить о себе. Пишут же «выбывшим», письмо наверняка останется без ответа, так что мешает нам ответить?

Мы искали письма от девушек.

Из многих писем мы отобрали только два. Прошло двадцать лет, а я почти дословно помню целые куски из них.

Кажется, из Свердловска она писала ему:

«Сейчас ночь. Я боюсь ночей. Днем — работа, и, что скрывать, не-легкая. Днем — люди, а ночью — ты. И вот тогда-то я начинаю чувствовать, что ты такое. Сказать, что с одной стороны — город, завод, цех, прохожие, знакомые, друзья, с другой — ты, ты — полмира! Нет, мало! Боюсь, что скоро станет легче дышать, меньше окажется работы, больше досуга и тогда — пустота, тогда никуда не спрячешься от тебя. В какое несчастное время мы узнали друг друга! Знакомые, друзья, город, весь мир, в котором я живу, не могут заменить тебя. Тебя нет, нет и жизни. А ты не отвечаешь мне уже на третье письмо! Я без тебя — бессмыслица, досадная случайность на свете. Ты можешь это понять? Ответь мне! Пиши, даже если некогда...»

Подпись была неразборчивой. Тот, кому адресовано письмо, знал ее имя, для нас оно оставалось тайной.

Но если бы мы и сумели разобрать имя, вряд ли решились отвечать. Тот для нее не полмира — весь мир, нам места нет. Слишком серьезный человек писал это письмо. Слишком серьезный, а возможно, и слишком взрослый, он отпугивал нас.

А второе письмо-секреточка унизано ровными и чистенькими строчками. На адресе, как и полагается, наш номер полевой почты, адресовано некоему Евгению Полежаеву.

«Твоя фотография стоит на моем походном столике, ты на ней слишком строгий. Ты следишь за мной. И твой взгляд заставляет меня вглядываться в самое себя. Как хочу быть чистой, умной, красивой перед тобой. Как хочу быть достойной тебя!...»

Тут уж не мир, не полмира, тут намного проще — люблю, хочу быть достойной. И нет угнетающей серьезности, и где-то между чистеньких строчек проглядывает девичья игривость, и подпись ясная и отчетливая, само имя простенькое, наивно лубочное — Любовь Дуняшева.

Я и Витя Солнышко переглянулись: «Ответим?» — «Ответим!»

— Беги в землянку, принеси мою полевую сумку, — приказал я часовому.

И он сорвался, оставив мне на сохранение свою винтовку.

В полевой сумке, захваченной мной еще под Сталинградом из покинутой немцами землянки, хранились дневник, письма матери и целая

коллекция автоматических ручек. Мне несли их даже незнакомые солдаты, спрашивали:

— Где здесь чудак, который ручки на махорку меняет?

— Я.

— Бери.

У меня были ручки со стеклянными витыми перьями, с золотыми перьями, была ручка, инкрустированная серебром — не писала, — была, наконец, большая черная ручка, куда входило чуть ли не полпузырька чернил.

Этой-то внушающей уважение ручкой я и вооружился.

Витя Солнышко встал за моей спиной, приглушенным голосом давал советы:

— За середку колупни, жалостливее, со слезой...

И я начал:

«Дорогая и незнакомая нам Любовь Дуняшева!
К нам случайно попало Ваше письмо...»

Разумеется, при каких обстоятельствах оно попало, я скромно умолчал.

— Со слезой, чтоб прошибло...

— Да иди ты к такой матери! Не мешай...

«Поверьте, что мы от всей души сочувствуем Вам. Мы искренне тронуты Вашим большим и чистым чувством к незнакомому нам человеку. Мы еще не знаем, где находится Евгений Полежаев, но верьте — найдем его след. Найдем и все сообщим Вам. Мужайтесь! Рассчитывайте на лучшее...»

Витя Солнышко сопел за моим плечом.

Под конец я свернул с основной темы и разогнался:

«Ваш обратный адрес — полевая почта. Мы поняли, что Вы разделяете нашу судьбу, служите в рядах нашей доблестной армии. И нам представляется Ваш Высокий Образ — или сестры, ползущей с сумкой к стонущим раненым, или ассистентки, подающей седому хирургу инструменты во время операции, или терпеливой, доброй сиделки у кровати больного...»

Помню, я никак не мог вырвать нашу новую знакомую за границы медицинского обслуживания.

Витя просил — «со слезой», я же работал по принципу: лезть душу вынимает, оно верней, не дает осечки.

Мы заклеили письмо, написали адрес, мой часовой сразу же сорвался с места, бросился в новую землянку ПСД, вручил с соответствующим наставлением:

— Не затеряйте, черти.

Десять суток строгого ареста...

По дисциплинарному уставу мне полагалось днем не спать, через день получать горячее питание, остальное время сидеть на черством хлебе и водичке, размышляя о своем проступке.

Я спал в компании своего часового сколько влезет и днем и ночью. Как только приходило время обеда или ужина, Витя Солнышко хватал котелки и бежал на кухню. Повару, заносящему черпак, он говорил значительно:

— Арестованному.

Арестованный, потерпевший — как не пожалеть бедолагу! — и повар наваливал в наши котёлки погуще и побольше.

Нас не тащили к зуммерному столу, не заставляли учиться, не посылали в караульный наряд, предоставили распоряжаться временем полностью по своему усмотрению.

Надоедало торчать в землянке, и я надевал забытый Оганяном пояс, вместе со своим безотказным часовым шел к Донцу купаться. Винтовка часового, разумеется, оставалась в углу на нарах, ждала нашего возвращения. При этом надо было лишь не попадаться на глаза начальнику связи, да и встречи с Оганяном тоже желательно избегать. Столкнись с Оганяном — мы понимали — поставим человека в неловкое положение: должен наказать, а не хочется.

Часового положено менять. И в первый же вечер пришел вооруженный винтовкой радист из новеньких, на физиономии которого я уловил явное желание — добросовестно выполнить возложенную обязанность. Но Витя Солнышко прогнал его:

— Иди! Иди себе. Скажи, что я бесменно буду караулить.

Я не прочь был находиться под арестом все десять суток, если нужно — и больше. Витя Солнышко, не рассчитывая на смену, не прочь был охранять меня. Но...

Но пришел приказ менять оборону — из второго эшелона в первый.

И нас, двух лежебок, выгнали из обжитой, покойной арестантской землянки, бросили на помощь телефонистам снимать так хорошо проложенные и так верно служившие линии.

Пришлось после отдыха высунув язык бегать с тяжелыми катушками.

Прошло немало дней. Забылась история с моим арестом, забылось обжитое место во втором эшелоне. В новом овраге возник земляночный городок, ничуть не хуже всех остальных, покинутых нами.

Возродился даже неизменный зуммерный стол — верный признак, что противник нас особенно не беспокоит.

Витя Солнышко стал выдумывать себе болезни, пропадал в санроте — там появилась толстая, добрая сестра, которая сводила с ума не одного Витю.

У меня износились сапоги, и я отдал их ремонтировать рябому повозочному из комендантского обоза.

Шли будни...

Мне принесли письмо.

Я вертел треугольник со штемпелем: «Солдатское письмо — бесплатно», вглядывался в незнакомый почерк, гадал — от кого?

Я переписывался только с матерью. Нет, не от нее... Случалось, девчонка кого-нибудь из наших ребят писала: «У меня есть хорошая подруга, она хочет переписываться с фронтовиком, дай адрес...» Давали мой, конечно, с рекомендацией без лишней скромности: «Геройский солдат, парень — что надо...» И приходило письмецо: «Ах, как я вас уважаю за героismo...» Коробило от стыда и за нее, и за самого себя.

Подозревал — и сейчас такое. Раскрыл...

Нет, что-то не то...

«Спасибо, спасибо за доброе участие. Сегодня только узнала и спешу поделиться радостью: Евгений Полежаев жив! Он был легко ранен, лечился, теперь снова вернулся в свою часть. Его полевая почта такая же, как и Ваша, только литер другой — «Г». Разыщите его, расцелуйте его за меня. Не сомневаюсь, что Вы станете с ним друзьями. Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку, весьма хруп-

кую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много. Вы не поверите, когда увидите... (Я и сейчас в это почему-то не особенно верил — кокетничает.) Вы пишете, что я представляюсь Вам медсестрой, но это не совсем так. Я ношу погоны с черной окантовкой и эмблемой перекрещенных молний. Словом, я — связистка.

Еще раз, встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня.

Ваша Любовь Дуняшева».

Я бросился к Вите Солнышку:

— Читай! Ответ!

Витя прочел и умилился:

— Ишь ты, связистка... А может, радистка?

— Может.

— Совсем родня.

— На седьмом киселе.

— Так что — пойдем знакомиться, — предложил он. — По литеру — этот Полежаев воюет во втором батальоне.

— Сейчас?

— А когда же?

— Нет.

— Почему?

— Сапоги...

Витя меня понял.

Мои сапоги в ремонте. А какой уважающий себя фронтовик пойдет на первое знакомство в обмотках? Может, Полежаев — офицер, нельзя ударить перед ним в грязь лицом. Обмотки? Нет! Зачем вводить порядочного человека в заблуждение — мол, эти ребятки лыком шиты.

И мы стали торопить рябого повозочного, ждали сапоги, перечитывали письмо Любы Дуняшевой.

Рябой тянул...

Наконец сапоги получены. Но мне решительно не везло по мелочам: во-первых, рябой на головки наложил некрасивые, бьющие в нос заплатки, во-вторых, потерялась с пилотки звездочка. Чепуха, но без звездочки моя старая, выгоревшая пилотка вовсе утратила вид. Как ни разглаживай ее, как ни сандаль ладонью — все равно походит на дурацкий колпак. Представлялось — вскину ладонь к этому колпаку: «Здравия желаю! Разрешите познакомиться...» Каково впечатление?

И все-таки мы начистили сапоги до блеска, поставили у земляных нар, легли спать. Решено — идем в гости к Евгению Полежаеву.

А в пять утра раздался крик:

— Подъ-ем!!

Наши роты двинулись в наступление.

Мы торопливо натянули начищенные сапоги.

Во второй батальон, но не в гости.

Комбат-два Гречуха со своими ротами перебрался через речку Разумную. Сгибаясь под упаковками радиостанции, мы спешили к нему.

Про Разумную солдаты говорили: «Переплунуть можно, а перейти нельзя». Наш берег — плоский, болотистый, немецкий — высокий, обрывистый, с известковыми сбросами. Наши позиции — как на ладони, немцы укрыты гребнем обрыва, сидят в добротных окопах.

По заболоченному лугу прокопаны траншеи с черноземными брустверами. Они до половины залиты темной, закисшей водой. Мы сначала усердно маршировали по травке вдоль траншей. Конечно, и мины шлепают, и пули свистят; но сапоги-то начищены, охота ли лезть в воду?

Несколько шагов, одна секунда — и мы на другой стороне. Даже по грудь не было. Где-то в дальнем уголку мозга — удивление: почему до нас все лезли на мостик?.. Так легко перебраться даже не умеющему плавать. Почему?.. Не кричали бы теперь там...

Мы под высоким берегом, он прикрывает. Ни один снаряд сюда не залетит, ни снаряд, ни пуля, ни даже круто падающая мина. Какая это великая свобода — распрямиться во весь рост!

Я оглядываюсь назад. Проклятый плоский берег, много же полёгло на нем наших людей. А где-то стонут раненые, их стоны не доносятся сюда.

Что-то врезалось в руку. Разжимаю кулак, на ладони — звездочка. Роняю ее на землю. Мне сейчас наплевать, как будет выглядеть моя пилотка.

Мы захватили деревеньку, стоявшую на самом гребне высокого берега. Стоявшую... Теперь деревеньки нет, скучными наростами среди черных головешек торчат печки, не уцелело даже ни одной трубы.

Зато уцелели все погреба. Здесь они выкапываются не под домом, как в наших местах, а отдельно во дворе. Почти все цементированы, крутые лесенки ведут вниз. В таком-то погребе мы и устроились с радиостанцией. Как в блиндаже, выдержит прямое попадание.

Однако снаряды уже не летят и мины не рвутся. Далеко-далеко суетливая перестрелка. Немец сбит, откатывается.

Витя Солнышко уже наострил лыжи:

— Пойду прогуляюсь, младший сержант.

— Сиди. Сам хочу прогуляться. В пять ноль-ноль свяжешься со штабом полка.

Я приноровился: как только у Солнышка появляется зуд в ногах, спешу оставить его одного. Радиостанция на его полной ответственности, попробуй только бросить ее. И уж тогда-то он терпеливо ждет, пока я брожу поблизости.

На земле под ногами вызывают стрельные гильзы. Вонючий дымок тянется от пепелищ. Я направился к окраине деревни, к обрыву, чтоб с высоты взглянуть на тот берег, с которого мы пришли.

Посреди улицы, какой-то плоской и слишком широкой без домов, выкопана большая квадратная яма — должно быть, немцы готовили себе землянку и не успели ее накрыть.

На дне ямы убитый — наш, судя по суконной гимнастерке и синим диагональным галифе — офицер. Он лежит, раскинув руки, разметав ноги в солдатских кирзовых сапогах, рослый, статный, на груди набор орденов и медалей, курчавая голова откинута назад. Курчавая голова, а лица нет. Должно быть, осколок попал ему в затылок, вышел через лицо — из кровавого месива торчит белая кость.

Я чуть задержался и пошел дальше — мало ли убитых, еще один. Лица мертвых обычно не запоминаются, этот же запомнился мне тем, что у него нет лица.

Вот и окраина деревни, вот сбегаящий вниз обрыв, морщинистый, источенный ручьями, что стекают весной к Разумной. А Разумная отсюда приветлива — берега опущены кустами, вдоль кустов вьются певучие тропиночки и воронено блестят укромные заводи, в таких неплохо клюют окуньки. За речкой — неистребимо зеленые, выглаженные луга, их дальняя окраина купается в голубом мутноватом мареве, глаз не осиливает толщу прозрачного воздуха. И на эту доверчиво распахнутую землю рядом со мной из окопов, выдолбленных в известковой кромке берега, уставились два пулемета с хищными стволами.

Доверчиво распахнутая земля под стволами. Бежали хозяева пулеметов, стволы молчат, но и в немоте их ощущается ожесточенная злоба. Я повернул обратно.

Возле знакомой мне квадратной ямы стоит на насыпи солдат, смотрит на убитого кудрявого офицера, свободно разметавшегося на спине.

Солдат — тощий, нескладный парень с длинным, серым от пыли, пятнистым лицом. Он, как пастух на посох, опирается на винтовку, за спиной у него вещмешок с котелком, вид отрешенный, со стороны — ни дать ни взять иссушенный человеческими несчастьями библейский пророк.

На груди убитого уже вырезан кусок гимнастерки вместе с орденами и медалями. Кто-то из знакомых забрал документы и вместе с ними орден, чтоб сдать в штаб.

Я заглянул под каску в грязное тихое лицо солдата. Длинное лицо не то чтобы печально, скорей терпеливо — парень привык к смерти, привык к крови, если и ужасается, то про себя, знает: кричи, взывай, негодуй — никого не удивишь, не тронешь, не поможешь.

— Знакомый? — спросил я, кивая на убитого.

Он помолчал, обронил скупо:

— Да.

— Кто это?

— Командир нашей пулеметной роты Полежаев.

— Евгений Полежаев!

Парень покосился на меня из-под каски и не полюбопытствовал, откуда я знаю Евгения Полежаева, командира пулеметной роты при втором батальоне.

Курчавая, закинутая назад голова, широкая грудь, раскинутые руки... Кто-то уже взял у него документы, а вместе с документами наверняка — письма Любы Дуняшевой, а с письмами — ее фотокарточку...

«Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много...»

Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит...

У Любы Дуняшевой переживания впереди.

— Не ты забрал его документы?

— Нет.

— И ты в них не заглядывал?

Парень недружелюбно покосился на меня:

— А зачем? Я его не по документам знал.

Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему, безоблачному небу...

«Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня».

Расцелуйте? Осколок попал в затылок.

Я отвернулся и зашагал к себе.

Шагал и глядел в сапоги, заляпанные глиной, в белых струпьях засохшей известки...

Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:

— Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убирайся к чертовой матери! Прием!

Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала

на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир — его монополия.

Всякие посторонние разговоры по радиостанции строжайше запрещены, а разговоры с противником — тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут — лови тогда снаряды. Раз радиостанция — значит штаб, а раз штаб — снарядов не жалеют.

Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у них там суматоха и путаница — не до пеленгирования.

Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:

— Колготят и колготят, слово не пропихнешь...— И вдруг без перехода просиял: — Пляши!

Я отвернулся, шагнул в угол.

— Пляши! Видишь?

Он показал мне открытку.

— Тебе пишет, не мне... «Вы вошли в число моих друзей...» На-ко вот, ты вошел, а я нет... Пляши, не то не отдам.

Я почему-то нисколько не удивился, что открытка от Любы Дуняшевой пришла именно в этот день, в этот час.

«Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным временем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые».

Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.

Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.

Через несколько дней в селе Циркуны я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дуняшевой, с коллекцией трофейных авторучек.

А еще через несколько дней под Харьковом меня ранило.

Но номер полевой почты Дуняшевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к ней. Начинал и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде...

«Встретились ли Вы с Женей?» Да, встретился...

«Расцелуйте его за меня...» Нет, этого я не сделал.

Не стал я и другом Евгения Полежаева...

Я трусливо молчал, наконец забыл номер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры 18...

Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!

Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.

Любовь Дуняшева, дойдет ли оно до тебя?



НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

НОВЫЕ СТИХИ

Мосты

Смешался свет витрин
Со светом фонарей:
Свет фар и свет реклам,
Свет окон и дверей,
А по реке, где спину выгнул мост,
Бежит луна и тащит сетку звезд.

Моста крутой прогиб
Рекою отражен:
Два полукруга — круг
Замкнули с двух сторон,
И в этот круг
Вбегают огоньки,
Как в обруч — прирученные зверьки.

...Хоть нынче на мосты
Не ставятся посты
И не берет никто
Налогов мостовых —
По-прежнему прохожие на них
Сбавляют шаг: им нравятся мосты.

Не оклик часовых
Задерживает их,
А ленты золотых,
На сваи навитых,
Растянутых теченьем огоньков
Да помесь тины с тенью облаков.

Не нужен тут пароль.
Но чудится порой:
Незримые — стоят солдаты на посту,
А им-то и нужнее, чем пароль,
Сама твоя задержка на мосту.

Как будто только в том,
 Как будто в том одном,
 Что, околдованный поверхностью и дном
 Бегущей вдаль реки, ты задержался здесь,
 У призрачных перил,— пароль и есть.

Но если, не взглянув
 На ход хвостатых струй,
 Разорванной луны и вытянутых звезд
 И позабыв «пароль», ты сразу минешь мост,
 То и меня, как этот мост,— минуй.

Созвучия

Мне на ухо поэты нашептали
 Созвучья для созвучья самого,
 Но думается мне, что у Шампани
 Нет общего с шампунью ничего.

И ведь не все же — в самом деле! — парни
 В родстве с Парни. Не всякое чело
 В чулок пролезет. Да и Пермь — не в Парме,
 Хоть вынести все это — тяжело.

Зачем скрывать! — и я люблю созвучья:
 Простая муза тоже не глуха.
 Люблю созвучья — веточки и сучья
 Таинственного дерева — Стиха.

Вот только не люблю, когда созвучья,
 Как на сосне — березовые сучья.

Медленная весна

Не морскими ли узлами завязались почки?
 Не гордиевыми? Время развязаться.
 Как медлительна весна! Студеные цепочки
 Бесприютных облаков куда-то мчатся.

Верба в сумерках неверных кажется зеленой...
 То ли зеленеет в самом деле?
 Подошла и пригляделась к ветке наклоненной:
 Нет! — наверно, это воздух зелен...

Зелень носится, как гений, в воздухе весеннем,
 Для простертых к ней ветвей неуловима;
 Ни на чем. Сама собой... Зеленым наваждением...
 А наткнется на кусты — прольется мимо.

Может, это цвет коры черемух? Может, это
Смутно брезжит сквозь березу ветка ели?
Я брожу в зеленой мгле по роще неодолей,
Вижу зелень и не знаю — где же зелень...

Меч и щит

По закону войны — бьют мечом,
А щитом заслоняются. Так.
Но обломится меч — бей щитом:
Пусть мечом заслоняется враг.



ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

КРАСКИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Путевые заметки

1. ВПЕРВЫЕ В ГРУЗИИ

1

«Знаешь, как бывает, когда попадаешь в Венецию? Ты спрашиваешь прохожего: «Это Венеция?» — только ради удовольствия услышать подтверждение!»

Эти слова принадлежат Джону Риду; они вспомнились мне в тбилисском музее, когда я вошел в зал Пиросмани.

Я приехал в Тбилиси без сочиненного заранее плана; впервые в жизни я перевалил через Кавказский хребет, надеялся увидеть многое, но твердо знал лишь одно: что прежде всего пойду к Пиросмани.

Я пришел в музей к открытию; в тот ранний час там было тихо и пусто и не нашлось никого, с кем возможно было бы обменяться хоть несколькими словами ради удовольствия услышать подтверждение, что это действительно зал Пиросмани, его картины.

Некоторые из них я знал по редко встречающимся репродукциям, но большинство картин видел впервые. Мы бываем порой на диво невнимательны к своим сокровищам и сами повинны в том, что лишь немногие знают о Пиросмани, в то время как французский примитивист Анри Руссо известен повсюду.

Анри Руссо я упомянул потому, что приходилось слышать, как сравнивают Пиросмани с этим художником. Я не сторонник подобных сближений, они почти всегда насильственны. Но если уж сравнивать или выбирать, то я предпочел бы Пиросмани.

Примитивизм Анри Руссо кажется мне ненатуральным; я подозреваю, что парижский таможенник, современник импрессионистов, мог бы писать иначе, если бы захотел, — но, поразив однажды зрителей лубочной наивностью, предпочел держаться манеры, принесшей успех. Возможно, здесь я в чем-то ошибаюсь. Но знаю наверняка, что Пиросмани иначе писать не мог. Его живопись естественна, простодушна; она может показаться неуклюжей и грубоватой, как речь крестьянина, не обученного красноречию; но каждое слово ее правдиво и метко.

Пиросмани — общепринятое в Грузии любовное уменьшение; полное имя художника — Нико Пиросманашвили. Он родился в бедной семье кахетинского землепашца, прожил пятьдесят восемь трудных лет, умер с голоду и похоронен в безвестной могиле зимой 1918 года, когда на тифлиских улицах полно было британских и немецких солдат. Он был маляр, самоучка, вернее — самородок. История его бедствий может показаться банальной; со времен Рембрандта люди исподволь притерпе-

лись и даже как бы привыкли к прижизненным трагедиям и посмертным признаниям.

С этой стороны судьба Пиросмани, можно сказать, классична: рано осиротел, бродяга, нищий-чудак, писал вывески и картины для украшения тифлисских духанов, нередко получал за работу тарелку супа и стакан вина и, конечно же, никогда не думал, что станет владельцем вот этого зала, где развешано около трех десятков его картин, в то время как более двухсот хранятся в запасниках музея и у счастливых-любителей.

На пороге зала останавливаешься, как бы встреченный неожиданным потоком яркого света; между тем в картинах Пиросмани преобладают приглушенные тона. Яркое вспыхивает сдержанно и нечасто. Очень много черного. Требуется некоторое время, чтобы разгадать загадку первого впечатления; я нашел для себя ответ на улицах Тбилиси, на дорогах Грузии и в залах другого музея. Но об этом — позднее. Покуда же несколько слов о самих картинах.

Они написаны на чем попало — на жести, кусках картона, чаще всего на изнанке обычной столовой клеенки. Правилами грунтовки, письма, испытанными рецептами долголетия здесь и не пахнет; в то же время сохранность живописи разительна. Ни трещинки; кажется, краски положены только вчера. В чем тут секрет — сказать не могу, да и не в этом главное.

В тринадцатом томе Большой Советской Энциклопедии (вышел в свет в 1952 году) я прочел об увлечении «определенных кругов творчеством художника-самоучки Нико Пиросманашвили, в картинах которого (из грузинской деревенской и городской народной жизни) упрощалась форма, не были соблюдены пропорции, отсутствовала перспектива». Должен признаться, перечисленные недостатки не помешали мне наслаждаться «Алазанской долиной», где действительно не очень-то соблюдены пропорции, нарушена перспектива, но где очень занятно и выразительно рассказано кистью о том, как текла в Кахетии жизнь. Там и князя на лужайке кутят, и люди везут зерно на мельницу, и овец пасут, и на молебен к церкви идут, и даже казнят в сторонке пойманного разбойника. В каталоге эта обширная (пяť с половиной метров длины) панорама народной жизни названа: «Алазанская долина, или Кахетский эпос». И верно, есть что-то эпическое в обстоятельном, хоть и не очень умелом с точки зрения канонов и правил, рассказе.

Надеюсь, читатель не заподозрит, будто я презираю профессиональные законы искусства и не придаю значения форме. Напротив, я восхищаюсь самородным умением Пиросмани выразить то, что хочется рассказать, в самых кратких, самых немногих словах. Его композиции поражают безупречным равновесием. Очертания фигур на его картинах заставляют вспомнить о древних грузинских фресках.

Стоит посмотреть, как написаны борода и глаза у его «Дворника». Несколькими точными мазками желтовато-серых и черных тонов переданы и форма, и цвет, и особенная кварталльно-дворничья угрюмость.

Рядом с «Дворником» висит «Повар», в белом колпаке, белом арха-луке и белых штанах навыпуск, с тремя кинжалами на поясе и поварешкой — воплощенное добродушие, а чуть подальше — «Ортачалские красавицы», пышнобедрые и грудастые, с распущенными волосами, покойно возлежащие на подушках среди травы и цветов, подперев щеку рукой, а другую придерживая белое покрывало.

Ортачалы — дореволюционная окраина Тбилиси, вернее — зеленое предместье (теперь там новые жилые дома, заводы, электростанция на Куре). Во времена Пиросмани это был район увеселительных садов, где

тифлиские кинто шумно гуляли, пили вино и нередко дрались насмерть из-за какой-нибудь дебелой красотки.

Пиросмани написал их немало. Все они схожи, будто родные сестры; все покоятся на подушках, подперев щеку рукой, готовые в нужный миг откинуть легкое покрывало. И у каждой на округлом плече сидит лимонно-желтая пташка — простосердечный знак преклонения перед женской красотой.

Разумеется, Нико понимал красоту, как принято было понимать ее тогда; у всех кряду «Ортачальских красавиц», кроме обширных бедер и пышной груди, имеются двойные подбородки, а также персидские сросшиеся брови дугой.

В том же простенке, где «Ортачальские красавицы», висят три натюрморта Пиросмани. На одном из них понизу мелко нанесено: «Да здрастуйте хлеба сольнаго человека». Эта скромная надпись сжато передает дух всех трех картин, где изображены жареные поросята и куры, шашлыки, купаты, рыба «цоцхали», зеленый лук, редис, виноград, груши, тугие «тики» (бурдюки с вином), серповидный грузинский хлеб «дедаспури» и всякая другая снедь, при виде которой возникают произвольные глотательные движения.

Тбилиси пахнет цветами и вкусной едой (Бабель однажды написал: «бараньим салом и розами»). Тбилиси пахнет пряной, душистой зеленью — киндзой и тархуном, теплым хлебом, молодым сыром «сулгуни», орехами, виноградным вином и шкварчащей на углях бараниной.

Здесь любят и умеют поесть и смотрят на гостя за столом, как на посланца судьбы. И я охотно присоединяюсь к Пиросмани, мысленно пью с ним кахетинское из турьего рога с серебряной насечкой и повторяю за ним: «Да здрастуйте хлеба сольнаго человека», не придавая значения некоторым нарушениям правописания.

Что до самих натюрмортов Пиросмани, то они тоже полны всяческих нарушений и все-таки великолепны. Они написаны без малейших притязаний на «всамделишность», на обман зрения, на прозаическое правдоподобие. Кувшины, бараньи освежеванные туши, унизанные мясом шампуры, тарелки с фруктами — все это как бы витает в пространстве, взаимосвязанное лишь волей художника, его безошибочным композиционным чутьем. Пиросмани не увлекался светотенью, его не занимали такие подробности, как шероховатость, блеск, матовость, влажность. Его кисть останавливалась как бы сама собой в тот миг, когда выражено главное. Именно это придает его незатейливой живописи достоинство искусства.

Удивительны картины Пиросмани, изображающие животных. Он любил писать оленей, птиц, ланей, медведей, медвежат. Ладо Гудиашвили впоследствии написал символический портрет «Наш Никола», где изобразил художника с горной ланью, доверчиво глядящей из-за его плеча. Это сочетание воспринимаешь не только как общепринятый в Грузии символ вольнолюбия, но еще и как знак личной доброты Нико. Недобрый человек попросту не смог бы написать «Раненого оленя» с его берущим за душу взглядом слезой подернутых глаз или «Оленя с олененком на водопое».

Говорят, эти вещи своей простотой и выразительностью сродни фигуркам зверюшек из обожженной глины, распространенным в крестьянском быту Грузии. Разумеется, Пиросмани не стилизовал свои картины «под народное творчество». Он попросту выражался как умел — говорил на своем языке, а это и был язык народа.

Порой его свободная фантазия рождала картины колдовской выразительности — скажем, такие, как «Орел с зайцем»: широкий размах

серых крыльев, красный, яростный глаз орла, каплет кровь, а схваченный когтями заяц подернут смертной голубизной, совсем как павшая лошадь в знаменитой картине Паоло Учелло.

Но едва ли не самая колдóвская из подобных вещей Нико — «Медведь в лунную ночь». Я долго стоял подле этой картины, дивился — что может извлечь талант из черной сажи, свинцовых белил и небольшого количества малярного ультрамарина. Там изображен медведь, взобравшийся лунной ночью на дерево; вдалеке — развалины какого-то замка. Впрочем, все это вовсе даже и не изображено; оно как бы возникает само по себе из черноты ночи. Короче, я отказываюсь описать это словами. Можно обмакнуть кисть в белила, мазнуть по черному — и сажа останется сажей, а белила белилами, а можно и так заколдовать, что белое засияет лунным ореолом на медвежьей шерсти, а черное станет воздухом ночи, и ветвями, и полуразрушенными башнями далекого замка.

Нетрудно догадаться, что палитра Пиросмани состояла лишь из тех немногих красок, какие мог иметь полунищий маляр. Но особенности его колорита, я думаю, произошли вовсе не от бедности. Чтобы понять это, надо прежде всего посмотреть грузинский народный костюм. (К сожалению, теперь это можно без труда осуществить лишь в музее, театре или на концерте какого-нибудь ансамбля песни и танца.)

Впрочем, говоря «грузинский костюм», я выражаюсь неточно; есть костюмы аджаро-гурийские, мегрело-имеретинские, есть костюмы пшавские, карталинские. Но при всех различиях в национальной грузинской одежде есть одна общая черта — обилие черного цвета с обязательным участием белого и скупыми вкраплениями ярких тонов.

Грузинская национальная одежда состоит из определенного набора предметов. У мужчин это шаровары, ноговицы, чувяки, архалук, пояс, шапочка или папаха и чоха (то, что в обиходе неверно называют черкеской) или каба-куладжа с откидными рукавами. Почти повсюду (за исключением, пожалуй, одной только Пшавы) чоха бывает черной, ноговицы — белыми (цвета натуральной овечьей шерсти), архалуки же (они виднеются небольшим треугольником на груди) — синие, винно-красные, золотисто-зеленоватые. Вот вам колорит Пиросмани, его излюбленное соотношение красок.

Не могу описать или хотя бы просто перечислить все картины Пиросмани, которые увидел в его зале и в запасниках музея, — всех пекарей, князей и шарманщиков, горожан и крестьян, разбойников с лошадьми, актрис, духанщиков, рыбаков, бездетных миллионеров и бедных с детьми. Могу лишь сказать, что не ошибся, пойдя прежде всего сюда. Потому что Пиросмани — это нечто большее, чем один из художников Грузии. Для меня Пиросмани — это сам дух народа. Его жизнелюбие, его гостеприимство. Его юмор и лукавство. Его гордость, его беззаботность. Его суровость, его доброта. Его непосредственность, его любимые краски.

Вот тут-то, пожалуй, скрыт источник яркого света, встречающего вас на пороге зала Пиросмани в тбилисском музее.

Ну а как же с нездоровыми, на взгляд автора энциклопедической статьи, увлечениями загадочных «определенных кругов» творчеством Пиросмани? Должен сказать, что не обнаружил нигде вредоносных следов этих увлечений. Кажется, никто из грузинских живописцев (а здесь немало художников хороших и разных) и не пытался подражать Пиросмани; да это, по правде говоря, и немислимо. Не так уж трудно повторить мастерство; но подделать самородную личность нельзя. Она, к счастью, неповторима. Можно лишь поучиться у Пиросмани главному — таланту всегда быть самим собой. Но это наука хоть и трудная, да не вредная ни для кого.

Дочь Александра Чавчавадзе овдовела, не пробыв замужем и года. Ей было меньше семнадцати, когда Пушкин встретил на пути в Арзрум арбу, везущую из Тегерана гроб. Нина похоронила мужа на горе Мтацминда, куда он любил подниматься, чтобы поглядеть на Тбилиси.

В камне высекли нишу, достаточную для двоих. На боковой плите бронзового надгробья Нина просила отчеканить: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Прошло двадцать восемь одиноких лет, прежде чем в нише появилось второе надгробие с краткой надписью: «Нина Грибоедова. Родилась 4 ноября 1812 года. Скончалась 26 июля 1857 года».

Говорят, наш век не сентиментален. Признаю, но не радуюсь (ведь, кроме чувствительности, возможна еще и бесчувственность) и не стыжусь признаться, что стоял у могил Грибоедова и Нины, глубоко взволнованный увиденным. Кованая решетка была приоткрыта, на сухом каменном полу лежал букетик белых и фиолетовых астр. По сторонам две полукруглые лестницы вели к Пантеону писателей и общественных деятелей Грузии.

Да, я не ошибся: слово «писатели» стоит первым на мраморной доске у входа. Хотя, собственно, входа в привычном смысле нет: есть крутой подъем, открытое место у подножия белой церкви, есть плющ, вьющийся по серому камню, темные кипарисы, тихий плеск родника и немного могил.

В изголовье одной из них поставлен брус полированного гранита, несущий на себе лишь одно глубоко врезанное слово: «Акакий».

— Видите ли,— пояснил мой спутник,— когда Церетели был очень молод, когда еще только начинал, он подписывался: «Князь Акакий Ростомович Церетели». Затем, когда в Грузии все уже знали на память «Сулико» и «Цицинательу», он стал писать короче: «Акакий Церетели». Ну, а потом... потом достаточно было одного этого слова.— И, помолчав, добавил с улыбкой: — А теперь, знаете, и наоборот бывает...

Мне трудно высказать чувства, испытанные в тот час у могилы Николаза Бараташвили, «грузинского Байрона», прожившего двадцать семь несчастных лет. Он безответно любил сестру Нины Чавчавадзе, Екатерину. Он успел написать всего только одну поэму и тридцать шесть стихотворений. Одно из них — «Мерани» — недавно читал вслух мой друг, молодой кинорежиссер. Он читал по-грузински, слов я не понимал, но знал смысл, видел глаза друга. Ему было нелегко; кажется, стихи о крылатом коне помогали ему жить.

Место рядом с могилой Бараташвили долго оставалось незанятым. Недавно там похоронили Галактиона Табидзе. А рядом с Акакием покоится эпический певец Грузии, один из образованнейших ее сынов, поэт-пастух Важа-Пшавела, ушедший когда-то в горы, чтобы пасти там овец и писать стихи. В головах у него — серый выветренный камень и молодое деревце, на земле могилы — немного похожих на низкорослый клевер растений с горных пастбищ Пшавы.

Вообще здесь не пахнет официальным кладбищенским благолепием; все сделано с необыкновенной искренностью и простотой. Все проникнуто не почтением или почитанием, а сыновней любовью.

В 1907 году, когда провокаторы из охраны убили Илью Чавчавадзе, молодой скульптор Николадзе примчался из Парижа, где он тогда учился, чтобы изваять надгробье «отцу Грузии», ее великому писателю и просветителю. Подернутая прозеленью плита с фигурой скорбящей Родины прикрывает вырубленную в отвесной скале гробницу. А чуть поодаль на строгой гранитной призме стоит бронзовый бюст самого Николадзе; он умер в 1951 году.

Когда в Тбилиси собирались праздновать его шестидесятилетие, было решено назвать его именем улицу, где он жил тогда. Узнав стороной о решении, Николадзе пошел в горсовет. «Если вы действительно хотите сделать мне приятное,— сказал он,— то, пожалуйста, назовите улицу именем моего учителя». Так появилась первая (если не единственная) в мире улица Родена. А теперь есть и улица Николадзе — другая, где находилась его мастерская.

Среди пластических искусств Грузии я бы поставил скульптуру на первое место; мне кажется, в самом посредственном грузинском живописце дремлет хороший скульптор. Вероятно, так и должно быть в горной стране, где сама природа — скульптор и где камень — самый повседневный, подручный материал. Я нашел подтверждение этому и в северной Армении, родине каменотесов, резчиков и ваятелей.

Я видел в Грузии немало хороших скульптур — не только в музеях, но и на улицах, в парках, на площадях. Я видел здесь лучший, на мой взгляд, из памятников Маяковскому; он изваян скульптором Кордзахия в 1953 году.

Представьте себе ветер и фигуру поэта; он без шапки, руки в карманах плаща. Волосы отнесло назад и в сторону, одежду прижало к телу, ноги поставлены широко, упористо,— ветер... Вот и все, никакого пафоса, никакой нарочитой позы. Таким я и вижу его, таким хотел увидеть — не в известные по фотографиям и рассказам минуты публичных выступлений, когда надо было преодолевать природную мягкость и даже застенчивость — гвоздить кулаком воздух, зычно читать, глушить сволочной визг и поныне здравствующих присыпкиных,— а именно таким. Задумчивым и непреклонным, шагающим навстречу ветру с непокрытой головой.

На постаменте нет звучной надписи, да и нужна ли она? Однажды под вечер я остановился у небольшого сквера вверху спуска Элбакидзе в Тбилиси. Там на зернистом красном песке под седыми кавказскими елями сидел на низеньком постаменте бронзовый старик в длинной мантии и круглой шапочке, с лицом библейского пророка и струящейся бородой. Надписи на постаменте не было; я решил обратиться к первому встречному. Им оказался спешащий с работы человек с потертым портфелем — по всей видимости, не гуманитарий, не научный работник, скорее всего заводской снабженец. Остановясь, он улыбнулся и сказал: «Как же, это наш просветитель Орбелиани». И заспешил дальше.

А я вспомнил о романе-памфлете Сэмюэля Батлера «Иерихон», где нарисован фантастический город будущего; в городе том ежегодно устраивались своеобразные испытания памятникам. Там они тоже были без надписей, и если первый встречный не мог ответить толком, кому и за что, за какие заслуги поставлено, памятник немедля сносили.

С высоты Пантеона хорошо видно, как отроги Триалетского хребта обнимают Тбилиси. Их вытянутые руки почти смыкаются далеко на востоке. Город затянут утренней дымкой; сквозь нее, будто горные вершины, пробиваются островерхие купола. Кура взлескивает двойной излучиной там, где на верху крутой скалы стоит Метехи.

Люди любят красивые сказания; говорят, будто, именно стоя на той скале, царь Вахтанг Горгасали метким выстрелом из лука убил на лету фазана. Птица упала на другом берегу Куры в горячий источник, и это побудило Вахтанга основать здесь новую столицу, «теплый город» («тбили» по-грузински — тепло). Хочется верить, что было именно так, хотя трезвые люди утверждают, что для основания столицы даже в те сказочно далекие времена требовались более веские соображения — скажем, удобство местоположения для обороны.

Трудно спорить с трезвыми людьми, тем более что обороняться было от кого; сквозь горные проходы сюда рвались парфяне, хазары, арабы, римляне и византийцы, турки-сельджуки, монгольские орды Тимурленга. За полтора тысячелетия Тбилиси двадцать шесть раз разорjali и разрушали, едва не сносили с лица земли, и двадцать шесть раз город восстанавливался, все выше поднимаясь по уступам гор. И среди отстроенных, построенных вновь домов, среди ступенчатого моря глинобитных и черепичных крыш островами стояло уцелевшее, неразрушимое: Метехи, крепость Нарикала, Анчисхати, Сиони. Сачино — все то, что теперь безмолвно свидетельствует о древности одного из древнейших городов земли. А его молодость откликается глуховатыми гудками электровозов, трудовым кряхтением отдувающихся поршней, далеким перестуком колес; шум городских улиц сюда не доносится. В багряных деревьях, сбегаящих вниз по склону, переговариваются птицы. Не хочется уходить; так и стоял бы у нагретого солнцем каменного парапета, вглядываясь сверху в еще незнакомый, но уже полюбившийся чем-то город.

Спускаешься отсюда сперва по крутой улице Мтацминда, затем по улице Бесики. Здесь жгут опавшие листья; привычный с детства, повсюду одинаковый запах смешивается с духом теплого лаваша. Двери пекарни открыты настежь, там орудуют раскаленные докрасна пекари в полотняных куртках, до пояса распахнутых на груди. Посреди улицы стоит старуха, вся в черном, — платье, обмотанный вокруг головы платок; глядя из-под козырька коричневой ладони, она зовет: «Гиго!.. Гиго!..»

Бесики — уменьшительное от Бесо, Виссарион. Так звали поэта второй половины восемнадцатого века Габашвили; от ласкового уменьшения кажется, что он и теперь жив и что его можно окликнуть, позвать, как зовет старуха заигравшегося внучонка.

3

Однажды мы возвращались в Тбилиси с Иосифом Нонешвили, поэтом сегодняшним, живым во всех смыслах. Третьим в машине был шофер Серго — пожалуй, слишком крупный для кабины «москвича», аккуратно одетый, с продолговатой головой и коротко остриженным борцовским затылком. Мы побывали в любопытнейших местах — об этом речь еще будет, — и теперь Нонешвили то и дело поглядывал на часы; ему надо было поспеть куда-то.

Между тем Серго вел себя как-то странно. Вернее, не Серго, а сама машина; я заметил, что, минуя встречавшиеся по дороге предприятия общественного питания, она снижает скорость и как бы желает остановиться. Я обратил на это внимание в Мцхете, где мы дважды проехали мимо ресторана. Поначалу я принял это за случайность; во второй раз Нонешвили сказал по-грузински что-то настойчивое. Серго снял руки с баранки, взмахнул ими и произнес в ответ нечто длинное, быстрое и не менее настойчивое.

Заводить в Грузии споры с водителем на ходу машины не советую: кто знает, скоро ли вернутся руки на баранку, а повороты здесь крутые.

— Понимаете, Серго хочет вас угостить, — виновато сказал Нонешвили, — а я тороплюсь, мне в город надо... Что делать, прямо-таки не знаю.

Я сказал из вежливости, что тороплюсь тоже, хотя, в сущности, это была вовсе не вежливость: я отказывал Серго в первейшем удовольствии — посидеть с приезжим гостем.

Впрочем, отказ принят не был; вскоре машина снова сбавила ход и решительно остановилась.

Это было у въезда в Тбилиси со стороны Военно-Грузинской дороги.

Когда-то здесь стоял знаменитый «Белый духан», изображенный на одной из картин Пиросмани. Там изображен сам духан с гостеприимным духанщиком на пороге, шарманщик и двое гостей, подъезжающие на пароконном извозчике. Теперь на том же месте стоит белое дощатое строение на высоком фундаменте, с большими окнами и вывеской треста столовых и ресторанов.

Нонешвили вздохнул и вылез из машины, я последовал за ним. Серго мыл руки во дворе под краном. На горячих камнях подремывала собака. Пахло так, что и у мертвого потекли бы слюнки.

Внутри было прохладно и пусто; только один стол, у входа справа, был густо уставлен, там шумно беседовали четверо нестарых людей.

Увидев нас, один из четверых тотчас поднялся.

— Гамарджоба, Сосо! — произнес он радостно, обращаясь к Нонешвили.

Тот ответил с улыбкой на приветствие. Все сидевшие за столиком поднялись, и я не успел оглянуться, как в моей руке очутился бокал вина.

Парень в синем свитере, лет тридцати с виду, невысокий, лысоватый, обнял Нонешвили короткопалой крепкой рукой за плечи, держа в другой руке свой бокал, и стал говорить.

Прошла минута-другая, прежде чем я понял, что он говорит стихи. Он скандировал нараспев, покачивая бокалом, Нонешвили согласно кивал, глядя в пол. Стихи были длинные; я знал уже, что здесь не скупятся на застольные речи, и думал, что слушаю стихотворный гост. Наконец все чокнулись и выпили, мне поднесли цыплячий пупок («дорогому гостю самый лучший кусочек»), и мы направились к своему столу, где уже стояла сковорода с дымящейся каурмой, соленый стручковый перец, груда свежей пахучей зелени и раскупоренная бутылка «свири».

— Скажите, Иосиф, что он читал? — поинтересовался я.

— Мои стихи, — сказал Нонешвили.

Я спросил:

— Это ваш друг?

Нонешвили пожал плечами.

— Знакомый?

— Впервые вижу, — тихо сказал Нонешвили.

— У него все знакомые, — сказал Серго, нетерпеливо поднимая бокал. — Кушайте, пожалуйста. За встречу...

Иосифу Нонешвили сорок два года. Я видел, как густо раскланиваются с ним на улицах; так, наверное, здороваются с врачом или стариком учителем, прожившим жизнь в одной деревне и успевшим выучить несколько поколений односельчан.

Улучив минутку, Серго сообщил мне, что, случается, в селах матери просят Иосифа положить ребенку на голову руку.

— Это у нас принято, — сказал он. И добавил поясняюще: — Поэт!..

«Свири» было легкое, как ветерок, выпил я немного и не могу полностью отнести на счет вина некоторую торжественность мыслей, вдруг нахлынувшую на меня.

Я стал думать, как было бы хорошо, если бы повсюду матери верили в добрую силу руки поэта. И еще я думал, что не случайно именно в этих краях легче дышалось Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, Толстому, Горькому. И еще о том, что нет отдельного, отделенного прошлого; все связано накрепко, не разорвешь — и Пиросмани в известной могиле, и те, что лежат в Пантеоне, и те, что сегодня читают и слушают стихи.

Я сказал об этом Иосифу. Он улыбнулся. Серго налил вина.

— Пожалуйста, пейте, — сказал он. — А я больше не буду. Шоферу не полагается.

Поначалу я поселился в «Абхазети», самой новой тбилисской гостинице; ее открытие было приурочено к происходившему здесь недавно международному конгрессу виноделов. Семиэтажное здание выполнено по типовому проекту, но с одним существенным добавлением: к фасаду пристроен сплошной ряд неглубоких балконов, разделенных тонкими перегородками из рифленого (волнистого) бетона. На каждом этаже перегородки окрашены по-разному. Таким образом, по фасаду чередуется ярусами светло-зеленое, лимонно-желтое, белое и черное; все вместе выглядит жизнерадостно и современно.

В гостиничном вестибюле просторно, много света и воздуха. Вдоль огромных окон (сплошное стекло от пола до потолка) стоят низкие диваны, узкогорлые кувшины матово-черной керамики, в простенках — энергичного рисунка гравюры, гуаши молодых грузинских художников: горбатые улочки старого Тбилиси, карабкающиеся по склонам дома, нагромождения розовых черепичных крыш.

Из окна своего номера, с высоты седьмого этажа, я увидел другое: коричнево-зеленоватая гряда гор, шестирукие опоры высоковольтной линии и, как следовало ждать, башенные краны; гостиница стоит посреди строящегося жилого района Сабуртало. По-грузински это значит «поле для игры в мяч» (за дословность не ручаюсь, но смысл примерно таков). Не так давно здесь был пустырь; местные жители, как и в других новых районах, охотно упоминают об этом: приятно лишний раз напомнить себе и сообщить другим.

Мне захотелось, не откладывая, взглянуть, что же выросло на месте бывшего пустыря; но прежде надо было умыться с дороги. Я повернул кран умывальника; он пронзительно свистнул и зашипел. Дежурная в холле объяснила, что это бывает: неполадки с водой, давление малое, к вечеру появится. Действительно, к вечеру появилась, но тут обнаружилось отсутствие полотенца. «Такую хорошую гостиницу построили, а без прачечной,— огорченно сказала дежурная.— Вот и зависим от городских. Хотите, наволочку дам?» Я согласился утереться наволочкой, но куда ее принесли, вода снова исчезла, теперь уже надолго. Пришлось заночевать неумытым в небольшом, по-современному обставленном номере, с малогабаритной удобной мебелью, изящной настольной лампой и очень эффектной, черной в желтых разводах, керамикой.

Район Сабуртало начали застраивать еще до войны. История перен отчетливо читается на его широких улицах: от могучих колонн с завитушками до простоты, которой хотелось бы порадоваться, если б... «Если б не однообразие и невысокое качество строительных работ,— подхватит догадливый читатель.— Знаем, вы уже об этом писали». Да, писал, невесело признаюсь я, и буду писать, поскольку считаю, что умолчание пользы не приносит, не помогает, а помочь надо бы — всем вместе подумать, что же надо сделать, чтобы преодолеть недостатки, значение которых вовсе не уменьшается от огромности размаха строительства, скорее напротив; об этом я тоже писал. Есть простые истины, которые приходится повторять, хоть они высказаны впервые очень давно.

«Частные дома будут расположены правильно, если первым делом принято во внимание, в каких странах и под каким наклоном неба они строятся. Ибо одного рода дома следует строить в Египте, другого в Испании, особенным образом в Понте, по-иному в Риме, а также и в остальных странах и землях, согласно их природным особенностям...» Так рассуждал около двух тысячелетий назад Витрувий; ежели отбросить «наклон неба» (зодчий Юлия Цезаря не повинен, что родился задолго до Галилея или Коперника), то все остальное годится на долгую

память каждому архитектору, а особенно тем, кто занят типовыми проектами и планировкой новых жилых массивов.

Кажется, строители Сабуртало давно не заглядывали в Витрувия. Во всяком случае они не вняли его совету. Если не брать в расчет пристроенные к дворовым фасадам террасы (к ним еще вернемся), то можно сказать, что природные особенности Грузии и ее архитектурные традиции не очень занимали проектировщиков.

Если бы меня спросили, как я понимаю архитектурную традицию Грузии, я бы ответил: прежде всего — кровная связь с пейзажем, с природой.

Первое, что я увидел здесь из окна вагона, — это развалины какой-то крепости над станцией Ксани. Они выростали из вершины горы как ее естественное продолжение; казалось, желтоватые стены и башни — сотворенные природой ровесники здешних гор.

Грузинская архитектура в своих лучших образцах тектонична в самом прямом, природном смысле; она живописна, как натуральная часть пейзажа.

О Сабуртало такого не скажешь. Это не очень-то похоже на Грузию, на Тбилиси.

В одних городах прежде всего воспринимаешь горизонталь — прямизну улиц, сквозную протяженность проспектов, широкий размах площадей, отчетливость плана; в других глаз поневоле тянется ввысь по фасадам зданий, чтобы воспринять высоту. Тбилиси воспринимается как бы одновременно в трех измерениях: идешь вровень с городом, а видишь его и перед собой, и над собой, и где-то внизу.

Такая одновременность восприятия придает городу привлекательность разнообразия и неожиданности. Надо вглядеться повнимательнее, чтобы увидеть за этим еще и немало всяческих неудобств.

Кажется, нет ничего живописнее старого тбилисского дворика с зигагами наружных лестниц, с резными галереями, нависающими балконами, с какой-нибудь древней чинарой или узловатым орехом посреди. Живописно, ничего не скажешь, но разделят ли твой восторг жильцы? Есть немало домов, куда одни входят, поднявшись снизу, а другие — спустившись сверху. На узких лестницах не разминуться двоим, на горбатых улочках не развернуться машине.

Все это естественно для города, столетиями возраставшего на каменных уступах, на горных склонах над Курой. Естественно и красиво — для города старого, старинного; но никак не пригодно для новых кварталов, для современных жилых массивов, без которых городу не обойтись, не прожить.

Вполне понятно, что для первого из таких массивов, для Сабуртало, был выбран (вернее, взят, выбирать тут особенно не приходится) кусок земли спокойного рельефа; одна из немногих горизонтальных площадок без резкого перепада уровней. На этой площадке разбили прямые широкие проспекты и улицы, вдоль которых поставили одновысотные, подравненные по ранжиру дома; их оштукатурили серым цементным набрызгом (цвет пыли).

В общем, получилось нечто лишь на первый взгляд современное (под цементным набрызгом скрыт кирпич; Сабуртало строили и продолжают пока строить «по кирпичику»). Нечто, может быть, и удобное для автомобилей и пешеходов, отвечающее средним нормам (густота застройки, освещенность и проч.), но безликое, чужеродное окрестному пейзажу, не связанное с местной архитектурной традицией.

Правда, во многих домах на Сабуртало подворотни сделаны в виде вытянутых кверху, чуть ли не в три этажа, полукруглых арок, наподобие аркатуры в древних церквях. Очевидно, по замыслу это должно прида-

вать зданиям некоторую величественность и местный колорит. Первое, что я увидел в проеме такой арки, были вывернутые наизнанку штаны с развевающимися по ветру карманами. Войдя во двор, я обнаружил множество других штанов, рубах, разноцветных платьев и прочих сохнувших предметов. Все это живописно свисало там и сям со специальных устройств, приделанных к парапетам террас,— причем устройства были на диво разнообразны: угольники стальные, чугунные, алюминиевые, стационарные и выдвижные, с замысловатой системой веревок, тросиков, блоков, фаянсовых роликов и проч. Бездна изобретательности; что поделаешь, если некоторые человеческие потребности вроде бы неизвестны строителям. Прачечных, сушилок и всего другого, что входит в так называемые «блоки бытового обслуживания», на Сабуртало покуда нет, и неизвестно, скоро ли будет. Нет еще поликлиники, библиотеки, нет кинотеатра, не хватает детских садов и яслей. Словом, застройка массива, выражаясь языком специальным, ведется некомплексно.

Что до террас — единственной дани «местным условиям», то жители массива обходятся с ними по-своему: они их стеклят, каждый на свой манер, в пределах своего разума и возможностей. При весьма экономной внутренней планировке квартир никому не хочется осенью и зимой терять десять—двенадцать квадратных метров площади. Казалось бы, отчего не запроектировать сразу остекленные рамы, раздвижные или съемные, по крайней мере однообразные, чтобы не уродовать застройку? Так ли уж это дорого, недоступно? Слово для ответа предоставим тому же Витрувию: «Все это может быть с успехом осуществлено, когда архитектор не отвергает советов ни мастеров, ни обывателей». Добавлю для ясности, что Витрувий не вкладывал в понятие «обыватель» привычного нам отрицательного смысла. Для него обыватель — это попросту человек, которому придется жить в построенном доме, растить там детей и нянчить внуков.

Примеряя давние пожелания Витрувия к сегодняшнему размаху и методам управления современным жилищным строительством, приходишь к неожиданному выводу, что речь-то, в сущности, тут идет о так называемой «обратной связи».

Кибернетика называет обратной связью свойство, позволяющее регулировать будущее поведение прошлым выполнением приказов. Норберт Винер (один из первых теоретиков «науки управлять») дал понятию обратной связи такие примерно определения:

1. Управление на основе действительного выполнения приказов, а не ожидаемого их выполнения.
2. Регулирование будущего поведения прошлым выполнением приказов.
3. Использование прошлого опыта для регулирования всей линии поведения.

Эти определения приложимы ко всем видам разумной практической деятельности. Без нормально работающей обратной связи невозможно управлять даже собственными телодвижениями, а тем более действиями других людей или же целыми отраслями производства. Ребенок, тянувшийся к горящей спичке, обжигается. В дальнейшем он «использует прошлый опыт для регулирования всей линии поведения» — то есть, попросту говоря, научается не совать руку в огонь. При нарушении обратной связи даже взрослые обжигались бы ежеминутно.

Мне кажется, в управлении сложными процессами современного жилищного строительства обратная связь не налажена или, по меньшей мере, налажена недостаточно в сравнении с другими отраслями промышленного производства. При небывалом количественном размахе

и энергичных темпах строительства это приобретает самое серьезное значение. Чем выше скорость, тем быстрее и точнее должен действовать сидящий за рулем, тем яснее он должен видеть дорогу и все ее повороты.

В строительстве современного жилого массива или нового города любая частная, единичная ошибка или неточность решения неуклонно и быстро размножается путем стандартизации. А для избежания ошибок нужен прежде всего постоянный поток всесторонней, объективно точной информации «снизу вверх».

Чтобы разумно управлять строительством в масштабе страны, необходимо знать действительный уровень выполнения приказов, планов, распоряжений не только в метрах и рублях; надо знать, хороши или плохи построенные дома, уместны ли они в данном климате, удобны ли для житья, действительно ли экономичны, долговечны и т. д. и т. п.

5

«У нас, архитекторов, так получается — в наихудшем положении творческие работники. «Привязчики» — те, что нанизывают на генплан типовые дома, — план гонят, премии получают. Теоретики — тем лишь бы докторскую защитить, будут и деньги и положение. А проектантам вместе с уникальными сооружениями достаются одни синяки и шишки...»

Это сказал мне Ладо Месхишвили, один из активнейших молодых архитекторов Грузии, руководитель мастерской Тбилгорпроекта, сдержанно-вежливый, с легкой походкой некабинетного человека и ранней сединой в густых волосах.

Мы побывали с ним во Дворце спорта, который он построил, и в летнем ресторане на берегу водохранилища, называемого здесь Тбилиским морем (теперь едва ли не каждый уважающий себя город не впрямую имеет собственное море). Было ветрено и прохладно, сине-зеленая гладь вскипала барашками; было бы действительно похоже на море, если б не ощутимая замкнутость в чаше гор. Но — море ли, озеро ли — было свежо, легко дышалось и хорошо смотрелось с обращенной к воде полукруглой легкой террасы из металла и бетона. Природа свободно вливалась в здание через террасу сквозь пояс широких окон. Месхишвили сказал, что именно в этом одна из существенных традиций грузинского зодчества, и напомнил о «Сачино» — дворце царицы Дареджан, жены Ираклия Второго. И правда, полукруглый висячий балкон-пояс и там обращен к водам Куры, к прибрежным скалам, к горе Мтацминда; внешнее сходство на этом кончается (прадедовский кирпич сменился бетоном, дерево — сталью, все стало несравненно проще, легче, воздушнее), но внутреннее сродство остается. Ладо говорит, что этот же принцип он частично положил в основу Дворца спорта; там тоже вездесущий бетон, стекло, металл, первый в Грузии сборный купол (пролет — семьдесят восемь метров) — словом, все вполне современно и в то же время очень, на мой взгляд, национально, хоть я и не мог бы на словах растолковать почему. Нет орнамента, лепки, украшений, ничего не заимствовано, не срисовано с древних памятников или старых гравюр; есть свой особенный ритм открытой аркады, есть музыка архитектуры, есть мелодия, родившаяся именно здесь, среди этих гор.

Невдалеке от Дворца спорта стоит здание «Грузугля», считавшееся не так уж давно одним из лучших новых сооружений. Его построили архитекторы Чхиквадзе и Чхеидзе; в сущности, они позаимствовали идею у шведского архитектора Эстберга, построившего в 1923 году известную ратушу в Стокгольме. Впрочем, если взглянуть повнимательнее, то нетрудно заметить, что и Эстберг в свою очередь имел «источник вдохновения» — Дворец дождей и башню святого Марка в Венеции.

Так издалека прикочевало в Грузию нездешнее здание с пустопорожней угловой башней высотой в пятьдесят пять метров, быть может и уместной для ратуши, отмечающей административный «пуп» города (обычно — площадь), но нелепо ненужной для треста, занимающегося угледобычей. Башня обошла в три миллиона рублей и снискала неселую славу, угодив в постановление о борьбе с излишествами.

Между тем появление подобных башен тут и там было вовсе не случайно. Если вы спросите в библиотеке что-нибудь о современной грузинской архитектуре, вам дадут книгу Н. Джаши, где архитекторы двадцатых и начала тридцатых годов изруганы за то, что они под предлогом «экономии» (кавычки на совести автора) применяли стекло, металлические и железобетонные конструкции. Далее автор с удовлетворением сообщает, что в тридцатых годах в Тбилиси «возводится ряд жилых домов, главным образом, в духе итальянского Ренессанса и классицизма», — и называет это значительным творческим шагом вперед.

На проспекте Руставели в Тбилиси стоит здание Института марксизма-ленинизма, построенное А. В. Щусевым в 1938 году. Кандидат архитектуры В. Л. Кулага в работе о творчестве Щусева отмечает «открытый, доступный характер здания» и говорит, что «в отличие от прошлых эпох» этому зданию присущи «черты социалистического демократизма, свойственные советскому зодчеству».

Не знаю, как на кого, — на меня здание произвело впечатление прямо противоположное. Впечатление замкнутости, холодной величественности.

Аргументация В. Л. Кулаги трогательно наивна: по ее мнению, общедоступность и демократический характер щусевского сооружения подчеркнуты композицией портала с редко расставленными парными колоннами. Люди сведущие скажут (и говорили), что именно такая композиция портала применялась давненько — в «Камероновой галерее» Царского Села, во дворце усадьбы Кусково — и от этого помянутые сооружения не становились демократичными или доступными.

Спору нет, А. В. Щусев был зодчий большого размаха, умения, широкой образованности. С точки зрения «чистого мастерства» его тбилиское здание почти безупречно; оно великолепно очерчено в целом и прорисовано в частностях; оно по-настоящему монументально. Семнадцатиметровые спаренные колонны портика облицованы темно-серым полированным тешенитом, стены — болнисским туфом красивого смугло-золотистого тона. Чеканным строгим капители, схожие с коринфскими и вместе с тем стилизованные в духе мотивов древнегрузинского зодчества. Правда, в свое время отмечалось, что нанизывание грузинских орнаментов на классическую основу само по себе искусственно, эклектично. Но здесь это искупается сдержанностью и высоким качеством исполнения. Так что с точки зрения мастерства здание как будто не заслуживает упрека.

Но, кроме чистого мастерства, есть еще дух искусства; формальным совершенством его не подменишь, не скроешь. В этом смысле здание Щусева очень характерно. Оно читается как выразительная страница каменной летописи; оно целиком принадлежит тому времени, когда было задумано и построено.

Очень любопытно с этой точки зрения окинуть взглядом обширное наследие А. В. Щусева — от храма в Овруче и Почаевской лавры до театра в Ташкенте. Любопытно и поучительно проследить, как зодчий колебался вместе с временем и как велика бывала подчас амплитуда колебаний.

Щусев строил много и по-разному. Он строил в духе древнерусского зодчества (это было в начале века, когда в моду вошло древнерусское). Строил в духе строгого конструктивизма (санаторий в Мацесте, конец двадцатых годов). Строил просто или пышно, когда это требовалось

(метро «Комсомольская»), экономно и расточительно, атакуя украшательство или, наоборот, защищая его. Можно было бы сказать, что это мастер, умеющий соответствовать любой перемене вкуса, высокоталантливый, но холодноватый стилизатор и только, если бы... если бы не Мавзольюй Ленина.

Щусев создал его в одну ночь, как Руже де Лиль «Марсельезу». Ему не потребовалось заглядывать в архитектурные уважи, стилизовать или украшать. Было то, что называется вдохновением; было неудержимое стремление искренне высказать, что лежит на сердце.

Вот, быть может, одно из наиболее ярких свидетельств, что лишь большое душевное волнение рождает новую, незаимствованную форму.

«Да, вот так и получается,— продолжал Месхишвили,— проектанту одни синяки и шишки. Инстанций куча, каждый считает себя вправе судить, рядить, запрещать, сокращать... Да и вообще теперь не время уникальных сооружений».

Что ж, плохого тут вроде бы нету; напротив, хорошо, что наконец-то настало время массового строительства — не для канцелярских столов, а для человека. Но каково же в этих новых обстоятельствах место архитектора, одаренного творческим талантом, строителя-художника? Каково в этом необозримо огромном деле место тех, кто не может удовлетвориться бездумным нанизыванием зданий на генплан? Кто не может ждать иных возможностей, потому что проходит лучшая пора собственной жизни? Кто обязан и в силах создать то, что в будущем станут называть архитектурным стилем нашего времени?

Конечно, и теперь без единичных, нетиповых сооружений дело нигде не обходится. Ладо показал мне большой жилой дом на улице Камо — хороший новый дом, облицованный базальтом и светлым экларским камнем, с глубокими сочно-зелеными лоджиями, ажурными жалюзи из сборного бетона и солярием на крыше. Мы посмотрели новую набережную Куры с молодыми платанами, мост Элбакидзе — цельнокаменный, стремительный, как древние мосты Грузии, прыжком преодолевающие горную реку. Мы съездили к почти законченному памятнику тремстам арагвинцам (о нем я еще расскажу). Но по всему чувствовалось, что на новые массивы Ладо как-то не рвется.

Не то чтобы ему хотелось скрыть что-либо от стороннего глаза, нет. «Там, знаете, особенно хвастать покуда нечем», — с простой откровенностью сказал он.

Все же мы побывали с ним и на Сабуртало, и в Дигоми.

Макет Дигомского массива я видел в Тбилгорпроекте. Здесь будут жить двадцать пять тысяч человек (на Сабуртало — сорок две тысячи). Это — новейший из строящихся в Тбилиси массивов и, пожалуй, лучший. Здесь отказались от периметральной застройки — шеренгами вдоль пересекающихся улиц; дома тут располагаются как бы веерами, пучками расходящихся лучей. Но, как бывает, — в макете одно впечатление, в натуре другое. На месте композиционный замысел не охватываешь взглядом. В поле зрения попадают куски, не дающие представления о целом. В итоге остается впечатление не «упорядоченной свободы», а беспорядочности.

Я писал уже однажды о «модуле охвата взглядом». На Дигоми я убедился снова, как важно брать в расчет эту величину (или показатель), имея в виду не только точку зрения лица, утверждающего генплан или макет, но и точку зрения человека, идущего по новопостроенному району на работу или с работы. Я говорю о точке зрения в самом прямом смысле.

Эстетика современного жилого массива — проблема очень серьезная, и не только в пределах нашей страны. Размышляя об этом, я вспоминаю

сцену из бельгийского фильма «Чайки умирают в гавани» — ту врезавшуюся в память сцену, где Беглец рассказывает девочке сказку о спящей принцессе.

Он рассказывает ей эту сказку на окраинном пустыре, поросшем травой и чертополохом, — а за пустырем виднеются новые дома, стерильно-белые, холодно-геометрические, бесстрастные, с безукоризненной прямой линией, с темными лентами окон, будто защитные очки на бескровном лице.

Мне кажется, в этом сопоставлении звучит глубинная тема фильма: контраст между миром человеческих чувств и бесчувственностью машинной цивилизации. Трагическое противоречие между совершенством современной техники и несовершенством человеческих отношений достигает особенной остроты в последних кадрах фильма, когда затравленный Беглец ищет спасения на сверкающих, великолепных в своей ультрасовременности шаровых резервуарах нефтеперегонного завода — и гибнет среди их марсианского блеска от выстрелов моторизованных преследователей.

Противоречия такого рода не могут ускользнуть от взгляда вдумчивого художника. Не зря, скажем, Феллини ведет сцену встречи доверчивой Кабирии с цивилизованным убийцей где-то в новых кварталах Рима, на фоне строящихся и новопостроенных архисовременных домов.

Этот фон — безмолвный комментарий жестоких социальных трагедий — можно увидеть и в фильмах Пазолини «Аккатоне» и «Мама Рома», и в фильме Анри Кольпи «Столь долгое отсутствие»; кварталы машинно-благоустроенных новых домов становятся как бы символом душевного неустройства современного человека. Об этом нельзя не задумываться.

Кто же, как не мы, обязан дать новой архитектуре иное выражение, сделать ее выразительницей иных общественных отношений, сообщить ей тепло человеческой улыбки, уберечь от машинного рационализма? Ведь любая чрезмерность есть верный признак упадка стиля, будь то чрезмерность украшений или чрезмерность наготы.

К счастью, нам об упадке стиля тревожиться рано; мы скорее можем говорить о детских болезнях, о росте, о поисках, где должны сыграть свою роль не только архитекторы-планировщики, «привязчики», инженеры-конструкторы, но и строители-художники.

«Эх, дали бы мне хоть один квартал полностью на свое усмотрение, — с досадой сказал Месхишвили, когда мы покидали массив Сабуртало. — Я бы и в плановую стоимость уложился, и построил бы по-иному...»

Не знаю, как именно выглядели бы дома, о которых мечтает Месхишвили. Но думаю, он не стал бы штукатурить их серым цементом, ставить шеренгами по ранжиру. Потому что он понимает и согласен, что современная наша архитектура должна быть прежде всего жизне-радостна и приветлива — особенно здесь, где так жизне-радостны и приветливы люди.

6

Мы стояли с Иосифом Нонешвили в вестибюле гостиницы, когда к нам подошел высокий человек в хорошо сшитом темно-сером костюме, седой, с желто-смоуглым лицом и бессменной нетающей улыбкой. Это был Ирвинг Стоун, американский писатель, автор известных у нас книг «Моряк в седле» и «Жажда жизни». Он с женой и переводчиком завершал поездку по Советскому Союзу, а затем собирался в Индию, куда его пригласили прочесть курс лекций в Калькутском университете.

«О-о! — воскликнул он, когда Нонешвили познакомил нас. — А я ведь искал вас в Киеве!..»

Культурный обмен и реактивные самолеты увеличили вероятность подобных встреч. Все же было занятно и неожиданно до неправдоподобия; я тоже писал о Ван-Гоге, и наши книги вышли почти одновременно в Москве.

Видно, кто-то у нас говорил Стоуну о моей книге; из дальнейшего я понял, что он ее не читал и несколько обеспокоен, не вторгся ли я в чужие пределы. Успех «Жажды жизни» во всем мире был так велик, что Стоун, кажется, стал считать ван-гоговскую тему чем-то вроде своей монополии.

Я готов был успокоить его, но для этого требовалось сказать, что я прочел «Жажду жизни», что книга не пришлась мне по сердцу и что я придерживаюсь других взглядов на биографический жанр. Делать это мне как-то не хотелось, я сознавал себя на стороне гостеприимных хозяев и предпочел слушать, что рассказывает Стоун; он пригласил меня съездить в университет, где должен был встретиться со студентами.

В аудитории было полно солнца и молодых загорелых лиц. Стоун говорил, что многое здесь напоминает ему университет Лос-Анжелоса; что одни лишь техасцы и калифорнийцы умеют так горячо хвалить свой край, как грузины. Говорил, что не ощущает разницы между русскими и американцами, что повсюду люди хотят одного — мира и дружелюбия.

А мне было приятно, что слушали его без переводчика и, кажется, понимали отлично — даже когда он назвал себя создателем жанра биографического романа, никто не напомнил ему, скажем, об Андре Моруа или Юрии Тынянове; но я отношу это на счет широко известного грузинского гостеприимства.

Если говорить о жанре, то мне более всего по душе биографические опыты Ромена Роллана. Я не сторонник беллетризации для разжигания читательского интереса; не думаю, что писатель вправе обращаться с реальной личностью как с вымышленным героем. Но это — дело склонностей, вкуса; к сожалению (моему, личному), читатель как раз большей частью бывает склонен к традиционной занимательной форме и охотнее читает захватывающие «романы одной жизни», построенные по испытанным правилам, с неременной любовью, придуманными диалогами и прочим.

Стоун назвал огромную цифру общего тиража «Жажды жизни» — если не ошибаюсь, более трех миллионов. Он рассказывал, как издатели три года не брали у него рукопись и как затем сразу пришел успех. Теперь он живет в Беверли Хиллс близ Лос-Анжелоса, в районе вилл голливудских звезд.

Он написал еще книгу о Микеланджело, ее название — «Агония и экстаз». Он сказал, что теперь по этой книге учатся в итальянских университетах, и показал приколотый к лацкану пиджака крошечный значок почетного гражданина Флоренции. Все было принято слушателями с подобающей вежливостью. Гостям преподнесли букеты ярких осенних цветов и проводили аплодисментами.

Вечером того же дня мы снова встретились в Обществе культурных связей. В креслах вокруг стола в гостинной сидели венгерские писатели, с надлежащей вежливостью слушая рассказ о том, как три года издатели не брали рукопись, и как затем пришел успех, и что по «Жажде жизни» снят фильм, где Ван-Гога играет Кирк Дуглас, а теперь «Метро-Голдвин» будет снимать картину о Микеланджело.

Стоун слово в слово повторил утреннее: как в Голландии до «Жажды жизни» не признавали Ван-Гога голландским живописцем, а теперь

там чуть ли не в каждом офисе висят репродукции. Он снова показал значок почетного гражданина Флоренции. Он сказал также, что не ощущает разницы между русскими, венграми и американцами и что повсюду люди хотят одного — мира и дружелюбия. С этим все горячо согласился, Стоун уехал, а мы с венграми отправились побродить по Тбилиси.

Венгров было пятеро: поэт Габор Гараи, тридцатилетний, с впалыми щеками и необычайно длинными и тонкими пальцами рук; Янош Герге, с негаснущей трубкой и ранней проседью в светлых волосах; Ласло Камонди, новеллист и драматург; переводчица с русского на венгерский Клара Сёлеши; молчаливый пятидесятилетний Ференц Киш, поэт из наборщиков, друг Аттилы Йожефа. Никто из них нисколько не походил ни на писателя, ни на владельца комфортабельной виллы.

Я не был знаком с этими людьми прежде, не читал их книг; но через полчаса мне казалось, что знаю их давно, что у меня с ними общие радости и общие заботы. Кажется, из этого и вырастает дружба.

Мы посидели вместе за щедрым грузинским столом. Нонешвили был тамадой; он исполнял эту многотрудную обязанность очень умело, его тосты-притчи были веселы и остроумны. Венгры отвечали поочередно, а последним — Габор Гараи. Держа тонкими пальцами бокал «цоликаури», он поглядел молча в стол и стал говорить глуховато, медленно и серьезно, делая частые паузы для перевода. Он говорил, что приглашает нас выпить за писателя-человека; говорил, что по своей должности секретаря Союза писателей получает немало писем с различными просьбами, требованиями, вопросами, особенно от начинающих, и что всегда отвечает: «Приезжай. Я хочу поглядеть тебе в глаза».

А потом все мы поехали на Тбилиское море, и по дороге венгры говорили, что вот как удивительно похоже на Венгрию: еда, всё с перцем, острое, и вино, — кто знает, не породнились ли с грузинами давние предки, когда в девятом веке переселялись с Приуралья на Дунай?

Нонешвили стал говорить о возможном родстве с иберами, басками — ведь эти места назывались когда-то Иберией.

— А как же, непременно родственники, — живо откликнулся шофер Серго. — Недаром они футболисты такие. Помните, в тридцать шестом году ихняя команда приезжала, это же замечательные игроки, на головах мяч носят...

Аргумент был сильный, хотя именно в этот вечер тбилиское «Динамо» проиграло в Ленинграде «Зениту» со счетом пять — ноль. Серго ужасно огорчился, но вскоре обрел утешение, включив на ходу автомобильный приемник: Москва сообщила о победе Нонны Гаприндашвили.

— Ничего удивительного, — сказал Серго, — так и должно быть. Потому что у нас, когда девушка замуж выходит, знаете, какой подарок в приданое дают? Шахматы. Обязательно. И еще книгу. «Витязь в тигровой шкуре».

Затем он стал говорить, что Тбилиси — второй в мире город по красоте. Первым он считал Рио-де-Жанейро.

— И то отдаю первенство потому, что там море.

Все-таки он не соглашался признать тбилиское водохранилище морем, хотя там вечером и не было видно конца-края; лунная дорога дробилась, как на всамделишном море. А позади переливался теплыми огнями Тбилиси; было хорошо и хотелось верить, что венгры действительно породнились когда-то с грузинами и что баски, отличные футболисты, тоже дальние родственники. В конечном счете все народы — ветви одного ствола, уходящего корнями в общую для всех Землю. И надо бы всем вместе ее поберечь.

В 1795 году — по здешним меркам совсем недавно — персы последний раз вторглись и разорили, сожгли Тбилиси. Это произошло после Крцанисской битвы, где войска Ираклия Второго были наголову разгромлены, а сам Ираклий едва не попал в руки к Ага-Мохаммед-хану — тот готовился взять грузинского царя живьем. Он избежал этой печальной участи лишь потому, что в последний миг триста всадников — они примчались из долины Арагви — стали насмерть в ущелье на берегу Куры, у самого входа в Тбилиси, и сдерживали персов, прикрывая отступление Ираклия с остатками войск.

По преданию, все арагвинцы полегли, а старик Ираклий, ушедший в горы, сидел в Ананурской крепости трое суток молча, без еды и питья, накинув бурку на голову и горестно раскачиваясь.

Теперь на берегу Куры, на месте описанных событий, поставлен памятник народным героям, тремстам арагвинцам. По его местоположению видно, как разросся за полстолетия город на юго-восток.

Памятник этот — работы архитектора Бакрадзе — очень своеобразен; я хотел бы его описать.

Представьте себе вымошенную каменными плитами площадку над Курой; к ней ведет базальтовая каскадная лестница. Из площадки вырастает стремительно, будто поднятый меч, стройная, чуть расширяющаяся кверху призма из тепло-желтого болнисского туфа. Она стоит не в центре площадки, а чуть левее. За ней — правее — асимметричный горизонтальный объем, как бы кусок вставшей поперек дороги мощной стены. А поближе — перед мечом и стеной — заглубленный в плиты площадки плоский круг с отверстием, из которого рвется факел вечногорящего пламени. Вот и все.

Меч и стена (буду говорить так, хотя это вовсе не меч и не стена, но в то же время все-таки именно меч и стена) — так вот, меч и стена покрыты изображениями. Это не рельеф и не рисунок, а своеобразное сочетание рельефа с рисунком: певучая линия, глубоко врезанная в камень. Ее плавный бег рисует воинов со щитами, старика арагвинца, благословляющего их на подвиг, скачущих коней, битву, мать с ребенком, склонившую голову над павшими.

Все это нарисовано с обобщением, близким к орнаментальному, с лаконизмом, открывающим широкий простор воображению. Когда поднимаешь голову, чтобы измерить взглядом высоту каменного меча — а в это время по глубокому осеннему небу плывут редкие облака, — то кажется, что не облака, а сам тепло-желтый меч движется, плывет на тебя в бездонной голубизне.

Удивительно благородный и благодарный материал — болнисский туф! Пластичный, легко поддающийся обработке и в то же время стойкий, как мрамор, но без пошловатой мраморной роскошности. Матовый, редкостно теплый, солнечного тона, как бы излучающий свет. Глаз от него отрывать не хочется.

Грузия имеет еще одно богатство — экларский камень, серовато-белый, серебряного оттенка, тоже пластичный и необыкновенно стойкий.

На проспекте Руставели стоит Кашветская церковь, построенная около сотни лет назад по образцу знаменитой Самтависской церкви XI века; она облицована экларским камнем. Болнисским туфом облицовано здание Института марксизма-ленинизма, о нем я писал; оба материала широко применены в ансамбле Дома правительства, к слову — на мой взгляд, очень удачном, где величественность действительно соединена с приветливой доступностью и где хорошо использован характерный тбилисский рельеф; открытая аркада ведет со стороны проспек-

та в парадный внутренний двор («кур д'онер») с широкими маршами каскадной лестницы, поднимающейся к выходу на параллельную улицу.

Есть в Тбилиси и другие сооружения, облицованные болнисским туфом и экларским камнем (скажем, новый дом на улице Камо или мост Элбакидзе), но в массовом строительстве ни тот, ни другой материал не применяются — оказывается, дороговаты.

Люди сведущие говорят, что дороговаты они не сами по себе, а лишь по недомыслию людей, не удосужившихся своевременно механизировать разработки. Говорят, что если бы сделать это по-хозяйски, на современном промышленном уровне (скажем, как в Армении), то экларский камень и болнисский туф были бы вовсе не дороги и можно было бы наладить на месте разработок производство стандартизированных элементов для строительства.

Такие элементы (скажем, наличник, кокошь, панель, карниз) в сочетании с бетонными фактурами, подкрашенным цементом или кирпичом могли бы помочь внести необходимое разнообразие; а их долговечность многократно окупила бы все расходы. Это — к вопросу об инициативе и о действительной, большой экономии в строительстве.

Памятник тремстам арагвинцам до того понравился мне, что я несколько раз ездил туда; хотелось познакомиться с автором, но так и не удалось.

Из людей самых разных профессий, с которыми приходилось и приходится встречаться, мне всего приятнее и легче с архитекторами — по многим причинам, и прежде всего, наверное, потому, что широта их интересов естественна.

Я знаю физиков, гонящихся за новым поэтическим сборником, врачей — собирателей живописи, инженеров, сочиняющих музыку; на Западе это называется «хобби» (то есть нечто вроде причуды, «конек», необязательное занятие, «внеслужебное» увлечение). Я думаю, широкое распространение всяческих «хобби» есть не только следствие нарастающей специализации (человеку мыслящему не свойственно и попросту скучно замыкаться в кругу узкоспециальных интересов). Думаю, дело тут еще и в неосознанном, быть может, стремлении современного человека преодолеть разобщенность между наукой, техникой и искусством.

Наука разлучилась с искусством давно; со времен упадка Возрождения неуклонно нарастал процесс дробления — в науке на узкие специальности, в искусстве на жанры, школы, стили, манеры, течения. Не стало всесторонних ученых, почти исчезли художники, соединявшие в себе живописца, скульптора, рисовальщика, гравера, мыслителя.

И только архитектор (я говорю о настоящих архитекторах) оставался все тем же «*homo universalis*» времен Возрождения — человеком, от которого еще Витрувий требовал знать живопись и архитектуру, технику и механику, оптику, ботанику, астрономию, геологию и много других искусств и наук.

Недавно я с живейшим удовольствием смотрел опубликованные у нас работы итальянского архитектора Джио Понти; этому человеку за шестьдесят лет, он в последнее время построил известное здание «центра Пирелли» в Милане, расписал фресками университет в Падуе, делал керамические декоративные панно для различных зданий, оформлял выставки, интерьеры, проектировал мебель, столовые сервизы, ковры, кофеварки «эспрессо», силуэты новых марок автомобилей и даже этикетки для вина.

Может быть, такая разносторонность кое в чем и полемична; она подчеркнута выражает зреющий протест против разграниченности, о которой идет речь.

Для меня хороший архитектор — это не только представитель едва ли не самой мирной профессии; для меня это как бы прообраз человека будущего, которое предвидел Маркс. Того будущего, где искусство перестанет быть професней или «внеслужебным» увлечением, а станет — в единении с наукой — естественной, повседневной, насущной потребностью каждого человека.

Едешь к «тремстам арагвинцам» в троллейбусе по широкой улице Вахтанга Горгасали, мимо старых и новых, новых, новых зданий, а возвращаешься пешком, вдоль Куры. За рекой — изрезанные морщинами желтые скалы левого берега; по ним стекает зелень узкими ручейками, а наверху, на птичьей высоте, — деревянные балконы четырехэтажных домов.

Без этих приросших к скалам, нависающих над бездной старых домов трудно представить себе Тбилиси, как трудно представить его теперь без свистящих роликами троллейбусов и густо мчащихся автомобилей, без Пантеона и телевизионной мачты на горе Мтацминда, без листвы платанов, без колонок с фонтанчиками ледяной воды на углах улиц.

На город опускаются сумерки.

Скалы над Курой медленно зеленеют.

Длинная, узкая лодка с двумя гребцами бесшумно уходит под Мухранский мост, над ним четко рисуется островерхий силуэт Метехи. Зажглись фонари. У бани пьют холодное пиво.

Бань здесь, напротив Метехи, несколько; они прилепились к подножью скалы, скрывающей в недрах неиссякаемый родник горячей серной воды — тот самый, куда упал фазан, сраженный на лету стрелой царя Вахтанга.

Одна из бань, старейшая, построена в псевдовосточном стиле, с угловыми башенками-минаретами и стрельчатым порталом.

Возможно, это именно та, которую описал Пушкин, где он побывал на пути в Арзрум.

Узнать об этом точнее трудно; над входом в синем портале висит прозаическая вывеска горкомхоза: «Баня № 3». Ох, уж эти комхозовские прозаики! Не они ли распорядились заштукатурить росписи Пиросмани в последнем из старых тифлисских духанов, что находился близ вокзала?

В 1939 году во Львове я попал в ресторан «Атлас», он помещался в подвале старинного дома на рынке. Это было любимое местечко художников, актеров, музыкантов — веселое, шумное, недорогое. В одном зале на темных дубовых полках были расставлены фаянсовые пивные кружки, расписные тарелки. Некрашенные стены другого были сплошь изрисованы, исписаны эпиграммами, импровизациями завсегдаев. Когда я приехал во Львов вторично, фаянсовые кружки с тарелками исчезли, все было оклеено пестренькими обоями, посетители чинно ели биточки с вермишелью, а снаружи красовалась вывеска «Столовая нарпита № 17». (В Праге, в гашековском трактире, до сих пор висит засиженный мухами портрет Франца-Иосифа, из-за которого агент Бретшнейдер засадил Швейка и трактирщика Паливца в тюрьму.)

За банями разбегаются в стороны, уползают вверх крутые улочки старого города. Над ними, на вершине Сололакской горы, темнеют полуобрушенные стены и башни крепости Нарикала, там начиная с четвертого века укрывались жители в дни нашествий. Там-то Ага-Мохаммедхан и рассчитывал захватить живьем царя Ираклия.

Вечернее небо над крепостью все явственнее отсвечивает оранжевым — от множества городских огней. На этом фоне отчетливо видно, как поросли быльем кромки стен и полуобрушенных башен.

Венгры уезжали в Пятигорск по Военно-Грузинской дороге. Мы распрощались в Мцхете, древней столице Иберии, у стен Свети-Цховели, что в переводе на русский значит — «Древо жизни».

Это — один из трех величайших соборов грузинского средневековья. С ним связана поучительная легенда о жестоком патриархе Мелхиседеке, повелевшем отрубить правую руку зодчему Арсукидзе — чтоб нигде не появилось ничего равного мцхетскому кафедралу. В подтверждение легенды вам охотно покажут высеченное из камня изображение отрубленной по плечо руки с орудием зодчего — строительным угольником. Оно виднеется на большой высоте, над вытянутой кверху аркатурой одного из фасадов.

Внутри кафедрала вы испытываете прежде всего ощущение грандиозности, уводящей взгляд к небу. Когда-то все здесь было сплошь расписано фресками; вероятно, тем самым усиливалось впечатление цельной огромности внутреннего пространства. От древней росписи сохранились лишь немногие куски, все остальное просто побелено.

Тут похоронены основатель Тбилиси царь Вахтанг, последний царь Грузии Иракий Второй, князья из рода Багратионов Мухранских; от вделанных в камень пола надгробных плит веет холодом.

Кажется, это одно из немногих в Грузии памятных мест, не согретых любовью.

В обширном дворе вдоль высоких стен, сложенных из дикого камня, обточенного водой и обветренного веками, бегают дети. Долговязая девочка в майке и голубых лыжных штанах взобралась на верхний уступ — туда, где у бойниц стояли воины. Когда вокруг все пылало и рушилось под ударами иноверцев, христианские соборы оборонялись как крепости. Как единственные твердыни национального единства.

Еще один взгляд, чтобы охватить и запомнить все: восточный фасад с аккордом пяти связанных арок, стремительно нарастающих к средней; стройную четкость общего силуэта с вершиной шатрового купола в синем небе; голоса перекликающихся детей...

Пора прощаться. Клара Сёлеши последний раз щелкает затвором фотоаппарата.

Янош Гере вытряхивает золу из трубки.

— Пожалуйста, приезжайте к нам.

Я уже знаю кое-что об этом человеке; он попросился на год председателем в сельскохозяйственный кооператив из отстающих, теперь там хорошо вспоминают о нем. Знаю кое-что и о Ласло Камонди. Знаю, что рано постаревшего Киша, друга Атилы Йожефа, подвешивали во времена Хорти за волосы в охранке. Он удивительно молчалив и, кажется, очень насмешлив; когда процеживает словечко по-венгерски, все дружно хохочут. Теперь он стоит в стороне и смотрит, посмеиваясь, как мы обнимаемся на прощанье. А затем и сам подходит проститься, и в темно-карих усталых глазах с желтоватыми белками вдруг угасает лукавый огонек; он кладет мне на плечо руку. Молчит, глядя в лицо. И вдруг произносит очень тихо и как-то смущенно: «Здравствуй, товарищ!»

Что поделаешь с неправильностями, которые порой оказываются вернее заученных правильностей? Я ответил ему тем же — вместо «до свидания» или «прощай».

«Там, где сливаясь шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь...» Приятно все-таки побывать на месте, где родились эти строки, хотя, в сущности, монастыря здесь никогда не было, а была и есть знаменитая церковь Джвари.

Джвари стоит на вершине горы над Мцхетой. Когда поднимаешься туда по крутопетливой автомобильной дороге, то кажется, будто плывешь среди набегающих отовсюду рыжеватых каменных волн. И вот наконец ты наверху. Каменное море застыло, оно уходит вдаль, в сизую дымку, а внизу открывается Мцхета и маленький отсюда кафедрал Свети-Цховели, стоящий в треугольнике земли, вершина которого и есть точка слияния рек-сестер, похожих и в то же время чуточку разных (Арагви зеленовата, струи Куры желты).

Наверное, едва ли не для каждого из нас лучшие воспоминания о родных местах прежде всего связываются с рекой — пусть это даже какая-нибудь безымянная речушка. Может быть, именно поэтому так обидно, так грустно бывает видеть умершее или скудеющее русло со следами давней полноводности и остатками прежних роц и дубрав на берегах.

К счастью, Куре и Арагви, кажется, не грозит оскудение; слишком уж могучи питающие их источники. Да и с лесами здесь обходятся вроде бы не так решительно, как во многих других местах. Как раз когда я был в Грузии, закончилось строительство очередной высоковольтной линии — от РионГЭС до Саирме; энергию получили новые села, несколько винзаводов, курорт в горах и проч. Это очень любопытная линия; она проходит через крутостенное ущелье Саирме на огромной высоте, где трудно было ставить опоры; и вот здесь между отвесными скалами натянули над пропастью тросы-поперечины и на них подвесили вдоль ущелья три километра высоковольтного кабеля. Тем самым, кроме очевидной экономии в рублях (и кроме чисто технической красоты замысла), сохранили от вырубки немалое количество деревьев заповедного леса.

Линии электропередач, газопровод, автодороги — все артерии индустриальной современности пересекают Грузию вдоль и поперек. Поднимаются новые заводы, поселки; только что построен целлюлозно-бумажный комбинат в Ингури, он потребует немало древесины; конечно же, все это не прибавляет покоя пернатому, мохнатому, чешуйчатому населению гор, долин, лесов и рек. Проблема сосуществования техники, человека и природы поневоле тревожит ум, когда попадаешь в такую страну, в такой уголок.

— Когда бог создал Землю, — рассказывал за бокалом вина шофер Серго, — он позвал все народы, чтобы разделить ее. Получилась, конечно, ба-альшущая очередь, все толпятся, спрашивают: «Кто последний», стоять надо очень долго, жара... Ну, мы, грузины, отошли в сторонку, сели под деревом на траву, вино пьем, беседуем. И так, понимаешь, заговорились, что не заметили, как все закончилось. Смотрим — никого уже нет, бог свою канцелярию сворачивает. Подбежали к нему. «Слушай, бог, а мы как же?» — «Опоздали, говорит, надо было вовремя. Почему в очереди не стояли?» — «Зачем толкаться, говорим, это мы не любим. Мы сидели спокойно в сторонке, вино пили. Ну, немного заговорились, бывает...» Бог задумался, бороду почесал, вздохнул. «Люди вы, я вижу, нескандальные, говорит, вино пьете, беседуете, толкаться не любите... Что с вами делать? Я тут оставил себе кусочек земли на старость, чтобы дачу построить, когда на пенсию перейду... Ладно, берите!»

Что говорить, губа у старика была не дура, знал, что себе оставлять.

В реки напустил крутлобых сазанов, колхских усачей, жирных сомов, кое-где и форели подкинул, в камышах велел жить уткам-ныркам, шилохвосткам, циркам-свистунам, кроншнепам, чибисам, а для красоты еще и розово-серым птицам фламинго. Леса населил оленями, медведями, дикими лесными козами, степи-долины — антилопами-джейранами (у них рожки похожи на лиру), стрепетами, журавлями, мясистыми дрофами, серенькими в коричневую крапинку куропатками. В горы послал туров (каждый рог вместит добрый литр вина), и кавказских серн, и горных длиннордых козлов (у этих бронзовые, лоснящиеся рога отогнуты назад, будто кривые турецкие сабли). Словом, не поскупился.

Когда греки увидели впервые в долине Фазиса (так называлась в древней Колхиде река Риони, та, что теперь вращает гидротурбины) диковинную крупную птицу необычайной красоты, они назвали ее фазаном. Этих разномастных красавцев и теперь несут с тбилисского базара за ноги, их раскрытые крылья бессильно свисают к земле; я видел одного редкостной расцветки — снежно-белого с винно-красными в крапинку боками, с головой седого краснощекого генерала царских времен и червонно-золотистой грудью.

Конечно, жаль видеть такую птицу связанной и предназначенной для жаркого или савици, но что поделаешь, вегетарианцев на свете не так уж много. Важно другое: не истребляются ли без толку сокровища, не скудеют ли реки, не пустеют ли долины и леса.

Вернемся, однако, на вершину горы, где стоит Джвари. Две с лишним тысячи лет назад здесь был храм Афродиты. С принятием христианства (в начале четвертого века) храм разрушили и поставили на его месте большой крест. (Такова логика, может быть — алогичность борьбы. Едва ли не все раннехристианские храмы построены на развалинах языческих.)

В конце шестого века здесь задумали поставить здание, где все точки замкнутого пространства находились бы на одинаковом отдалении от ветвей креста (такая крестообразная композиция в архитектуре была названа «тетраконх»).

Здание строилось более двадцати лет. Это был первый в Грузии купольный храм — старейшина классического периода грузинского зодчества. Его мощные стены забутованы смесью извести, речного песка и щебня (позднее в забутовке нашли обломки мраморных колонн коринфского ордера, остатки разрушенного храма Афродиты); они облицованы — внутри и снаружи — тесаными плитами коричневато-золотистого песчаника.

Внутри храма не было украшений, да они и не требовались. Ясность и простота, спокойствие, строгость, гармония — что же еще нужно настоящей архитектуре? Алабастровые переплеты узких окон подкупольного восьмигранного барабана (их четыре — по странам света) были остеклены цветными стеклами — вот и все, что добавили строители к естественной красоте каменной кладки, к простой гармонии разумно организованного пространства.

Спустя несколько веков, когда арабы разрушили Мцхету, они добрались и до Джвари. Не сумев сломать дверь, они проломили одну из стен (где было потоньше — ниша), натаскали внутрь горы сухого хвороста и подожгли.

Видно, арабы не пожалели горячего: под жарким огнем трескались стены, отваливались карнизы. Пламя поднималось до купола, накаленные камни вылетали наружу: рухнула восточная половина подкупольного барабана.

Около тысячелетия Джвари стоял обгорелый, выветриваясь и разрушаясь. В 1871 году архитектор Чижов писал: «Жаль видеть, как время мало-помалу уничтожает памятники искусства». Прошло еще почти четверть века, прежде чем его голос был услышан. Джвари реставрировали — но как! Черепицу кровли свалили в овраг, заменив ее листовым железом. Стены подправили кое-как, окна запросто застеклили. А внутри украсили лубочными иконами.

Лишь с 1921 года за дело взялись по-настоящему. Перекрыли черепицей, изготовленной по найденным образцам, кое-где заменили выветрившийся камень, выкинули прочь украшения, и теперь нетрудно дополнить воображением недостающее, чтобы представить, как выглядело все тринадцать столетий назад.

Прежде всего Джвари поражает согласованностью — вернее, глубоким согласием с окружающим пейзажем. Он завершает гору неуловимым переходом от естественных форм природы к формам, созданным человеком.

В грузинском зодчестве подобных примеров немало (хотя бы уступчатый, как скала-кристалл, Цроми, разрешающийся, будто горной вершиной, восьмигранным шатровым куполом; или Пшаветский замок, выросший в необыкновенном слиянии с природой, чтобы выразить все, чего не досказала она о неприступности, гордости, смелости).

Но, кроме такой слиянности с природой, Джвари особенно впечатляет человечностью, свойственной лишь лучшим созданиям эллинских зодчих.

Стоит сопоставить Джвари с построенным тремя веками позднее кафедралом Свети-Цховели (беру самый ближний пример), чтобы ощутить значение происшедших с течением времени перемен. Это — как бы наглядный кусок истории христианства, вернее — христианской церкви, все настойчивее уводящей взгляд человека от земли к небу.

Свети-Цховели воздействует устремленностью ввысь. Здесь все подчинено идее, все отчетливее определявшейся с церковным перерождением христианства: мал человек, велик бог.

Джвари не внушает смирения: он соразмерен не богу, а человеку. Архитектура — искусство пропорций, эта истина не нова; но относится она не только к архитектуре. Чувство соразмерности человеку необходимо и в живописи, музыке, прозе, поэзии — наконец попросту в отношениях между людьми, между обществом и человеческой личностью.

Откровенная ясность формы — я бы сказал, ее честность — вот еще одно, чем покоряет Джвари; глядя на здание снаружи или внутри, видишь и понимаешь, как оно строилось, как укладывался камень на камень, как росли стены, как создавался постепенный переход от восьмигранного подкупольного барабана к сферической форме купола; все это читается в ясных, открытых линиях кладки, в строгих ритмах арочных полукружий.

Резные каменные рельефы звучат здесь, как рифма в стихе; они возникают лишь там, где их ждешь — над окном, над дверью, на карнизе. Северный фасад вовсе не декорирован: рельефы не прозвучат без солнца, без светотени. Нет их и на западном фасаде, обращенном к обрыву горы: он смотрится лишь из долины, на таком расстоянии не разглядишь подробностей.

А далеко внизу — Свети-Цховели, Мцхета, место слияния рек-сестер, — удивительное место встречи эпох, столетий. Здесь был перекресток больших торговых путей с запада на восток, по течению Куры, и на север — по течению Арагви. Сюда рвались полчища разноплеменных завоевателей; здесь войска Александра Македонского, покорившие едва ли не полмира, одиннадцать месяцев топтались на месте — не

могли сломить сопротивление иберийской столицы. Здесь зимовали легионы Помпея; осенью, когда спадает вода, видны остатки моста, построенного римлянами две тысячи лет назад. А рядом — плотина ЗаГЭС, Земо-Авчальской гидроэлектростанции; ей от роду меньше сорока лет, а кажется — неоглядная эпоха прошла с тех пор, как тут был один из первых в стране субботников (10 сентября 1922 года, им руководил Орджоникидзе).

Начало эры отмечено памятником Ленину на плотине. Статуя работы И. Д. Шадра (в то время самая крупная) слилась с пейзажем так же нераздельно, как силуэт Джвари на вершине горы.

Для людей моего поколения первое послеоктябрьское десятилетие связалось накрепко со скульптурами Шадра — с бородатым, остриженным «под скобку» сеятелем, молодым красноармейцем в буденовке, художавым рабочим в кепке (все это было повторено миллионы раз на почтовых марках, на первых «твердых» советских деньгах). Дух времени запечатлелся в этих образах исчерпывающе точно и правдиво; даже теперь странно думать, что это вылеплено руками ваятеля, а не родилось само по себе. А тогда мы и вовсе не знали имени Шадра. Наверное, самое великое счастье для художника — так слиться со своим временем.

9

В тбилисских кинотеатрах идет новая итальянская картина — «Бандиты из Оргосола». Звучное название привлекает; даже на утреннем первом сеансе в зале кинотеатра на проспекте Руставели полно широкоплечих, тонких в талии парней, с почти обязательными усиками на смуглых красивых лицах.

Кажется, их ожидания обмануты. Картина Витторио Де Сеты, режиссера из документалистов, — правдивая повесть о бедственной жизни пастухов-овцеводов Сардинии. Ни одного профессионального актера, все играют самих себя — вернее, живут своей невеселой жизнью на экране. История простодушного Микеле, поневоле ставшего вором, разворачивается неторопливо и немногословно среди добела выжженных солнцем камней, под монотонный перезвон бубенцов овечьей отары. Вскоре овечье блянье слышится и в зале: кое-кто недоволен просчетом. Кто-то выкрикивает: «А где же бандиты?», часть зрителей от души веселится, в то время как среди каменистых пастбищ Сардинии разыгрывается трагедия нищеты и несправедливости. Другая часть возмущена. «Не нравится — уходите!» — произносит вслух парень, сидящий рядом со мной. Поерзав на сиденье, он шумно вздыхает и вперяется в экран. А я вспоминаю другую кинозал, где зрители точно так же разделились: это было в Киеве, на картине японца Кането Синдо «Голый остров», завоевавшей Большой приз Московского фестиваля.

«Не нравится — уходите!» — раздавалось и в том зале; кое-кто уходил, пригибаясь или откровенно чертыхаясь вслух, многие оставались, но единства мнений не было даже среди досмотревших картину до конца.

Я вспоминаю еще паренька лет девятнадцати — двадцати, он оказался рядом на открытии выставки театральных художников Латвии.

— Скажите, — деликатно спросил он, указав на один из выставленных эскизов, — что здесь изображено?

Это был эскиз декорации к современному балету, не помню к какому именно, — ярко-зеленое небо, диск солнца с брызжащими лучами, белая, динамичной формы площадка для танцев; я хотел было ответить пареньку, что тут изображена радость жить, но повременил: так недолго и отпугнуть. А мне хотелось поговорить подробнее.

Парень рассказал, что окончил десятилетку, работает на заводе сборщиком точных приборов. Зарабатывает неплохо, интересуется радиоэлектроникой, искусством, часто ходит на выставки. Недавно побывал в Ленинграде, дважды ходил в Эрмитаж. Я полубыпытствовал, что больше всего понравилось ему в Эрмитаже. Оказалось — натюрморты Снайдерса.

— Здорово там все выписано, — сказал он, — ну прямо живое.

— А Рембрандт? — спросил я.

— Рембрандт? — задумчиво переспросил он. — Да, Рембрандт тоже понравился. Но Снайдерс все-таки больше...

В такие минуты я почему-то испытываю не досаду, а чувство личной вины. Вины перед Рембрандтом, перед японским режиссером, перед Витторио Де Сетой и ребятами из Тбилиси, перед этим вот парнем, который пришел на выставку с искренним желанием понять — но кое-чего не понимает. Я чувствую себя виноватым перед всеми — и еще перед самим собой.

Что же делать? Приноровиться к парню, понимающему и любящему Снайдерса и не понимающему, а потому и равнодушному к Рембрандту? Спасовать перед «естественной простотой» его вкуса? Кого считать справедливым судьей — тех, кто ушел из зала, не поняв и не приняв трудного, но благородного искусства Де Сеты и Синдо, или же тех, кто остался и затем раздумывал, спорил об увиденном?

Все это — вопросы для меня далеко не праздные, особенно теперь, когда едва ли не все вокруг втягиваются в неслучайные споры и размышления об искусстве.

Австрийский коммунист Эрнст Фишер в своей работе «Искусство и массы» заметил, что, когда Гёте писал «Фауста», жители Саксен-Веймарского герцогства были на девяносто процентов неграмотны. Значит ли это, что Гёте писал для герцога и его свиты? Будем думать, что он писал и для будущих поколений. Но разве и теперь все понимают (не говоря — способны понять) всю глубину гётевского «Фауста»?

Спору нет, интеллектуальная емкость современного общества отличается от прошлых времен — и не только количественно. Мы не только поголовно грамотны; мы видим, слышим, воспринимаем иначе, чем наши предки. Но значит ли это, что все мы видим, слышим, воспринимаем достаточно глубоко, достаточно тонко?

Эрнст Фишер говорит о вкусах так называемого «простого человека» и справедливо отвергает реальность этого понятия. Нет стандартного «простого человека», он попросту не существует (и не должен существовать). Есть люди — разные, каждый с детства подвергается тем или иным воздействиям, формирующим его вкус, его эстетическую грамотность, его личное понимание искусства. Механическое сложение этих взглядов, вкусов, пониманий не есть еще верный итог.

Если говорить по-серьезному, то перед обществом нашим теперь стоит задача не только внушать художнику чувство ответственности перед людьми, но и будить в людях правильное восприятие, развивать более глубокое понимание искусства. Мне кажется, известное положение Ленина «искусство должно быть понятно народу» по существу своему диалектично; оно содержит в себе определенные требования не только к искусству, но и к народу.

Высоко ценя поэтическую революционную работу Демьяна Бедного, Ильич говорил: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко вперед». Эти слова приводит Горький, в них стоит вдуматься. Потому что, не будучи «немножко», трудно звать вперед, вести за собой.

Недавно я прочел «Тюремные тетради» Антонио Грамши. Сфера его интересов и знаний обнимала все стороны жизни общества — экономику,

политику, литературу, искусство. В одиночной камере муссолиниевской тюрьмы он размышлял об искусстве будущего. Вот одно из его размышлений.

Говоря о литературной критике, Грамши замечает: «Эта критика должна слиться воедино — со всем пылом пристрастия, пусть даже в форме сарказма — борьбу за новую культуру, то есть за новый гуманизм, критику нравов, мнений и мировоззрений с эстетической или чисто художественной критикой».

«Можно ли говорить о приоритете содержания над формой? — спрашивает далее Грамши. И отвечает: — Можно говорить в следующем смысле: что произведение искусства есть процесс и что изменения в содержании являются также изменениями в форме; но «много легче» говорить о содержании, чем о форме, поскольку содержание может быть «резюмировано» логически».

Критика, идущая по такому облегченному пути, упрощает свою задачу, но не облегчает человеку путь к восприятию искусства во всей его художественной полноте. Не помогает ему полюбить искусство, понять его разумом и душой.

10

Надеюсь, читатель простит мне частые отступления, хотя, в сущности, здесь-то отступления нет. Ведь именно об этом я думал, выйдя из кино-театра на людный проспект Руставели.

Была суббота; я купил свежие московские газеты и прошел в Сад коммунаров, чтобы посидеть там в холодке.

Сад коммунаров — один из старейших в Тбилиси, ему больше ста лет, он повидал многое. Здесь весной 1918 года меньшевики расстреляли из пулеметов митинг, созванный коммунистами. На месте расстрела стоит невысокий обелиск. В саду есть еще несколько памятников; лучший из них, на мой взгляд, памятник Ладо Кецховели — энергично изваянная из желтоватого камня голова на простом темно-сером цоколе.

На скамьях под вековыми деревьями шумно беседуют пенсионеры, молчат влюбленные, притворно сердитые бабушки нянчат внуков. По дорожкам одни прохаживаются неторопливо, другие шагают быстро: это кратчайший и приятнейший — тенистый — путь с проспекта Руставели вниз, к улице Володарского.

Со стороны проспекта сад полуприкрыт невысоким зданием картинной галереи; теперь там развернута традиционная осенняя выставка.

В Тбилиси принят хороший обычай: все музеи, выставки открыты с одиннадцати часов утра до девяти вечера — немаловажное удобство для занятых днем. По вечерам гуляющие охотно заходят с проспекта в галерею.

Говорят, работы представлены тут второстепенные; все лучшее художники придерживают для республиканской выставки, она откроется к годовщине Октября.

Вероятно, так оно и есть, но даже по второстепенным работам видишь, что жизнь художников здесь не застаивается; может быть, это особенно ощутимо потому, что осенние выставки устраиваются без жюри. Впрочем, атмосфера поисков и соревнования ощутима и в залах Музея искусств, где существует достаточно строгий отбор.

На выставке представлены все поколения — от старейшин современной грузинской живописи Ладо Гудиашвили и Елены Ахвледиани до мастеров, родившихся в тридцатые и сороковые годы. Я отнял бы у читателя много времени, если бы стал перечислять увиденное здесь. Кое о чем все же скажу.

Из графических работ мне более всего пришлось по душе острохарактерные пастели Касрадзе — «Тушинец» и «Тушинка», и еще большая сангина Георгия Очиаури — «Портрет Важа-Пшавела». Не знаю, какими источниками пользовался художник; я видел фотографию, где Важа сравнительно молод, благообразен, как будто ничем не применен — аккуратно зачесан, борода подстрижена, чоха с газырями... Здесь — другое. Лицо с упавшими на лоб прядями седых волос, с вытекшим левым глазом и печальным, суровым взглядом правого как бы выступает из коричневатой мглы времен. Оно врезается в память, как единственно вероятный облик пастуха-поэта из горной Пшавы.

Хотелось бы также рассказать о натюрморте двадцативосьмилетнего Размадзе — четыре крупные айвы на белом поле. Я говорю «хотелось бы», сознавая, как трудно рассказать о вещи, где намеренная простота сюжета кажется взятой именно для того, чтобы слышнее стала музыка живописи. Словами не передашь, как написано в натюрморте белое поле — белое и вовсе не белое, сотканное из тепла и света, — и как написаны плоды, весомые, плотные, желто-оранжевые с розовинкой, с зелеными и голубыми тенями.

Без восприятия таких вещей чувством невозможно по-настоящему любить живопись и понимать ее. В живописи надо любить ее дух и ее плоть. Правда, это дается не так-то просто; но велика ли цена легкой любви?

Пожалуй, тут можно бы и отвлечься от осенней тбилисской выставки, если б не еще одно: очень хорошие работы из области, называемой прикладным искусством.

Еще совсем недавно трудно было вообразить художественную выставку, где рядом с картинами или гравюрами были бы представлены кувшины, тарелки, ожерелья и даже броши для женских платьев. Теперь сама жизнь ломает перегородки, воздвигнутые между искусствами, и никто не удивляется, увидев среди пейзажей Карталинии или Сванетии, среди портретов или скульптур декоративную керамическую тарелку, мозаику из пластмассы или отличную чеканку по металлу, очень грузинскую и современную.

Друг Ладо Месхишвили, молодой архитектор Гиго оказал мне большую услугу, сводив меня в керамическую мастерскую Академии художеств. Я провел там несколько интересных и полезных часов.

В хорошей керамике есть что-то от форм и линий человеческого тела. Ей передается тепло руки мастера. Жар обжига лишь закрепляет полученное.

В хорошей керамике нет двух до конца одинаковых вещей. Вещи, созданные рукой одного мастера, могут быть похожи, как братья или сестры, даже как близнецы; но и близнецов различают по какой-нибудь родинке, походке, характеру или манере говорить.

Ком глины, добытой в Кахетии или Имеретии, проходит сложный путь, прежде чем превратиться в легкий кувшинчик «чинчилу» или вазу, схожую очертаниями с греческой амфорой, гидрией или фиалой. Глину прежде всего промывают, разминают до пластичности теста и — как сто, тысячу или две тысячи лет назад — шлепают на гончарный круг.

В древнейшем гончарном искусстве мало что изменилось с веками. Разве что масштабы; никто теперь не станет лепить великанские, едва ли не в полтора человеческого роста остродонные кувшины с проушинами. Один такой, возрастом около шести тысяч лет, я увидел на археологической выставке в Музее истории Грузии и решил было, что в нем — закопанном в землю — хранили в те времена вино. Уж очень он был по-

хож на винный кувшин с картины Пиросмани «Марани в лесу» («марани» — винохранилище).

Все же я усомнился: неужто грузинское виноделие так старо? Сидевший на стуле у входа в зал старичок рассеял мои сомнения.

— Конечно,— сказал он,— можете не сомневаться. Даже слово отсюда пошло, от нас. По-грузински с древних времен знаете, как вино называлось? Гв́ино, гв́ино,— повторил он дважды, произнося «г» гортанью, как «гх».— А по-латыни? В́ино. По-французски? Фин. По-русски — вино. Чувствуете?

Покончив с виноделием, он потащил меня к другой витрине, чтобы показать еще серебряный с накладным золотом кубок — чудо ювелирного мастерства, с филигранью, зернью и рельефными изображениями людей, быков и оленей.

— Посмотрите,— сказал он,— имеее редкий случай, можете считать, что вам просто повезло. Второе тысячелетие до нашей эры, такого нигде не увидите, ручаюсь...

Он стал рассказывать, что нигде, кроме Грузии, в те времена такого не сделали бы, не умели еще,— но тут в зал вошли двое; старичок вдруг умолк на полуслове и отошел в сторону.

Один из вошедших оказался Александром Ивановичем Джавахишвили, научным руководителем археологического отдела музея. Вторым был архитектор-художник Автандил Васильевич Варази, автор великолепного оформления выставки.

— Наверное, он вам говорил, что такого кубка нигде, кроме Грузии, в те времена не сделали бы? — вполголоса спросил Джавахишвили, глядя улыбающимися глазами вслед старичку.

Я подтвердил и осведомился для верности об огромном кувшине и происхождении слова «вино». Джавахишвили воплеснул руками, Варази рассмеялся.

— Ну что ты с ним сделаешь? — огорченно сказал Джавахишвили.— Говорили ведь ему, сколько раз говорили... Хочет, понимаете ли, чтобы все отсюда происходило. Из Грузии...

Теперь я знал, что в таких кувшинах шесть тысяч лет назад хранили зерно, а виноделием в Грузии занялись куда позднее и что место рождения кубка не установлено с достаточной точностью. Но старичка мне было все же немного жаль. Когда я пришел назавтра снова, он притворился, что дремлет на своем стуле у входа.

До изобретения поливы, глазури, керамическая посуда не годилась для жидкостей. На Украине старые, опытные хозяйки знают и теперь, что делать с неглазурованным горшком, или макитрой: вымочить в молоке и поставить в горячую печь. Молоко превратится в казеин и заклейт, закупорит наглухо поры. Здесь поступали иначе. Заканчивая обжиг посуды (когда температура в печи снижалась до 400—500 градусов), кидали туда охапку смолистых дров. При неполном сгорании выделялось большое количество жирной копоти, она пропитывала обожженную глину насквозь, посуда темнела до черноты и приобретала водонепроницаемость.

Так родилась черная (или, как ее называют специалисты, «задымленная») керамика.

Поливу изобрели три тысячи лет назад, но черную керамику делают в Грузии и сегодня — для красоты, как предмет искусства; нравится она всем, хотя мало кто знает, почему именно она черная.

Стоит потратить немного времени, чтобы посмотреть, как из шлепка мягкой глины рождается кувшинчик. Сперва мастер приблизит к глине деревянный шаблон; на вращающемся кругу возникнет стройная форма.

Другой шаблон поможет опростать внутренность будущего кувшинчика. Все как будто готово. Но не торопитесь. Отложив шаблоны, мастер придаст кувшинчику еще кое-что от своей руки. Вы так и не уловите, что именно,— круг вращается быстро, у искусства свои тайны.

На снятый с круга кувшинчик наносят стеклом импровизированный углубленный узор, затем его сушат, зачищают шкуркой, промасливают и полируют закрепленным к концу деревянной палочки голубоватым гладким агатом. Почему именно агатом — никто вам не объяснит. Так принято издавна.

Потом кувшинчик отправится на обжиг, и выйдет он из печи либо матово-черным, либо серо-серебряным, либо коричнево-зеленоватым в радужных потеках поливы, либо еще каким-нибудь — это уж как наколдует мастер. И будет он звенящим и необычайно легким — таковы здешние глины. И вы, привезя такой кувшинчик «чинчилу» домой, станете каждодневно им любоваться и огорчитесь безмерно, если кто-нибудь по неосторожности разобьет его. Ползая по полу, вы будете собирать осколки, провозитесь бог знает сколько времени, чтобы склеить, хоть и цена то кувшинчику всего полтора рубля. Но вы-то знаете, что второго такого не будет.

В мастерской Академии работают несколько художников-керамистов, недавно окончивших факультет декоративно-прикладного искусства.

Керамикой Академия стала заниматься еще в 1927 году по инициативе Якова Николадзе. Он не только любил керамику и ценил как скульптор ее неиспользованные возможности. И не только заботился о сохранении древних народных промыслов. Настоящий художник, он еще понимал, что такие пустяки, как хорошая ваза или кувшинчик, играют все же в жизни человека кое-какую роль.

Не все, однако, были с этим согласны. Вот что пишет Н. Джаши в книге «Грузинская советская архитектура» (издана в Тбилиси в 1956 году):

«Прикрываясь «левыми фразами», формалисты всех оттенков трубили о слиянии искусства с производством, низводили художника до роли ремесленника, делателя предметов повседневного обихода. Советский человек с его материальными и культурными потребностями у них бесследно исчезал из поля зрения. Под влиянием этих «течений» в январе 1928 года в учебный план старших курсов всех факультетов Академии художеств вводится курс социологии искусств (Ах ты, грех какой! — Л. В.); летом того же года на страницах местной печати развернулась дискуссия по вопросу о реформе Академии художеств Грузии. Особенно острый характер дискуссия принимает в 1929 году, когда формалистам, под прикрытием фраз о реконструкции народного хозяйства на социалистических началах, удается временно привлечь на свою сторону часть творческой интеллигенции...»

Ох, как дорого мы расплачиваемся за конъюнктурную болтовню, за подмену здравого смысла стальными инвективами, за шаманское камлание иных кандидатов и докторов от искусства! Пойти бы им в энтомологи, там дело проще: поймал бабочку, дал лонюхать чего надо, наколол на булавку, приткнул на место, ярлычок подклеил — и баста...

К середине тридцатых годов охранители «высокого искусства» накрепко пришили «низводителей», «делателей предметов повседневного обихода» — и вот результат: подготовка специалистов в области декоративно-прикладного искусства и промышленной эстетики была по всей стране сведена едва ли не к нулю.

Пожалуй, если бы поинтересоваться вовремя социологией, а заодно и историей, то выяснилось бы, что в периоды действительного расцвета

искусств не существовало высоколобого белоручничества. Деление на «высокое» и «низкое» искусство произошло ведь от имущественно-классового разделения, оно лишь выражает социальное неравенство; оно есть продукт рыночных, торгашеских отношений. Но к чему социология энтомологам? Им — лишь бы прищипить.

В итоге создалось трудное положение; «левые фразы» о реконструкции народного хозяйства оказались вовсе не такими уж левыми, и теперь подсчитано, что неудовлетворенная потребность промышленности в квалифицированных художниках составляет десятки тысяч человек. А все вместе взятые вузы страны могут выпускать ежегодно около двухсот специалистов. Да и то не по одной лишь промышленной эстетике; нельзя ведь забывать и о декоративно-прикладном искусстве, о художественных ремеслах, о мозаике, фреске и проч.

В тбилисской Академии художеств я познакомился с Давидом Николаевичем Цицишвили. Это большой знаток истории и практики древних народных промыслов, что не мешает ему с увлечением и знанием говорить о настоящем и будущем. А ведь в том-то и смысл изучения прошлого.

Давид Николаевич рад недавно вышедшему постановлению правительства СССР о методах художественного конструирования в промышленности. В Москве создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. Пересматривается структура вузов. В тбилисскую Академию ежегодно принимали сорок — пятьдесят человек, а теперь будут принимать семьдесят пять, причем всего двадцать пять из них — на живописный, графический, скульптурный и архитектурный факультеты. Остальные пойдут на факультет декоративно-прикладного искусства, где, кроме существующих отделений (металл, керамика, дерево, текстиль, стекло и пластмассы), предполагается открыть отделение моделирования и художественного оформления промышленной продукции.

Все это — лишь первые шаги. За служебное рвение псевдозащитников «высокого искусства» приходится расплачиваться тем, что многие наши товары выглядят хуже зарубежных, что наша мебель бывает неудобна и некрасива, что наши магазины завалены ремесленным «ширпотребом». И наконец тем, что мы не имеем пока достаточного числа опытных преподавателей, знатоков дела, которые могли бы готовить специалистов в таком количестве и качестве, как этого требуют задачи дня.

II

Когда я уходил из керамической мастерской, молчаливая девушка, талантливый художник, чьими работами я от души восхищался на осенней выставке, еще не зная, что это именно ее работы (ее фамилия — Почхидзе), протянула мне маленькую вещицу. «На память», — проговорила она и снова молча склонилась над гончарным кругом.

Вещица эта — кувшинчик-фантазия на хевсурские темы; он выглядит не то как диковинная пташка, раскрывшая поднятый клюв, не то как человеческая фигурка в круглой шапочке и расшитом нагруднике, какие носят хевсурские женщины.

Я храню этот кувшинчик как память о многом увиденном и огорчусь, если он когда-нибудь разобьется. Храню еще и засушенный между страницами записной книжки цветок. Вот его история.

— Хотите заехать в одно любопытное местечко? — спросил Нонешвили, когда мы покидали Мцхету. И, не дожидаясь ответа, сказал что-то шоферу Серго по-грузински.

Когда машина остановилась, я понял, что действительно увижу сей-

час нечто в высшей степени любопытное. Но увиденное превзошло ожидания.

Мы прошли с улицы через сводчатый коридор — «далан» — из выгнутых полукружиями металлических прутьев, увитых сплошь виноградом. Над нашими головами свисали тяжкие гроздья, желто просвеченные солнцем. А за даланом открылся сад — нет, не сад, а тысяча садов, какие могут лишь присниться.

Тбилисские старожилы помнят цветочный магазин с завлекательно звучным названием «Soleil d'Or» — «Золотое солнце». Лет восемьдесят тому Михо Мамулашвили поступил в этот магазин «мальчиком», а позднее — совсем как в романах — сделался его владельцем и был им до той поры, когда владеть магазинами стало у нас не принято.

На крутой поворот истории Мамулашвили попал в том возрасте, когда жизнь считается сложившейся. Тут она, похоже, грозилась разбиться. Оказалось, она только начинается.

Мамулашвили уехал из Тбилиси в Мцхету, построил дом и принялся выращивать сад.

Вряд ли глагол «выращивать» передаст действительный смысл того, что он делал. Вернее было бы сказать, что он принялся терпеливо творить сотни маленьких чудес, слившихся с годами в большое чудо любви к труду, искусству и природе.

В этом саду растут разные и многие растения — и не просто растут. Сад состоит из множества «микрорейзажей» и небольших композиций, каждая из которых поражает неожиданной красотой, какой-то особенной душевностью и поэзией.

Все кажется здесь естественно сложившимся: замшелый пень, на нем зеленоватая амфора, она вмята и проломлена веками, но не мертва; из пролома тянется к солнцу цветок. Тихо журчит вода; солнце, тень, отягощенные плодами ветви, и снова маленькие поэмы из цветов, растений, речных раковин, невысоких плетней — бесконечно разные, непохожие, короче — удивительные.

Так — среди всех этих чудес — мы приблизились к остекленной теплице. Там сидел грузный седоусый старик в линиялой кепке и синей куртке-спецовке, расстегнутой на груди. Нагнувшись и посапывая, он копался в грядке. Нас познакомили. Поглядев на меня, он молча сорвал пахучий фарфорово-белый цветок из вьющихся по стене теплицы.

— Китайский жасмин, — сказал он. — Для знакомства.

Старик поднялся. Мне хотелось хоть чем-нибудь ответить ему. Я сказал, что это, наверное, единственное в своем роде место на всей земле. Он помолчал.

— Понимаю, — проговорил он. — Вам хочется сказать мне приятное. Но ведь это плохо. Очень плохо, если единственное. Надо, чтобы везде...

Он чисто говорил по-русски и твердо ходил для своих девяноста лет. Мы пошли за ним к дому.

Вот в таком доме, в такой комнате я и хотел бы жить. Дом, как принято в Грузии, стоит на высоком фундаменте, с юга и запада обнесен открытой галереей. Большая комната побелена, пол выскоблен, стены густо увешаны старыми фотографиями, среди них много выцветших дагерротипов. Закопченный камин. Книжки на деревянных некрашенных полках. Своими руками сбитый письменный стол с плетеными из прутьев ивы боками, на нем — груда писем, ножницы, клей, сухие стебли растений, чернильница с медной крышечкой.

А на другом длинном столе, тоже некрашеном, — альбомы, десятки альбомов.

— Пожалуйста, посмотрите, если интересуетесь...

Я раскрыл наудачу один; его страницы представляли собой композиции из засушенных цветов и трав. Не знаю, как сушит их Мамулашвили, у него они не похожи на сухие. Они всего лишь плоские; сила цвета каким-то образом сохранена.

Если бы наши текстильщики заинтересовались этими альбомами, то, я думаю, на много лет вперед задача фабричных художников была бы облегчена. Каждая страница — новый аккорд, новое сочетание пятен и линий, новое свидетельство редкостного композиционного таланта.

В комнату вошла сухоощавая немолодая женщина с темно-рыжими волосами, повязанными косынкой, в стоптанных тапочках на загорелую босую ногу. Это была дочь Михаила Мамулашвили — единственная из живых членов его семьи, его единственный и верный помощник.

Она показала другой альбом — с фантастическими, сказочными пейзажами, чем-то похожими на пейзажи Рериха, Богаевского или Чурлиониса.

— А это — моя работа...

Я сказал, что она отлично владеет акварелью.

— Акварелью? — переспросила она.

Я взгляделся; это была вовсе не акварель. Густо-синие, сизые, оранжево-пламенеющие небеса, причудливые темные деревья, снежные вершины, горные вьющиеся тропинки, обрывистые ущелья — все это были лепестки цветов, стебельки, травинки. Я молча развел руками.

На прощанье старик прошел, сутулясь, в теплицу и вынес оттуда крупный махровый цветок.

— Тициан Табидзе, — сказал он, — вы, конечно, слышали о нем, всегда носил в петлице гвоздику. Я дарил ему, когда он приезжал...

Я не умею сушить цветы, как это делает Мамулашвили. Но я помню запах гвоздики, помню сад и слова старика: «Надо, чтобы везде...»

Я собирался уезжать из Тбилиси и решил последний раз посмотреть на город с горы Мтацминда. Прежде туда поднимались фуникулером; это, кажется, одна из самых длинных и едва ли не самая крутая в мире канатно-рельсовая дорога. Теперь, кроме фуникулера, есть еще и воздушная подвесная дорога. Она построена в 1959 году, ее длина без малого километр, разность высот около трехсот метров, скорость движения шесть метров в секунду.

Нижняя станция дороги находится в открытом дворе здания «Груз-угля» (о нем я писал). Вы входите в овальную, остекленную снизу доверху ротонду, поднимаетесь по некрутой спирали и оказываетесь на бетонированной площадке. Впереди — поросшая зелено-рыжей шерстью гора, к ее верху — к небу — убегают тонкие на взгляд нити стальных канатов. Лишь дважды в пути их поддерживают опоры. Оранжево-красный вагончик, висящий на изогнутой ферме-руке, пружинит под ногой, когда вы ступаете внутрь. С вами вместе поднимутся еще четырнадцать человек. Вы встали у окна, оглянулись, в это время двери мягко сдвинулись, прозвенел сигнал — и все быстро уходит вниз и назад.

Вы несетесь над крышами, железными и черепичными, над улочками, над дворами с их невидной обычно жизнью. Вот двое прыгающих щенят и девочка... Женщина кормит кур... Человек в майке моет лазерную «волгу»... Сохнет белье... Вот надвинулась сверху белая церковь, а вот вы уже над ее серебряными куполами, и она уже позади, а под вами — складчатое тело горы, серо-желтый камень, и то, что казалось вам снизу зелено-рыжей курчавой шерстью, оказывается деревьями: сосна, кипарис, дуб, акация...

Вот пронесся мимо встречный яично-желтый вагончик, — только тут вы и ощутили на миг действительную скорость движения. Оглянитесь — все уже далеко внизу. Кура блеснула излучиной, за морем темно-розовых крыш открылось сизое море гор с ледяной далекой вершиной Казбека. Звонок. Вы на Мтацминде.

Стою у нагретого солнцем парапета, покрытого глубоко врезанными в камень именами «славолюбивых путешественников», со времен Пушкина не изменившихся в желании увековечиться. Стою и вглядываюсь. Мне приятно, что теперь я узнаю отсюда знакомое. Серый вытянутый прямоугольник Сабуртало на северо-западе; правее — веер Дигомского массива. Купол Дворца спорта. Здание цирка на холме. Чаша стадиона. Зеленый Ваке — район вузов, студенческое царство, там я был в университете. Надзаладеви — рабочее сердце Тбилиси. Скала Метехи, острые шатры куполов, а дальше — три встроенные в тело плотины башни Ортачальской ГЭС (в каждой башне — турбина). Крепость Нарикала над ступенчатой неразберихой старого города, и правее — на гребне Солотакской горы — двадцатидвухметровая статуя Грузии с опущенным мечом и поднятой чашей.

Теперь мне нетрудно найти отсюда и проспект Руставели — я узнаю там едва ли не каждый дом, начиная с площади Ленина. Горсовет с башенкой. Тепло-желтая аркада Дома правительства. Серебряно-серая Кашветская церковь. Первая средняя школа — бывшая гимназия, где учились Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Сумбатов-Южин, Немирович-Данченко...

Легко нахожу здание оперного театра, построенное в псевдомавританском стиле академика Шретера. Правее — гостиница «Тбилиси», добрая старая гостиница с плюшевыми толстыми дорожками, с «французскими» шторами, с колоннами «вареного мрамора», золоченой гипсовой лепкой, с комиссионно-магазинными бронзовыми пажам, держащими лампионы по сторонам широкой лестницы, с просторными номерами.

Туда я перебрался из ультрасовременной «Абхазэти» (все-таки сообщаться из новых районов с центром пока еще трудненько, автобусы ходят негусто).

Хочу найти еще на проспекте дом, где есть маленькое кафе, вернее — кофейня, по-современному просто обставленная, с разноцветными моющимися столиками и алюминиевыми легкими креслами. Там за гривенник можно получить чашку хорошо сваренного густого кофе и стакан ледяной воды. Если хотите, вам принесут и сухого печенья или кусок торта; но почти никто здесь ничего, кроме кофе, не заказывает: сюда приходят не поесть, а посидеть, поговорить. И почему-то никто не делает под столом таинственных манипуляций с бутылкой и стаканом.

Я успел привыкнуть к этому кафе и даже имею там свой любимый столик, бело-черный, с косой царapiной в углу. И получается как-то так, что людей полно, а у моего столика всегда найдется местечко. Мне приносят кофе и воду, я закуриваю и гляжу на молодых ребят (таких здесь всегда большинство), на лохмато стриженных девушек, звонко смеющихся, дымя чуть испачканными помадой сигаретами. Мне хочется знать, чему они радуются, чем озабочен вот тот одинокий парень в шерстяной черной рубашке, потирающий ладонью лоб, о чем так горячо спорят двое, налегая грудью на столик и забыв о недопитом кофе.

Автобус на Ереван уходит в семь пятьдесят утра. На улицах еще пусто. Проезжаем Ортачалы; памятник арагвинцам, плотина электростанции... Тбилиси провожает взмахами башенных кранов. Впереди желтеют горы, стелются поля — зеленые и смуглые, цвета вяленого та-

бачного листа. Через них легко и уверенно, будто балерины на пуантах, бегут опоры высоковольтной линии.

На двадцать шестом километре — поворот; слева, в распаде охристых гор, из утренней мглы возникает фантастическая картина: черно-белые медленные дымы, столбы труб, округлые силуэты кауперов, книзу растворяющиеся в долинном тумане.

Это Рустави, родина Руставели. Огромный металлургический завод, построенный после войны. А где-то за ним — новый город, сохранивший древнее имя.

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Страна поэтов и булатной стали, страна седых суровых гор и зеленых долин, страна древняя и молодая — такой я увидел еще раз Грузию из окна уходящего на юго-восток автобуса. Навстречу бежали распаханное поля, обсаженные по краю дороги тополями и акацией. Овцы, будто подвижные серые кошки, паслись вдалеке на солончаках. Бронзовеющие виноградники — они уже отработали свое — отдыхали на неярком осеннем солнце.

(Окончание следует)



УОЛТЕР МЭККИН

★

БОГ СОЗДАЛ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Повесть

Уолтер Мэккин — известный ирландский драматург, романист, рассказчик. Первая его пьеса была поставлена в Дублине в 1946 году. Советский читатель знает Мэккина по двум сборникам рассказов «Зеленые горы» (Издательство иностранной литературы, 1958) и «Лодочные гонки» (Издательство «Правда», 1958) и роману «Ветер сулит бурю» («Молодая гвардия», 1960).

Пояснительное слово

Мприезжает тут к нам на остров человек один. У нас его Придумщиком прозвали. Свыклись мы с ним не сразу. Много всякого народу наезжает летом на этот остров. Красиво тут в эту пору и тихо. Мир да благодать. И море, как овечка, ласковое. С каждым встречным и поперечным мы скоро не сходимся. Чужих мы сторонимся и мыслей своих заветных им не выкладываем. Такому что — приехал да уехал. А отдай ему часть души — так он ее, пожалуй, с собой прихватит. К этому же мы привязались, потому что он, что ни год, обратно к нам возвращался. Он к нам в душу влез, как пескоройка в прибрежный песок. Он даже говорить по-нашему научился, и хоть смешно было смотреть, что он ртом выделяет, когда слова выговаривает, но по крайней мере видно, что человек от души старается.

Каждый раз он появлялся у нас в таком виде, что смотреть жалко. Был он рыжий, и оттого казалось, будто он уж и вовсе плох. Он попивал. Там, у себя дома, он писал книги и всякое такое. Нам эти книги давать было без пользы, потому что в английском языке мы не больно-то смыслим. Но люди говорили, что, видно, он в своем ремесле хорошо поднатрел, если судить по тому, как он всякие истории рассказывает. Он и рассмешить умел, и так тебя рассказом своим пронять, что ты уж и на месте усидеть не можешь.

Ходил он обычно в фуфайке, какие у нас на острове вяжут, и в старых штанах, и можно было принять его за бродячего торговца. Ставил себе палатку где-нибудь в укромном местечке у моря — у нас свиньи и то лучше живут, — а все же к концу месяца его было не узнать. Красные жилки в глазах исчезали, и сам он становился пободрее, и, когда приходило ему время уезжать, нам уже было жаль с ним расставаться, и мы скучали по нему и радовались, что на будущий год можно будет снова его поджидать. Где-то у него была жена, но только она с ним никогда не приезжала, да и дети тоже. Он о них мало вспоминал. В бога он не верил. Тут у нас об этом много говорили и очень его жалели. Особенно по воскресеньям, когда он сидел один на холме и смотрел, как народ от обедни расходится.

Мне он стал другом. И чего это я пишу о нем в прошедшем, сам не знаю — оттого, верно, что писание мне так туго дается. Он и по сей день мне друг, и если б не он, разве стал бы я писать все это, когда у меня от натуги пальцы сводит и пот на лбу проступает?

У меня лодка есть, вот он и зачастил со мной в море ходить. Я ему всегда только рад был. Когда он по-нашему лучше научился понимать, стали мы с ним много о чем разговаривать, пока я свои лески закидывал. Ну, а прошлым летом затеяли мы эту канитель, почему я сейчас, зимой, таким делом и занимаюсь. «Колмэйн,— это он мне говорит.— Вот ты человек верующий. С чего же это ты веришь, что бог есть?» Я даже обалдел. Есть вещи, которые знаешь наверное, и есть вещи, которые наверное не знаешь. Есть и такие вещи, о которых вовсе не станешь говорить. Есть вещи, которых ни на одном языке не выскажешь, даже если бы все языки на свете знать. «Да просто знаю»,— говорю. «Ты ж не дурак,— говорит он.— Неужели же то, во что ты так твердо веришь, столь шатко, что ты людям о нем рассказать не можешь?» — «Ты мне голову не морочь, Пол»,— сказал я. «Вера — это редкостная драгоценность,— сказал он,— вроде как жемчужина в морской раковине. Как же ты эту драгоценность обнаружил? Почему не дашь взглянуть мне на нее? Или боишься, что от моего взгляда она в песчинку обратится?»

«Сколько я себя помню,— сказал я,— она была у меня. Она мне от матери досталась, и от отца, и от его отца с матерью, и от их отцов и матерей — в общем, от предков она идет, испокон веков». — «Этого не может быть,— сказал он,— потому что у каждого человека бывает в жизни полоса сомнений. Вера — это дело личное. Ведь бог не отвлеченное понятие, общее для миллионов людей. У каждого человека должен свой бог быть. А потому каждого человека — чернокожего ли в джунглях, желтолицего ли на рисовых полях, или белого, который вроде меня живет в щели среди нагромождения огромных бетонных скал, именуемых городом,— следует опрашивать в отдельности. Неужели не ясно?»

От его слов я совсем запутался. Я думал над ними. Может, в них и была своя мудрость. Я сказал: «Я человек темный, я дальше начальной школы не пошел. Если тебе нужны ответы на твои вопросы, сходил бы ты к кому-нибудь знающему. К священнику сходил бы».

«Нет, говорит, я тебя спрашиваю. Мне важно, что ты скажешь. Ты живешь настоящей, не выдуманной жизнью. Ты — то, что называется средним человеком, но ты живешь на лоне моря, и у тебя над головой бескрайнее небо. Тебя не сбивают с панталыку ни электрические огни, ни высокие здания, ни скрежет машин. Я хочу, чтобы ты дал мне ответ». — «Да где мне слова взять,— говорю я.— Я человек простой».

«Мне слов не занимать стать,— сказал он.— У меня их миллион наберется. Все они на бумаге увековечены. Я мог бы комнату завалить книгами, в которых они записаны, а что в них проку? — Тут он распрямил спину и стал мне пальцем грозить.— Подавай мне свои слова,— говорит.— Вот что я тебе скажу: зима длинная, зимние вечера долги. Работы зимой у тебя мало. Перед отъездом я дам тебе белой бумаги, и пиши на ней, как бог на душу положит. Так и зиму проведешь. Ты мне напишешь, Колмэйн, почему ты такой. какой ты есть. Ты напишешь письмо мне, писателю, которого ты называешь Пол и которого на самом деле зовут Поул. Сделаешь ты это для меня?»

Я посмеялся над ним.

«Куда же это? Ты на мою руку посмотри. Это же не рука, а окорок какой-то. Не положено такой рукой перья держать. Перья — это для холеных пальчиков. Не для такой ручищи эти дела. Насмешил ты меня».

Он тогда снова откинулся на сиденье. «У меня есть в запасе еще две недели,— сказал он.— До самого отъезда я буду тебе свое долбить, пока

ты не согласишься сделать по-моему. Что-что, а уговаривать я умею». — «Ты меня, пожалуй, скорее сговоришь со скалы броситься, — сказал я, как отрезал, — чем на такую штуку согласиться». — «Не трать зря пороху, Колмэйн, — сказал он. — Все равно судьба твоя решена и подписана».

Вот и все мое пояснительное слово. Теперь уж сами рассудите: я ли тряпкой оказался или это Пол такой мастер на уговоры. Сейчас у нас зима. Ночи длинные. Ох, и трудно же мне. Я себе языком, как могу, помогаю. Жена говорит: «Жаль, говорит, Колмэйн, что нельзя тебе вместо пера языком писать». Но я так или иначе пишу, черт бы все это побрал, заодно с человеком, который меня в это дело втравил. Я начну, а если и не кончу, так тоже потеря невелика, а я по крайней мере долгие вечера скротаю. Но какая тебе, Пол, от всего этого радость, хоть убей, не вижу.

П о н е д е л ь н и к

Я, Колмэйн Фьюри, умею своими руками табуретку сколотить, или там стол обеденный, или кровать спальную. Много что я умею сделать своими руками, потому что волей-неволей пришлось научиться, а вот когда засадили меня историю своей жизни писать, так я и не знаю, с какого конца взяться. Но раз уж сам господь бог начал работу с понедельника, так и я с него же начну. Ведь говорят же старики: все, что судьбою положено, случается в будние дни, потому что воскресенье бог создал, чтобы дать человеку покой и отдых.

Вот я и подумал: что из того, что случалось со мной, было для меня важно и что не важно. И вижу, что важное всегда случалось в будние дни. С вашего разрешения, так я и сделаю. Я знаю, что люди рассказы свои делят на части и называют их главами, но я такой премудрости не обучен и боюсь, что только зря напутаю. История моя не больно интересная. Да я б ее в трех словах мог рассказать, говори я с глазу на глаз да будь у меня нужные слова. Но Полу это не понравится. Ему это покажется мало. Он как заведет свое, как заведет, и придется мне заново все переделывать. Потому раз уж я за это взялся, так постараюсь сделать на совесть, как если бы я делал, скажем, кухонный стол — выбрал бы дерево, и выстрогал бы его, и выточил бы ножки, и вставил бы их в пазы, и перекладинами б их связал, и потом уже сверху крышку набил.

Вся моя жизнь прошла на море. Остров наш невелик. Умещается на нем человек сто, и земли на каждого не то чтобы в изобилии, но хватает — хорошей, плодородной земли, чтоб было где картошку посадить, да овса посеять, да коров пасти, — да еще по скалам растет жесткая трава, овцам в самый раз.

В тот понедельник мне исполнилось четырнадцать. Это день моего рождения был. Оттого я так про понедельник и запомнил. Стукнет тебе четырнадцать — и прощайся со школой. Можешь радоваться. Теперь, тридцать лет спустя, я вижу, что радоваться-то было нечего. Надо было мне в школе побольше за книжками сидеть. Знал бы я теперь английский не хуже людей, и было бы мне не совестно на нем разговаривать. И мог бы я беседовать с Полом запросто на его родном языке. И книги мне тоже легче было бы читать: не пыхтел бы я над ними, как теперь. Да чего там жалеть! В тот день у меня голова от счастья шла кругом. Лежал я на зеленой травке на вершине скалы; к ноге у меня была привязана леска. Я удил сайду. Леска и крючок с наживкой болтались где-то футов на сто внизу среди подводных камней. Каждый раз, как клевало, леска начинала резать ногу, и я вытягивал рыбу. Был конец лета. Небо было синее и воздух горячий. Но только небо было будто тюлем затянуто, так что синева виднелась словно сквозь дырки. Чаек разморило. Они расселись на скалах и на траве, как жирные утки. Какая-нибудь нет-нет да

встрепенется, полетит над морем, высматривая, что б ей сожрать. Я сел. Меня начало беспокоить, чего это леска все не режет ногу. Я ее выбрал немного, чтобы проверить наживку. Все было в порядке. Рыбе следовало бы клевать. Но она не клевала. Я снова спустил леску. В чем, думаю, дело? Море было тихое, гладкое, как зеркало, и только заплески тихонько так на берег набегали и откатывались назад. Полагалось бы рыбе клевать. День был — лучше не придумаешь. Между мной и материком пролегло шесть ирландских миль воды. Берег материка был как в тумане. Потом я глянул в открытое море. Помню, мне пришлось еще глаза заслонить — очень уж вода слепила. Сощурившись, я мог разглядеть далеко-далеко в море лодки с нашего острова — маленькие такие, черные, продолговатые крапинки, которые словно повисли между небом и морем.

Если мне не было удачи, то, может, хоть им была. Я перевернулся на живот и стал смотреть на них. Там и отец мой был, и два брата. Я подумал, какие они все-таки счастливые. И когда только отец приспособит меня к рыбной ловле! Я всей душой рвался рыбачить в открытом море. Мой средний брат, Тирнен, вечно издевался надо мной. «Иди-ка ты к курам, Колмэйн», — скажет, бывало. Тут я впадал в ярость. Я кидался на него, а он как придавит мне рукой голову, я и ни с места — только зря кулаками машу, и смеется надо мной, пока наконец вся злость моя не пройдет.

Работа для девчонок! У нас сестер не было, так что мне волей-неволей приходилось матери помогать: выгонять скотину, доить коров, рубить капусту свиньям в корм, в поле с ней работать. Чудо, как пахла на солнце скошенная трава, и мать всегда приносила с собой в корзинке, накрытой белой тряпочкой, что-нибудь лакомое, и мы славно завтракали в поле. Она учила меня ворошить сено, и ровнять его, и сгребать в стога, и все время она напевала песни, которые знала еще от своей матери. Хорошая была у меня мать. В душе я был доволен, исполняя всю эту не так чтобы очень почетную работу, — ведь делал-то я это для нее, и когда она улыбалась, или клала мне руку на плечо, или пекла мне маленькие сладкие пирожки с изюмом, — мне большей награды и не надо было. Так-то оно так, а все же мне хотелось тянуть сети с бьющейся в них рыбой, вдыхать запах дегтя и рыбьих потрохов.

Я смотрал свою леску. Эдак все равно ничего не наловишь. Лучше уж сходить да картошки накопать к ужину. Отец и братья вернутся домой голодные. Тогда мать вывалит прямо на стол котелок горячий, выпирающей из кожуры картошки и подаст свежей вареной рыбы. От таких мыслей мне даже есть захотелось. Я еще, помню, подумал, спускаясь со скалы, до чего же на нашу деревушку посмотреть приятно, когда солнце светит на нее вот так, словно сквозь дымку. Солому почти на всех крышах сменили не далее как в прошлом году, и домики побелили на радость дачникам. Золотом колосился овес, а подрост на скошенных лугах был зеленый-зеленый. Это был мой дом, и другого мне было не надо.

Порыв ветра налетел на меня с моря, и мне стало холодно. Как сейчас помню: середь жаркого дня — пронзительный холодный ветер, с чего бы это? Потом его пронесло, и все осталось, как было. «Ничего я не наловил», — сказал я матери. «Никогда из тебя рыбака не получится», — посмеялась она. «А вот и получится! — сказал я. — Я буду первым рыбаком на весь остров». — «Пойди-ка лучше картошки накопай к ужину», — сказала она. Она была рослая. Волосы каштановые. Лицо загорело на солнце. В волосах ни сединки. А зубы белые, как у молодой девушки, и держалась она прямо.

Я взял корзину и пошел по картошку. В тот год картошка уродилась хорошая, крупная, чистая, без червоточинки, редко-редко попадалась

порченная. Я копал осторожно, стараясь не ранить клубней лопатой. Отец всегда подсмеивался надо мной, если ему попадалась картошка с надрезом. «О-хо-хо,— говорил он тогда,— опять Колмэйн картошке кровопускание устроил. Нельзя поручать мальчишкам мужскую работу». С таких слов я не знал, куда от стыда деваться. Я успел набрать с полкорзины, как вдруг заметил, что кругом все потемнело. Память меня не обманывает. В одну минуту ясный день сменился тьмою. Я не знал, что и думать. Решил, что, может, померещилось мне это. Но нет, какое там. Стало темно, как ночью, и с моря пошел протяжный вой. Я перепугался. Я оперся о лопату и тут же отбросил ее прочь — боялся, что будет гроза и железо притянет молнию. Все вокруг померкло и затихло. Я взглянул себе на руку. В этом чудном освещении она цветом напоминала давленную чернику. Потом меня ударило ветром. Страх какой это был ветер. Он меня совсем к земле пригнул. И тут хлынул дождь и за ним град. Хотите верьте, хотите нет. Жаркий день, а потом лютый холодный ветер и град. Когда я бежал домой, мне пришлось прикрывать уши руками, так их колотило градинами. В деревне стояла тьма. Я видел людей, стоящих на порогах домов. Я слышал, как хлопают двери и плохо припертые калитки. На бегу я заметил, что люди мне что-то кричат, но ни слов, ни даже голосов не было слышно — уносило ветром.

Мать стояла в дверях. «Ох, Колмэйн, Колмэйн!» — встретила она меня. Она втащила меня в дом. Мы закрыли дверь, чтоб ее не рвало ветром. В кухне было темно. Мы посмотрели друг на друга при свете очага. Глаза у нее были большущие. Мы слушали, как ревет за стеной ураган. Нам было страшно. Мы не говорили о том, что было у каждого на уме: отец и братья, и лодка, и все остальные рыбаки. Может, скоро пронесет. Скоро не пронесло. Казалось, этому не будет конца.

«Ветром их будет гнать к берегу», — сказал я и шагнул к деревянному крюку за непромокаемой шляпой и плащом. «Куда ты? — спросила она. — Куда ты пойдешь, когда такое творится». — «Нужно, — сказал я. — На пристань. Они вот-вот подойдут. Я помогу им закрепить лодку». — «Нет, Колмэйн, — сказала она. — Нет, не ходи!» — «Я должен, мама», — сказал я. Она пробовала удержать меня, но я не остался. Я с трудом закрыл за собой дверь: так ее рвало ветром. Я пошел к пристани, которая загоразживала часть маленькой бухты, так что там могли укрываться лодки. Я был не один. Другие тоже пришли — мальчишки, старики, кое-кто из женщин. Мне приходилось цепляться за скалы, чтоб меня не унесло ветром, как соломинку.

Все мы на пристани сгрудились вместе. На море было страшно смотреть. Оно было похоже на кастрюлю с кипящим молоком, разбавленным чернилами. У меня сердце упало, когда я его увидел. Все же и лодки были добрые. Все на три пары весел, устойчивые. Я пошел прочь с пристани. Слышал, как меня зовут назад, но не обернулся. Я двигался ползком против ветра. Иначе нельзя было. Пришлось стать на четвереньки и ползти, а мокрый ветер так и хлестал, так и хлестал меня. Иногда мне удавалось спрятаться за грядой скал, и тогда я делал перебежку под их прикрытием. Так я добрался до места, откуда видно было открытое море. Здесь меня защищали громадные, серые, поросшие мхом скалы, и я мог видеть, что делается на море и внизу на самом берегу. Волны были страшные. Они вздымались выше моей головы и с несусветным грохотом разбивались о каменистый берег. Они светились каким-то диковинным светом. Они были везде, куда только хватал глаз, а за ними — черное-черное небо. Посмотрел я на них — и стало мне тошно, и, боже мой, до чего я перепугался. Я даже стал молиться. Господи, сказал я, ты наслад бурю, так спаси же и сохрани моих близких.

Я уже не разбирал — ночь ли была, день ли. Я остался там, примостившись среди огромных серых скал. Надо было мне пойти назад, к матери, — теперь-то я понимаю, — но я не пошел. Я остался там и уснул, как ягненок, нашедший наконец приют. Проснулся я от тишины. Руки и ноги занемели. Когда я расправлял их, они трещали в суставах. Я промок до нитки. От каждого движенья по всему телу бежали мурашки. Был рассвет. Об этом я догадался по светлой полоске на востоке, где вставало солнце. Значит, буря бушевала вторые сутки. Сейчас она улеглась. Небо немного расчистилось. Ветер немного стих. Я пошел назад к пристани. Там собрались люди. Я только глянул на них — и сразу все понял. Лодки не вернулись. Ни одна из шести. Да и не могли они вернуться. Значит, они где-то в укритии. А как же иначе?

Я побежал домой. Стукнула щеколда, и мать повернула ко мне лицо. Она стояла на коленях. С тех пор, как я ушел копать картошку, лицо ее переменялось. Ох, как переменялось!

«Они, наверно, где-то переждали, — сказал я. — Они, наверно, где-то переждали». Она сжала губы и покачала головой. А потом подняла руки и длинными пальцами закрыла лицо. Я опустился рядом с ней на колени. Обнял ее.

«Мама, — сказал я. — Ох, мама, наверно, они где-то переждали». Как сейчас помню. Это было первый раз, что я видел свою мать беспомощной, и я, четырнадцатилетний мальчишка, старался утешить ее, как умел.

Они не вернулись. Ох, Пол, не вернулись они живыми. У волнолома нашли обломки лодок — мусор, выкинутый морем.

А Тирнена я нашел. Я нашел его на берегу, там, где сам прятался от бури. Он застрял между скалами, лицом в песок. В светлых его кудрях запутались водоросли. Он будто улыбался. На щеке у него был синяк. Никогда мне не забыть, как я нашел своего брата Тирнена. Иной раз я думаю — прости меня, господи, — может, лучше было бы, если бы и Тирнен остался в море вместе с отцом и братом Патриком, потому что, когда мы принесли его на доске домой, это, по-моему, мою мать доконало. Она не запричитала, не завывала, хотя по всему острову плач стоял по покойникам. Она — нет. Она не заплакала. Она внесла его в дом, и раздела его, и обмыла, так что на нем и следов моря не осталось, и уложила его на отцовскую кровать в зале, и ни на отпевании, ни на похоронах, ни на поминках она слезинки не проронила.

Я-то плакал. На всем острове нет такого места, которое я не полил бы слезами, прячась от людей, со дня на день ожидая, что вот-вот волны выбросят на берег тела моего отца Колма и брата Патрика. Но бог милывал — они так и не вернулись домой. Видел я после много утопленников, которые не одну неделю провели в море, рыбой и крабами попорченных, и никому не пожелал бы я увидеть их. Отец и брат не вернулись. И, думая о них, я представлял, что сейчас они колышутся там, на дне морском, как водоросли, чтобы восстать по зову господню из глубин океана целыми и невредимыми, так что радостно будет нам их увидеть.

Может, и мать бы так думала, если б не вернуло нам море Тирнена. Потому что те-то все умерли быстро, раз-два — и готов, запутавшись в сетях, захлебнувшись морской водой, мать же моя умирала три года. Три года умирала она у меня на глазах, и смотреть на это было не больно-то весело.

Понял я, что такое любовь. Понял, что любовь может свести в могилу. Я вспоминал отца и мать, когда они были вместе. Посмотреть на них — так и не скажешь, чтоб они и любили-то друг друга. Была их любовь скрытая, без лишних слов. Потому что простые люди всякого такого себе не позволяют. Нам совестно смотреть на дачников, когда они ручки жмут да целуются при свете дня на глазах у всех. У родителей моих любовь

сказывалась в шуточке, во взгляде, а то и в перебранке. Но только когда отца не стало, понял я, что никто на свете ей больше не нужен.

Даже я.

Чего уж там скрывать. Мне это обидно было. Один только раз я сказал ей об этом. Может, говорю, ты бы хоть ради меня пожила, ради своего последнего сына. До сих пор об этом жалею. То слабость была. Правда, заплакала она, пролила слезы, что так долго в себе копила, да только ничего хорошего из этого все равно не вышло, потому что мысли ее были не здесь.

Потому-то я и люблю вспоминать ее такой, как она была в тот день, когда я картошку копать домой прибежал.

Потому что больше уж я ее такой не видал. Мне восемнадцатый шел, когда она померла. Три, значит, года прошло. Ее было не узнать. Волосы потускнели, зубы не были белыми, как прежде, щеки увяли и спина согнулась. Между прочим, и она тоже умерла в понедельник. Понимаешь теперь, что я хотел сказать, когда говорил, что все важное обязательно в будние дни случается?

Было, значит, мне семнадцать лет, и был я один-одинешенек. Не было у меня ни отца, ни матери, ни брата, ни сестер.

До четырнадцати лет я смеяться с утра до ночи готов был. Видно, счастливо мне жилось. Я и проказил, как полагается мальчишкам, и бранили меня вдоволь, и отцовскую руку не раз случалось мне на себе испробовать. Тяжелая у него была рука. Будто доской тебя огреет.

У меня был пустой дом, и шесть акров земли, и корова, и два теленка, и свинья, и куры. Но не было у меня семьи и не было лодки.

И все этостряслось со мной в понедельник.

Вторник

Несуразные вещи страх с людьми делает. Страх, как говорится, превращает мужика в бабу. Я с этой поговоркой не согласен. Мне, например, думается, что иной раз женщины похрабрей мужчин бывают. Но из мужчины тряпку сделать они умерют. Только это уж другой разговор. Были мы все тут на острове мореходами, а теперь от земли ни на шаг. И все от трусости да робости, которую нагоняли женщины, до смерти перепугавшиеся моря. Тошно было смотреть, как страх расплзался по нашему острову. Лодок не строили. В море никто не выходил. Только и ели мы рыбы, что ребятишки с берега наловят. В каких-то землепашцев превратились. А чего тут хорошего, когда земли в обрез? Вот молодежь и начала разбегаться. А что им оставалось? Удаль свою на море не испробуешь. Рыбным промыслом на жизнь зарабатывать нельзя. Вот они и стали разъезжаться кто куда — искать, где бы им с судьбой силами помериться. Человек ведь иначе не может. Для того он на свет родится, чтоб себя в полную силу показать. А без этого чего и жить-то.

Женщин я тоже не виню. Если принесут тебе в дом ногами вперед мужа или брата, а то и обоих, и если у тебя сын растет, который может тем же кончить, так, ясное дело, тебе не захочется в море его отпускать. Это всякий поймет. Боялись они моря. И это тоже понятно.

Но я-то моря не боялся. Я возненавидел его. Оно мне лютым врагом стало. У меня теперь я не было матери, у которой я мог бы страх прочесть в глазах, которую я, пожалев, послушался бы. И я решил идти на море войной. Теперь-то мне самому смешно, но тогда я не в шутку об этом думал. Мысль, конечно, была завиральная, вроде как если бы кто затеял всех комаров на свете одним махом доской прихлопнуть. Запала мне эта мысль в душу не сразу, когда мне было уже ближе к восемнадца-

ти, и так она мной завладела — просто покою я себе не находил. Тошно мне было смотреть, как разъезжаются ребята. После каждых проводов в Америку я все злее становился. Я своими думами со стариками делился, но они только головами покачивали — молчали. Им-то что? Они свое уж отработали. Сидят себе на табуретках у очага, табак пожевывают. Тихонько свой век доживают. Я твердо решил, что я этого, так не оставлю. Пусть мне никто не помогает, все равно — буду бороться, как сумею. И что с морячками нашими сделалось? Куда подевался задор былой? Только и хватало храбрости в тихую погоду на барже для перевозки торфа на материк переправиться, чтоб какую-нибудь живность на рынке продать да на вырученные деньги припас закупить. Я прямо из себя выходил: да что ж это такое в самом деле — всего-то пути шесть миль на грязном, неказистом торфянике, а подумаешь — океан переплыть собрались.

Перво-наперво я вот что сделал: раздобыл себе прочную веревку и с одного конца ее парусиной обмотал. Потом я кликнул Томаса, дружка своего. Мы с ним в школу еще вместе бегали и немало вместе шкодили. Отец его и брат тоже погибли в ту бурю, только их тела потом нашли и похоронили на песчаном погосте у церкви и сверху каменное надгробье поставили. А другие два его брата уехали. Остался один Томас, да две сестры, да мать, да бабка. Так что жил он среди женщин и совсем с ними оробел.

Я говорю: «Томас, пошли со мной, дело есть». Он говорит: «Куда это мы с веревкой пойдем? Корова у тебя, что ли, в болоте увязла или со скалы сорвалась?» — «Нет, говорю, идем со мной». Он и пошел.

Я привел его на дальний край острова к маленькой бухточке. Никто сюда никогда не заглядывал. С обеих сторон ее скалы огораживали, невысокие такие. Вода тут всегда тихая, как в пруду. И даже в отлив глубоко. Дно песчаное просвечивает, и вода зеленая, как кошкин глаз. Пока он на меня смотрел, я разделся догола и обвязался веревкой. «Ну-ка, поддержи за конец», — говорю Томасу, да как прыгну в воду! Я это по злобе на море сделал. Плавать я не умел. Видал, понятно, как собаки плавают, и рыба, и лягушки или там дачники. Ну, а рыбакам плавать не положено. Не знаю почему. Говорят, чтоб судьбу не испытывать. Я в эту примету не верил. Забарахтался, стал руками и ногами колотить, решил, что поплыву во что бы то ни стало, а подо мной футов тридцать глубины было. Где-то я читал, что тело это есть бутылка, а рот отверстие, которое пробкой затыкается. Если пробку вынуть — бутылка потонет. Если бутылка заткнута — она не потонет. Я вдохнул побольше воздуха, сжал рот и погрузился в воду. И правда: погрузился я всего лишь по нос, а потом меня вытолкнуло кверху, как бутылку. Тут я на радостях как заору — и выпустил весь воздух, так что, если б Томас не нашелся и не потянул бы веревку, я б, пожалуй, ко дну пошел. Я ликовал. Я чувствовал, что у моря первый раунд выиграл. Томас теперь тоже смеялся. Ему эта затея понравилась, и он держал веревку, пока я работал ногами и руками то по-собачьи, то по-лягушачьи. Через три дня я уже прыгал в свою бухту без веревки и плавал там почем зря. Вид, я думаю, у меня был неказистый, но я мог держаться на воде и передвигаться в ней, и когда я вылезал на скалы, и прыгал в воду, и снова вылезал, и снова прыгал, мне казалось, что я одержал великую победу. «Слушай, Томас, — смеялся я, — море ж всего-навсего вода, а мы как-никак мужчины. Слышишь, ты? Понимаешь мое настроение?» Правда, не сразу, но уговорил-таки я Томаса попробовать, и теперь я держал веревку, пока он тоже не научился плавать. Так что видите, теперь уж мне казалось, что я не одну, а две победы одержал. В тот день, когда у Томаса дело пошло на лад, я стоял на скале голый и орал морю: «Видало? Нашлись-таки два на-

стоящих мужчины, с которыми ты так легко не справишься. Нашлись таки два настоящих мужчины, которые видят, что ты вода и больше ничего, что тебя саму ветер гоняет за милую душу. Уж нас-то ты голыми руками не возьмешь».

Томас решил, что я рехнулся, но он был рад, что я заставил его выучиться плавать.

Заберешь ты что-нибудь себе в голову и лезешь из кожи вон, чтобы своего добиться, а чуть добился — тебе уж этого мало. Тебе уже еще чего-то надо. Мало уже того, что достиг. Теперь оказалось, что у меня душа лодки просит. Можно было бы, конечно, лодку купить. Правда, денег у меня скоплено было маловато, но уж как-нибудь купил бы. Много лодок без дела на песке валялось. Страх людской эти лодки точил. Я много их пересмотрел. Почти все они были большие и ремонта немалого требовали. Но я-то был один. Как я мог с такой управиться? Парусиновую лодку-байдарку на одного человека мне и даром не надо было, потому что далеко на такой от берега не отойдешь. Я мечтал о своей собственной лодке, которую я б в своем уме выносил, своими руками сделал. Вот чего захотел! Да, вот она — молодость.

Неподалеку от пристани стоял старый, покосившийся сарай из древесной коры с просмоленной крышей. На двери его висел замок. Я пошел к Муртагам. Дома оказался только старый Фионан. Он был старый-старый. Он еле ходил, так его от ревматизма скрючило. Суставы на руках распухли и болели. «Мне бы ключ от старого сарая, — сказал я. — Дал бы ты его мне, я б тебе спасибо сказал». Долго он на меня смотрел. Глаза у него были голубые, старые, но, если присмотреться, они уже такими старыми не казались. Он плюнул в огонь. Плевок был классный. Оттуда, где он сидел, до очага было не аршин и не два. Он этим был знаменит. «А чего ты в сарае не видал?» — спросил он. «Я тебе сейчас этого не скажу, — сказал я. — Посмотрю сначала, а потом скажу». Он снова плюнул. «Ключ за дверью, — сказал он после того, как плевок благополучно впелся в горящий торф. — Эту дверь не отпирали знаешь с каких пор?» Я знал. С тех пор, как Фиарач и Торми не вернулись с моря. «Только смотри, чтоб жена Фиарача не видела, что ты в сарай пошел, — сказал он. — А то она мне такого ходу даст, что только держись, а мне помирать пора, и я хочу, чтоб меня в покое оставили». Тут он и правду сказал, и неправду. Ходу-то она ему, понятно, дала бы, но умирать ему было так же пора, как старому дереву, что у озера и по сей день стоит.

Сердце у меня стучало шибко, когда я отпер дверь. Я затворил ее за собой. Свету сюда и так достаточно попадало в щели между кусками коры и через два раскрытых окна. Сарай весь зарос тенетами. На полу все еще валялась стружка. Тут же, закрепленная на станке, стояла начатая когда-то и недостроенная лодка — только киль да изогнутый нос. Лесу тоже оказалось немало. Я осмотрел его: тонкие листовничные доски, которые оставалось только согнуть. Был и инструмент: тесла, рубанки, стамески, деревянные молотки. Обидно мне стало, прямо хоть плачь. Мальчонкой я из этого сарая не вылезал. Все смотрел, как Муртаги лодки строят. Они мне часто разрешали самому вбивать корабельные гвозди. А теперь? Только ветер гуляет да паутина раскачивается. В заповустье пришел сарай. Я вспомнил Фиарача и Торми. Они не вернулись. Были они оба тихие да добрые, как почти все, кто с деревом работает. Никто от них слова дурного никогда не слышал.

Я вышел на улицу. Запер за собой дверь. Опять пошел назад к Муртагам. Повесил на место ключ. Потом сел напротив деда. «Лодку хочу построить», — сказал я ему. Он вылупил глаза. «Это ты-то? — сказал он. — Куда тебе. Не видал еще свет такого Фьюри, который хоть гроб-то фанерный когда-нибудь смастерил, а ты туда же — лодку строить». —

«А кто мне ее построит? — спросил я. — Ты, что ли?» Он поднял руки. «Этими-то уродами? — спросил он. — Да когда меня всего от старости в три погибели согнуло?» — «Ты когда-то большим мастером был, — сказал я. — Люди говорят, что такую форму лодке придать, как ты, никто другой на всей нашей земле не сумел бы. Говорят, ты лодки кроил, как портной штаны». — «Что правда, то правда, — сказал он. — Только ушло то времечко. И времечко ушло, и лодки, которые я строил. Где они, эти лодки? Только и осталось от них что гнилые, червями источенные обломки, которые море то там, то сям на берег выкидывает, а дачники в кострах на потеху жгут».

«Я хочу по-своему построить, — сказал я. — У меня деньги есть. Я тебе хорошо заплачу за лес, что в сарае лежит. Инструмент отчищу и буду им пользоваться, и за это я тоже тебе заплачу. И за пользование сараем заплачу. Если ты на это пойдешь, я лодку построю».

Он засмеялся. Зубов у него осталось мало, но он их все до одного мне показал. «Вот спасибо, Колмэйн, — сказал он, — что меня распотешил. Я так с самой той бури не смеялся. Чтобы Фьюри лодку строил! Да у нас все кошки со смеху пропадут. Так, пожалуй, и без кошек останемся». — «Вашим бы деньгигодились», — сказал я. «Пригодиться-то пригодись бы, но и без них обойдутся. Ты как думаешь, захочет жена Фиарача тебя в сарай пускать?» — «Нет, — сказал я. — А тебе нравится, что все молодые ребята с острова разбежались?» — «Трусые! Бабы! Сапожники! Тряпки!» — разорался он. Лицо у него стало сердитым. «Ну, а кто все-таки хозяин сарая, и леса, и инструмента?» — спросил я. Он посмотрел на меня, склонив голову набок. «Я! — говорит. — Я от своих прав пока еще не отказывался». — «Так ты что, жены Фиарача испугался, что ли?» — спросил я. Знал я, как его поддеть. «Это я-то бабы испугался?» Дед он был страсть какой норовистый. «Сдается мне, что так», — сказал я. Он совсем распетушился. «Чтоб черт тебе в суп на....», — пожелал он мне. «Ну так дашь ты мне попробовать или нет, господи боже мой?» — спросил я. «Что ж, — сказал он, — может, и стоило бы поглядеть, как какой-то Фьюри пустится в море, усевшись в корыто, в бочку, в деревянную посудину, которая будет посмешищем на все семь приходов. Да только разве море мне такую обиду простит? Зато ты хоть в другой раз посмеешься, может, это тебе даже жизнь продолжит. Ей-богу, продолжит, — сказал он. — По крайней мере мне хоть жить для чего будет. Ну что ж, бери сарай, и инструмент, и лес — и за дело. Смотри только, чтоб ангелы в небе животы со смеху не надорвали».

А я хитрый был. Я решил, что какую-никакую, а лодку я себе построю, но я подумал, что старику его гордость мастера не даст в сторонке стоять, что, может, он все-таки указания мне будет давать. «Я тебя насквозь вижу, — сказал он. — Ты думаешь: я хоть и полумертвый, а туда притащусь и своим умом с тобой делиться стану? Не-ет, Колмэйн, сам управляйся. Я к сараю ближе чем на три плевка не подойду. Я жене Фиарача и матери Торми душу бередить не намерен. Будь покоен. Ну, ладно, пошел прочь, и чтоб глаза мои твоих дурацких выдумок не видели. Может, даст бог, раньше помру, чем так опоганюсь. Чтоб Фьюри лодку строил!» Он лихо плюнул.

Я ушел от него, но на душе у меня светло было. Все-таки кой-чего добился.

Я отворил дверь сарая настезь и отмыл его от многолетней грязи. Я разогнал пауков, обмахнул тенета, отчистил инструменты, и наточил их, и свел с них ржавчину. Можно было приступать к работе. Мне нужно было укоротить уже готовый киль. Была у меня на уме лодка с коротким корпусом, и с глубоким килем, и крепким носом, и широкой кормой, чтобы было где поставить румпель. И еще я решил, что поставлю мачту для

одного паруса. Я знал, что мне нужно. Но, мать честная, до чего же трудно было все это мастерить! Никто к сараю близко не подходил. Все только издали на меня поглядывали. Я себя среди них чужим начал чувствовать. Даже Томас меня сторониться стал. Можно было подумать, что я могилы их родных оскверняю. Мне хотелось сказать им, что это они зря так думают. Я хотел сказать им, что мертвые в своих могилах радуются, что нашелся молодой парень, который собирается в море выйти. Куда там! Один только человек и отважился ко мне подойти. Священник наш молоденький.

«Во имя отца и сына и святого духа, что это ты, Колмэйн, затеял?» — спрашивает. А я злой был. «Лодку, — эдак громко говорю ему, — строю». А он смотрит на меня и улыбается. «Ну что ж, говорит, в добрый час, если от тебя самого что-нибудь останется к тому времени, как ты ее кончишь». Тут уж и я улыбнулся: руки у меня были все в ранах — старых ранах, и свежих, забинтованных, и таких, которые следовало бы забинтовать. Даже ногу я умудрился поранить — стамеской себя саданул. «Я эту чертову лодку выстрою, — говорю я ему, — хоть бы у меня ни ног, ни рук не осталось». — «Молодец, — говорит. — Когда кончишь, я ее тебе освящу». — «Если мы оба до того доживем», — сказал я. Посмеялись мы с ним, и он ушел. Но у меня с того разговора от сердца отлегло, и я опять взялся за работу — начал шпангоуты пригонять.

После этого дела мои на лад пошли. Томас наведалься посмотреть, как я работаю. Он надо мной посмеялся, но, между прочим, подержал мне доску. Все теперь надо мной потешались. Им смешно было, что какой-то Колмэйн — и вдруг лодку строит. Что до меня, то я смотрел так: пусть лучше смеются, чем думают, будто я их обидеть хочу.

Фионан держался долго. Я, понятно, в душе на него большую надежду имел. Но вот как-то поднимаю глаза от своего непутевого детища и вижу — стоит он скрюченный, как боярышник, и свирепый, как старый бугай.

Он, ясное дело, возвел глаза к небу и обошел кругом мое сооружение. «А это, интересно знать, что такое? Ты что, корове стойло строишь или поросячий загон? Или, может, это крысоловка какая, или просто тележка ослиная? Или что там еще? Только не говори мне Христа ради, что это настоящая лодка, которую можно на воду спустить». Ключой своей он перetyкал все шпангоуты и некоторые из них расколол. В два счета он уничтожил то, над чем я неделями трудился. И на минуту я так обозлился, что, кажется, мог бы его молотком ударить. Но не ударил, смолчал. А он продолжал бушевать. Тут, мол, надо было вот так сделать, а там — вот эдак, и где у меня вообще голова была, и всякое такое. Я на него тоже разок цыкнул, а потом рассказал, какую лодку в мечтах имею. Он охаял ее, осмеял, освистал, но кое-какие указания все же сделал. Сам он о такого уroda рук марать не станет, но чтоб святого дела кораблестроения не посрамить, сделай, мол, то-то и то-то. Иначе бог знает, что потом о нашей деревне люди говорить станут.

Если правду сказать, то построил лодку он. Я только руками работал. Но лодка была моя. Я ее задумал, и он не отрицал, что это моя лодка. Какая бы ни была она плохонькая, он-то знал, чего мне стоило ее построить, когда все были против меня. Каждая стружка, снятая с доски, каждый забитый гвоздь — все, все была моя работа. Я ее задумал. Я ее сделал. Но форму-то придумал ей он. А как же иначе? Так что уже много времени спустя кто-нибудь нет-нет да посмотрит на нее и почешет в затылке. Вот чудеса, лодка-то эта никак Муртага работы! Ну вот, значит, достроил я ее, выстрогал мачту, оснастил, балласт заготовил, парус сшил.

Моя лодка. И я буду ходить на ней в море.

Ох, как мне не терпелось! Я слушать никого не хотел. Она стояла проконопаченная и просмоленная, готовая к спуску на воду. Я столкнул ее вниз по склону. Когда она легла на воду, у меня в груди дыхание сперло. Думал я, потонет она, что ли? Нет, не потонула. Она качалась на волнах, как морская птица. Я ошвартовал ее, поставил мачту и укрепил ее железным болтом. Я отнес на нее весла с узенькими лопастями, а потом утехи ради приладил парус и поднял его. Лодка моя была прямо как молоденькая лошадка, что грызет удила. Несколько человек поглядывали на меня с берега. Видно, поэтому мне и захотелось покуражиться. Томас был у пристани.

«Отдай концы!» — скомандовал я ему.

«И думать не моги, в такую-то погоду!» — попробовал было он меня удержать. А стоял февраль. Ветер налетал порывами, и на море было беспокойно. Эх, лучше б он мне этого не говорил! Не скажи он этого, я б, может, и остался. Будь тут Фионан, он бы только посмотрел на меня презрительно, и я, пожалуй, и остыл бы. А тут меня будто нарочно подзадоривали — я ж еще мальчишкой был. Ну, я возьми, да и крикни: «Отдай концы!» На берегу зароптали. А я свое: «Ну, ну, давай, Томас, тебе говорят». Он тогда нехотя так отдал концы, и я направил лодку в море. И боже мой, как ветер ее подхватил да как пригнул мачту к самым волнам. Теперь я уж и сам не рад был, что вышел. Я и не заметил, что ветер такой сильный. Лодка шла к нему боком. Мачта скрипела. Если курса не менять, так меня в два счета на материк выбросит. Я подтянул парус и поставил лодку против ветра. Поворот сошел благополучно. Я мог гордиться ею. Она шла навстречу волне в открытое море, рассекая воду мощной грудью. Я промок до нитки. Мне было смутно видно, как на пристань сбегаются люди. Меня распирало от гордости. Вот где я им покажу, что моря бояться нечего. Вот вам, смотрите, пожалуйста, — нашелся таки парень, который не побоялся один в утлой лодчонке выйти в море. Сквозь вой ветра до меня доносились голоса. Мне некогда было прислушиваться, что это они там кричат, потому что, как оказалось, дела-то своего я толком не знал.

Никогда я раньше в море под парусом не ходил, если не считать парусов, что мастерят на скорую руку из любой тряпки и нацепляют на байдарки при слабом ветре. Об остальном я только мечтал. Отцовская лодка была гребная, на три пары весел. Они обходились без паруса, потому что никогда не заходили в море больше, чем на десять миль. Мне и не снилось, какую силу может набрать при крепком ветре кусок парусины, веревкой прикрепленной к мачте.

Меня несло в сторону далекого материка, где вода разбивалась в белые брызги о черные скалы. Хочешь не хочешь — придется менять галс. Это нетрудно, если знать как. Мне этого в жизни не приходилось делать. К тому же для устойчивости лодке не хватало балласта. Я, правда, собирался по всем правилам выложить дно известняковыми плитками, чтоб все было, как у людей, да не успел. Но что-то делать было надо — я навалился на румпель и, когда парус немного отпустил, подтянул и укрепил веревку, и тут маленький утлегарь пролетел у меня над головой, ветер подхватил парус и раздул его, да так натянул канат, что мне чуть руку не сломало, и лодка помчалась к острову, и так ее при этом трепало, что она прямо кряхтела. И помучился же я, прежде чем повернул ее еще немного против ветра! Но было и еще кое-что, чего я не знал и что мне знать не мешало бы, — как раз здесь, когда море вот так разбушуеться, волны, которые на берег бегут, и те, что назад откатываются, столкнувшись, настоящий водоворот образуют. Куда ж было не нюхавшую моря лодку такому испытанию подвергать? Понял я, что из-за минутной гордости

все загубил, потому что выдержать ей тут было никак невозможно. Чему-нибудь сейчас конец придет.

Конец пришел парусу. Его изодрало на ленточки. Будто тысячей бритв по нему прошлись. Парус ты мой, парус! Лодка ты моя, лодочка ненаглядная! Одна только польза — понял я, что я дурак и бестолочь. Дурак — еще бы куда ни шло. Но вот что бестолочь — это уж мне было горько. Я налег на румпель, и тут ее завертело ветром, и волны начали ее швырять с превеликим удовольствием. Дурак ты, дурак! — поносил я себя: понимал, что винить больше некого. И досталось же ей! С одной стороны шла крупная волна, с другой — помельче. Остров будто бежал мне навстречу на всех парах. Ну что, доказал? Мне видно было, как вдоль крутого берега бегут люди. Маленькие такие черные фигурки бежали посмотреть на мой конец. Они, ясное дело, скажут: говорили тебе, дурак бестолковый? И правы будут, своими глазами увидят, что правы. Но ведь они не правы, и я мог бы им это доказать! А я даже не дождался, чтобы священник мою лодку святой водицей покропил. На месте мне, видите ли, не сиделось.

Теперь уж и за весла не возьмешься. Стоит мне только румпель выпустить — и нам с лодкой обоим крышка. Я еще, помню, успел подумать, что меня и оплакивать-то некому, и тут вспенившаяся вода сгребла нас с лодкой в охапку, и мы исчезли в ее пучине.

Ну так. Значит, плавать я умел. Теперь я понял, что, будь ты хоть сто раз пловцом, толку тебе от этого все равно не будет.

Я так и застыл.

Раскрыл глаза.

Я по-прежнему сидел в лодке, обхватив обеими руками румпель. Лодка не двигалась с места. Мачту перекосило. Со спины меня обдавало брызгами. Я встал на ноги. Лодка даже не качнулась. Волны, будто в бросках соревнуясь, подкинули ее да швырнули через гряду скал, и теперь она лежала, привалившись на бок, на песчаном берегу, под невысоким утесом. Я вылез. Почувствовал под ногами песок. И места-то тут было с пяточок. Я обошел лодку вокруг. Потыкал ее пальцем. Она была цела. Только в одном месте содрало смолу и видны были голые доски. Вот и все. Она осталась невредима.

Я глянул на море. Оно на нас не позарилось. Видно, побрезговав, выкинуло оно нас обратно на берег, как дохлую рыбу — на съеденье чайкам. И на том спасибо: не стоили мы того, а вот поди ж ты, как здорово угодили.

Наверху, над краем утеса, высунулись головы. Люди смотрели вниз на нас. Я помахал им. Они так обалдели, что даже махать не могли. Знаю, что они ожидали увидеть. Совсем не то, что увидели. Голова у меня плохо варила, а все же понял я, что всю спесь с меня одним махом сшибло. Молодость молодостью, а только больше такого номера я, пожалуй, с бухты-барухты не отколю. Лодку отсюда в отлив снять — плевое дело. И новый парус я с большой радостью сошью.

Случилось все это во вторник. Я это наверно знаю. Потому что был день святой Бриджиты. Оттого-то я потом и лодку свою «Бриджитой» назвал. Не заслужил я того, но однажды во вторник господь мне жизнь сохранил.

Среда

У меня была лодка. Я мог заниматься рыбным промыслом. В скором времени я и обходиться с нею научился. Лодка-то была хорошая, только больно мала — на такой далеко не уйдешь. Нужно бы мне лодку побольше. Но опять же тут без компаньона не обойдешься. Мне Томас позарез

нужен был. Да не так-то просто оказалось страх его перед морем сломить, а тут еще бабы своим карканьем мне все дело портили.

Жену мне было нужно. Так уж человеку от природы положено. С девушками, что жили на острове, дела у меня не клеились. Я не урод был, понимаешь. Я рослый был и здоровый и сколочен как будто неплохо, но из-за того, что у меня только море да лодки на уме, они на меня смотрели, будто я умом не крепок, так что близко сойтись с какой-нибудь из них мне никак не удавалось. На свадьбах да на праздниках я и сплясать мог, и песни горланил не хуже других. Правда, на инструментах ни на каких не играл, но и то была не помеха, потому что очень мало есть мужчин, этим одаренных. От девушек я не бегал. Случалось, и на берегу при луне сживали, и в тени какого-нибудь дома иной раз за полночь с девушкой простаивали, где всего свету, что от сигаретки. Удовольствие, конечно, да что толку-то? Уж и сладость девичьих губ я познал, и сам, своими грубыми пальцами убедился, какая кожа у них пониже плеча нежная да мягкая. Но понимал я, что все это не то. Потому что никогда у меня так сердце не отзывалось, и кровь огнем не обжигала, и душа не говорила, как, по моему пониманию, должно было быть с суженой.

Но и бобылем оставаться на всю жизнь не хотелось. На что мне это? Хотелось мне жену, да такую, чтоб мы с ней душу друг другу могли открывать, понемножечку да помаленечку, год за годом. Хотелось такую, чтоб меня жалела, чтобы слезы лила, если б я помер. Хотелось мне сына, потому что в этом человек ближе всего с творцом сходен. И еще, чтоб сын мой был рыбаком. Уж это-то обязательно. Раз больше никто рыбаком быть не хочет, придется мне его к рыбному промыслу приучать. Но где она? Как ее найти? Есть ли она вообще-то? Однако и чудно же жизнь иногда поворачивается.

Был у меня молодой бычок. Держать мне его было никак нельзя. Лето в тот год выдалось засушливое, трава не удалась, и корму на зиму получилось в обрез. И то, что у меня было запасено, нужно было беречь для коровы да для тощей свиньи, которые в уплату налогов предназначались. Так что оставлять бычка никак нельзя было. Он был крепенький, рыжий, с белой мордой. Жаль мне было с ним расставаться, да что поделаешь. В ту среду на материке была ярмарка. И вот, погонявшись малость за своим бычком, я его изловил, загнал в стойло, накинул ему веревку на шею и приволок к лодке. Там ему ноги спутал, уложил его как следует и повез на материк.

День был ясный. Солнце светило. Я этот день хорошо помню. Счастливым оказался день. Мелкие волны какую-то свою песню о борта лодки выстукивали. У телят глаза большие-большие. Мой теленок эдак жалостно смотрел на меня. Это потому что я его от матери отнял. Будто и впрямь понимал, что я его с рук сбыть собираюсь. Чувствительность с животными — это, понятно, баловство одно, а то как же бы мы иначе есть их могли? Но когда ты один, вроде как я был, то с ними поневоле сживаешься. Посмотреть на стадо коров — будто все, как одна. Ан нет. Все они разные, и во всем стаде двух одинаковых не сыщешь. У каждой свой нрав есть, на других не похожий. Можно сказать, совсем как люди — одна шалая, другая ласковая. Есть смышленные, есть глупые, а есть и вовсе даже умные. Очень ошибаетесь, если думаете, что все они, как одна. С этим телком мы друг друга понимали. Бойкости в нем было хоть отбавляй, вечно он со мной силами помериться норовил. Я его есть заставляю — не ест, из стойла гоноу — не идет, я его в стойло — он опять не идет. Таким уж поперечным уродился. Таким и оставался до конца.

На ярмарке было людно. Полевые работы почти закончились, и у людей досуг появился. Привязал я у пристани лодку, взвалил телка на спину и попер вверх по ступеням. Он барахтался что есть сил, просто

сладу с ним никакого не было. Наконец я его спустил на землю и накинул ему на шею веревку. Он выдирался, пока я петлю как следует не затянул, тут уж ему пришлось это дело бросить, чтоб не удавиться. Ну, говорю, теперь можно тебя и на базар вести. Мы проталкивались сквозь толпу. Если кто со мной здоровался, я отвечал. Знакомых встретилось мне не больно много. На базаре все имелось, кроме рыбы. Представляешь, до чего дожили! Только и было рыбы, что бочка соленой селедки в магазине при почте. Я поинтересовался. Оказалось, что и эта привозная. Можно этому поверить, я тебя спрашиваю? Давно я здесь не был, и дух свежего портера — им так и пахнуло из дверей переполненного трактира — меня соблазнил. Я подцепил какого-то мальчонку. «Поддержи-ка, говорю, сынок, мне телка, пока я кружку портеру опрокину, — получишь три пенса». — «Четыре, говорит, да пряник с изюмом, тогда по рукам». — «Ну, видно, у тебя отец барышник, — говорю я. — Ладно, договорились». Я передал ему веревку и вошел в трактир. Гомон там стоял. Я подошел к стойке и спросил себе кружку. Мне запах здесь нравился: пиво, пряности разные, сыромятная кожа. Благодать! Портер был лучше не надо, да только допить мне его оказалось не судьба. Услышал я, что мальчонка меня кличет. Он заглядывал в окно, строил рожи и тыкал куда-то пальцем. Я вышел к нему.

«Теленок-то, говорит, убег. Дал мне раза в живот, черт окаянный, — и поминай как звали». — «В какую сторону?» — спрашиваю. «А пес его знает». Я огляделся. Смотрю, поближе к центру города суматоха какая-то в толпе. Я двинулся было туда. Но тут мальчонка в меня вцепился: «Эй, кричит, он мне живот покалечил. Возмещай-ка мне сначала убытки». — «Я тебе, пожалуй, возьму по заднице, — сказал я. — Ты уговор не выполнил». — «Я папке на тебя пожалуюсь, — сказал он. — Он тебя съест». Я не удержался и захохотал. Кинул ему монетку в один пенс и пустился вдогонку за своим телком.

А он уж успел добраться до телячьих рядов и затесался среди телят. Только завидел меня — и как бросится наутек. И что б вы думали? Все остальные телята, штук эдак двадцать, как один — за ним. Ну и потеха пошла, когда все кинулись в погоню. Вверх по улице, позакоулкам, через огороды, переворачивая кули с картошкой, с руганью, с хохотом неслись мы, каждый за своим теленком. Мой молодец вырвался вперед на четверть мили и летел, как скакун по беговой дорожке, когда я его наконец углядел. Я побежал за ним. Встречные пытались его завернуть, так он в поля сиганул. Небольшие такие поля здесь, отделенные друг от друга низенькими каменными оградами. Он через ограды давай скакать — я за ним. Нет-нет я уж будто совсем в угол его загоню, глядишь — а он опять увернулся. Уж я с ним и так и эдак, и лаской пробовал, и ругал его нехорошими словами. И, верно, рожа у меня от бега пылала, как закат. Кончилось тем, что я споткнулся о камень и шлепнулся прямо в землю носом. И я поклясться готов был, что теленок обернулся и захохотал. Кто-то во всяком случае захохотал, и я поднял голову. Смотрю, через ограду со стороны дороги перегнулась какая-то девушка — стоит и любитесь, как я на земле валяюсь.

К тому времени я уже озлился. «Дураку палец покажи, он смеяться рад», — говорю. «Тебе бы в цирке выступать, Колмэйн-Лодкин, — отвечает она. — Из тебя б знаменитый клоун вышел. Люди б состояния тратили, чтоб только посмотреть, как ты за телятами гоняешься». И опять захохотала. Интересно, откуда она знала, как меня зовут? Я ее в глаза не видал. У нее волосы были каштановые, и она смеялась — вот я и заметил, что зубы у нее белые-белые. «Чем над чужой бедой смеяться, — сказал я, — попробовала бы лучше теленка поймать». — «Что я и сделаю, — сказала она и перескочила через ограду, легонько так, словно

перышко, и пошла к телку. «Теля-теля»,— говорит ему, а он, проклятый, будто только того и ждал, чтоб она ему за ухом почесала да поймала волочащийся конец веревки. «Может, тебе еще что-нибудь надо?»— спрашивает она. Я как сидел на траве, так и покотился со смеху. Она улыбнулась мне. «Теперь тебе остается только купить телка»,— сказал я. «Что я и сделаю,— сказала она.— Сколько ты за него хочешь?»— «Ты что, спятила?»— спрашиваю я. Она подумала. «Да нет, пожалуй,— говорит.— Меня на ярмарку послали телка покупать. Называй свою цену». Я назвал цену на два фунта выше той, что рассчитывал за него получить. «Господи,— сказала она,— бриллианты у него в животе защиты, что ли? Или, может, он у тебя волшебный? Или копыта у него позолоченные?» Рассмешила она меня. Торгуется прямо как оптовик настоящий! «Ну вот что, дам я тебе столько-то»,— сказала она, уж не помню сейчас сколько, но на фунт ниже его цены. «Смотри, с таких денег не обедняй,— сказал я.— Да еще сможешь ли ты столько заплатить-то? Мне телка сбывать задаром нужды нет. Он завтра не сдохнет».— «Ладно, говорит, по рукам!» Я протянул руку. Она протянула свою. Поплевала на нее, отерла о платье и как хлопнет меня по руке, так что треск пошел. «Даю тебе столько-то»,— говорит — и назвала правильную цену. «Есть!»— сказал я и сжал ей руку. Давно это было, а я и по сей день помню. У меня рука была куда больше, чем у нее. И будто искра живая между нами пробежала. Никогда еще в жизни ничего подобного я не испытывал. Я опустил глаза и посмотрел на наши руки, потом опять поднял и посмотрел на нее. Поручиться могу, что и у нее взгляд будто удивленный стал — пожалуй, не хуже моего. Вот так оно и случилось. В ушах барабаны бьют и не слышно ничего. Лицо у нее вдруг серьезным стало, да и у меня, верно, тоже. У нее глаза были строгие. Не знаю, надолго ли этот миг затянулся. Пожалуй, что навсегда. Что ему не будет конца. Пора было кому-то заговорить. Заговорил я. Я даже будто охрип. Мне пришлось горло прочистить. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?»— спросил я ее. «А я еще прежде тебя видела,— сказала она.— И от людей слышала о тебе и о твоей дурости. Они к твоему имени Лодкин добавляют — Колмэйн-Лодкин-Фьюри».— «Вот оно что,— сказал я.— А тебя они как величают?»— «Я Катриона О'Флаэрти»,— ответила она.

«Катриона,— сказал я.— Надо ж, какое имя красивое!» И как это у меня язык повернулся? Она посмотрела на меня. У нее все лицо от смеха сморщилось, она стояла на коленях, я сидел на траве. «Теперь я вижу, что не зря про тебя говорят,— сказала она.— Ты и правда дурной». И мы оба захохотали как одержимые. И тут же перестали. Помолчали немного. Потом я спросил: «Ты все еще на ярмарку собираешься?» Она говорит: «Нет, раз уж я теленка купила. Да, надо ведь тебе уплатить». Она вытащила из кармана кошель и стала отсчитывать деньги прямо мне в руку. Считала она долго, а я этому только рад был. Я дал ей сдачи две полкроны. «Это что еще?»— спросила она. «А это на счастье,— сказал я.— Может, ты б ленту себе в волосы купила». Она подумала немного. «Ладно,— говорит.— А какого цвета мне ленту купить?»— «Хорошо б голубую, говорю, вроде как небо сегодняшнее». Духу-то не хватило сказать, вроде как глаза твои.

Потом я сказал: «Интересно бы знать, в какие руки мой телок попал, так что, может, я б прошел с тобой до дому и взглянул?» Она опять надо мной засмеялась. «Да, говорит, пойдём, пожалуй, а то еще не уснешь сегодня от беспокойства».

Вели мы теленка мили три. Домик их притулился у самого моря. Семья в нем жила большая. Катриона старшая была, а младшая — шестимесячная — еще в люльке лежала. Мать у нее была хорошая.

Угостила она меня. И посмеялись мы тут вволю. Отец был рослый такой мужчина. Муртаг О'Флаэрти его звали. И штукарь же он оказался. По-моему, я им по нраву пришелся. Я детей люблю. С мелкотой я сразу дружба свел. И радостно же было посмотреть на такую большую семью после моего дома и многих других осиротевших домов. Я прямо на седьмом небе был. Я понял, что, пока Катриона жива, я буду счастлив, будь она хоть за тридевять земель от меня. Главное — знать, что она есть на свете. Вот и все.

Поздно уж было, когда мы пошли назад к моей лодке. Она вышла со мной. Это ты отметь. Да, и вот еще что: я сказал: «Так, значит, ты моря боишься?» Она говорит: «Да». Что ж, всякий разумный человек так бы ответил. «Ну, а с тобой я моря не побоялась бы», — сказала она, и, знаешь, она в лодку ко мне села. Было еще довольно светло, дул свежий ветер, а вот не побоялась же! Понимаешь, какое дело! Женщина в лодке, говорят, дурная примета. Бабы толки. Уж я-то знаю, что говорю. Распрощался я с ней на пристани, а потом, плывя по морю, все имя ее повторял. Так-то. Вот как это случилось. Да только, видно, счастье легко в руки не дается. А как же без борьбы-то? У кого как, а у меня, например, борьба началась из-за того, что Катрионин отец штукарем оказался.

Вот как оно вышло.

Жил в их деревне молодой парень по имени Паро Макдона. Ростом-то он вышел, да ума не нажил. Школу окончил с грехом пополам. Зато силища у него была непомерная. Отца Катрионы, который с ним всегда ласков был, он почитал как родного. А Муртаг тут свой расчет имел, хоть, может, и сам того не ведая. Дело в том, что Паро мог уйму работы повернуть, а хозяйство у Муртага было большое, да он еще лодку держал для ловли омаров, и помощь Паро ему ой как нужна была. И так уж издавна у них повелось, что каждый раз, как Паро ему услугу какую окажет, Муртаг говорил: «Благослови тебя господи, Паро. Вот войдешь в возраст, я за тебя старшую дочь отдам». И говорил-то он это в шутку, понимаешь, да Паро-то все за чистую монету принимал. А Муртаг, чтоб и впредь помощь его себе обеспечить, нет-нет да и подольет масла в огонь, нет-нет и скажет ему: «А знаешь, Паро, пожалуй, она и впрямь по тебе вздыхает. Я сам сегодня видел, как она тебе вслед поглядывала». А те он прикидывался, будто приветы Катрионе от Паро передает, и Паро верил. Все это он для потехи выдумывал, а на выдумку он был мастер. Только лихое это дело — с дураками шутить.

Как-то раз воскресным вечером я шел к пристани. У трактира заметил я в сумерках двух парней, но внимания на них не обратил, даже когда они пошли следом за мной. Я уже по ступенькам к воде спускался, когда Паро окликнул меня по имени. «Эй, Колмэйн-Лодкин, — крикнул он, — а ну постой». Я его обождал. Он подошел ко мне вплотную. Росту си был дай боже. Мне на него снизу вверх смотреть приходилась, а и я не карлик. Я ему говорю: «Вечерок-то, говорю, какой хороший, Паро. Благодать! И чего это, говорю, тебе от меня понадобилось?» Он нагнулся к самому моему лицу. Зубы у него были белые, крупные и вперед торчали. От него портером разило. «Ты вот что, говорит, ты больше к Катрионе не ходи, слышишь ты, Колмэйн-Лодкин? Не про тебя она. Она мне ее собственным отцом обещана». Я как представил себе Катриону, такую умненькую да бойкую, рядом с Паро, так даже смех меня разобрал. Думал, он шутки шутит. Я засмеялся. Он опустил руку мне на плечо. А рука тяжелая была, я под ней прямо согнулся. «А ты не смейся, — сказал он. — Она еще под стол пешком ходила, когда ее отец родной за меня просватал. Ты на нее рта не разевай». Тут я из себя вышел. «Ты меня только тронь еще, Паро, — говорю ему, — я тебе всю морду разобью». — «Полегче, Фьюри, — сказал второй парень, эдакий коро-

тышка, по имени Моран.— Паро свое право имеет. Я своими ушами слышал, как ее отец это говорил». Моран мне не нравился. По-моему, он сторону Паро держал из какой-то своей корысти. Если верить тому, что люди говорят, так это на него очень даже похоже было. «Ты, Моран, говорю, лучше о себе пекись, тебе б, говорят, не мешало». — «Слушай, что я тебе говорю! Слушай!» — сказал Паро и снова схватил меня за плечо. «А ну убери руку, Паро! — заорал я. — Смотри, ты меня, кажется, доведешь». — «А ты наперед знай», — сказал он.

«Слушай, — сказал я тогда. — Мужчине свобода дана, и ей тоже свобода дана. Ты мне только скажи, что она своей охотой за тебя идет — и ноги моей на материке больше не будет. Вот и все. Скажет она тебе это, ты приди и мне скажи». Он сжал кулаки. «Не приезжай больше, Колмэйн, а то худо будет. Ой, смотри, худо будет!» — «Паро, — сказал я, — когда хмель с тебя сойдет, ты сам рассудишь. Я буду у вас на той неделе в среду, это как раз ваш престольный праздник, так что ты будешь трезвый. Вот тогда и потолкуем». Я спустился вниз. Он стоял на верхней ступени и смотрел на меня. «Так и знай! Так и знай! — кричал он мне вслед. — Все хорошо было, пока ты не объявился. Сиди на своем острове, Колмэйн, слышишь? Тебе же лучше будет». — «И что ты за человек такой, Фьюри, — крикнул мне Моран. — Ни стыда у тебя, ни совести». Они так и не ушли с пристани, пока я вместе со своей лодкой не скрылся из виду.

Вот ведь что смешно-то было: я ж не подозревал, каким манером Муртаг работать на себя Паро заставляет. Я-то думал, тот просто спьяну чудит. Я, правда, немного побаивался, как бы он ненароком Катриону не обидел, но думал, что если я с ним трезвым подобрау побеседую, то все, может, как-нибудь образуется. Между островом и материком испокон веков распря идет: кто кого лучше, да кто кого хуже, кто кого культурней, да кто кого некультурней. Уж не знаю, что тому причина, но так уж оно издавна повелось, и всякий раз, как островитяне приезжали на материк и выпивали там лишку, дело кончалось здоровенной дракой. Сам я до драк не охотник, потому что нрав у меня обычно тихий — так разве иногда сорвусь, — и я всегда умел зубы кому угодно заговорить и тем самым драки избежать. Такой уж ум у меня шустрый был.

Так что я не больно-то беспокоился, когда в среду вечером в престольный праздник плыл на своей лодке к матерiku. В чем было дело, толком я не понимал, но, зная теперь Муртага поближе, я догадывался, что без него тут не обошлось. Ну, а верзилы вроде Паро — это ведь сущие дети. Поговори с ними по-хорошему, не спеша, объясни все по порядку — они и поймут. Если потребуется Муртага на чистую воду вывести, тоже беды большой не будет: такой человек от своры собак сумеет отбрехаться, не то что от Паро. Показалось мне, что в деревне для праздника что-то больно уж тихо. Должно бы это меня насторожить. Вечер был тихий, светлый, совсем как летом. Солнце уже село, но небо еще не погасло, так что кто угодно мог разглядеть, как я в своей лодке от острова отчаливаю — вот какая ясная, хорошая погода стояла. Я думал о Катрионе. Возьмете вы книгу почитать: писатель — он свое дело знает, он вам людей показывает, и жизнь их раскрывает понемножку да помаленьку, и чем дальше читаешь, тем они вам понятнее становятся. Вот и со мной так-то было. Право, чем ближе я ее узнавал, тем милее она мне становилась. С ней я хотел жизнь прожить. Легко сказать, да ведь она дома была любимица. В семье на ней все держалось. Я-то знал. Как же я ее так вдруг от них заберу? Да разве они ее отпустят? Им страшно подумать было, что она может уйти жить на остров. Сами-то они всю жизнь на материке прожили. Вот я и помалкивал — понимаешь,

какое дело? Каждый раз, собираясь туда, я думал: ну, уж сегодня обязательно поговорю, а как ближе к делу — так я слова выдавить не могу. А иногда меня сомнение начинало разбирать: а что, если ошибаюсь? Может, и не захочет она вовсе идти ко мне на остров жить? Да, сложная штука любовь, если вдуматься.

Дорога там поворот дает. По одну сторону ее скала огромная, прямо в небо упирается, и дорога ее кругом обегает. На этом самом месте я и получил удар по голове. От этого удара я чуть было чувств не лишился. Я упал на руки, и рядом со мной упал камень, которым меня зашибло. Я услышал шарканье подошв и подался в сторону, и пинок, который мне предназначался, пришелся все по тому же камню. Потом я снова увидел занесенный сапог, от которого только что увернулся, и, встав на колени, привалился к скале. Они стояли передо мной и громко дышали — Моран и Паро. Я только глянул на Паро и сразу увидел, что он пьян. Разве станет безобидный человек в трезвом уме кому-то в голову камнями швырять? По лицу у меня текла кровь, это я чувствовал. Но рассудок начал возвращаться, а с ним злоба. Паро что-то кричал. Он шел на меня с поднятыми кулаками. Моран мельтешил вокруг. Как же это я с ними двумя управлюсь? — подумал я. «Говорил тебе, говорил тебе, говорил тебе», — орал Паро, приближаясь ко мне. Когда он был совсем близко, я проскочил у него под рукой и кинулся на Морана. Моран держал в руке камень. А я в своих парадных башмаках был, не в сандалиях. Покуда он замахивался, я пнул его изо всех сил в коленку. Он завизжал, как баба, и сел в пыль, схватившись за ногу. Только-только успел я с ним разделаться, как Паро меня стукнул. Я полетел в пыль. Прямо будто лошадь меня лягнула. Лежать на дороге, однако, было нельзя. Он нацеливался ударить меня еще раз, но я присел, и он с маху шагнул мимо, и тут я огрел его кулаком по шее, отчего его пронесло еще дальше. Но свалить с ног мне его не удалось. Тут бы мне надо бежать, да у меня уже сил не осталось. Я ждал, чтоб он повернулся ко мне лицом, а сам старался отдышаться. Когда он снова кинулся на меня, я ему в зубы дал. Я об зубы его торчащие кулак себе раскровянил, но тут он схватил меня одной рукой за грудки, а другой давай меня колошматить. Мне тоже нет-нет удавалось изловчиться ударить его то в живот, то в кадык, но это было все равно, что стог сена бить. Капля по капле и камень долбит. Своим кулачищем Паро насмерть меня забивал. Прямо как кувалдой меня молотил по чем попало. Потом, помню, он обхватил меня и стал давить. Я задыхался. Я слышал, как трещат мои ребра. Ну, думаю, дело плохо. Тогда я уперся ему в подбородок — хотел шею ему свернуть — и подставил подножку. Сработать-то подножка сработала, да не так, как надо. Я думал, что поверх него упаду, а получилось-то наоборот. Это уж мне крышка была. Теперь я лежал не шевелясь, а он замахивался и бил, замахивался и бил, дыша на меня внищем, душу из меня выколачивая.

Я услышал, как она крикнула: «Паро, перестань! Сейчас же перестань, Паро!» Тогда я застонал. Я подумал: о, господи, как же после такого жить-то? Удары на меня больше не сыпались и тяжесть перестала давить, но я лежал, как парализованный. О чем это я думал? Эх, думаю, надо бы не так с ним, надо бы по-другому. Не стукнули б меня камнем, я б его и так и эдак мог. «Как ты, Колмэйн? Колмэйн, ты как?» — «Я — ничего». Сел, а сам за голову держусь. «Да кто ж это тебя надоумил, Паро? Что ж это ты натворил?» А Паро тут же рядом сидел. «А чего это он за тобой пожаловал?» — сказал он. «Ну и что? Не за чужой ведь, за своей пришел», — сказала Катриона. «Не-е, мне твой отец когда еще говорил. Ты меня в мыслях держала, пока его не было». — «Ишь, что выдумал! Да отец тебя за нос водил, слышишь

ты?» — «Не может того быть», — сказал Паро. «Я тебе богом клянусь, обманул он тебя. Мне никого, кроме Колмэйна, не надо, слышишь ты, Паро? Один он для меня во всем свете». — «Обманываешь?» — «Правду тебе говорю. Ты мозгами пошевели-ка, Паро». — «А чего ж тогда твой отец наговаривал? Чего он мне наговаривал?» — «Смотрела я, что ли, на тебя когда-нибудь или разговаривала с тобой так, будто ты мне по сердцу?» — «Не-е. Да только он сказал, что отдаст мне тебя». У нее аж голос злой стал. «А ну-ка вставай, Паро, да иди к Муртагу. Иди-ка ты к моему отцу да спроси его, с чего это он тебе врал. Иди к моему отцу, Паро. Я Колмэйна выбрала, и никого другого мне не надо. Слышишь ты?» — «Чего ж не слышать, слышу». Я поднялся на ноги. Прислонился к скале. Катриона держала меня за окровавленную руку. «Как ты, Колмэйн? Ну как ты?»

Не хотел я, а посмотрел на Паро. Он сидел в пыли, и слезы у него по щекам катились. Самые настоящие слезы. Правда, пьян он был. А все-таки... Слезы текли у него из глаз, и губы он надул, как дитя малое, у которого любимую игрушку отняли. Моран сидел у дороги на каменной изгороди, стонал и тер себе колено.

«Ступай домой, Паро, — сказала Катриона. — Отец дома. Ступай, поговори с ним». Паро поднялся с земли. «Сходить, что ли?» — «Пойди, пойди, пусть он тебе все объяснит», — сказала Катриона. «Я его спрошу, — сказал он. — А мне что, уж и не надеяться?» — «Мы с тобой просто соседи, — сказала Катриона. — А теперь, после того, что ты наделал, я и знать тебя не хочу. И что это за дурость на тебя нашла?» Паро стоял, опустив руки. Помотал головой. Нагнул, подобрал свою кепку. Утер ею глаза. «А я-то думал, а я-то думал...» И потом еще сказал: «Это не я камнем тебя зашиб, Колмэйн-Лодкин, это Моран камень кинул. Я б камней не стал кидать. Кабы знать, так я б тебя пальцем не тронул. Эх, нехорошо это. Нехорошо человеку пустые надежды подавать, верно, Катриона?» — «Верно», — сказала Катриона. «Ну, так скажи своему отцу, что больше я ему не помощник, — сказал Паро. — Нехорошо это». И пошел прочь, большой такой, понурый. Я все еще думал, как бы мне его не так, а эдак. А тут мне Моран на глаза попался. Я подошел к нему. «Ну, Моран, теперь тебе не за кого прятаться. Вставай-ка да получи, что тебе причитается». — «Нет, брось», — заверещал Моран. «Нет, брось», — крикнула Катриона. «Ты мне и так колечку попортил, — сказал Моран, — ведь как меня пнул». Он заковылял прочь. Если б не она, я б ему поддал как следует. Дрянной был человек, этот Моран. Мы смотрели, как он уходил.

«Это бог тебя послал, — сказал я. — Если б не ты, он бы меня, факт, прикончил».

«У меня на сердце беспокойно было, — сказала она. — Отец с Паро все шутки шутил». — «Ничего себе шутки, — сказал я. — Я с его шуток чуть жизни не лишился». — «А скоро мы сможем обвенчаться, Колмэйн?» — спросила она. У меня аж помятые ребра заныли. «Ровно через три недели, Катриона», — сказал я. «И пусть отец не думает — теперь с меня взятки гладки, — сказала она. — Через три недели, значит, и обвенчаемся». — «Будь я поцелее, я б тебе тут же сплясал, — сказал я. — Ты это правда, Катриона? Ты вправду? Ведь если подсчитать, так у меня не больно-то много чего есть».

«С самого того дня, как я тебя с телком встретила, — сказала она, — я знала, что у тебя есть для меня самое главное». Я засмеялся, и от этого стало больно голове, но сердце лопалось от счастья. И она промыла мои раны, и мне было сладостно, что она тут со мной рядом. И жизнь моя стала полна, потому что теперь одиночество мое кончилось. Да, вот что я хотел еще сказать: свадьбу-то мы играли в среду.

Четверг

Я не раз слышал, что людям вроде меня о красоте судить не положено. То есть не то чтобы считалось, будто мы красоты природы не замечаем, а не чувствуем ее, что ли. Только разве это возможно — замечать, да не чувствовать? Но вот господам, которые приезжают из города посмотреть, как простой человек в деревне живет, это, видно, невдомек. Разве тот, кто конфетами торгует, говорят они, знает, из чего они приготовлены? Да бросьте, говорят, откуда ему чувствовать, когда ему все это с детства привычно. Известно им и то, что неоткуда простому человеку образованным быть, когда все школы да университеты от него так далеко, что и не обратиться до них, почему и остается ему одна начальная школа, где его учат читать, да писать, да нехитрые задачи по арифметике решать. Случалось мне не раз слышать, как люди грамотные при мне друг другу на красоту заката указывали, или там на какое-нибудь облако затейливое, или любовались, как луна в просвет между туч бурной ночью проглядывает, или как лодка по тихому морю плывет. Я вот тут рядом, а они разговаривают, будто и нет меня. Зря они это.

Жизнь, понимаешь ли, — вот настоящая книга. Взял я раз тут одного с собой на рыбную ловлю. Он большим профессором где-то там у себя был. И все он мне про философию говорил. Много он лет проучился и такой уж образованный был. А я, поверишь ли, его понимал. И многие тут у нас его понимали. Удивляешься? Он не удивлялся. Он говорит: «И ничего тут удивительного нету. Потому что, говорит, мы про жизнь книжки пишем, а ты эту жизнь сам живешь. Книжки, говорит, это просто печатное слово, и рассказывается в них про жизнь человека, и про его разумение, и отчего он так поступает, а не иначе. Все люди в основе одинаковые, хоть белые, хоть какие, и все же все они разные...» Я это все к тому, что хочется мне про себя по совести тебе рассказать.

Красоту я понимал. Бывало, увижу, как горит вечерняя заря над горами, и остановлюсь, погляжу. Не оставлял я без внимания и ночного неба, когда тучи низко нависнут над горизонтом и небосвод кажется куполом, несчетными звездами усыпанным. Я понял, что такое вечность, в тот день, когда вдруг постиг, что вот я сижу в лодке и ловлю рыбу в воде, которая держится на какой-то вертящейся кубарем круглой планете, что мое тело, по какому-то там закону, накрепко привязано к земле и что если бы я смог оторваться от земли, то падал бы и падал в бесконечном пространстве без конца. Итак, значит, я понимал, что такое вечность, и мысль о ней не пугала меня.

Я понимал вечное обновление природы, потому что сам с того жил, видел красоту в нарождении новой жизни. Зеленая ли былинка вставала после зимних холодов, разворачивался ли первый листок на кусте дикой жимолости, зацвел ли терновник, овсяное ли поле покрывалось зелеными всходами, пробивались ли из земли первые ростки картофеля — все это я примечал и радовался. И то, что все это сводилось в конце концов к куску хлеба, и крову, и урожаю, — вовсе не значило, что я за пользой красоты не вижу. Я видел красоту в том, как плодятся все живые твари. Радовался, когда телилась корова, не потому, что потом можно будет продать теленка, а потому, что рождение — это великое таинство, и потому, что оно будит в человеческой душе такое чувство, которое не передашь словами.

И, значит, сколько же красоты можно в человеке подметить! Помню, смотрел я как-то раз на ноготочки грудного младенца и диву давался, и казалось мне, что вся красота, какая только есть на земле, к этим ноготочкам причастна. И не мое то дитя было, как ты потом увидишь, хочу просто я, чтоб ты понял, какими глазами я б на свое кровное дитя смот-

рел — на свое дитя от Катрионы. Я думал об этом, и казалось мне, что стоит мне взглянуть на свое дитя — и я увижу в нем всю красоту, весь смысл жизни. Пустая это была мечта, но когда ты один в море, ждешь, пока твоя невода рыбой наполнится, времени помечтать у тебя хватает. Гляжу я, бывало, на горы неприступные, которые будто прямо из бесполойного моря подымаются, и думаю: вот оно, мое дитя. Озерная гладь, бьющаяся в неводе рыба, осенний вереск, жара, пришедшая на смену холоду, вода, искрящаяся на солнце, лет гусей, хрусткий ледок, снег в горах, тысячи паутинок в алмазах утренней росы — все это будет мое дитя, мой сын.

Я с тобой, Пол, о таких вещах могу говорить, потому что верю — это между нами останется, да ты и без меня знаешь — никак сам отец. И потом красоту ты понимаешь и подмечаешь, а уж насчет того, чтобы говорить о ней, это у тебя, ей-богу, куда лучше моего получается, потому что у тебя дар такой есть. Вот что я тебе скажу: пустое это дело красотой любоваться, если ты не понимаешь, что за ней кроется. Каждому наскутит смотреть на красивое, если он смотрит просто так, утехи ради. Потому что, что в нем толку-то, в этом красивом, когда главная его красота не в нем самом, а в том, что оно отражает. Видишь ты, к примеру, лес и горы, отраженные в тихом пруду. Хорошо, ничего не скажешь. Но взгляни подальше, на настоящие лес и горы, — после этого ты на отражение и смотреть не захочешь.

Я расскажу тебе про Катриону. Трудно мне о ней говорить, но я все-таки постараюсь, потому что если ты хочешь меня понять, то прежде всего должен понять ее. Может, не так уж это все и важно, может, преувеличиваю я, да ты уж сам разберешься — ты ведь человек понимающий. Обидел меня господь, а потом воздал сторицей. Был у меня пустой дом — и вдруг заполнился. Худо, если человек возделывает землю, чтобы себя одного прокормить. Он и ест-то только за тем, чтоб живот набить. На что ему это надо? Человеку вроде меня жить одному — это разве жизнь? Я этого не понимал, пока Катриона не пришла в мой дом. А дом-то! И изменился же он. Призраки, что прежде жили в нем, сгнули. И где же мне теперь было видеть в кухне убитое горем лицо матери, раз я знал, что, когда я с поля вернусь или с рыбной ловли, там меня улыбкой Катрионы встретит? Долго я ходил, как во сне, прямо будто умом тронулся. Все под ее руками переменялось. Просто дня не проходило без перемен. Кое-что из мебели новое, занавесочки там на окнах, краска, побелка, чашки фарфоровые вместо моей единственной надбитой кружки, кухонная утварь, как у людей. По-моему, я до тех пор обходился одним почерневшим котелком, в котором и пек, и варил, и жарил. Я только диву давался. Уж ты-то меня поймешь. Ведь я так долго жил один, как перст, ел что попало, стряпал как попало. Не больно и чисто у меня было. И до чего же, понимаешь ли, мне понравилось приказания исполнять — здесь подбей, там почини, на скотном дворе убери, чтобы не было там никакого беспорядка, калитку навесь — да мало ли что.

Все это ты, я думаю, сам в свое время испытал. А я и не знал, что такое бывает, и долго еще прямо ног под собой от счастья не чувал. Мужчину на нашем острове вместе с женой не часто встретишь: еще до свадьбы — куда ни шло, может, он с ней немного и похороводится, а вообще-то считается вроде бы обязательным показывать, будто ему до нее и дела нет. В воскресенье у обедни женщины по одну сторону в церкви молятся, мужчины — по другую. И если кому взбрело б вдруг на ум пройтись в свободное время со своей женой по улице, он, пожалуй, такой мысли сам ужаснулся бы. Не знаю, с чего это так. Видно, чтоб показать, что мужчина — это есть мужчина, а баба — это есть баба, и женился ты на ней, чтоб иметь в доме кухарку и чтоб было кому-то — не все ли равно кому —

рожать тебе детей. На деле-то все это, конечно, не так, но все же боюсь, что я нарушил правила, и потому все у нас решили, что баба мне на шею села; они только головами качали, глядя на мое поведение, и прочили, что добром это не кончится и что Катриона всем в доме верховодит, да и чего ж другого от нее и ожидать-то: все они на материке такие. И все потому, что мы вместе гулять ходили на озеро, и лазили по скалам, и собирали выброшенных морским прибоем мелких крабов, устриц и даже улиток, которые я ел с удовольствием, а она так просто в рот взять не могла. Раз я даже взял ее с собой на лов. Вот уж где я нагнал паники! Почти весь народ столпился в тот вечер у пристани, чтобы посмотреть, вернусь ли я вообще-то, и потом уже, много времени спустя, Томас мне покаялся, что сходил в церковь, пока я таким образом судьбу испытывал, и поставил свечку какому-то святому за мое благополучное возвращение.

Я тебе все силуюсь рассказать, что я так счастлив был с Катрионной, что дальше уж некуда. И ни на минуту, ни на секунду я о своем счастье не забывал; не успею, бывало, еще в дом зайти, а уж кажется мне, будто вижу ее улыбку, радость ее чувствую; где б я ни был — на картофельном ли поле, на покосе ли, я все думал о ней: какая она у меня необыкновенная. И в море тоже думал. Ты ее теперь, уже много лет спустя, узнал, но, я думаю, ты можешь представить, чем она была для меня тогда. Я за это свое счастье двумя руками держался, потому что рассудок мне подсказывал, что ненадолго оно. Не для того мы на свет родимся, чтобы вечно счастьем наслаждаться. В жизни так не бывает. Верно, в глубине души я это с самого начала понимал, оттого-то так со своим счастьем и нянчился.

Когда мы с ней ездили к ее родне на материк, она будто и дома себя там не чувствовала. У Муртага она была любимой дочерью, и он сильно по ней скучал, и еще кажется мне, он меня недолюбливал, потому что Паро из-за меня лишился. А Паро он так-таки лишился. Насчет Катрионы, правда, он отбрехаться сумел. Даже посулился отдать за него свою вторую дочь, да все зря. Паро к Муртагу навсегда дорогу забыл. Иной раз случалось нам разминуться с ним на улице, когда мы на материк проезжали, и, что уж там греха таить, неуютно я себя чувствовал, когда он оказывался у меня за спиной. Но он меня больше не трогал, да и назежали мы теперь на материк только по обязанности. Это нас устраивало, потому что нам было хорошо вдвоем, и никто нам не мешал, да и к тому же всегда как-то не в своей тарелке себя чувствуешь, возвращаясь в гнездо, из которого своей волей вырвался.

Так вот, теперь представляешь, как же мы обрадовались, узнав, что у нас будет сын. Это обязательно должен был быть сын, так сильно я желал его. Фантазия у меня, скажу я тебе, разыгралась, дальше некуда. Уж он и на рыбный промысел ходил со мной в новой большой лодке под большим парусом, с парными веслами; в мечтах мы с ним уж чуть ли не до самой Гренландии плавали. И до чего же хорошо я его себе представлял! Слов нет описать, что делалось у меня на душе, когда он толкался у меня под рукой у Катрионы в животе. Да чего тебе говорить. Сам знаешь. Каждый порядочный мужчина знает.

Вытащить Томаса в море я так и не смог — дойдет до сарая лодочного, а дальше — ни шагу. Но я заметил, что у него руки ловкие, и всякими правдами и неправдами добился все-таки, чтобы Фионан взялся наставлять его в работе. Томас куда проворней меня оказался. Он и рубанком работал искусно: жилка у него плотничья оказалась, вот какое дело. Под присмотром Фионана я приставил его строить новую лодку, побольше. Работа над ней шла от случая к случаю. Заработаю я там-сям пару шиллингов — куплю пару досок или гвоздей медных. Фионан гово-

рил, что Ной свой ковчег скорее построил, чем Томас соорудит эту лодку. Томас не умел, как я, вовремя смолчать, и когда Фионан начинал его дразнить, то и дело огрызался. А Фионану того только и надо было.

Апрельский вечер стоял. Апрель — хороший месяц, тихий да ласковый. В апреле обычно все погодой не нахвоятся. Но и закона такого тоже нету, чтобы всегда он всем угождал. Этот вечер ни тихим, ни ласковым не был. Сарай прямо мелкой дрожью трясло — такой шторм с юго-запада налетел. Дождь сек крышу, будто старался пробуравить ее насквозь. Тепло было не по времени. А в сарае у нас было уютно. С потолка свисал застекленный фонарь. Фионан сидел на ящике и командовал Томасом, который выгибал шпангоуты для носовой части лодки. Я строгаю у станка доску, которую Томас заготовил. Все это я как сейчас помню. На душе у меня было покойно. Я в тот вечер долго в поле поработал. Закончил все, что мне надо было. Мы с Катрионой уже поужинали. Я знал, что все это — мой быт, который никуда от меня не уйдет. Я еще, помню, сказал Катрионе, что она теперь с лица округлилась и совсем недурна стала. Она даже в ужас пришла. Я говорю: «Да нет же, говоря тебе, недурна; по крайней мере на щепку не похожа». А она говорит: «Ах, значит, по-твоему, я раньше как щепка была?» — «Да нет, говорю, ты у меня красивая щепка была». Мы еще, помню, посмеялись. Все это я снова в уме перебирал, строгаю доску.

Фионан ворчал: «Ты что это, воронье гнездо строишь, что ли?» — «Чего тебе опять не ладно?» — спрашивает Томас. «Изгиб надобно этому шпангоуту дать, — сказал Фионан. — Сколько можно повторять? Тебе б горшки лепить». — «А это тебе не изгиб?» — сказал Томас. «Видно, в глазах у тебя изгиб, — говорит Фионан. — А ну, пойди сюда да взгляни со стороны. Дай-ка сюда рулетку». — «Шел бы ты лучше спать, — буркнул Томас. — Старым дедам вроде тебя давно уж в постели быть пора». — «Если ты хочешь построить лодку, а не сарай, — сказал Фионан, — так слушайся, когда я тебя наставляю». — «Можешь меня наставлять, — рассердился Томас, — но какого черта ты душу из меня вытягиваешь? Ты хуже сварливой бабы, Фионан. Вались-ка ты домой спать».

«Поди сюда, Фьюри, — сказал Фионан, — и прикинь глазом». — «Кто строит лодку: он или я?» — распетушился Томас. «Ну-ка, посмотри вдоль, Фьюри», — сказал Фионан. Я посмотрел. «Выпячивается, как грудь у гуся», — сказал я. «Вот видишь! — это Томас сказал. — Что я тебе говорил? Гусь, как по-твоему, птица водоплавающая или нет? Гусь-то специально устроен, чтоб по воде плавать». — «Да какая же это к черту гусятая грудь, — сказал Фионан, — разве что твой гусь от водянки пропадает. Ты посмотри, как ее выперло, будто брюхо у пивной бочки. Подика погляди, Томас». — «А черт бы тебя подрал, Фионан», — сказал Томас. Он подошел, присел на корточки и прищурил глаз. «Шпангоут как шпангоут, — сказал он. — Будет воду рассекать, что твой океанский пароход». — «Как пароход, что ко дну идет», — сказал Фионан. «Ну, может, тут и следовало бы снять немного, — признал Томас, — да о чем тут разговаривать, все равно я б потом это сделал». — «О-хо-хо, — торжествующе сказал Фионан, — не так-то, видно, просто корабельным мастером стать, а?»

У дверей послышался детский голос: кто-то звал меня. Я оглянулся. Оказалось, это соседская дочка Мэйр Фэрти. Я сказал: «Чего тебе, Мэйр? Что под дождем бегаешь?» Голову она накрыла шалькой, все лицо было в дождевых каплях. «Мама говорит, чтоб ты домой шел, Колмэйн, — сказала она. — Она меня за тобой послала, чтоб ты шел домой поскорее».

У меня сердце так и упало. Во рту пересохло. Я ответить ей не мог. Миссис Фэрти была у нас акушеркой, понимаешь. Доктора-то у нас не было. Он наезжал только, если мы ему на материк сигнал подавали.

Я выскочил из сарая. Дождь лил всюду. Ветром меня чуть с ног не сшибло. Раз я споткнулся и рукой угодил в жидкую грязь. На бегу обтер руку о штаны. Я чувствовал себя совсем мальчишкой. Я чувствовал себя беспомощным. Мне поскорее хотелось попасть домой и в то же время хотелось бежать прочь от дому. Я отворил дверь. Какие-то соседки сидели в кухне. Не понравилось мне, как они на меня посмотрели. Они ничего не сказали. Понимаешь, молчали они. Только смотрели на притворенную дверь спальни. Потом дверь открылась, и из нее вышла миссис Фэрти. Важная она была, опытная, свое дело знала. Почти все здесь ее хвалили.

Она схватила меня за руку.

«Беда, Колмэйн,— сказала она.— Мне одной не управиться. Что-то не так. Доктора нужно бы вызвать».— «Как?— спросил я.— Боже мой, да как же его вызвать-то? Не сможет он приехать. Слышите, ветер какой». Ветер завывал в трубе, раздувал золу в очаге. «Поди-ка посиди с ней,— сказала она.— Мне подумать нужно. Иди к ней».

Я вошел в спальню. Пламя свечи колебалось, и по белым стенам бегали тени. Она лежала на постели. Зубы у нее были стиснуты. Волосы разметались по подушке, мокрые от пота. Она открыла глаза и посмотрела на меня. Я подошел. Рука ее потянулась ко мне. «Ох, Колмэйн»,— сказала она. Она передо мной храбрилась, но я-то видел, что страшно ей. И зачем только миссис Фэрти сказала мне? Зачем она мне сказала? «Ничего, Катриона,— попробовал я успокоить ее,— все обойдется. Бог милостив, увидишь, все еще обойдется». Стиснув зубы, она опять отвернулась от меня. С досады на свою беспомощность меня даже в жар бросило. Разве не отдал бы я с радостью руку, или там ногу, или даже глаз, если б с того хоть какая польза была?

Я сидел и говорил, не закрывая рта. Иногда она поворачивалась и смотрела на меня. Она старалась ободрить меня взглядом. Только от того мне еще тяжелее становилось.

Дверь отворилась. В комнате рядом со мной очутились священник и миссис Фэрти. Тут уж у меня сердце вовсе упало. Он хороший был, священник наш. Довольно еще молодой. За глаза мы его звали Отец Молодец, потому что на исповеди, пока ты ему грехи свои выкладываешь, он только знай повторяет: «Так. Так. Ну, молодец! Ну, молодец!» Будто хвалит тебя. Такая уж у него привычка была. Он сам даже этого за собой не замечал. А вообще-то мы его любили.

«Крепись, Колмэйн,— сказал он.— Крепись. Бог милостив. Иди пока вниз и оставь нас». Я отпустил ее руку. Мне чуть ли не силу пришлось приложить, так она за меня уцепилась. Я пошел вниз. Миссис Фэрти — следом за мной. «Пройдет это у нее?» — спросил я. «На то воля господня, на то воля господня»,— сказала она. Мне показалось, что она от меня глаза прячет. «А помогло б ей, если бы тут доктор был?» — спросил я. «Да, надо бы доктора,— сказала она.— Ох, как надо. Вот стихнет буря, и придет он. Может, бог даст, поспеет». На верхней губе у нее выступили капельки пота.

«Он придет сейчас,— сказал я.— Я его знаю. Он не побойтся. Он придет сейчас, потому что я его привезу». Я вышел за дверь. Она попробовала удержать меня, но я вырвался. Я слышал, что женщины кричат мне вслед, но даже не обернулся. Я побежал к причалу. До чего же тесной кажется тебе жизнь, когда живешь на острове, где ты каждый день видишь одни и те же вехи: причал и скалы, берег озера... Не впервой мне было бежать к пристани со страхом в сердце. Это я хорошо помнил. Но что был тот страх по сравнению с ужасом, который обуял меня с той минуты, когда я увидел Катриону с разметавшимися по подушке волосами, с мукой и испугом в глазах?

Ветер валил меня с ног. Почему сейчас? — крикнул я. Ну, почему сейчас? Буря в апреле. Это не положено... Почему как раз сегодня, когда вся жизнь двоих людей повисла на волоске? Я был даже рад, что промок насквозь. Это хоть охладило меня немного.

Я остановился у причала. Посмотрел на море. Там черт знает что творилось. Белые гребни почти сплошь покрывали его, и только кое-где видны были бледно-зеленые просветы. Я почти успокоился. Я думал: ну и пусть я умру, что с того! Все лучше, чем видеть, как Катриона мучается. Да и не умру я. Говорят же, что бог милостив, вот он и проведет меня через бурное море. Все так говорят. Я спускался по ступеням, когда несколько рук сразу схватили меня. Я и не слышал, что люди сзади бежали. А вот пришли же — и Фэрти, и Макдона, и Томас, и уж не помню сейчас, кто еще.

Они уговаривали: «Брось, Колмэйн, куда же ты? Ты посмотри, что делается. Ведь ни за что пропадешь». — «Пустите меня, — кричал я. — Пустите!» Они не отпускали. Тогда я драться стал. Силы у меня за троих прибавилось. Я всех их раскидал. Я побежал вниз. Они за мной. Они схватили меня за руки и за ноги, и выволокли из лодки, и положили меня на лопатки на мокрой пристани, и не отпускали. Я лежал плашмя на спине. Дождь заливал мне лицо. Я стал их молить: «Пожалуйста, отпустите. Ну, пожалуйста, отпустите вы меня! Я же знаю, что доеду и привезу его к ней. Богом прошу, отпустите».

Томас сказал: «Колмэйн, ох, Колмэйн, пропадешь ведь. Не видишь разве, что пропадешь? Ветер скоро стихнет. Ты только погоди, чтоб ветер стих». Я выдирался. Я проклинал их. Я поносил их на чем свет стоит. Не отпустили. Томас все свое твердил: «Ветер спадет, Колмэйн. Вот увидишь, ветер спадет».

Больше я сопротивляться не мог. Я весь обмяк. Ладно, говорю, по дождю, чтоб ветер стих. Я подошел к краю пристани и стал смотреть на расходившееся море. Я в него плюнул. Ох, и ненавидел же я его тогда! Всем сердцем, всей душой ненавидел эти белые волны, которые, будто море из снега, отделяли меня от материка.

Я ждал час, ждал два. Наконец стало стихать. К тому времени уж совсем стемнело, луны не было, но я мог чутьем добраться до материка. Они не стали больше меня держать, и я пустился по волнам.

Да только зря. В душе я знал, что зря. Все нутро у меня исходило слезами, и только глаза сухие были.

Доктор наш храбрый уже ждал меня. Он видел наши сигнальные огни, и он поехал со мной. Но я-то знал, что уже поздно.

Родиться-то у меня сын родился, да только недолго пришлось ему на белый свет глядеть. Уж куда короче. А хороший был бы, верно, парень. Ручки, ножки у него были крепенькие и, говорят, на меня походил. Это священник сказал, он и окрестил его, и в рай снарядил. Он-то мне и сказал. Да только мне все равно было. И Катриону от меня увезли. Целых три недели ее не было, а вернулась она ко мне бледная, такая бледная, что дальше некуда, и улыбка у нее погасла, и вот, оказывается, почему: мальчик-то наш — его Колмэйном назвали, священник потом сказал, — был он у нее первым, да и последним.

Никогда я слово «четверг» не любил. И сейчас тоже не люблю. Теперь уж это, видно, у меня навсегда.

П я т н и ц а

Ну вот, рассказал, значит, я тебе про красоту и про то, как мы ее понимаем, хоть выразить толком этого не умеем. Мир — как душа человеческая, в разные цвета окрашен: для радости, для смеха, для боли, для

муки, для любви и для ненависти — на все свой цвет есть. И только черный один остается для греха, для отчаяния, для черных дел.

Мир для меня поблек. И сразу жизнь моя оскудела. Вода в озере под пригоршню небом синяя. А я, бывало, подойду к озеру, наберу воды в пригоршню, смотрю, а она не синяя вовсе, а грязно-бурая. И море ведь тоже всех оттенков зеленого бывает. Я и морской воды в пригоршню набирал — так она грязновато-белой оказывалась. И стал я так понимать, что цвет — это обман, и больше ничего. Радует тебе что-то глаз, а на деле-то его и нету вовсе. Название только одно.

Я думал, мы с Катриной вместе одним железным кольцом спаяны и что кольца этого вовек не разорвать. Ан и здесь я ошибся.

Улыбка ушла с ее лица, и белый свет ей стал не мил. Теперь-то я свою вину ясно вижу. В такое время да я ей, может, всего нужнее был. Мне б утешить ее, подбодрить, а я вместо того спрятался в свою скорлупу, и ни до кого и ни до чего, кроме себя и своего горя, мне дела не было. А ведь, пожалуй, и горе-то мое было ненастоящее. Истинное горе — это когда ты о другом скорбишь, не о себе. Сейчас я это ясно вижу, да вот тогда не видел.

Слишком уж много чего я для этого сына своего будущего загадывал. В голове не укладывалось, как же это так его у меня вдруг не будет, на каком основании? Мало, что ли, и без того меня судьба обделила? И то верно, что многие детей малых теряют. Жаль их, конечно. Как не жаль? Но у них хоть то утешение есть, что следующий их ребенок будет жить. А у меня, думаю, и этого нет. И это утешение отняли. Понимаешь? Вот умру я — и конец, и никого-то после меня не останется. Чего ж тогда вообще и жить-то? Ведь в жизни ты для кого бьешься, для кого стараешься? Для жены, для сыновей своих, для дочерей. Всю жизнь о них печешься, чтобы сыты были, одеты, обуты, чтоб в школу ходили, чтоб росли, чтоб людьми выросли, и переженились бы, и замуж повыходили, и чтоб ты потом в их детях себя узнавал, и чтоб это шло бы так и шло до скончания века. Не для того ли человек и на свете живет? А раз тебе этого не дано, так стоит ли и жить-то?

Я над всем этим думал. Я совсем смеяться разучился, а человек в унынье — это настоящая чума. Он всех кругом может заразить. Не будь все его помыслы о себе одним, он и сам бы это понял, а так — куда ему. Вспоминаю я, каким был в то время, и горько мне делается. А как подумаю о Катрине, так, кажется, головой бы об стенку биться готов.

В церковь я ходить перестал. Не хотел душой кривить. Когда Катрина при мне становилась вечером на колени перед зажженной лампадкой, я из комнаты выходил. Ну, а с таких дел ты, понятно, на заметку попадаешь. Я нарочно на глаза людям не лез, да в такой маленькой деревушке, как наша, все равно ведь живешь у всех на виду. Они мне дали время одуматься. Надо время, говорили они, чтоб человек, на которого такое несчастье свалилось, чураться людей перестал. Но время шло, а я только все больше от них отдалялся.

В море я страх какой отчаянный был. Я выходил в такую погоду, когда не всякое моторное судно выйти отважится. Мне все было нипочем. Все я делал как заведенный. Жизнь ли, смерть ли — какая мне разница? Когда я после таких переделок благополучно домой возвращался и видел, что Катрина ждет меня и в глазах у нее испуг, меня это ничуть не трогало, я только удивлялся, чего это она не спит. Я ей говорил: «И чего ты меня дожидаться? Шла бы спать. Поздно уж. Устанешь только зря».

Томас мне говорил: «Эх, Колмэйн, зашел бы ты в сарай да взглянул бы на лодку». А я ему: «Какую там еще лодку? Кому нужна лодка? Пойди предложи свою лодку кому-нибудь из наших горе-моряков. Вер-

но! Попробуй-ка продать им лодку, Томас». Я по глазам видел, каково ему все это выслушивать. Лодка была наполовину готова. Я ему ни леса, ни гвоздей давно уже не покупал. А больше-то кому она нужна? Верно, он над готовой частью теперь трудился — скоблил ее да строгал и вообще всячески усовершенствовал. Но ни разу он меня не укорил. Только смотрел на меня.

Я знал, что рано или поздно мной займется священник. От этого никуда не денешься. Я на его попечении был, как и все остальные. Это входило в его обязанности. Иначе я б его и уважать перестал. Я собирался в море половить на удочку, когда он появился на пристани. «А я на твоей лодке так ни разу еще в море и не выходил, Колмэйн,— сказал он.— Хотелось бы мне сейчас с тобой прокатиться». Я глянул на море. Большой волны не было. «Замерзнете только,— сказал я,— и вымокнете». А на дворе осень была. «Мерзнуть и мокнуть, говорит, мне не впервой, и никогда мне от этого вреда не было. Только усердней молиться на сон грядущий научился за тех, кто в море». Я говорю ему: «Ну, ладно, раз так». Он отдал канат и шагнул в лодку. Я поднял парус, и мы вышли в море. С ним никаких хлопот не было. Свое место он в лодке знал и насколько не мешался. Он долго молчал. Сидел тихонько. Дышал полной грудью. Я видел, как ему приятно на ветру да на соленом воздухе. Он в лодке был будто у себя дома.

После он мне много чего наговорил. «Ты, говорит, Колмэйн, нянчишься со своим горем, как мать с первенцем, которого давно уж пора от груди отнимать». Я с этим никак не согласен был. Я ему сказал: «Ошибаетесь, — говорю.— Я больше горя никакого не чувствую, как же я могу нянчиться с тем, чего у меня нет?» Он говорит: «А может, ты бога винишь за то, что с тобой приключилось?» — «Нет, говорю, чего ж мне бога винить, когда я теперь знаю, что его нету. Все это сказки одни, людьми выдуманные, потому что нужно им, чтоб кто-то над ними был. Не такой, как они, а сильный да удачливый, который сам кого хочешь одолеет. Вот как я это понимаю. Для души бог, конечно, нужен, вот мы и стараемся думать, что он есть. Да только возьмите небо, например, или озеро, или море. Они нам то синими, то зелеными, то еще не знаю там какими кажутся. А на деле что? Ну вот, и с богом то же».— «Эх, Колмэйн, Колмэйн», — сказал он.

«Можешь ты что-нибудь создать?» — спросил он. Я это обдумал и говорю: «А как же — лодку, например, могу, удочку там, парус, упряжку. Я много что могу сделать».— «Нет, говорит, ничего ты не можешь. Для этого тебе прежде всего понадобится лес, железо, пенька, холст, кожа. А их-то ты как раз сделать и не можешь. Они тебе готовенькие достаются. Кто же их-то сделал?»

Я говорю: «Я человек темный, дальше начальной школы не пошел, а вы со мной об ученых вещах разговор завели. Где уж мне».

«Будь ты глуп, как прикидываешься,— сказал он,— я б, может, еще как-нибудь с тобой и договорился бы. В церковь ты не ходишь».— «А вы что, хотите, чтоб я без веры ходил?» — спросил я. «Хочу, — говорит. — Ты только людей зря смущаешь, а ведь, может, как раз то, во что ты веру потерял, и помогло бы тебе о других наконец вспомнить. Не у тебя одного горе». Я говорю: «Давайте, говорю, отец, не будем ссориться. Вы на меня не сердитесь. Бесчувственный я стал».

«Да не сержусь я вовсе, Колмэйн, — сказал он. — Просто грустно мне очень. Когда ты всех своих близких потерял, ты совсем еще мальчишкой был, а все же судьба тебя не согнула. Я тобой от души восхищался. И вырос из тебя человек хороший, отзывчивый, который мухи не обидит. А теперь что? Ты только и знаешь, что всем больно делаешь, будто плетью вокруг себя размахиваешь». — «Вот уж нет, — сказал я. — Мо-

жете мне сколько угодно наговаривать, мне от того ни жарко, ни холодно. Я только ваш голос слышу, а слова ваши для меня звук пустой, и больше ничего. Это я вам честно говорю, чтоб вы слов попусту не тратили. Ну, я буду удочки закидывать».

Он мне помогал. Видно было, что он это с удовольствием делает. Он весь был в морских брызгах и рыбьей чешуе. Мы закусили с ним хлебом с маслом и холодной рыбой, что я из дому принес, чаю из бутылки попили. И поел он тоже с удовольствием, только вот я ни разу перед ним глаз не опустил, и это, видно, его смушало.

На пристани вечером он мне сказал: «Спасибо, Колмэйн, за прогулку. У меня прямо будто десять лет с плеч долой. Я за тебя помолюсь». — «Что ж, говорю, дело ваше». А он посмотрел на меня эдак печально и пошел прочь понунив голову, будто даже и забыл, что на руке у него связка рыбы болтается. Мне его жалко стало, только и всего.

Я, помню, тебе раньше говорил, что Фионан Муртаг уж если скажет, так не в бровь, а прямо в глаз. На участке рядом с нами семья одна жила по фамилии Кунингэм. Всего-то их было хозяин да хозяйка. Они совсем уже в летах были, когда родился у них сын. Назвали его Джон. Парень он был никудышный. Верно, оттого, что был он у них единственным и появился так поздно, они вообразили о нем невесть что. Мать в нем души не чаяла. Стоило ему чихнуть, как она уже укладывала его в постель и резала курицу ему в бульон. Она с ним прямо до глупости доходила. Да разве кто станет ее винить? Отец его был человек хороший, тихий был человек. Он делил лодку еще с одной семьей. Только после той страшной бури он не вернулся домой. Сын в тот раз с ним не поехал, хотя и был он в полном здоровье. Потом мать объясняла, что у него была головная боль, хотя люди знали, что просто он страдал с перепоя. Так или иначе, но он остался в живых, а отец его погиб, и большинство у нас считало, что следовало бы наоборот. Но, понятно, мать смотрела иначе. Она говорила, что денно и ночью бога благодарит за эту головную боль, потому что она его от смерти спасла. Ну так вот, Джон ленивый был. Не много она видела от него помощи. Работу в поле он считал для себя непосильной и как раз, когда мать больше всего в нем нуждалась, взял, да и уехал. Говорили, будто в Англию. Никакой радости она от него не видела, только слезы одни. Она не вылезала с почты, все ждала от него писем. Он же ей писал только, чтобы денег попросить. Мы это знали, потому что после каждого письма она переводы ему делала. Богатой она не была, и приходилось, значит, всем нам украдкой помогать ей с работой на участке, так что бедная Маргарет вообразила даже, что это феи по ночам ей грядки вскапывают. Ее у нас любили, и даже если кое-кто и считал, что глупо она сына воспитала, то насчет материнских чувств ее все отзывались похвально, потому что это тоже не часто бывает.

Она померла. Похворала, похворала и померла. Поганец даже приехать не потрудился, хоть ему и писали. Он даже на похоронах не был. Когда он наконец заявился домой, ее уже давно схоронить успели. Одет он был не по-нашему. Болтал, что женился на богатой, на дочери фабриканта. Болтал, что не знает еще, продать ли ему дом или оставить, чтоб иметь дачу, не хуже людей. Денег он не считал и угощал всех в трактире направо и налево. Мы еще думали, что его матери эти деньги очень при жизни кстати пришлись бы, да чего уж там теперь. Если дурак деньгами сорить желает, охотники их подбирать всегда найдутся. Смотрел он на всех на нас так, будто мы ему не ровня, и уехал очень даже опечаленный нашей участью — тем то есть, что нам приходится спину ломать на каком-то убогом островке.

Вот тут-то Фионан и высказался. Есть, говорит, на свете муха такая чудная — «филомин» называется. Выводится она в навозе и живет в на-

возе, а в один прекрасный день вдруг возьмет, да и взмоет под небеса. И летает она высоко, выше орла, выше даже жаворонка, а потом начинает падать, и падает камнем, и шлепается прямо в навоз, да там и пропадает. Так вот, с тех пор бедного Джона у нас иначе, как Филомином, больше уж и не называли.

Кунингэмовский участок зарос сорняками. Больно смотреть, когда такое творится на острове, где земля на вес золота. Я нет-нет ходил туда полоть сорняки, чтоб они на мой участок не перебросились. Потом, в один прекрасный день, Филомин вернулся.

Он привез с собой троих детей. Старшей девочке было десять лет, второй — восемь, и мальчику — четыре. Занятные детишки. У них были несуразные английские имена. У нас от этих имен языки заплетались. Звали их Оливия, Присцила и Кортни. И надо сказать, что дети они были просто замечательные, и все у нас тут их, как родных, полюбили. Разговаривали они на самом что ни на есть настоящем английском языке, а по-ирландски не знали. Ирландский-то им, конечно, нужно было учить, потому что остальные дети в школе по-английски мало что понимали. И до чего ж потешно было иной раз смотреть, как взрослые люди разговаривали с этими ребятишками, выкрикивая ирландские слова и тыча пальцем то на один предмет, то на другой. Очень уж всем хотелось, чтобы они выучились поскорее. Мы потом узнали, что мать их англичанка была, да только, конечно, отец ее вовсе богатым не был, а вроде нас перебивался. В скором времени эта самая англичанка, у которой хватило глупости выскочить за Филомина, народила ему семерых детей. Четверо из них померли. А потом и сама она померла. Не больно-то хорошо Филомин с ней обходился. А чего другого ждать от молодца, который на похороны родной матери приехать не удосужился?

Олив — это чудо, что за девчонка была. Ты б видел, как она домишко их снаружи и внутри разделала! Она столько работала, что любого мужика могла бы за пояс заткнуть. Самой от земли не видать, а гордости-то, гордости что было! Ей, видишь ли, помощь не нужна, сама управляет-ся, и папочка уж так-то ей во всем помогает. В Филомине она души не чаяла. И чем только такие мужики женщин привораживают? Тут у нас на острове многие парни в затылках скребли — всё секрет этот разгадать старались, да так и не разгадали. Он немножко земли обрабатывал: сеял ровно столько, чтобы им всем с голоду не пропасть, и сена запасал на пару телят. И все-то он делал не по-людски, всегда в последнюю минуту. Продав какую-нибудь скотину, он напивался. Во хмелю был буен. Наши почти все его сторонились, потому что у них руки чесались поучить его уму-разуму, но больно уж они детишек его любили и боялись их расположение потерять.

Ну вот, а теперь можно и про тот октябрьский вечер рассказать. Было тепло и тихо. Выдается иногда такой октябрь. И темно — луна еще не взошла. Я сидел на ограде своей и трубочку покуривал. Иногда у нас с Катрионой до того доходило, что сил моих больше не было. И тогда я прочь из дому шел. Молчание меня донимало. Бывает, что двое людей молчат по-хорошему. Сам поди знаешь. Молчишь, а сам чувствуешь, что другой тебя и без слов понимает. А бывает такое молчание, что не приведи бог.

Вот так у нас в тот вечер было. Сидел я, значит, на ограде. Кунингэма дом был от меня в полусотне ярдов, не больше. В отворенную дверь мне было видно все, что у них делается. Я будто представление в театре смотрел. Эта Олив ну просто ни минутки на месте не сидела. Я видел, как она накрыла на краешке стола для младших и покормила их, потом присела и поела сама, потом послала их умываться, присмотрела, чтоб они в ночные сорочки переоделись, потом засветила свечу и повела их

наверх в комнату. Там она с ними немного побыла, а потом спустилась вниз, посуду помыла, подмела пол. Девочка она была высокая, щупленькая, с худенькими ручками и ножками, с худеньким личиком, большеглазая, с тугими косами. Я подумал: вот же счастье, наверно, такую дочку иметь. И еще я подумал, что какой бы он там ни был Филомин, но не может он не понимать, что она за золото.

На материке в тот день ярмарка была. Филомин туда ездил. Мне на этот раз продавать было нечего. Он же вместе с другими нашими подрядил торфяник, чтоб перевезти скотину. Теперь он назад возвращался. Ему уже давно пора бы дома быть, да разве мог он мимо трактира пройти? Сначала я услышал, что он идет по улице с песнями. Голос у него был преподанный — скрипучий такой, как у коростеля. Затем он показался на дороге. И тут что-то меня дернуло присесть за оградой, так что меня видно не было, а сам я мог следить за ним. Сам знаю, что не больно-то красиво это вышло. Огонек трубки я на всякий случай ладонью прикрыл. Он прошел мимо, распевая и выписывая кренделя и чему-то посмеиваясь. Росту он был хорошего, только жиру лишнего нарастил.

Я опять сел на прежнее место и все следил за ним. Жаль мне было маленькую Олив. Каково ей, бедной, когда отец в таком виде домой заявляется? Однако она не сробела. Она встретила его в дверях. Он что-то крикнул, потом обнял ее, приподнял от земли. Это мою-то красавицу! Мне вчуже противно стало. Потом поставил ее на землю. Я видел, как он уселся за стол. Для него было уже накрыто. Какое-то время он сидел, уронив голову на руки. Она вывалила на стол картошку и поставила перед ним тарелку. Я знал, чем она его угощает — грудинкой с луком. Руки плохо его слушались. Он взял нож и вилку. Что-то ему не понравилось. Он начал орать, тыча в свою тарелку. Слов я не мог разобрать. Потом схватил тарелку и шваркнул об пол. Я слышал, как она разбилась. Я видел Олив со спины. Я видел, как Филомин разевает рот. Он привстал и стукнулся головой о керосиновую лампу, висевшую на стене. Это, видно, его совсем взбесило. Он протянул к лампе руку, сорвал ее с гвоздя и кинул. Свет погас. Был и не стало. Будто сон на полуслове оборвался. Я аж позеленел от злости. От злости меня прямо распирало.

Только дом погрузился во тьму, как тут же вспыхнул красным огнем. Произошло все это очень быстро. Лампа, видно, лопнула, и горящий керосин расплескался во все стороны. Вспыхнуло красное пламя, повалил черный дым, и я увидел, как Филомин выбежал, сам еле на ногах держится и лицо руками прикрывает. Трудно передать, как в мгновение ока дом превратился в пылающий костер. Конечно, соломенная крыша свое дело сделала. Я вскочил и закричал в панике: «Катриона! Катриона!» — и бросился бежать. И расстояние-то было плевое, а мне казалось, что я никогда не добегу. И какими словами только я не ругал его. Ушел себе преспокойно и ни об Олив, ни о маленьких даже и не вспомнил! Ты слышишь? Укладывается это у тебя в голове? Можешь ты поверить, что так люди поступают? Я бежал и орал во все горло, звал соседей.

Я увидел, как в дверях, в дыму и в огне, показалась Олив. Она несла на руках братишку. Я по размеру догадался. Он был завернут в одеяло. Она положила его на землю. Я закричал: «Нет, нет, Олив, нет!» Но она даже внимания на меня не обратила. Она повернулась и побежала обратно в дом. О, господи, молился я, выведи ее оттуда.

Филомин вырос передо мной. Он протягивал руки. «Да что же это, господи боже мой, — кричал он. — Домик-то мой, домик мой бедный!» Я его на бегу раз стукнул, не мог удержаться. Он от меня отлетел. Из дверей рвалось пламя. Я даже и жара не почувствовал. Я кинулся вправо. Она была у двери спальни — тащила сестренку, согнувшись в три погибели. Я сгреб их обеих в охапку, повернулся и бросился вон из дому.

Огонь гнался за мной по пятам. Ревел у меня за спиной. Крыша с треском рухнула. Катриона была уже тут. Она отнесла мальчика подальше, куда не доставал жар. Со всех сторон сбегались люди. Филомин был тут же. Он тыкался от одного к другому со своими причитаниями. Маленькая Присцила была жива и невредима. Она плакала. Одеядло на ней тлело. Я откинул его прочь. Катриона взяла ее. Присцила была молодцом. На ней не было ни одного ожога. Она просто со страха плакала. Я взял Олив на руки и пошел с ней в сторону дороги. Тут уже толпился народ. Глаза Олив были закрыты. Она чуть постанывала. Я загасил ей волосы. Они не загорелись по-настоящему, потому что были заплетены в косички, только там и сям обгорели выбившиеся пряди. Руки и ноги у нее были какие-то беловатые. Катриона укутала ее одеялом. «Неси ее домой», — сказала Катриона. Я понес. По дороге я сказал кому-то из мужчин: «Беги на почту. Пусть спросят доктора, что нужно делать. И миссис Фэрти позови». А на почте у нас не так давно установили что-то вроде радиотелефона. Иногда он работал, иногда нет — смотря по погоде.

Филомин метался, как курица с отрезанной головой. «Ох, что мне теперь делать, что мне делать?» — твердил он. Посмотрел я на него и подумал: да неужели же человек может до такого пойти, чтоб только о себе и помнить? Посмотрел на него, потом на Катриону. А она на меня, не на него смотрела. Один только миг и смотрела она на меня. Но душу мне как огнем опалила. Понял я в этот миг, что Филомин — даже Филомин — и тот лучше меня. И кто я такой, чтоб его судить? Только ты не пойми так, что я это у нее в глазах прочитал. Вовсе нет.

Пришла миссис Фэрти. Мы Олив на свою кровать уложили. От доктора с материка пришли указания — сработал все-таки телефон. Видно, в воздухе не было помех. Сделайте то-то и то-то, а потом везите ее сюда. Уж не знаю что — порошком каким-то присыпать ей ноги и руки. Забинтовать поплотнее, чтобы воздух не проходил. Я оставил их, побежал готовить лодку. На душе у меня бог знает что творилось. Я так зубами скрипел, что они у меня чудом уцелели. У меня кулаки чесались так Филомина избить, чтоб от него только мокрое место осталось. С лодкой я быстро управился. Дул ровный ветер, устойчиво с северо-востока, как раз что нам надо. Доктор будет ждать на пристани, так передали оттуда. Все будет наготове.

Катриона принесла на руках Олив. «Я поеду», — сказала она. Я не стал возражать. Мы уселись в лодку и отчалили, и на пристань нас провожать вышел чуть ли не весь поселок. Луна только всходила — огромная, как мир.

Девочка тихонько стонала. «Плоха она? — спросил я. — Как ты думаешь, очень она плоха?» — «Не знаю», — сказала Катриона. — По-моему, обгорела она сильно». — «О, господи», — сказал я и стукнул кулаком о борт лодки. «Ты что это?» — спросила Катриона. Я не ответил. Девочка заговорила: «Миссис Фьюри, миссис Фьюри!» — «Ты чего, Олив?» — сказала Катриона. «А дети целы?» — «Целехоньки», — сказала Катриона, — будто и в пожаре не были». — «Слава тебе, господи», — сказала Олив. — Лампа у нас со стены сорвалась», — сказала она. — Лампа сорвалась со стены. И напугалась же я!» — «Нет!» — хотел было я крикнуть, но не крикнул. Промолчал. «А как папочка? Папочка-то как?» — «И он тоже цел», — сказала Катриона. — Только о тебе очень убивается». — «А куда мы едем?» — спросила она. «К доктору», — сказала Катриона. — Он ожоги твои полечит». — «Ой, как больно сейчас», — сказала она. Я видел, что она вся дрожит. А вечер был вовсе не холодный. «Теперь уж скоро приедем», — сказала Катриона. — Там тебе полегчает».

Они опять замолчали. Ничего не слышно, только плеск воды да поскрипыванье парусного блока. При свете луны мне лицо ее было видно.

Ожогом его не тронуло, только белое оно было, как полотно, и кривилось от боли. Но глаза были ясные — испуга в них не было. «Ой, какая луна красивая, — сказала она. — И большая какая». — «Новолуние сегодня», — ответила Катриона. «Она как фонарь висит, дорогу нам освещает, — сказала Олив. — Совсем золотая».

Я взглянул на луну. Она сама была яркая, как нарисованная, и море вокруг нас раскрашивала, мелкая рябь на воде так и искрилась.

«Вы такие добрые, миссис Фьюри, — сказала она потом. — Когда я вернусь, я вам перчатки свяжу. У меня перчатки хорошо получаются». — «Спасибо, Олив», — сказала Катриона. «А вы за детьми присмотрите?» — «Присмотрю, конечно». — «И папочке немного можете? Мужчины ведь по хозяйству ничего не умеют. Правда ведь?» — «Это уж как есть», — сказала Катриона. — Я за ним пригляжу». Девочка вздохнула и тихонько застонала. Теперь у меня душа больше уж ничего не принимала. Будто я насмерть окоченел.

Нам уже были видны огни на материке. Там на пристани собрался народ. Доктор принял ее бережно. Он внес ее в дом. Мы остались ждать. На душе у меня было погано. Я чувствовал себя, как репа, которую из земли выдернули. Наконец он к нам вышел. «Плохи дела, — сказал он. — Я сам ее отвезу. Скорую помощь ждать не стоит: тут нельзя ни минуты терять. Что же в конце концов случилось? Отчего загорелся дом?»

Катриона посмотрела на меня. Я почувствовал ее взгляд. Я знал, о чем она думает. Просто беда, как мне трудно было это сказать, но я все-таки сказал. «Олив говорит, что лампа со стены сорвалась, — сказал я. — Так она говорит. Гвоздь расшатался». — «Чтоб его», — выругался доктор. Ее вынесли из дому. Он, видно, дал ей чего-то принять. Лицо у нее было спокойное. Она перестала стонать. Ее устроили на заднем сиденье. Сестра села в машину рядом с доктором, и они осторожно поехали.

Мы пошли назад к лодке. Спустились вниз по ступеням. Некоторое время я сидел, повесив голову. Сил не было поднять парус. Я знал, что Катриона смотрит на меня. Потом я почувствовал, как она тронула меня за руку, легонько так коснулась рукой.

«Поехали домой, Колмэйн, — сказала Катриона. — Поехали домой».

Я сначала повел лодку на веслах и потом, как вышли из бухты, поднял парус.

Мне пришлось сделать не один галс и не два, прежде чем я сумел поставить лодку по ветру. До дому мы добирались долго. А я даже рад тому был. О чем мы говорили — уж и не помню почти. Я сказал: «Солдаты, говорю, медали на войне получают, а что полагается Олив за храбрость? Маленькой девочке с косичками?» А она сказала: «Награда почище всяких медалей. Вот только не померла б».

У меня у самого это на уме было. У самого сердце кровью обливалось. Потом я успокоился немного. «Не помрет, говорю, помани мое слово. Такую крепость, как маленькая Олив, легко не спалишь. Вернется она».

«Лампа со стены не сама сорвалась», — сказала Катриона. Шустрая она у меня, Катриона. Ничто от нее не укроется. Я сначала промолчал.

«Лампа сорвалась со стены, — сказал я, подумав. — Так ли, эдак ли, а сорвалась. И если Олив это говорит — значит, так оно ей больше нравится».

Катриона вздохнула. И вот что я тебе скажу, Пол: молчали-то мы с ней опять по-хорошему. Это я сразу почувствовал. Молчим, а каждый понимает, что у другого на душе, прямо будто из тьмы на огонек вышли.

«Давно уж я с тобой в море не была, Колмэйн», — сказала она погодя. «Да уж», — сказал я.

Она опустила руку в воду.

«А славно вот так по морю с тобой плыть, Колмэйн», — сказала она. Я сказал: «Ты мне сердце отогрела, Катриона. Век бы вот так с тобой по морю плыть». Это я словами сказал, а сердце как затвердило: «Спасибо, Олив! Спасибо, маленькая Олив! Спасибо тебе!»

«Ночь-то какая яркая да красивая», — сказал я. А ночь и верно красивая была.

С у б б о т а

С тех пор и повелось: как помянут при мне пятницу — так я Олив и вспомню. То, что она к нам вернулась, ты, Пол, сам знаешь, потому что сам не раз с ней шутил да смеялся. Но вот чего ты ни разу не видел, это чтоб она с голыми ногами или руками на людях показалась, а то бы ты, наверно, призадумался. Олив у нас на все руки мастерица. И развеселить она тоже любого может. Занятная девчонка из нее выросла. Лицо у нее какое-то, не как у всех, вроде особенное лицо, и многие тут у нас по ней сохли. Из-за нее к нам на праздники плясать даже парни с материка повадились ездить. Сколько раз она, бывало, нас потешала — сагу о том, как сватались женихи к Олив Кунингэм, рассказывала. Да только куда им было соваться, когда она держала твердый курс на Томаса. Вот где смеху-то было! Томас меня несколькими годами помоложе, значит, когда Олив исполнилось восемнадцать, ему уже было двадцать восемь, так что он, понятно, рядом с ней себя настоящим дедом считал. К тому же его дома и без того бабы заедали, как я тебе уже раньше рассказывал, так что он у них по струнке ходил. Но когда такая девчонка, как Олив, которая знает, чего хочет, и, как ты сам убедился, привыкла напрямик действовать, берет в руки компас, то до цели своей она доберется, будьте покойны.

Чуть ли не самое первое, что я после той пятницы сделал, это съездил на материк и накупил там леса. Как сейчас вижу Томаса — он глаза вытаращил, как увидел груды досок в сарае, и Фионана, эдак хитренько на все это поглядывающего. Тут только понял я, сколько хороших лет зря потерял, и взгрустнул немножко.

Ну вот, лодку мы построили. Не сразу, но построили все-таки. Лодка получилась добрая, на совесть сколоченная. Правда, не была она такой быстроходной, как моя старенькая «Бриджита», где уж там, но лодка эта была солидная, в самый раз человеку, как я, в годах, который на своем опыте познал все, что от моря можно ждать, и понял, что это тебе не шуточки. Не то чтоб я мог когда-нибудь море полюбить. Больно уж оно коварное. Но уважать его я уважал, не ссорился с ним и, смотря по его настроению, то работал с ним рука об руку, а то опешил в сторону убраться — от греха подальше. Ну вот, спустили мы ее на воду, и освятили, и бутылочку со святой водой на носу под скамеечкой подвесили.

Ну, а дальше что? А дальше я как был, так и остался рыбаком-одиночкой. С такой большой лодкой одному человеку не управиться — разве что в тихий день, да и то с грехом пополам. Я уже весь остров исходил, как проповедник, который из кожи лезет, чтоб обратить нечестивых в христианскую веру. Куда там: только голос и силы зря тратил. Единственно, кого мне удалось завербовать, это подростков, в которых еще дух не угас, да и то, как только про нашу затею прознавали старшие, их тут же из моей лодки выхватывали, как печеную картошку из золы.

Томаса, на которого я все свои надежды возлагал, по-прежнему с места было не сдвинуть. Женских слез он боялся хуже чумы, ну и, кроме того, до сих пор, по-моему, не мог отделаться от испуга, который в детстве пережил, — тех страшных картин не забыл. Катриона предложила, что пойдет ко мне в подручные. Но тут уж я воспротивился: хорошо я

буду, если жену к себе в лодку за матроса посажу. Так это смехом и кончилось. Но хоть посмеялись мы от души — и на том спасибо, потому что в жизни от души смеяться тоже не часто приходится.

С возвращением Олив Филомин притих. Новой жизни, как говорится, он не начал. Прикинул, видно, и решил к этому вопросу в другой раз вернуться, годиков эдак через десять. Но дома он себя вел тише воды, ниже травы. Напугался, видно. Уверен я, что он нет-нет да и просыпался в своем заново отстроенном доме весь в поту и говорил про себя: господи, да ведь я мог до смерти сгореть! Голову даю на отсечение, что именно это он говорил, а не что-нибудь поблагороднее. Но он помнил, с чего пожар начался, знал, что и Олив помнит и что по справедливости ему бы сейчас на каторге следовало камень дробить. Так что больше он на детей своих руки не подымал и голоса не повышал. Какое там! Особенно после того, как я с ним по-свойски поговорил да рассказал ему, что я видел и что с ним сделаю, если такое еще повторится. Понял, что я не шутики шучу. И я, прямо скажу, не шутил. Потому что в нем я как на портрете увидел, до чего мог сам докатиться, если бы вовремя не одумался, и уж этот портрет я б из него с радостью выколол, будьте уверены. Эх, далеко еще, видно, нам до истинного милосердия!

Вот как-то раз уехал он на ярмарку и больше не вернулся. Долго весь остров ждал его не дыша, а потом вздохнул с облегчением. Олив к тому времени уже подросла. Да и двое других тоже. Они могли ей помогать, и Томас тоже помогал. Вот тут-то он и попался ей на глаза. Пригляделась она к нему, оценила по достоинству, и тут уж, ясно, от его свободы считанные дни остались. Нельзя сказать, чтоб он сдался без боя. Рассуждал он, видно, приблизительно так: «Уж если все бабы вроде моих домашних, так я прекрасно бобылем век проживу». Я так полагаю, что и у него, как и у всякого, были в мыслях и любовь, и жена, и дети, да только он опасался, что все это себе дороже обойдется.

Сидел я как-то раз утречком в лодке и готовил удочки — в море идти собирался. Волей-неволей приходилось удочками обходиться: с сетями мне никак было одному в большой лодке не управиться. Томас был тут же и Фионан старый. Я работал да помалкивал. Томаса из-за этой большой лодки совесть последнее время начала заедать. Нет-нет да и скажет мне: «Экая обида, Колмэйн, что мне опять недосуг, а то я б, может, с тобой пошел». А я ему только: «Еще бы, Томас, не обида».

Утро было погожее, со свежим ветерком, в такую погоду только под парусом и ходить. «Эх, помереть бы уж, что ли, скорее», — сказал Фионан. Он на небо глядел. Мы оба сразу поняли, к чему это он. Томас промолчал. А тут как раз Олив сзади подошла и встала ко мне поближе. «Бог, говорит, в помощь, Колмэйн. Желаю тебе лова хорошего». Я сказал спасибо. «А чего это ты сетей с собой не возьмешь?» — спросила она и указала на сети, а они были на деревянных колышках на стенке сарая растянуты для просушки. «Где уж, — сказал я. — Разве с ними в большой лодке управиться?» — «Жаль, — сказала она. — А ты бы не мог с ним поехать, Фионан?» — «Я б оба глаза отдал, только б поехать, — сказал Фионан и плюнул в море. — Да кто меня возьмет с такими никудышными руками?»

«Я бы прямо хоть сама поехала, — сказала она. — А ты думаешь, тебе от меня польза будет, Колмэйн?» — И она подмигнула мне. «Отчего же, говорю, если слушать меня будешь». — «Как еще буду, — сказала она. — И мешать тебе не стану». — «Мне б лишняя пара рук вот как пригодилась!» — сказал я. Тут Томас как заорет: «Дома тебе надо сидеть, обед готовить!» — «Вот еще, — сказала Олив, — обед они и без меня

сварят — большие уж. Так как же, Колмэйн, снимать, что ли, сети и в лодку нести?» — «Давай, неси, — сказал я. — Раз уж ты надумала». И пошел вверх по ступенькам. «Да ты чего это затеяла?» — не унимался Томас. «Тебя не спросила», — сказала Олив и пошла к сараю. Он за ней. А мы с Фионаном стоим и смотрим, что будет. Она принялась снимать сети с колышков. «Что ты делаешь? Перепутаешь только все», — говорит Томас. «Ну так сам снимай, если лучше умеешь». Он снял их как надо, сложил, взвалил на плечо и пошел к пристани. Она за ним. «Вот, Колмэйн, говорит, получай». Я сказал спасибо, взял сети и снес их в лодку. «Томас, — сказала Олив, — сходи-ка ты домой и скажи ребятам, что я рыбачить с Колмэйном поехала». — «Что я тебе, мальчик на побегушках, что ли?» — спросил он сердито. «Да уж во всяком случае не мужик на побегушках», — говорит она. «Ты что это — грубить вздумала?» — спросил Томас. «Что я такого сказала?» — говорит. «Оде-та-то я как — не холодно будет?» — спросила она погода. Надето на ней было не больно много — день-то теплый был. «Если замерзнешь, в лодке плащи есть», — сказал я. «Ну, раз так, поехали», — сказала она и пошла к лодке. «Ты что, рехнулся, Колмэйн?» — сказал Томас. — Как это можно сопливаю девочку в море с собой брать?» — «А что? — сказал я. — Катриона несколько раз со мной на лов ходила. Она любому мужику нос утрет — во всяком случае любому из тех, что у нас на острове проживают». — «Ты что, на меня намекаешь?» — закричал Томас. «А что, я неправду разве сказал?» — спросил я. «Вылазь на пристань, драться будем», — говорит он. А сам аж покраснел весь. «Да очнись ты, Томас, — сказал я. — С чего бы это я стал тебя оскорблять? Я тебя почитаю. Не ты ли сам, своими руками, эту лодку построил?» Это его немного успокоило. «Хоть, правда, на море ты ее так и не испробовал», — продолжал я. Тут он опять побагровел. «Ага! Трусом меня обзывают?» — «И вовсе нет, — сказал я. — С чего бы это я стал трусом тебя обзывать? Мы с тобой друзья». — «Хорош друг, — сказал он эдак обиженно, — срамишь только меня». — «И вовсе я тебя не срамлию», — сказал я. «Томас не моря боится, — сказала Олив. — Он языков своих сестер боится». — «Не смей так со мной разговаривать! — закричал он. — Чего лезешь не в свое дело?» — «А ведь боишься?» — сказала она. «О, господи, — сказал Томас. — Я тебя стукну, кажется. Не доводи лучше меня». — «Не стукнешь. Небось пороху не хватит», — сказала Олив. «Ты смотри, до чего меня довела, — сказал Томас. — Вот возьму и поеду Эх, да где тебе понять!» — «Чего уж тут понимать? — сказала она. — В душе-то ведь тебе всегда хотелось». — «И вовсе нет, — сказал Томас. — Ветер, слякоть, рыба чешуя. Не надо мне такой жизни!» — «Будто я никогда глаз твоих не видела, когда ты Колмэйну вслед смотришь». — «Жили мы тут, горя не знали, пока ты не объявилась...» — «А я могу и на материк уехать, — сказала Олив. — Там найдутся люди, которые меня с распростертыми объятиями примут». Я думал, Томас ей скажет: «Ну так чего же ты? И поезжай на здоровье». Но он не сказал. Он посмотрел на нее. «Будто ты не знаешь, что не об этом я совсем», — сказал он. «Знаю», — сказала она. «Чего тебе от меня надо?» — спросил он ее. «А того надо, чтоб ты поступал, как сердце твое тебе велит, — сказала она. — Я море люблю. Оно мне раз жизнь спасло. — И улыбнулась мне. — Разве ты сейчас себе хозяин, Томас? Иди в море — свободным человеком станешь». — «Ты, верно, так думаешь?» — спросил он. «Я знаю, — сказала она. — Не понимаю, как ты раньше на свободу не вырвался». — «Так, значит...» — сказал Томас. Что-то такое у них наклеивалось, только нас с Фионаном не касалось это. Мы вроде бы в сторонке ждали, чем дело кончится. А и они молчали. Да только молчание это больше слов иных говорило. Вот что!

Потом Томас повернулся и протоптал вниз к лодке, им самим выстроенной, и мы отвалили от пристани и поставили ее по ветру. Он все борта ее оглаживал. То, что Томас наконец со мной в море вышел, большое дело для меня было. Я тебе об этом в другой раз еще расскажу, а теперь я хочу рассказать еще об одном важном для меня событии, потому что, как и с Томасом, и тут причиной всему лодка оказалась.

А про Томаса я только вот еще что тебе скажу: он потом рассказывал, какой ему дома концерт закатили, когда он затемно вернулся с моря. «А знаешь, говорит, Колмэйн, оказывается, всего лишь и надо было, что прикрикнуть на них». — «Только-то?» — спросил я. «Да, — говорит. — Надо просто разинуть пасть и орать. Орать и все». Ему это таким же чудом показалось, как если бы он Америку открыл.

Так вот. Застал я как-то раз у себя в лодке незнакомца. Сидел он там и леску плел. Был это махонький парнишка. Волосенки у него были белобрысые, вихрастые, кое-как подстриженные, и одет он был в старенькую рубаху и коротенькие портки, латаные-перелатанные и не по росту большие, и держались они у него на лямках и на английских булавках. Он поглядел на меня. Глаза у него были голубые. Ему, должно быть, лет восемь было.

Спрашиваю его: «Ты кто таков?» — «Я, говорит, Мак-Дара. А ты за рыбой ходишь?» — «Хожу», — говорю. «А мне с тобой можно?» — спросил он. «Да ты чей такой будешь?» — спросил я. Я все прикидывал, откуда он может быть. На острове я вроде бы всех знал. «Тарп — мой дедушка», — сказал он. Я сказал: «Вот оно что!»

Тарп у нас на острове почти каждый год появляется. Вообще-то он лудильщик — или как это там называется. Привозит он с собой рулоны парусины и еще всякое барахло на продажу, расставляет грязную бурую палатку и начинает паять котелки и чайники и всякие другие мелкие поделки выполняет, а потом, когда дело к зиме, снимается с места. Здоровенный такой мужик, поперек себя шире, оборванный и всегда небритый, с маленькими глазками. Но чтоб он буянил — это нет, этого за ним и во хмелю не водится. Все больше помалкивает.

«А дед твой не рассердится, если ты в море уйдешь?» — спросил я. «Нет, — сказал он, — я его до вечера не увижу. Если я рыбы на ужин принесу, он рад будет». Я посмотрел на него. И он на меня посмотрел эдакими ясными глазами. Одет он был небогато, а сам чистенький, даже ноги босые и то чистые. Он не канючил, понимаешь. Я сказал: «Ну, ладно, хочешь — так поехали. Только чтоб у меня слушаться!» — «Это можно», — сказал он. Если б не то, как он ручонки свои стиснул, так и не сказать бы, что он волнуется.

Чудно как-то было плыть в лодке и видеть перед собой этого парнишку. Я, понятно, размышлял, что, сложись жизнь иначе, так это мог бы мой родной сын со мной в лодке сидеть, а не внук какого-то лудильщика. Не похоже было, чтобы волны его пугали. Когда меня в первый раз в лодке в море взяли, я, помню, боялся. Он сказал: «А мне туда вверх можно?» Я головой кивнул. Он забрался на нос и примостился там на коленях, ухватившись за какую-то снасть, так что его со всех сторон обдувало. День был ясный, по голубому небу быстрые большие облака бежали. Он их глазами провожал. Нет-нет его обдавало волной. Он обернулся ко мне. У него аж глаза сияли. Я от улыбки не мог удержаться, видя, как он доволен. А бояться он совсем не боялся. Я еще подумал, что если судьба тебя не балует, так волей-неволей станешь бесстрашным.

Он в лодке быстро освоился. Перебрался обратно ко мне. В банку с червями заглянул. Запустил туда ручонку. Вижу, что не брезгует ничуть. А не всякий согласился бы их тронуть. «А они на что?» — крикнул

он. «На крючки, говорю, их насаживают, для приманки». — «А можно я их тебе буду насаживать?» — спросил он. Я кивнул. Пусть, думаю, попортит пару штук, если ему от этого удовольствие. А он их вовсе даже и не испортил. Насадил одного и показывает мне. Все честь по чести. Я даже глаза на него вылупил. А он смеется. Очень был доволен. Этот парнишка червей насаживал, как заправский рыбак.

Он мне счастье принес, скажу я тебе. Можно было подумать, что рыбе его наживка по вкусу пришлось. Смотреть на него было одно удовольствие. Он прямо захлебывался от радости каждый раз, как у нас в лодке начинала трепыхаться новая рыба. Весь он по уши в чешуе перемазался и только знай твердил: «Вот-то здорово, вот-то здорово!» А меня море, понимаешь ли, к тому времени порядком успело уже вымотать: целый день один, работа каторжная — я это сразу почувствовал, как только удаль моя молодецкая, о которой я тебе, помнишь, раньше рассказывал, с меня соскочила. А с этим парнишкой будто молодость ко мне снова вернулась. Хорошо иной раз на мир чужими свежими глазами взглянуть. Когда мы легли в дрейф и стали закусывать, он с такой охотой ел, будто его невесть какими лакомствами угощали. «Вот вкусно-то», — сказал он и до того похабное слово добавил, что я даже опешил, услышав такое из его детских уст. «Отец с матерью у тебя где?» — спросил я. «А кто их знает», — сказал он. — Уехали они. Уехали и бросили меня на Тарпа». — «А давно ли?» — спросил я. «Да уж с год будет», — сказал он. «Где же они?» — спросил я. «А не знаю я, мать их... Так Тарп говорит», — пояснил он. Я смолк.

Поздно уже было, когда мы вернулись. Я его домой к себе привел. Теперь уж он чистеньким не был. Я ввел его в нашу светлую кухню. «Катриона, говорю, принимай гостя. Он мне рыбачить помогал». Катриона бровью не повела. «Что ж, говорит, мы гостям всегда рады». — «Это», — сказал я, — Мак-Дара, Тарпа внук». — «А-а», — сказала Катриона. — Может, вы, работнички, сначала с работы умоетесь? Я сейчас в таз воды горячей налью». Он ничего, спорить не стал. Я заметил, что умывается он старательно. Но дома он вдруг задичился. Видно, в доме ему не по себе было. Мы сели к столу. Он видал, что мы перекрестились, и тоже за нами перекрестился. Ел он с удовольствием, но с оглядкой. Мне все казалось, что вот-вот он сорвется со стула — и поминай как звали. «И ты всегда в палатке живешь?» — спросила Катриона. «Да», — ответил он. «А не мерзнешь?» — сказала она. «Бывает», — сказал он. — Только все равно лучше, чем в доме. В доме дышать нечем». — «А-а», — сказала Катриона, — вот оно что». — «Я тебя сам к деду сведу», — сказал я позднее. «Отчего ж, веди», — сказал он. «Приходи к нам еще», — сказала Катриона. — Спасибо тебе, что Колмэйну помог». — «Да ладно», — сказал он.

Я шел рядом с ним в темноте. Он, понятно, темноты не боялся. Он сказал: «А здорово сегодня было. Вот бы всю жизнь так! Можно мне еще с тобой, пока мы не уйдем?» — «А вы куда теперь?» — спросил я. «Да не знаю», — сказал он. — Мы ведь везде ходим». — «А тебе нравится кочевать?» — спросил я. «Когда нравится, когда нет. Только вот устаешь». — «А в школу ты когда-нибудь ходил?» — спросил я. «Нет», — сказал он и даже сплюнул. — Больно нужно. Тарп меня считать научил — я знаешь как в уме складывать умею». — «Ну, это самое главное», — сказал я.

В палатке, которая стояла в ложбинке, у берега моря, возле быстрого горного ручья, горел огонек. Я остановился и окликнул: «Эй, кто дома?» В отверстии показался сам хозяин. Он шурил глаза.

«А, это ты, Мак-Дара», — сказал он. Потом увидел меня и подался назад. «Заходи, что ли», — сказал он. Я нагнулся и пролез в палатку. Там висел фонарь с зажженной свечой внутри. Кругом беспорядок. Пахло сивухой: Тарп еще и самогон гнал. Я сказал: «Я твоего внучка на лов

с собой брал». — «А, вот, значит, он где пропадал?» — сказал он. «Я потому и пришел, — сказал я, — что объяснить хотел». В палатке я прямо задышался. Даже потом меня прошибло. «Вот еще, была нужда, — сказал Тарп. — Он у меня, как дикий кролик, везде гоняет». За постель у них были драные одеяла да мешки. На шесте висели жестяные кружки.

«Ну, я пошел, — сказал я. — Прощай, Мак-Дара». Он сидел рядом с Тарпом, махонький такой, ободранный. В лодке под открытым небом он куда как лучше выглядел. «Увидимся еще. Если дед не возражает, приходи мне помогать». Тарп почесался, зевнул щербатым ртом. «Что ж возражать», — сказал он. Мак-Дара кивнул мне. Я пошел домой. Я рассуждал, что так уж, видно, жизнь устроена. Все же, наверно, Тарп по своему его жалеет.

Катриона спросила: «Ты его домой отвел?» Я сказал: «Что такое дом — это каждый по-своему понимает». — «Славный парнишка», — сказала она. «Ты б послушала, как он выражается», — сказал я. «А где ему было хорошего набраться?» — спросила она.

В следующий раз, как я собрался на лов, он мне все вспоминался. Думаю, ждет он меня или нет? Он ждал. Просто смешно, как я обрадовался, его увидев. Он и разговорчивей на этот раз был. Послушать его — так выходило, что во многих делах я ничего не смыслю: как на кроликов силки ставить, например; или как стянуть в городе простыни с веревки где-нибудь на задворках, а потом сбыть их в ближайшем местечке на рынке; как попрошайничать и прикидываться убогоньким за спиной у полицейского — и в других, не менее почтенных занятиях. Он умел раздобыть картошки из чужого погреба, да так, что подкопа никто даже и не заметит. Я ему сказал: «Ишь, говорю, какой ты, оказывается, образованный». А он говорит: «Не захочешь, а выучишься — иначе разве проживешь?»

Катриона с ним дружбу завела. Сам не знаю, как это ей удалось. Но своя догадка у меня имеется: Катриону-то я, слава богу, не первый день знаю. Его уже больше не тянуло бежать из дому, едва он от стола встанет. Он даже начал помогать ей немного по хозяйству. «Отчего ж не помочь от нечего делать, — говорил он, — обед-то ведь даром достался. Другое дело, если б я его украл». — «Неужели другое?» — говорил я. Она его в рубашку приличную обрядила, верно, из моей старой переделала, и в теплые штаны. Но вот что удивительно, это как он себя в чистоте содержал. А знаешь почему? Да потому, видно, что люди опрятным детишкам охотнее подают, чем грязным да шелудивым. Он, например, считал, что чумазым ходить да болячки напоказ выставлять — это большая оплошность. А наводить болячки надо так: втереть в кожу грязь, а сверху подкрасить помадой, какой женщины губы себе мажут. Уж он, Мак-Дара, свет повидал и разбирался, что к чему. Иной раз мне начинало казаться, что взрослый — это он, а я — дите неразумное.

Раз как-то поздно вечером — в конце сентября это было, — когда Катриона уже спать улеглась, а я огонь в очаге шуровал и тоже на бокковую собирался, послышалось мне, будто кто в дверь скребется. Я пошел отворять. Смотрю — Тарп. От него вином разило. «Поговорить, говорит, надо». Я говорю: «Что ж, заходи, когда так». Он отряхнулся. Вошел бочком. Уселся на стул, а сам оглядывается по сторонам, будто высматривает что — ободранный, разбухший, прямо глаза б на него не глядели. «Мальчишке ты больно полюбился», — сказал он. «Что ж, говорю, спасибо на добром слове. Мне он тоже полюбился». — «Возьмешь его себе?» — спросил он. «Как это так возьмешь?» — сказал я. «Себе. К себе бери, — повторил он нетерпеливо. — Мне он от дочери достался. Муж от нее ушел. Где она сама — тоже не знаю. Теперь уж, верно, и не узнаю. Видать, еще кого подцепила. Бросила его на меня».

«Да разве можно детей из рук в руки, как собак, передавать?» — говорю я. «Ты ему — как свет в окошке. Только и слышишь от него: Колмэйн да Колмэйн. Эх, да чего там. Один ведь я, без бабы. Живу, как бог на душу положит. Годится разве это для него? Чего он видит от меня хорошего?» Я призадумался. «Раз ему у тебя нравится, — сказал я, — значит — что-то хорошее он от тебя видит». — «Нет, говорит, он к тебе привык и к хозяйке твоей. Это с ним первый раз так. Он мальчишка смышленный. Может, еще в люди выйдет. Да не со мной. Сам видишь, какой я есть, где шатаюсь, какими делами занимаюсь. Возьмешь его, а?»

У меня сердце застучало. Взять его к себе! Да нет, добра из этого все равно не будет, где ж ему быть-то? Слишком уж все аккуратно получалось, понимаешь? «Как же так? — сказал я. — Он ведь не останется. Не могу ж я его силком у себя держать».

«Ты на лов завтра собираешься», — сказал он. И откуда только он узнал? Да хотя этот народ всегда все пронюхает. «Вот вернетесь, а меня уж здесь не будет». — «Да разве, говорю, можно над ребенком такую жестокость учинить?» — «А что поделаешь? — сказал он. — Что я такое — ничего, плюнуть да растереть, а тоже понимаю. Сердцем чувствую. Ведь не чужой я ему. Только мне ребенок ни к чему, а ты печешь о нем будешь. Ты только старания приложи — и он меня забудет, будто и не было меня вовсе. Он же дите еще. Забудет он. — И добавил: — А не возьмешь, так все равно его где-нибудь брошу, в первом сиротском доме оставлю. Верно тебе говорю». — «Мак-Дара мне полюбился, — сказал я. — Только против воли брать я его не могу». — «Это уж как ты хочешь, — сказал он. — Делай, как знаешь. — Он встал. — Ну, я пошел, — сказал он. — Назад меня не жди. Это мое последнее слово». Он вышел. Я — за ним. Позвать его хотел, что ли? «Эй, вернись! Вернись назад!» Какое там. его уж и след простыл. Когда я обернулся, Катриона стояла тут же, в ночной сорочке, с распущенными косами. «Слыхала?» — спросил я. «Слыхала», — говорит. «А ты что про это думаешь?» — спросил я. «Да что ж, говорит, если суждено, — значит, сбудется. А для нас-то какое счастье было б. Я даже и мечтать об этом не смела».

Мак-Дара, по-моему, в тот день особенного за мной ничего не заметил. У меня же ох как на душе нехорошо было. Прямо сообщником злодеяния себя чувствовал. День казался мне длинным и томительным. Я уж рад был, когда ночь спустилась. Думал, вот вернемся мы с моря, да лодку отмоем, да корзины соберем, да снесем их в сарай, да войдем в светлый дом, где нас ужин ждет на столе, уж тут он обязательно заметит, что со мной неладное творится. Нет, не заметил. Катриона была молодцом. Она смеялась и шутки с ним шутила как ни в чем не бывало. Известно, женщины — их не учить обманывать. Пришло наконец время, встал я и говорю: «Ну, Мак-Дара, давай я тебя домой отведу». А сам себя прямо злодеем чувствую. Сначала шли мы по дороге, потом свернули в сторону. Луна была, и мы пошли долиной меж кустарниками. Она выходила прямо к лужку, где их палатка стояла. Мы не успели подойти еще, а уж я услышал, как ручей звенит. Я думал про себя: вот сейчас свернем — и тут сразу палатка их будет, и еще думал, что, может, вчера мне все это просто пригрезилось.

Палатки на месте не было. Мы остановились как вкопанные. Потом смотрю — он подошел к тому месту, где она недавно стояла, и стал ногой раскидывать сваленный в кучу мусор. Он будто глазам своим поверить не мог. Потом вернулся ко мне. «Нету его! — сказал он. — Нету Тарпа! — Побежал назад. Приложил руки ко рту и стал звать: — Тарп! Тарп! Ты где?» Опять вернулся ко мне. «Может, он на другое место перешел?» — сказал я. «Нет, говорит, нет, это он меня бросил. Бросил меня Тарп». Он взбежал на холм, туда, где он крутой скалой в море обрывался, встал

там, вдаль вглядывается. Я прямо не знал, что и делать. У меня сердце разрывалось от жалости. Я подошел к нему, а он ручки свои маленькие стиснул и стоит. «Может, он все-таки не ушел? — говорю ему. — Может, он не ушел?» — «Как бы не так, — сказал он. — Так я и знал, что он уйдет, что он меня когда-нибудь бросит». Я на него поглядывал. Он слезы старался удерживать, но они медленно-медленно текли у него из глаз. Ох, как нехорошо у меня на душе было. «Послушай, — сказал я. — Возьму-ка я лодку да сведу тебя на материк, может, там его найдем».

Он мне не ответил. Сел. Потом сказал: «Да чего уж там. Все равно он от меня спрячется. Не нужен я ему. Разве я когда ему был нужен». — «Что ж ты делать-то будешь?» — спросил я. «Не знаю, — говорит. — Теперь укупе тебя добрые тетеньки в приют». Я сказал: «У Катрионы для тебя постель найдется, пойдем, переночуешь сегодня у нас». — «Нет, нет, — кричал он. — Я к Тарпу хочу. Хочу к дедушке». Он колотил землю кулачками. Я сказал: «Ну, ты сам знаешь, где ночлег искать, если что». Повернулся и пошел прочь от него. Ох, и трудно мне это было, но я себя пересилил.

Катриона спросила: «А он где?» Я сказал: «Да там он, на скале остался». Катриона только охнула. Я видел, что ей не слаще моего. Сели мы с ней в кухне. У нас стенные часы с боем есть, которые каждые четверть часа отбивают. Бывало, услышишь ночью, как они бьют, и на душе будто спокойнее становится. А сейчас только расстройство с ними было одно. Мы дверь настежь оставили, так, чтобы со двора свет был виден.

К тому времени как он пришел, уж и света-то никакого не надо было. Уж заря на дворе занималась. Мы давно носами клевали, так что вышло все, как во сне: то стояла дверь пустая, а то вдруг в двери он появился.

«А, — сказал я, — надумал? Давно бы так».

«Я только ночь пересплю, — сказал он. — Только одну эту ночь». — «Как знаешь, — сказал я. — Ну, я спать пошел. Катриона тебе тут все приготовит». И оставил их. Я думал так: Тарп мог дать ему много такого, чего мы никогда не дадим. Это я понимал. Я понимал, что уверенность в завтрашнем дне, одежда теплая, да сытная еда, да какие ни на есть, а удобства — это еще не все. Сколько миллионов людей все это имеют, а мира в душе у них нет. Это я все понимал. Но знал я тоже, что от нас он ласку увидит, что сам в нашу жизнь войдет, частью нашей семьи станет. Только вот не знал я, так ли уж это ему все нужно, чтобы он Тарпа и волю свою на это променял. Где же знать, это только время покажет.

Ну вот, значит, переночевал Мак-Дара у нас эту ночь и по сей день он тут и...

Вот, Пол, какое у нас тут дело. Чудно! Помнишь Мэйр Фэрти, девочку маленькую, которая ко мне прибежала про Катриону сказать? Ну так вот, беда с ней стряслась. Жизнь-то по кругу идет. Такая же беда с ней, что с Катрионной тогда была, только похуже. Та ночь страшная у меня перед глазами и стоит. И эта ночь страшная. Только сейчас на дворе декабрь, не апрель, и ветер дует не апрельский, который часа за два пронесет. Нет, это ненастье надолго.

Уж и с доктором по радиотелефону переговорили. Он говорит, что ему надо быть обязательно. А кто его привезет? Уж с той-то стороны никто, понятно, не согласится, даже торфяник в такую погоду не выйдет. Вот и прибежали они ко мне от дождя до нитки мокрые и просят меня и умоляют: «Ну, Колмэйн, пожалуйста, съезди ты за ним, он согласен приехать». И чудно же, а, Пол? Когда я ради Катрионы ехать хотел, они меня за ноги и за руки держали. А теперь небось никто меня не удержи-

вает. Я с Катрионой переговорил. Она говорит: «Нужно так нужно. По-езжай, если совесть твоя тебе ехать велит». Мак-Дара говорит: «Я с тобой, Колмэйн». — «Ну уж нет, говорю, оставайся-ка ты с Катрионой. Незачем нам обоим ехать. Понятно?» И он эдак нехотя, со вздохом говорит: «Понятно». Томас тоже прибежал. Говорит: «Я с тобой поеду, Колмэйн». — «Нет, говорю, никуда ты со мной не поедешь». Ну вот, значит, еду я. Катриона и сын мой Мак-Дара в кухне сидят. Я их лица так и вижу. У нее страх в глазах. Но ничего, все хорошо будет, я вернусь. Потому что многое мне еще нужно тебе сказать, Пол. Мне писание это даже нравится начинать. Я своей жизнью доволен. Мак-Дара я у себя в лодке нашел однажды в субботу маленьким мальчиком. А теперь — погляди на него, какой он стал большой да ладный! Посмотри, как в по-гожий день от нашей пристани на лов уже целых шесть лодок отчали-вает! Выходит, что жизнь я прожил, в общем, не зря. Если б сегодня не вернулся я, так кое-что по себе оставил бы. Ты-то понимаешь. Ну вот, значит, чтоб попусту время не терять, возьму-ка я чистую страничку да озаглавлю ее завтрашним днем, чтобы потом заполнить ее без лишних хлопот. Вот так:

Воскресенье

Перевела с английского М. Миронова.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

М. БЕЛКИНА

★

В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

1

Две койки. Стол между койками. Шкаф. Окна затянуты марлей. За окнами сад. Доска почета. И у доски на кустах вянут от зноя розы.

За окнами профырчал газик, дыхнул перегаром бензина, и Нина Ивановна укатила в Симферополь — в обком, в облисполком, в совнархоз. В двенадцать лекция по радио. Потом звонить в Москву на завод — почему не прислан хлорофос; у нее дел хватает...

— Вникайте, — сказала она и навалила на стол груды книг.

Вникаю... Пожалуй, из жизни клещей можно было бы написать даже сказку.

Лежит где-то в расщелине коры или в развилке веток крохотное красное яичко. Такое крохотное, что его простым глазом не разглядишь. Живет в этом яичке личинка. И вот пришло время этой личинке выбраться на свет божий. Приподнимает личинка «крышечку» яичка, а яичко к этому времени треснуло, где ему треснуть было положено, и «крышечка» сама открывается, стоит только личинке до нее дотронуться! Вышла личинка на свет божий. Встрепенулась, потянулась, огляделась и затопала сразу тремя парами ног туда, где уже раскинута «скатерть-самобранка», где распускаются почки, где яблоня выбрасывает первые молодые листки. И целые табуны оранжево-красных личинок пасутся на листьях и почках, и от этих личинок листья и почки становятся оранжево-красными! Но вот пришло время личиночной линьки. И личинка знает — оставаться на листе не резон, ветер сдует ее, унесет за тридевять земель, в тридешатое царство. Лучше вовремя укрыться на ветке, на штамбе, залечь, вытянув ножки, замереть, ждать, когда лопнет на спинке ее шкурка и выйдет из нее, из личинки, на свет божий протонимфа! И будут у протонимфы уже не три, а четыре пары ног. И будут у протонимфы лобные выступы.

И вот пришел срок. И отродилась на свет божий протонимфа. Встрепенулась, потянулась и затопала четырьмя парами ног туда — куда тремя парами ног топала личинка. И теперь уже табуны протонимфы пасутся на листьях, высасывают влагу и хлорофилл!

Но вот пришло время линять протонимфе. И протонимфа вытянула ножки, замерла, ждет, когда лопнет шкурка на ее, протонимфиной, спинке и отродится из нее — протонимфы — дейтонимфа! И дейтонимфа пойдет по той же тропке, по которой ходила личинка, по которой ходила протонимфа.

И придет время линять дейтонимфе. И замрет дейтонимфа. И из дейтонимфы появится на свет божий самка клеща!.. А ее уже поджидает клещ. Он был не один. Их было много. Он уничтожил соперников, и она принадлежит ему! Он в нетерпении разрывает шкурки на спине дейтонимфы и помогает своей избраннице освободиться от ненужных одежд! И она появляется перед ним из серебряных шкурок, как из пены морской...

О, господи! Оказывается, у клеща могут быть страсти, хотя клещ этот величиною с точку, поставленную карандашом!

...И отложит самка клеща красное яичко. И отродится из яичка личинка, а из личинки отродится протонимфа, а из протонимфы отродится дейтонимфа, а из дейтонимфы — самка клеща! А самка клеща отложит яичко, а из яичка... И снова сказка пойдет по кругу.

Только у этой сказки плохой конец. Самка клеща отложит не одно яичко, а сто яичек (может, и сто пятьдесят, может, пятьдесят). Ну, а если взять в среднем сто — а за лето бывает до восьми поколений, — значит, какое же это может быть у одной самки потомство!

Первое поколение — сто яиц. Второе поколение — десять тысяч яиц. (Это если от самки рождаются одни самки; у них и такое бывает). Третье поколение — миллион. Четвертое поколение — миллиард... Восьмое поколение — цифра такая, что сразу и не выговоришь: шестнадцать нолей...

...Надо встать, иначе заснешь от жары, от нолей, от этой «сказки про белого бычка»!

В соседней комнате спят. Соседняя комната, как труба, вытянута в длину. На койках у стен — Дина-маленькая, Дина-большая. В четыре утра все были уже на ногах, опрыскивали сад. За стеной, за дощатой перегородкой, тоже спят. Это не видно, это слышно — там ребята, студенты.

В сенях прохладно, темно, только входная дверь окантована светом раскаленного добела полдня.

Шестнадцать нолей! Шесть нолей — миллион. Девять нолей — миллиард. За миллиардом идет триллион. За триллионом — квадрильон. Шестнадцать нолей — десять квадрильонов!

Из передней — вход в лабораторию. Вдоль длинной стены, вдоль окон — стол, как прилавок. На столе — зачехленные марлей микроскопы. В чашках Петри — плоских, прозрачных коробках, в банках, склянках — мухи, клещи. Рядом толстые тетради — дневники студентов.

«Плодожорка»... прозвана так потому, что плоды жрет! «Яблонная плодожорка» — маленькая серая бабочка. Откладывает яичко-лепешечку. Не одно яичко — сто, сто двадцать яичек! Из яичка отрождается гусеница. От одной бабочки не одна гусеница — сто, сто двадцать гусениц! Гусеница вгрызается в яблоко. Одна гусеница может повредить не одно — несколько яблок...

Гусеница превращается в куколку. Из куколки вылетает бабочка. Бабочка откладывает яичко. Не одно яичко — сто, сто двадцать яичек...

Еще одна «сказка про белого бычка»!

Возвращаюсь назад в комнату. Снова сажусь за книги Лившица и Петрушовой.

Оказывается, на спине у клеща двадцать четыре щетинки. И еще есть щетинки, много щетинок на лапках, на коленях, на бедрах. У клеща даже есть бедра!

— А что, это очень существенно, на каком месте сколько щетинок? — спросила я как-то у Нины Ивановны.

— Конечно. Виды клещей различаются по щетинковому их вооружению. Чтобы бороться с вредителем, надо изучить его биологию, а чтобы изучить биологию, надо знать морфологию. Методы борьбы и способы борьбы меняются. Надо раз и навсегда дать полное, исчерпывающее описание...

Я задаю все вопросы Нине Ивановне Петрушовой, не Захару Семеновичу Лившицу, хотя это он в своей лаборатории в Никитском ботаническом саду за сто двадцать километров от этой беленькой комнатки разбирает клещей по щетинкам! Он не первый год занимается клещами. Уже много опубликовано работ. Уже три толстые лапки лежат на столе. Уже сделано около тысячи оригинальных рисунков! И все об этом клеще — ростом в 0,30—0,40 миллиметра, весом в 0,0102 миллиграмма...

Но попробуй спросить его о клещах или о работе отдела — он заведует отделом энтомологии и фитопатологии, им и Петрушовой создана система защиты са-

дов от вредителей, — он все сведет к шутке, или: «Вы бы лучше рассказали, что там у вас в Москве», или включит телевизор!

Но если и разговорись Захар Семеновича, от этого легче не станет — как спаренные, двухэтажные троллейбусы, поползут «не-ма-то-ци-ды», «гер-би-ци-ды», «гомозиготные линии», «хетом амбулакр», «хлорированные терпены» и т. д. и т. п.

Он вовсе не хочет меня травмировать — он просто говорит своим профессиональным языком. А когда я говорю, он меня все время поправляет:

— Личинка не живет в яйце, а развивается! И как это можно сказать: клещ ростом в 0,30—0,40 миллиметра? Какой же у клеща рост?..

— Проблема клеща возникла в середине нашего века в пятидесятых годах, когда в садах стали активно применять ДДТ и другие сильнодействующие яды. Произошло искусственное изменение исторически сложившихся условий обитания. Эти изменения касаются биотических факторов среды — численного соотношения клещей и их врагов, с одной стороны, и условий питания, с другой...

Начал однажды Захар Семенович, но я сама все испортила. И дернуло же меня проявлять свою неумеренную эрудицию.

— Значит, вы сами пропагандируете химический метод защиты садов и сами же утверждаете, что химия нарушает естественную гармонию, царящую в природе...

— А не съездить ли вам в степь к Нине Ивановне? А? В степи воздух очень полезный... Ну и в садах заодно побывали бы. Теперь ее все равно бессмысленно ждать! Раз уж сумма эффективных температур подошла — не придет...

Так я и попала к Нине Ивановне в совхоз, где филиал ее токсикологической лаборатории, где она ставит опыты.

Но я отвлеклась, а мне надо прочесть про сосущих, грызущих, ползающих, летающих.

— Вникайте, — сказала Нина Ивановна.

Вникаю: «...общим для насекомых является членистость их тела и подразделение на три основных отдела: голову, грудь и брюшко. На голове расположены ротовые органы, глаза и усики. Ротовые органы могут быть грызущие или сосущие. Знание устройства ротовых органов помогает в выборе яда — кишечного или контактного действия. Грудь в свою очередь подразделяется на три членика: переднегрудь, среднегрудь, заднегрудь...»

2

Ничего не было примечательного в нашей первой встрече, просто я доверилась интуиции.

— Ну, знаете, это не самый точный прибор!

— Быть может. А какой точный? Вы мне в прошлом году рекомендовали написать об этом, как его... ну, помните, который потом оказался приписчиком и просто мошенником...

— Кто же мог предположить — такая чистая анкета, такая безупречная биография и прочие показатели!

— А против Петрушовой вы что-нибудь имеете?

— Да нет.

— А все же?

— Любит очень во все вмешиваться...

— Это положительное или отрицательное свойство ее характера?

— Мешает работать.

— Вы имеете в виду «голубые бассейны»?

В Крыму сейчас мода на голубые бассейны. В Ялте даже два голубых бассейна на набережной. И вода в них голубая. «морская». В общем-то, безвкусица! Рядом море. Правда, говорят, о вкусах не спорят, но Нина Ивановна спорит. Она

не любит эти бассейны. Мне передавали разговор, который в свое время состоялся у нее с одним из бывших ялтинских руководителей. «Я с вами не срастаюсь», — сказал он. «Я с вами тоже», — сказала она. «Почему вы обратились в облисполком?» — сказал он. «Потому что в Ялте не считаются с мнением депутатов, не собирают их! Расходуют деньги по своему усмотрению. Сколько уже ухлопано средств в эти бассейны? Кому они здесь нужны? А в Васильевке надо срочно менять водопроводные трубы...» — «Пока я в Ялте, город будет красивым», — сказал он. «Пока я депутат и даже когда я не буду депутатом — я все равно буду настаивать на том, чтобы деньги расходовались прежде всего на нужды», — сказала она...

— А вы считаете, Петрушова не права насчет этих бассейнов?

Но, впрочем, к чему это я?! Ведь мой собеседник — работник горисполкома и, должно быть, предполагает, что иметь свое мнение — признак плохой служебной дисциплины.

— Ее дело — наука. С городским строительством мы и сами как-нибудь справимся! Она почти всегда в садах, в степи...

3

В сад нагрязнула высокая комиссия. Это было ясно по тому, с какой недозволенной скоростью промчались машины, обдавая пылью деревья. А за машинами на старой кобыле — рыжий парень-объездчик, громя шоферов: «На кой знаки повешены?!» Но кобыла не угналась за «волгами».

— Сам замминистра, — шепнул мне директор совхоза и развел руками: теперь, мол, не до тебя.

Комиссия медленно, уже пеше, продвигалась в глубь сада. А по дороге, осторожно нащупывая примятую колею, стараясь не пылить, катил газик. Его вела женщина в белом халате. Она выскочила из машины — и к агроному, который стоял в стороне, покусывая травинку.

— Почему вы не пошли с ними?

— Меня не приглашали.

— Я бы на вашем месте не стала дожидаться приглашения.

И быстро зашагала в сторону комиссии. Худая, стремительная, в белом халате, застегнутом на все пуговицы.

— Нина Ивановна Петрушова. Старший научный сотрудник Никитского ботанического сада. Заведующая токсикологической лабораторией, — представил ее директор совхоза. И уже неофициально добавил: — Воюет тут у нас с вредителями.

— Плохо воюете, товарищ наука, — сказал замминистра.

— Да? А именно? — Нина Ивановна подняла брови.

— Шумите много в прессе, а на деле плодоярка поражает деревья.

— Да? — повторила она еще раз. — Где вы ее видели? Здесь? В саду? Сейчас? — закидала она вопросами.

— Допустим.

— Нет, — сказала она, — допускать не будем. Покажите! — И, видя, что он не двигается с места, решительно взяла его об руку. — Идемте! Покажите! Я хочу видеть, где вы нашли плодоярку.

— Нина Ивановна! — оторопело позвал директор.

Но она уже вела замминистра к яблоням, от которых только что отошла комиссия.

— Где вы нашли плодоярку? — допытывалась она.

— А это что? — сказал тот, явно стараясь от нее отделаться, и ткнул пальцем в ржавое пятно на беленом стволе.

— К плодоярке это во всяком случае не имеет ни малейшего отношения!

— Нина Ивановна, — совсем невнятно произнес директор.

— Ну шо ты теперь — Нина Ивановна, Нина Ивановна, як тетерев на току? — перебил его один из членов комиссии. — Ты ж ей комиссию по чинам, фамилиям не представил!

— Нападение — лучший способ обороны, — сказала она и протянула руку заместителю министра. — Будем знакомы.

Загорелая, худенькая, с коротко остриженными рыжеватыми волосами, она выглядела очень молодо.

— Плодожорка была бичом крымских садов. Еще губернский энтомолог Мокрецкий, оценивая состояние садов в конце прошлого столетия, указывал, что плодожорка свирепствовала в те времена со стихийной силой. Были годы, когда кучи яблок шевелились от кишевших в них гусениц. Червивость доходила почти до ста процентов. Степень вредоносности яблонной плодожорки оставалась высокой и в наше время...

Она, должно быть, привыкла выступать перед микрофоном в больших аудиториях. И ее нисколько не заботило, хочет ее слушать замминистра, интересно ему или нет. А у того выхода не было — слушал.

— Когда мы начали работать в садах, — продолжала Нина Ивановна, — потери от яблонной плодожорки в Крыму достигали восьмидесяти процентов! Разработанная Никитским ботаническим садом система борьбы с вредителями и внедрение ее в производство дали возможность снизить потери до одного-двух процентов! Сигналом к первому опрыскиванию садов служит сумма эффективных температур в двести тридцать градусов...

4

О Нине Ивановне говорят разное. Это, наверное, хорошо, когда говорят много и разное.

— Чернорабочий от науки, — говорят про нее одни.

— Ученый нового типа, — говорят другие.

— Дилетант от науки, — сердито сказал мне наш общий знакомый, старый ленинградский профессор. Мы с ним встретились на аэродроме в Симферополе. — Была способным фитопатологом. Даже более того — талантливый! Это Лившиц, муж ее, занимается этими букашками — энтомолог! А она была специалистом по болезням растений. Да, да! И вдруг все бросить... Наука требует всей жизни! Только ученый узкого профиля может добиться чего-нибудь! Да-с! Жизни не хватает! А тут позволить себе такую расточительность!

— Но, по-видимому, это для нее было не так просто. Обстоятельства вынудили — сады гибли от вредителей!..

— Меня это не касается! Как фитопатолог она умерла для науки.

— Но родилась как энтомолог. Нет такого человека, который не знал бы ее в крымской степи, в садах, да и не только в Крыму.

— Меня это не интересует! И потом, она слишком много занимается тем, чем должны заниматься директора совхозов, хозяйственники, а не ученые!

И он в сердцах налетел на дежурного по аэродрому — почему тот не объявляет посадку. Он сам фитопатолог и даже, кажется, был учителем Нины Ивановны. Он не мог простить ей измены...

— Химический метод защиты садов, конечно, эффективен, — говорит другой профессор, доктор медицинских наук из Киева. — Крымские сады, в которых применяется система, разработанная Лившицем и Петрушовой, очищены от вредителей, дают высокие урожаи. Никто этого не оспаривает! Но я бы лично своему маленькому внуку крымского яблока не давал бы...

— Они нарушают естественный биоценоз сада. Химия убивает полезных насекомых! — говорят одни.

— Они погрязли в практицизме! Не дело ученого внедрять свою систему! Слишком много производства! Петрушова не вылезает из садов... — говорят другие.

5

— Да, не вылезаяю,— это уже говорит мне Петрушова,— А вы были когда-нибудь в зараженном саду? Вы знаете, что такое зараженный сад? Нет? После завтрака я вас отвезу. Студенты нашли здесь километрах в тридцати. Им нужно было для работы. Они обшарили всю округу...

Не говорит — кричит. В саду гул. Ревут тракторы. Волокут за собой опрыскиватели. Уползают между рядами яблонь в глубь сада.

— Нина Ивановна...

Нина Ивановна исчезла за деревьями, она уже на растворном узле, где Дина-маленькая, посинев от холода, бьет в ладошки, пытается согреться. В саду неуютно, зябко, сыро и серо. Солнце еще за садом, за степью — не вставало. Студенты разложили костер. Зовут его «ташкентом». Зовут греться в «ташкент».

И вдруг над головами вертолет и крик Нины Ивановны:

— Что, он сбился? Здесь нельзя опрыскивать! Здесь опыты...

И она бежит и сигналиит. И ребята сигналият — нельзя!

Ничего не сбился! Пролетел! Помахал рукой. Кому? Дине-большой? Дине-маленькой? Или нам всем показал — солнце встает!

С первым лучом солнца — вертолет над садом.

Одна минута—пятьсот метров. Еще минута—вернулся на вертодром. В саду—тысяча шесть гектаров, восемь вертодромов. Шланговщики наготове. Пилот из кабины не вылезает. Зажал папиросу в зубах и на все вопросы — ответы сквозь зубы. Ему двадцать лет. Ему бы космос покорять, а не работать «таксистом». Гоняй взад-вперед. Тридцать—сорок секунд — бак заправлен. Шланг убран. Папироса брошена. Дверца захлопнута. В «кандильнике», где наливается, зреет кандиль,— пусто. Только двое рабочих сигналият щитами, указывают направление. С воздуха ориентиров нет — сад и сад. Круглоголовые яблони ряд за рядом. Можно спутать, какой ряд опрыскан...

Теперь, когда ни попаду в Крым в эту пору, у моря ли, в горах ли, буду помнить: каждый день, каждый час набирается эта самая «сумма эффективных температур», и когда набралась — за горами в степи, в садах — в бой брошены воздушные и наземные силы!

— Сумма эффективных температур — сумма биологически активного тепла, необходимого для завершения развития тех или иных фаз насекомого. Существует порог развития — плюс десять градусов. Когда температура перешагивает через этот порог, куколка начинает свое развитие. Для нее имеет значение та температура, которая выше плюс десяти. Это и есть эффективная. Если среднесуточная пятнадцать градусов, эффективная равна пяти. Гусеница плодожорки отрождается приблизительно при сумме температур в двести тридцать градусов. На метеостанции ведут подсчет, и когда подходит время — дается сигнал.

Тонны горючего, тонны химикатов! Бой! С кем? С маленькой паршивой гусеницей — она во всю свою длину может растянуться на ногте.

...К полудню на газик — и в зараженный колхозный сад. Его нашла Дина-маленькая. Есть Дина-большая. Она, правда, не такая большая. Но надо как-то различать Дин, раз уж в одном доме две Дины.

Мы выкатываем со двора за штакетник. Собственно говоря, никуда из сада не выезжаем. Километр за километром сад. Ни заборов, ни пограничных столбов — сад и сад! Десять километров — сад. Двадцать километров — сад. Тридцать километров — сад!.. Газик сворачивает с дороги — и прямо под яблони. Встал...

— Идите сюда!

— Иду.

— Возьмите лупу. Я так всегда поступаю с практикантами-студентами: подвожу к зараженному дереву и показываю. Тогда запоминается...

На стволе что-то мохнатенькое, безобидное — горстка пуха.

— Смотрите в лупу.

Омерзительно. Какие-то клопообразные Копошашисся. жадные. Сосущие. Сколько их там — сотня, более? Налезают друг на друга, суетятся. Разодрали

кору, присосались к голему телу, сосут. И прикрыто все безобидной пушистостью!

— Кровяная тля селится колониями. На месте ее пастбищ остаются рваные, незаживающие раны. Это на штамбе. А на ветках, на молодых побегах — кровяная тля насасывает желваки. Как подагрические шишки на суставах. Она проникает также и в землю на корни. Дерево за короткий срок гибнет...

Стоит яблоня. Не похожая на яблоню, хотя и обвешана яблоками. Даже вроде красуется своей необычностью — листья у нее кораллово-розовые, гляцевитые — припухшие по краям.

— Красногалловая тля!

А дальше... листья объедены, остались прожилки.

— Скелетированы! Следы яблонной моли. Она уже пошла на окукливание.

А дальше... плодоярка, та самая!

— Вам надоело? Противно? Нет, идите сюда! Это вам решительно повезло! Давно я не была в таком зараженном саду! Вы должны все увидеть своими глазами! Тогда поймете, достаточно ли было разработать систему и поставить на полку очередную книгу или, засучив рукава... Идите сюда!

Здесь — стекляница. Самой стекляницы не увидишь, она глубоко под корой. Прокладывает ходы в древесине. Только на беленом стволе расплылись ржавые пятна — это она выпускает жидкость во время работы..

— Идите сюда!

И пошли листовертки — целая серия листоверток, а за листовертками — чехлоноски! А за чехлоносками — плоскотелки. А за плоскотелками — толстоножки. А за толстоножками... и несть им числа.

— Подумать только, когда мы начинали работать, почти все сады в Крыму были такие!..

Свыше трехсот видов насекомых вредят садам.

— В два с лишком миллиарда рублей эти паразиты обходятся государству ежегодно!

И исчезла за деревьями, обламывая зараженные ветки.

...Разыскали правление. В правлении пусто. Только бухгалтер в черных нарукавниках сосет из бутылки молоко, щелкает пальцем на счетах.

Председателя нет. Где он — неизвестно. Агроном в отпуску.

— Как это в отпуску? В разгар работы?!

Молчание. Всем своим видом бухгалтер дает понять — ему нет до нас дела. Пожалуй, я даже рада, что никого не застали. Нина Ивановна обещала часа два заняться со мной. Надо успеть до обеда. После обеда снова сад. Снова опрыскивать.

— Можно взять лист бумаги?— спрашивает она.

— Берите.

Берет. Стряхивает с ветки клещей на бумагу.

— Вы бываете в саду?— спрашивает она бухгалтера.— Вы видали когда-нибудь плодовых клещей?

— Что вы мне их тут трясете! Еще расплзутся!..

— Тут они безвредны. А в саду ваш трудодень съели.

Берет второй лист бумаги, кладет на первый, проводит ладонью.

— Сосчитайте!— обращается она к бухгалтеру.

Бумага в крохотных коричневых оспинках — вся сплошь!

— А вы все-таки попробуйте сосчитайте! Я чуть не ослепла в свое время, подсчитывая, сколько их может быть! Пятнадцать—двадцать особей на одном листке ведут к отмиранию листа. Лист перестает работать, перестает закладываться урожай на следующий год. У вас и в будущем году не будет урожая!..

И вдруг усаживается на стул рядом с бухгалтером и, подперев кулаком подбородок, спрашивает:

— Скажите, а как у вас оплачиваются трактористы?..

— Нина Ивановна, — взмолилась я, не зная, как ее отсюда вытащить, — ну какое это все имеет отношение...

— К науке, вы хотите сказать! Да? Договаривайте! Я уже слышала. Практицизм! Не дело ученого! И прочее! А как быть? Тракторист получает за количество опрыснутых деревьев. Он гонит норму и не успевает обрабатывать деревья так, как это нужно. Даже просто вылить весь раствор не успевает! В совхозах, где мы работали, мы добились — нормы изменены... Будьте любезны, — это бухгалтеру, — когда появится ваш председатель, попросите его позвонить мне. Моя фамилия Петрушова. Я из Никитского ботанического сада.

— Петрушова? Та самая?

В голосе удивление, уважение и, пожалуй, опасение.

— Геть за председателем! Ноги на плечи! — гаркает он на мальчишку в дверях.

...В 1952 году Нина Ивановна вошла в правление совхоза «Первая пятилетка» и тоже сказала:

— Моя фамилия Петрушова, я из Никитского ботанического сада.

Последовало:

— М... да.

— Мы приехали работать с вишневой мухой. С вами была договоренность...

— М... да. Работайте. Комната отведена наверху. По коридору в конце.

— Я хотела бы вас попросить показать мне в саду места, наиболее зараженные этой мухой.

— Не знаю. Не наблюдали. Ищите!

Ищите! Легко сказать. Не могла же она ему объяснять, что она фитопатолог и до сегодняшнего дня занималась болезнями растений. А теперь вынуждена заниматься насекомыми! Она и представления не имеет, что это за ложнококоны, которые лежат сейчас в земле и из которых потом вылетит вишневая муха. И где они лежат, а сад — триста гектаров...

Но агроному все надоели. Ездят, только время отнимают. А толк какой? Был в Симферополе Институт защиты растений — ничем не помог. Рекомендовал то же, что до него еще в прошлом веке рекомендовали. Приезжали из Дагестана ученые. И там сады гибнут от вишневой мухи. Давали советы! С весны деревья обвешаны черешней, а потом весь урожай на земле. А тут еще эта дамочка в модном пальто с раструбами — приехала работать, ну и работай...

— Ищите.

— Хорошо. Буду искать!

Хлопнула дверь. Побежала по дорожке к грузовику, расплескивая лужи. Влезла в кузов — стала помогать лаборантке выгружать имущество, которое привезла из Никитского сада.

— Характер у бабы...

6

Когда начинается характер? Сколько ей было — двадцать один, двадцать два, — когда в 1937 году она переступила порог приемной академика Вавилова?

— Мне нужно видеть Николая Ивановича!

Секретарша предложила сесть и подождать. Она не садилась, стояла, вцепившись в ручку портфеля. Сейчас она войдет и скажет. Ей нужны эти тринадцать сортов овса, над которыми работает американский ученый Марфи. Да, они ей нужны для опытов. Их необходимо выписать из Америки...

Товарищи ей говорили: «Не ходи, ты с ума сошла, неудобно!» Она и сама понимала — неудобно: известный ученый, академик, директор и научный руководитель Всесоюзного института растениеводства, директор Института генетики при Академии наук, президент Географического общества СССР. Был президентом Сельскохозяйственной Академии наук. Член Украинской Академии наук, член английского Королевского общества в Лондоне, член Шотландской Академии наук в Эдинбурге, почетный член Всеиндийской Академии наук, член-корреспондент Академии наук в Галле и прочее и прочее.

Да... а ей нужны эти тринадцать пакетов семян из Америки. Они ей нужны для работы!

— Николай Иванович ждет вас, — сказала секретарша.

Она вошла и остановилась посередине кабинета. Кабинет был просторный, светлый, и на стене огромная карта всей земли. Она почему-то думала: будет глобус. Она слышала, Вавилов любил повторять: «Ученый всегда должен быть над глобусом. Должен видеть и знать все, что делается на земном шаре...»

Была карта... в стрелах на восток, на запад, на юг, на север! Он объездил чуть не весь земной шар. Куба, Боливия, Чили, Марокко, Алжир, Северный Кавказ, Поволжье, Украина, Белоруссия, Канада, Сомали, Палестина...

Кафиристан — где этот Кафиристан? Говорили, он был первым европейцем, проникшим в недоступный и дикий Кафиристан, и это ему чуть не стоило жизни! А по Африке он прошел две тысячи километров караванным путем... Где-то по Сахаре он несколько недель гонял на машине и, когда вернулся в Алжир, — довольный и радостный выскочил из машины с рюкзаком, набитым семенами. А молодого сотрудника алжирского института, который сопровождал его, пришлось вытаскивать, как куль с овсом... Столько говорилось о его экспедициях! Он был неутомим, работал больше всех — днем со всеми в поисках нужных ему растений. Вечером допоздна сам надписывал пакеты с семенами. И раньше всех поднимался и будил, чтобы по утренней прохладе, по холодку... Говорят, в каком-то европейском институте после его посещения пришлось сотрудникам дать несколько дней отдыха — они не выдержали, не привыкли так работать. Говорят, в Нью-Йорке в гостинице видели, как он кроил из куска материи мешочки для семян и сам их сшивал — экономил на таре валюту! Хотел закупить как можно больше семян для страны. Страна была еще бедная... Говорят, его любимым занятием было, вернувшись из экспедиции, расстелить на полу кабинета карту и заново проходить свои маршруты, отмечая на карте локусы — места, где он находил семена культурных растений.

Он создавал карту «Мировые очаги происхождения культурных растений»...

— Здравствуйте! — раздался позади нее голос.

Письменный стол был поставлен как-то необычно сбоку, у двери. И она прескочила мимо, не заметив. Из-за стола поднялся Вавилов и направился к ней, радушно улыбаясь.

Она растерялась, и все приготовленные фразы выскочили из головы. Она ждала какой-то совсем другой встречи. Боялась — вдруг он начнет ее экзаменовать, задавать вопросы, на которые она не сумеет ответить. И еще по дороге решила: надо начать сразу первой и сразу сказать...

— С кем имею честь? — спросил он. — Нина... а как дальше?

— Ивановна.

— Садитесь, Нина Ивановна. — И он пододвинул ей кресло.

Она села, но тут же вскочила.

— Сидите, сидите, пожалуйста! — Он прошелся по комнате.

— Я не могу сидеть, когда вы стоите.

Он покорно сел в кресло напротив. Он был большой, плотный и, кажется, красивый. Кажется?!

Если бы она знала, что он вскоре вдруг исчезнет. Вот просто так: был человек — и нет человека! И все труды его будут изъяты из библиотек... Но тогда она была совсем еще девчонкой и ничего не понимала, и было рано еще понимать.

Годы стерли из памяти черты его внешности, хотя потом еще несколько раз они встречались. Он заходил в лабораторию, заинтересовавшись ее работой. Он всегда уделял много внимания аспирантам, молодым ученым. Откуда он брал на это время?

Лица его она не помнила. Сохранилось только ощущение необыкновенного человеческого обаяния. И еще запомнилась притягательная сила его взгляда — проникновенного и умного.

Вся жизнь в пути, в экспедициях! И взят был в пути — в экспедиции, на Западной Украине, куда устремился со своим неизменным рюкзаком летом сорокового...

Петрушова сидела напротив Николая Ивановича, и он неторопливо расспрашивал ее. Он давал ей возможность освоиться с охватившим ее смущением. И она понимала это и была ему благодарна. Она старалась отвечать впопад.

Да, она окончила Сельскохозяйственный институт здесь, в Ленинграде. Факультет по защите растений. Она фитопатолог, занимается болезнями растений.

Секретарша принесла чай и пирожные. Николай Иванович пододвинул столик, угощал ее. Она отказывалась. Конечно, ей очень хотелось пирожных. Она жила бедно. Муж еще учился, кончал институт, тот, который она уже окончила. По ночам он чертил. Разгружал баржи. А по субботам провожал ко всеобщей ее бабу. Пока та молилась, он ожидал где-нибудь на улице, на тумбе, и читал. Это, конечно, был не самый лучший способ готовиться к экзаменам. Но бабу не могла без бога, а Лялька не могла без бабки. Их было четверо...

Нет, спасибо. Она не любит пирожных. Она не ест сладкого... Она просто боялась отвлечься. Она старалась сосредоточиться, вспомнить те фразы, которые должны были научно обосновать ее просьбу.

Какая тема ее кандидатской диссертации? «Физиологические расы корончатой ржавчины овса в СССР и оценка сортов овса на устойчивость». И тут она наконец выпалила, что ей нужны эти семена из Америки.

— А вы пользуетесь коллекцией овсов ВИРА?

— Да, но она неполная.

— Как неполная?! Она считается самой полной.

Ей даже показалось, что в голосе у него прозвучала обида. Все сорвалось! Она не так сказала! Не с того начала. Она знала: он очень гордился этой созданной им уникальной коллекцией культурных растений, равной которой не было в мире. Хотя американское Бюро растительной индустрии и начало эту работу лет за двадцать до Вавилова.

Да нет, конечно, коллекция ВИРа самая полная, но не совсем полная, то есть не исчерпывающе полная. А при тех опытах, которые она проводит, ей нужен полный набор сортов — именно тех сортов, над которыми работает ученый Марфи.

Она говорила путано, сбиваясь, и потому, что он ее слушал, никак не могла остановиться.

— Интересно... — сказал он, когда она наконец замолчала, и нажал кнопку.

Вошла секретарша. И он стал ей диктовать по-английски письмо американскому ученому Моррисону. И тут она, уже совсем осмелев, почти выкрикнула:

— Пожалуйста, Марфи! Я вас очень прошу, напишите Марфи. Я в вашей библиотеке познакомилась со всеми его трудами. Мне нужно, чтобы именно Марфи...

— Но ведь это не имеет значения, кто пришлет! С Моррисоном мы в дружеских отношениях, а с Марфи я незнаком. Но, впрочем, если вы так настаиваете, я напишу Марфи.

И он продиктовал второе письмо — Марфи.

А месяца через два у нее на столе в лаборатории лежали пятнадцать пакетиков из США — тринадцать сортов овса и плюс еще два гибрида.

Но, впрочем, характер мог выработаться значительно позже, в дни немецкой оккупации, которая настигла ее в Пятигорске. Один раз она уже бежала от немцев из Крыма, из Никитского ботанического сада. И теперь жила у дяди с маленькой Лялькой и не родившимся еще Андрюшкой. Лившиц работал агрономом в колхозе, километрах в двадцати от города.

Восьмого августа было объявлено: все мужчины, способные носить оружие, должны покинуть город. И она побежала в колхоз предупредить мужа: ему надо уходить. А она не могла на этот раз уйти...

Немцы заняли Пятигорск. Она должна была зарегистрировать Ляльку в полиции. Но не стала делать этого. Умолила управляющего домом сжечь домовую книгу и не говорить, что ее муж еврей. Управдом Осипянец вел бойкую торговлю на базаре скобяными товарами, обнаружив вдруг на склоне лет так долго дремавший талант к проявлению частной инициативы. Но ее он не выдал, хотя его и вызывали в гестапо.

Она не регистрировалась на бирже труда. Не пошла работать на немцев. Ходила на огород в колхоз, где раньше работал ее муж, где они посадили картошку. Это было опасно. В колхозе хорошо знали и ее и мужа. Но денег не было. Продавать было нечего.

Двадцать километров туда, двадцать километров обратно. Много ли могла она принести? А кроме картошки, есть было нечего! И опять надо было идти... Раз она наткнулась на полиция Лубашова, и тот орал на нее: «Большевистская шпионка!» Грозил повесить, если еще раз она придет. Но картошка кончилась...

Ее схватили у колхозника Свистуненко, который приютил ее на ночь. Посадили на телегу вместе с шорником Давидом, с его совсем уже дряхлой матерью, с их соседкой Фридой и повезли на Юцу, где площадь была забита подводами... Она знала, если ее не расстреляют вместе с евреями, ее могут запороть, как запорили уже русскую колхозницу Нюсю Гладких. Но Андрюшка упорно хотел родиться и толкал ее. Она слезла с телеги, подошла к полицая Лубашову:

— Мне надо видеть господина начальника полиции.

«Господином начальником полиции» был бывший комсомолец-колхозник. Она плохо соображала, что происходит. Он требовал от нее рацию, динамит. Он орал на нее, матерился. Но почему-то ни разу не ударил, только бил хлыстом по столу. Затем она вдруг сказала — ей казалось, что это не она говорит, кто-то рядом, — чужим, ледяным тоном:

— Вы можете меня убить. Но тогда вы не останетесь на месте начальника полиции. Немцы во всем любят порядок. Если у вас есть доказательства, что я большевистская шпионка, вы обязаны передать меня в гестапо.

Что было потом, она не помнила. Крикнул ли он ей: «Вон!», или она сама повернулась и вышла, когда он схватился за кобуру. Сказали ли ей что-либо полицаи, когда она проходила мимо, видела ли она площадь и людей на площади — она ничего не помнила, ничего не понимала... Она подошла к телеге, на которой ее привезли, и по русскому обычаю крест-накрест троекратно поцеловала Фриду, шорника Давида, его мать. Она раньше с ними не была знакома. Просто видела, живут такие люди в колхозе. Она низко им до земли поклонилась и пошла по дороге. «Только не оглядываться, главное — не оглядываться... И не бежать... Идти тихо...»

Под пригорком, куда спускалась дорога, кто-то равнодушный к чужой беде белил хату. В палисаднике на табурете играл патефон.

И она ушла... Но не в Пятигорск. Она боялась выдать Ляльку, — в Ессентуки, к родственникам.

А на другой день она снова шла по той же дороге, в тот же колхоз. Картошка так и осталась у Свистуненко...

8

— Да, была фитопатологом, стала энтомологом. Не по доброй воле, нет. Лившиц настоял!..

До войны она занималась корончатой ржавчиной овса. Защитила кандидатскую диссертацию, но так и не довела до конца эту работу, как задумала. Лившиц тогда требовал, чтобы они уехали из Ленинграда. Она любила Ленинград —

музеи, театры, тишину лаборатории. Но он считал: раз они окончили Институт защиты растений, их место не в городе! Что ж, он был прав, она согласилась. Их послали в Никитский ботанический сад. Приехали в январе 1941 года... Только она начала работать с манилией — грибковым заболеванием, которым страдали деревья в саду, — война!

Эвакуация... Оккупация... Занималась чем угодно, только не наукой. Ждала в Пятигорске, когда муж дойдет до Берлина. Только в 1946 году снова — Никитский сад. Стала продолжать работу с манилией и другими грибковыми заболеваниями. Работала над антибиотическими свойствами высших растений. «Высшие» — это те, что с листьями.

Есть растения, которые выделяют из себя вещества, способные подавлять грибки, вызывающие заболевания у других растений. Вот, например, фитонциды лука и листьев черемухи убивают грибок, которым болеет картофель (фито — по-латыни растение, цидо — убиваю). Фитонциды горчицы и хрена действуют на бактерии, поражающие хлопчатник. Выделения одних растений могут защитить другие растения не только от болезней, но и от вредителей. Фитонциды конопли губят гусениц капустной белянки, а вещества, содержащиеся в кочанном салате и кольраби, защищают редис от земляной блохи. Или вот еще пример — листья яблони «ранет шампанский» подавляют бактерии Коха! Это такая интересная и так мало еще изученная область. Такие перспективы, столько возможностей открывалось... И пришлось все бросать...

Обком обратился за помощью в Никитский сад, в отдел защиты растений — сады гибнут от вредителей! Восемьдесят процентов яблок в крымских садах съедает плодоярка. Вишневая муха губит черешню. Совхозы и колхозы Крыма находятся в очень тяжелом положении.

И мартовским утром, в дождь и снег, под сквозным степным ветром машина Никитского ботанического сада остановилась у правления совхоза «Первая пятилетка».

— Ищите! — сказал агроном...

Она копала землю вокруг черешен. Искала ложнококоны. Знала о них немного — соломенно-желтые и легкие, легче воды. В воде всплывают! Таскала в ведрах воду. Промывала землю. Всплывали листья, мусор, щепки. Снова копала, ощупывала пальцами каждую щепотку земли. Руки сводило от холода. Переходила от дерева к дереву. Никаких ложнококонов! Звонила Лившицу в «Весну»:

— Нет, ложнококонов нет!

— Ищи!

Голос казался подчеркнuto сухим, официальным.

Снова копала. Снова промывала. Измеряла температуру почвы. Совала градусник в землю на пять, на десять, на пятнадцать сантиметров. На какой глубине лежат эти чертовы коконы?

Лаборантка Зина злилась и не разговаривала. Она поступила работать в Никитский сад! Там теперь цветет миндаль, по асфальту можно в туфельках бегать, а тут из мокрого грунта, как из болота, вытягивай сапоги. Таскай ведра с ледяной водой.

И сама Нина Ивановна злилась. Продолжала про себя спор с Лившицем. Ну что из того, что они изучат биологию вредителя? И определяют температурный индекс — время, когда отрождается вредитель. Установят оптимальные сроки опрыскивания. Ну, а дальше что? Ведь химии-то нет?

— Будет! — отвечал он. — Заводы химические есть — будет химия!

Будет... Да... будет. Она тогда еще не знала, чем обернется для нее это лившицевское «будет!».

Да, они будут знакомиться с химиками-учеными на плано-координационных советах в Ленинграде. Раз в год на эти советы съезжаются ученые из научно-исследовательских институтов со всей страны. Будут знакомиться с химиками, работающими на заводах. Будут вести переписку с заводскими лабораториями.

Будут приезжать на заводы, выступать перед рабочими, объяснять: надо спасать сады. И рабочие будут давать сверхплановую продукцию в фонд крымских садов.

В садах появятся медики. Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний разобьет свою лабораторию рядом с токсикологической лабораторией Никитского сада. Лаборанты будут брать пробу воздуха и определять концентрацию яда в зоне дыхания шланговщиков, сигнальщиков, трактористов.

Медики запретят опрыскивать деревья меркаптофосом из шлангов: в зоне дыхания шланговщиков — смертельная доза! Старая наземная аппаратура для опрыскивания садов окажется непригодной. И Петрушова и Лившиц привлекут к защите крымских садов конструкторские бюро машиностроительных заводов — нужны машины новых конструкций!

Нужна авиация. Будет авиация! В садах появятся летчики, инженер по спецприменению авиации. И к двум лабораториям прибавится третья...

А пока — двое в степных садах. Нет, четверо: Лившиц с младшим научным сотрудником Галатенко, Нина Ивановна с лаборанткой Зиной.

Ложнококоны найдены. Залегают не глубже пяти сантиметров. Температура теперь измеряется только на глубине пяти сантиметров. Подсчитываются градусы, сумма эффективных температур. Ведется наблюдение за ложнококонами в лаборатории, под садками, расставленными в саду. Грунт высох. Припекает солнце. Появляются первые мухи. Нина Ивановна поит их сахарной водой. Бережет! Их мало. Боятся резать, а вдруг больше не будет. Но каждый день их прибывает! Лет в разгаре — но все самцы! Самок нет! Теперь она режет, осматривает сотни мух день за днем. Наконец первая самка! Может быть, уже пора опылять деревья? Может быть, она пропускает срок?

Много ли могут сделать двое ученых — там, где по существу должен работать институт? Оказывается, много!

И первое, что сделали эти двое... Но не стоит думать, что до них в садах не вели борьбу с мухой и плодовойжоркой. Еще как с ними сражались! Именно в Крыму и именно против плодовойжорки стали впервые в России применять в садах химию. Уже в конце прошлого века известный в то время крымский энтомолог Мокржецкий начал опрыскивать яблони парижской зеленью и арсенатом кальция — мышьяковыми ядами. Более пятидесяти лет, по пять раз за каждое лето, опрыскивали яблони. А плодовойжорка резвилась!

Каждую весну в каждом саду начиналось «весеннее томление» агрономов: пора или еще не пора опрыскивать сад? Отродилась ее величество владычица крымских садов плодовойжорка или еще дремлет в своем тереме-коконе? Пора или не пора? Гадали они по лепесткам. Нет, это не красное словцо. Агрономам, и правда, приходилось гадать!

До того, как Лившиц и Петрушова появились в крымских садах, там действовал так называемый феносигнал. Считалось, определенной фенологической фазе развития дерева соответствует определенная стадия развития вредителя. И в яблоневом саду феносигнал «опадение 75 процентов лепестков». Ученые пытались увязать начало отрождения гусеницы с концом цветения яблони. И рекомендовали проводить первое опрыскивание спустя восемь — десять дней после опадения трех четвертей лепестков. Но другие указывали другой срок: спустя десять дней после опадения девяноста процентов лепестков, а третьи установили интервал между концом цветения и опрыскиванием в двадцать дней! А если учесть, что в саду разные сорта яблонь и цветут они в разное время, то агрономам ничего не оставалось делать, как гадать по лепесткам.

В черешневом саду было проще, там феносигнал — начало налива плодов. Плод наливается — в этот момент и надо обрабатывать ядами деревья. Уничтожать муху. В этот момент и уничтожали. А урожай все равно погибал.

Уже в ту первую весну, когда фитопатолог Петрушова превращалась в энтомолога Петрушова, она обратила внимание — а последующие годы работы в садах подтвердили это наблюдение, — что в момент налива плодов, то есть когда по феносигналу надо обрабатывать ядами деревья, мух в Крыму, как правило, еще

нет! А если и появляются, то только самцы, но они безвредны. Самцы летят пять дней. Затем начинают лететь самки. Они еще тоже безвредны. И только спустя десять дней первые вылетевшие самки становятся половозрелыми, способными откладывать яйца. В это время они и начинают приносить вред. В это время их и надо уничтожать... Но яд, которым обработали деревья по феносигналу в начале налива плодов, к этому времени уже потерял свою силу!

Уже давно в отечественной и зарубежной литературе стали появляться работы, доказывающие несостоятельность феносигнала, так как фенология дерева и фенология вредителя протекает по-разному. И уже многие ученые доказывали, что для определения сроков борьбы с вредителями можно использовать более точные сигналы — температурные.

Для плодовой мушки, например: что ей необходимо для ее развития? Свет, воздух, влажность, питание? Ну, все это, конечно, в той или иной мере ей нужно, но все же главным для нее оказывается тепло. Или, как это говорится в книгах Лившица и Петрушовой: «В минимуме находится только температурный фактор, который и определяет ход развития. Все остальные факторы не являются лимитирующими». Без тепла, без определенного количества тепла плодовая мушка не появится на свет.

И было подсчитано, что тепло это складывается градус за градусом в сумму эффективных температур 230°. Эта температура и может служить сигналом к первому опрыскиванию сада!

Первому? Ну да, за первым опрыскиванием следует второе, третье... Враг хитер. Он сохраняет резервы и никогда не бросает в бой их сразу. Постепенно в течение всего лета вредители вводят в действие свои полчища. Насекомые очень пекутся о том, чтобы не перевелся их «род» на земле. Муха вишневая по два года держит свои коконы в почве про запас. Вдруг произойдет катастрофа, и весной погибнут все мухи, не успев позаботиться о потомстве?.. Придет следующая весна, и сработают запасные коконы. Природа не оскудеет мухой вишневой!

Итак, к тому времени, когда в 1952 году в крымской степи появились Петрушова и Лившиц, в научной литературе уже накопилось много нового и интересного. Много было наблюдений и у самого Лившица, который вел работу с насекомыми в своей лаборатории в Никитском саду. Но все эти работы пока еще практического значения не имели.

Первое, что сделали двое ученых из Никитского сада, — отбросили все феносигналы. Исходя только из особенностей развития самого вредителя, следя за его развитием, они старались уловить время, когда надо начинать атаку. А второе — повели эту атаку против плодовой мушки не кишечным ядом (суспензией паприжской зелени), а контактным — суспензией ДДТ.

И первый год их работы в садах принес первую удачу. В яблоневом совхозе, где работал Лившиц, урожаи были отбиты от плодовой мушки. В черешневом саду, у Нины Ивановны, поврежденных плодов оказалось четверть процента.

Но к первой удаче — первая неудача. Из совхозов сообщили: с садами неладно! Сады стоят желтые не в срок. Все в округе сады зеленые, а тут листья пожелтели, пожелтели. А стволы и ветки красные. Особенно на черешне, на гладкой коре, как ожоги. Яйцо клеща простым глазом не заметишь, а тут все красно.

И пошел слух по степи: «спалили» сады. У дурных вестей ноги длиннее, дурные вести добрых быстрее. И когда осенью в Симферополе было созвано совещание агрономов, этих двоих и слушать никто не стал! Никому не были нужны их доводы и выводы!

Плодовую мушку уничтожили, клеща развили... Хрен редьки не слаще. Не все ли равно, от чего гибнут сады?

Но когда в гудящий, разгневанный зал было брошено: «А как дальше?» — предложений не было. Все только критиковали, но никто не знал, как быть, что делать.

Знали эти двое. Продолжать бороться с плодовой мушкой и вишневой мухой теми же средствами в те сроки, которые были ими установлены, и искать способы и ме-

тоды борьбы с клещом. Но их не поддержали. Только главный агроном Крымконсервтреста Максимов поддержал. У него выхода не было. Если эти двое не помогут — руби сады, вешай замок на контору.

Недоброжелательно встретили их работу в садах агрономы. Недоброжелательно отнеслись к ним и многие ученые-биологи.

— Вы разрушаете гармонию, царящую в природе! — говорили им.

— Вы нарушили естественный биоценоз сада!

— Но является ли сад естественным биоценозом? — возражали Лившиц и Петрушова.

У них на этот счет были свои предпосылки.

Да, в течение тысячелетий на земле шло приспособление живых организмов: растений, животных, микроорганизмов к окружающей среде и друг к другу. Иными словами, шло приспособление к условиям существования и к условиям сосуществования. И выработался так называемый естествоиспытателями биоценоз, или сообщество, внутри которого нет ничего случайного, все соразмерено, все находится в тесной взаимосвязи, в подвижном равновесии. Пытаясь воздействовать на одного из обитателей биоценоза, человек невольно может нарушить это равновесие.

Так произошло с клещами. Почему в их среде возникла, как говорят биологи, «взрывная волна жизни»? Если дать возможность клещам свободно плодиться, то от одной только самки клеща, которая весит 0,0102 миллиграмма, потомство будет весить 102 000 тонн! Да, сто две тысячи тонн!.. Но в саду, незримые для человека, трудятся его союзники. Всякие жуки-коровки, хищные клопы, трипсы, сетчатокрылые и прочие другие. Для них клещ — «кормовая база». И они сдерживают его рост. А контактный яд вместе с плодовойжоркой погубил и этих союзников.

— Конечно, это была величайшая неприятность — спалить четыреста гектаров садов, — говорит Нина Ивановна. — Но как это ни странно, в этом была наша удача! Да, когда это произошло на таком огромном массиве, то сразу стала ясна причина. Дело в том, что вспышки клеща были в Крыму и до нас, но никто не связывал этого с применением ДДТ. Тогда в садах уже начинали употреблять этот препарат. А тут сомнений не оставалось! И потом сразу встал вопрос о системе. Нельзя бороться с отдельными вредителями, не заботясь о подавлении всех вредных обитателей сада. И химический метод защиты нельзя рассматривать как аварийное средство, которое нужно только в момент вспышки вредителя. Это постоянно действующий фактор...

Осенью 1952 года, после вспышки клещей, уже не на четырехстах гектарах, на небольшом участке Петрушова и Лившиц приступили к работе.

И началось: как ведет себя клещ, какие повадки у клеща, привычки, что любит, не любит? Солнца не любит, прячется в тень. Ветра не любит. Холода не любит — греется в бутонах, в расщелинах коры. Любит пастись на гладкой верхней стороне листа. На нижней, опущенной, путается лапками.

И началось: самка клеща отложила яичко, из яичка отродилась личинка, из личинки отродилась дейтонимфа, из дейтонимфы отродилась протонимфа, из протонимфы... Что надо уничтожать — яйца, личинки, взрослых особей? Чем, когда? Солярное масло? Трансформаторное масло? Вазелиновое? Дизельное?.. На «летние» яйца, на «зимние» яйца? На личинках? На взрослых особях?.. А потом — сульфид, генитол, эфирсульфонат, метафос, меркаптофос и т. д. и т. п. Это уже когда химики стали присылать первые партии новых химикатов. «Партни» — килограмм, пятьсот граммов, сто граммов! Сто граммов меркаптофоса! На вес золота. Целое событие...

И еще забота: одни химикаты оставляют пятна на листьях, другие ожигают листья. Эфирсульфонат попал на помидоры, посаженные между рядами яблонь, — помидоры пахнут карболкой. Нельзя употреблять в пищу.

Звонки на заводы, в химические лаборатории, телеграммы, поездки:

— Надо попробовать усилить, надо ослабить, нельзя ли...

Плодожорку хорошо берет ДДТ, паршу — бордосская жидкость, клеща — меркаптофос... Какой препарат следует употреблять с каким, какой за каким, какие можно смешивать, какие нельзя?

А потом выяснилось: насекомое привыкает к яду, нельзя против одного и того же вредителя употреблять долго один и тот же яд, надо менять яды, вводить ядооборот!

А сколько сил и времени ушло на то, чтобы убедить агрономов в правоте нового метода.

А потом никак не могли приучить население к новым методам. Более полувека в крымских садах работали с парижской зеленью, арсенатом кальция — свыклись, не замечали. А тут по радио объявляют: «В саду — яды!» И самолеты над садом... И пошло: курица сдохла — письма в обком: «Губят птицу!» Кролик околол: «Травят скот!» Парень впервые напился, его выворачивает: «Человек отравлен!» И Нина Ивановна с врачом через сад, через село летят к больному. Диагноз поставлен, мать убедили. Но слух ползет...

А потом, когда система уже разработана, население приучено, стена недоверия сломлена, агрономы верят, интересуются работой и уже во всем саду на семистах гектарах проводятся опыты — вдруг все упирается в зарплату трактористов. На опытном участке все подчиняется Нине Ивановне, Лившицу. А в совхозном саду свои законы. У тракториста норма. Он «гонит норму». Пришлось заниматься нормами оплаты трактористов. А потом...

9

Две койки. Стол между койками. Шкаф. И окна затянуты марлей. За окнами зной.

«Сад рассматривается нами как искусственный биоценоз, существование которого невозможно вне условий, создаваемых человеком...»

— Неужели будет ветер? Ненавижу ветер. — Петрушова ворвалась в комнату со сквозняком. Марля на окнах — парусом. — Опрыскивать при ветре нельзя. И время терять нельзя.

В комнату постучали.

— Нина Ивановна, как быть? Ждать хлорофос? Или заложим на этом квадрате...

На стол ложится план сада.

В соседней комнате скрип половиц, голоса, кто-то протяжно зевнул. На мужской половине кто-то запел. Время подходит к обеду. После обеда, после четырех — снова сад, и вертолет в небе над садом. Одна минута — пятьсот метров, еще минута — опрыскан гектар!

Вертолет заменил пять тракторных агрегатов. Тракторный агрегат заменил двадцать рабочих с ручными опрыскивателями. Ну, а дальше что? Что заменит вертолет? В Симферополе диспетчер нажмет кнопку — и машина сама по себе, без пилота, над садами, над Крымом облучила, и все?

— У меня нет давления, становлюсь на ремонт! — это кричит тракторист, грохоча мимо.

— То есть как это — нет давления? — И Нина Ивановна — к нему.

А потом бригадир Гржибовскому:

— Как вы можете допускать? Ваш главный механик, пока не стал главным, хороший парень был. Это называется на выдвижение пошел! На собственном «москвиче» в коверкотовом костюме является в сад. Это в рабочее-то время! И до чего у нас любят руководить! А работать?! Да он должен — руки по локоть в масле... Второй трактор выходит из строя!

И оба они — и Гржибовский и она — уже за деревьями. Только голос ее — от дерева к дереву. Ушла в свою гигантскую лабораторию. Триста гектаров — лаборатория! Ни колб, ни пробирок, ни термостатов. Стоят яблони, растут на яблонях яблоки. Четыреста — четыреста пятьдесят вариантов опытов...

Сейчас здесь испытывают тридцать шесть ядохимикатов, отечественных и импортных. Испытывают в трех концентрациях каждый. На каждого вредителя — на плодоядку, клеща, паршу, кровяную тлю, мучнистую росу и т. д. и т. п. На каждый сорт яблок, груш, слив...

Нина Ивановна уже вернулась, села под яблоней, обхватила колени руками, задумалась. Яблоня контрольная: чтобы не спутать с другими яблонями — на этой голубой браслет. Здесь нечисть плодится, как ей бог положил! Потом с этой контрольной соберут в пакетики листья, зараженные ветки, срежут кору с колонией тли. И с обработанных каждым ядохимикатом, каждой концентрацией яблонь, груш, слив тоже соберут листья, ветки, кору... В лаборатории под биноклем примутся просматривать, подсчитывать: что погубило — яйца, или личинки, или развившиеся особи, на какой день погибли, сколько, при какой концентрации, от какого яда...

— Нина Ивановна!

И она опять ушла.

— Вы не видели, куда пошла Нина Ивановна? — подбегает ко мне Дина-маленькая...

А день своим чередом. Говорят: не ночь съела день, тень съела день. Тракторы оттрахтели. Вертолет отлетал. Сейчас темь сменит тень. И сразу — ночь.

Мы уходим последними из сада — по трубе, через реку, с берега на берег. Студенты в сапогах — по воде, и мототележка с канистрами, бидонами...

А дальше день длится при электрическом свете, за узким длинным столом вдоль стены, в лаборатории.

— Нина Ивановна, подсадки погибли...

На столе в плошках плавают листья. Тут изучают действия ядов лабораторным способом, так называемой «методикой плавающих листьев». Фенкаптон, например, системный яд. Он проникает в ткань листа. И клещи вместе с хлорофиллом и влагой высосут яд! В других плошках другие яды. На мокрые, на сухие листья подсаживают яйца, личинки, взрослых вредителей — наблюдают.

Студенты вносят в дневники свои наблюдения за день. Нина Ивановна потом будет проверять дневники. А сейчас что-то вроде планерки. Кто что успел? Кто где был? И наметки на завтра: кто на опрыскивание, кто будет собирать материал в зараженном саду, кто...

— Нина Ивановна...

Дипломант в очках, единственный с шевелюрой, все бриты наголо, как новобранцы: жара. Нина Ивановна берет табурет и садится рядом с ним. Ну, тут разговор явно надолго!

За окном во дворике, на скамейке — чистят башмаки, сапоги. Стучат руко-мойники.

— Сколько, по-вашему, человек может уместиться в пятиместном газике?

— Ну, шесть... восемь...

— Двенадцать!

И верно, двенадцать. Каждый знает свое место. Кто садится кому-то на колени, кто в ногах, кто на багажнике. Зафырчал газик. Через дворик протянулись два синих луча. Укатили в кино в соседний колхоз.

Нина Ивановна все еще сидит с дипломантом. Потом в нашей комнатухе за столом читает письма — с Украины, из Сибири, из Болгарии, Чехословакии. Все больше от садоводов-любителей. Теперь, правда, стали и совхозы и колхозы интересоваться. Но все-таки меньше, чем любители. Те все новое на лету подхватывают!.. Потом надо что-то исправить в статье, завтра ее отсылать.

Ужинать приглашены к директору совхоза.

Хозяйка — пышногрудая, чернобровая, должно быть, украинка:

— Мебель у нас новая!

И правда, современная, в любую московскую квартиру, и шкаф набит собраниями сочинений. Хозяин и читать не успевает — днем сад,

вечерами учится, заканчивает заочно институт. 'Ничего, мальчишка растет, все прочтет.

— ...у нас ведь дом всегда на последнем месте, — укол мужу, — все не как у людей. Если что для дома, всегда некогда. В прошлом году даже совестно было — в саду живем, а гостей одной кандилью угощали.

Хозяин — израненный, сшитый из кусков, с повязкой на глазу — о своем: о саде, о садах.

— В прошлом году по Крыму собрали в среднем семечковых по пятьдесят шесть центнеров с гектара. Курам на смех! В ГДР если сад по сто семьдесят дает — нерентабельно! Правда, Гржибовский по пятьсот центнеров взял. Так ведь то только с шестнадцати га. А ведь по Крыму половина яблонь, которые через год урожай дают. Старые громадины, их с лестниц убирать надо, чаталы строить, чтобы ветки не обламывались, — это ведь только рабсила, во сколько обходится...

И чертит вилкой по нейлоновой клеенке, выводит столбики цифр.

Хозяйка отбирает вилку:

— Завел про свое!.. Вино бы разливал...

Хозяин:

— ...сады давно перестраивать надо! Из области только надоями интересовались. Сводки только требовали — прополка кукурузы, свеклы. А девяносто пять процентов дохода сад дает! Никита Сергеевич выступал, говорил о садах. Ну, теперь, конечно, садам будет внимание...

И гость-бригадир — про свое. Он завтра в Железноводск летит лечить язву.

А я про свое, про хозяина. Он, наверное, первым парнем на деревне был. Что он, в танке горел?.. Только лоб не тронут шрамами, высокий и чистый, и единственный глаз — ста глазам глаз! Что для него сад — «свое» или «казенное»? Он, должен быть, на фронте смелым был!.. А теперь как? Будет рисковать, искать или «ждать указаний»? Не потекла бы жизнь по руслу: зарплата высокая, «победа» казенная, мебель «модерная» — и плыви, подгребай только на поворотах!..

Возвращаемся через сад. Лежим на койках на ватных матрацах. И белая комнатуха наполнена лунным светом.

10

— Все, поехали! — Нина Ивановна хлопнула дверцей.

Нет, не все! Ее окликнул высокий старик. Впрочем, «старик» — не подходит. Цыганские черные глаза, лицо без морщин, высокий, голос громкий, только седая шевелюра выдает. И каждый здесь знает: еще в начале двадцатых годов он приехал студентом из Питера в Никитский ботанический сад. Теперь профессор, доктор биологических наук, «король персиков» — Рябов.

— Иван Николаевич! Поехали с нами, место есть.

— Ну, с Петрушовой раньше ночи не доберешься. Она по прямой не ездит! И еще кто-то подошел, и еще.

— Поехали...

Суббота. Наконец-то с субботы на воскресенье — домой. К морю.

Мимо садов, сквозь сады. А над садами вертолет. А в садах — трактора, бензовоз-заправщик между деревьями, аварийная фура. Наступление продолжается.

— Рябовские персики, — говорит Нина Ивановна, когда мы несемся мимо садов. — Рябовские посадки...

Рябов, Петрушова. Эти имена часто можно услышать в степи. И еще: Никитский ботанический сад. Яблоки селекции Никитского ботанического сада. Посадка Никитского ботанического сада. Система защиты от вредителей — Никитский ботанический сад. А под Сарабузом, ныне Гвардейском, — плантации роз, лаванды и тоненькие, как свечи, молоденькие яблоньки, сливы, абрикосы до самого горизонта. И это опять же Никитский ботанический сад.

Раньше я знала только, что Никитский ботанический сад — живописнейшее место для прогулок, в чем могла убедиться сразу, попав туда, что в саду растут удивительные деревья, собранные со всего земного шара, что сад расположен на скалах у самого берега моря и что в саду всегда полно посетителей со всей страны, со всего мира.

Но при чем же тут яблоки, персики, степное садоводство? Года два тому назад в Никитском саду, в старом каменном доме, я увидела дверь и на двери дощечку: «Отдел плодовых культур. И. Н. Рябов». И я постучала в эту дверь.

Иван Николаевич встретил меня неласково.

— Терпеть не могу журналистов! — сердито прогромыхал он на всю комнату. — С журналистами и врачами можно разговаривать разве только что за рюмкой водки или в крайнем случае за стаканом чая. Я и с Павленко ссорился не раз... Вы сначала, матушка моя, — в степь. Посмотрите на нашу работу в степи, а потом спрашивайте, почему в Никитском ботаническом саду компоты варят... Да, да, в степное отделение, в Сарабуз...

Теперь, попадая в Крым, всегда заезжаю к Ивану Николаевичу Рябову, к его супруге Клавдии Федоровне Костиной, тоже заслуженной ученой. Она занимается выращиванием абрикосов. Мы допоздна сидим на их террасе за стаканом чая. Рябов читает стихи (в Никитском саду любят стихи), вспоминает свою молодость, Тимирязевку, лекции Н. И. Вавилова в географическом обществе, на которые сбегались студенты со всей Москвы... Вспоминает Никитский сад той давней поры, когда в 1923 году он сюда впервые приехал... Но о работе своей говорит скупко.

Да я и не задаю вопросов, я не раз уже побывала в степи, в совхозах, и знаю — он более тридцати лет колдует над персиком. Он изменял его форму, окраску, привычки. Он заставлял его не бояться морозов и — заставлял! Он заставлял его расти в Крымской степи, и он растет. Он заставлял его созревать в разные сроки, и он созревает, начиная с середины июня и кончая октябрем.

Теперь я знаю: в саду идут параллельно две жизни. Одна — шумливая, наполненная, с щелканьем аппаратов, возгласами, с экскурсоводами, которые сразу на пяти языках поясняют, разъясняют... Другая — будничная, трудовая, о которой мало кто рассказывает.

Никитский ботанический сад — это большое научно-исследовательское учреждение, в нем занимаются изучением почв Крыма и их плодородия, изучают морозостойкость, зимовыносливость и засухоустойчивость растений, ведут исследования по дендрологии, декоративному садоводству и цветоводству, занимаются интродукцией и селекцией субтропических и южных плодовых культур... Сад осуществляет научное руководство в совхозах, колхозах Крыма. И, конечно, не случайно получилось так, что и система защиты садов от вредителей была разработана учеными Никитского ботанического сада.

— Наш сад каждый год отпускает совхозам и колхозам полторы-две тонны семян. Листопадных, вечнозеленых, хвойных растений. И за последние несколько лет более миллиона саженцев...

Нина Ивановна положила локти на спинку сиденья водителя. Уставилась на дорогу. Газик катит по Симферопольскому шоссе в Никитский ботанический сад.

Мы уже перевалили через перевал. Впрочем, только ресторан «Перевал» и напоминает нам об этом. Да еще плакат: «Водитель, двигатель от трансмиссии не отсоединять!» Дорога не петляет, не взбирается в гору, не кружит — выровнена, горы срезаны, низины подсыпаны — прямая! И по прямой по шоссе катит троллейбус.

Мы несемся мимо санаториев, и за оградой, как пионерский отряд в походе, — цепочкой молоденькие кипарисы.

— Обидно, сколько тратится в жизни сил и энергии зазря. Я кипарисами не занималась, а цитрусовыми пришлось... Сажали лимоны и мандарины. В каждом санатории рыли траншеи, сажали в траншеях! Чего только не делали — и грелки савали в эти траншеи, и одеялами, матрацами укутывали. И садов-

никам, агрономам влетало, будь здоров! А цитрусовые все равно вымерзли. А сколько кипарисов повырубали...

В те годы, о которых вспомнила Нина Ивановна, в Крыму мичуринские слова: «Не будем ждать милостей от природы» — были восприняты в их буквальном значении. По личному указанию Сталина тогда сажались цитрусовые. Каждая здравница должна иметь свои лимоны, мандарины. Вырубались кипарисы, сажались эвкалипты... «Эка влипли!» — говорили крымчане.

Никитский сад тогда пытался заступиться за кипарисы. Директор сада ездил в Симферополь, держал речь на активе. Доказывал: кипарисы не являются рас-садником москитов, разносящих лихорадку, и не хранят в себе палочек Коха, в чем было им предъявлено обвинение! И нельзя вместо кипарисов сажать эвкалипты. В Никитском саду ведется интродукция эвкалиптов, но все неудачи: уже при минус шести градусах вымерзают!.. Ему не дали договорить: при чем тут интродукция, когда есть указание!..

Газик бежит. Каждый свободный клочок земли здесь засажен виноградом, и в гору взбегают ровными рядами шпалеры и вниз — к самому морю.

— Это на местах «цитрусовых боев». Цитрусы зреют в Грузии, а у нас виноград... Приезжайте осенью на виноград! Узнаете, какой урожаем собрал Гржибовский, как нам все удалось в садах... — говорит Нина Ивановна.

Приеду. И узнаю: Гржибовский собрал более пятисот центнеров с гектара! Испытания прошли удачно. Нину Ивановну снова избрали депутатом областного Совета. Уже не газик — микроавтобус получила ее лаборатория. Ей бы, конечно, микровертолет в личное пользование!.. И Сельскохозяйственная выставка опять наградила — в какой уже раз! — и ее и Захара Семеновича Лившица!.. Но самое радостное — ее вызывали в Москву, в министерство, составляли план... Считали, сколько потребуется ядохимикатов на 1965—1970. По всем садам, по всему Союзу. Наконец-то будет химия. Наконец химии — зеленая улица. Система живет!

А жила, если бы Нина Ивановна не внедряла ее? В общем-то я вполне согласна с Захаром Семеновичем Лившицем — неправильное это слово: «внедрять». Неточное. В-н-е-д-р-я-т-ь — означает насильственное действие! Почему «внедрять»? И почему «за тесную связь науки с производством»? Почему не «за тесную связь производства с наукой»? Ведь производство должно быть заинтересовано во всем новом, что дает наука. Хватать на лету это новое, а не ученый должен «внедрять» свои достижения!

— Ах! — сердится Нина Ивановна, когда заходит об этом разговор. — Это все схоластика! Пустые разговоры! Должен — не должен! Теперь, наверное, этим будет заниматься министерство, управления — снова идет реорганизация... А пока — были должны. Почему — это другой вопрос! Не знаю — малая ли культура хозяйственников, агрономов, инерция ли, или привычка, оставшаяся от времен культа, — все только по указке делать, а то как бы чего не вышло! Но пришлось самим внедрять. Да. Выхода не было. В 1956 году система была уже отработана... А только в 1961 — Министерство сельского хозяйства издало рекомендацию в пятнадцать тысячах экземплярах! Это на такую-то страну! Конечно, жаль времени. Но ведь если система не внедрена, не действует — значит, не живет, значит, впустую пошел труд...

— Да, я, между прочим, совсем забыла вам сказать: я теперь снова вернулась к фитопатологии. Спустя десять лет... У нас на юге очень распространено усыхание косточковых. А одна из причин — клестероспориоз. Этим страдают персики, абрикосы.

Мы уже за Ялтой. Уже проскочили Масандру.

— Так хочется писать... — говорила Нина Ивановна, перелистывая какие-то бумаги на коленях. — Столько накопилось материалов — только сесть и писать.

— Считайте, доехали! — произносит наш молчаливый водитель.

Арка: «Никитский ботанический сад». На этот раз Рябов ошибся: мы ехали по прямой, никуда не заезжая, не сворачивая. Газик — под арку, мимо метеостан-

ции сада и направо, на «Рябовку», как неофициально называют этот тупичок. Вот и дома.

Захар Семенович расставляет рюмки у приборов. Вынимает из буфета стеклянного медведя. Он всегда встречает гостей с этим стеклянным медведем. А я теперь гость.

И охотничий пес Друм — неповоротливый, огромный — роняет от радости стулья.

С террасы виден Никитский сад и внизу, под горой, море. Вдалеке Ялта. И за Ялтой в синее вечернее небо уперлась рожками Ай-Петри.

— Красиво? До чего же красиво! — говорит Нина Ивановна, выходя на террасу с сумкой и вынимая из нее папки.

— Вот не поеду я в понедельник в степь. Завтра Лялька привезет Сережку из Симферополя. Познакомлю вас с внуком. В степи теперь могут и без меня. Буду работать здесь. Буду писать... Если, конечно, Захар Семенович не приготовил сюрприз. Понимаете, в марте вернулась из Кисловодска и буквально только успела поставить чемодан — уже ждала аудитория в двести человек. Ну хоть бы на другой день назначил лекцию. А если бы самолет опоздал...

— Я верю в авиацию... — Захар Семенович появляется в дверях. — А знаешь, вчера опять из «Победы» приезжали и из обкома... Придется нам взять на себя эту древесницу въедливую...

Говорит не то утвердительно, не то вопросительно.

— Да?..

Нина Ивановна остановилась посредине террасы с папками в руках и, повернувшись ко мне:

— Древесница въедливая — стволый вредитель. Она губит свыше шестидесяти видов деревьев... — и, устало опустившись на стул, продолжала: — Весь юг Украины и западные районы Крыма поражены этой древесницей въедливой... Понимаете, трудность вся заключается в том, что она ведет скрытый образ жизни...



ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ВОЛКОВ

★

ЭРА РОБОТОВ ИЛИ ЭРА ЧЕЛОВЕКА?

НОВЫЙ ПРИШЕЛЕЦ

Наш век называют веком двух «А»: атома и автоматике. Оба они, как близнецы-братья, родились (имеется в виду практическое применение атомной энергии и электронной автоматике) в одно время — примерно в середине столетия. Но если атом возвестил о себе человечеству предсмертным криком гибнущих хиросимцев, то автоматика вошла в жизнь робкими шажками, так что поначалу не все и расслышали их. Это дитя XX века, сочетающее в себе механические мышцы и электронный мозг, росло так быстро, что уже в начале пятидесятих годов повсюду заговорили о его незаурядном будущем. «Ни одно событие в истории экономики, — писал об автоматике «Нью-Йорк таймс мэгэзин», — не вызывало таких споров и разногласий».

Как ни велика была драматическая слава атома, но и она несколько померкла от шумихи вокруг автоматике. Предсказывали, что от автоматике должны будут исчезнуть — потерять работу и хлеб — миллионные армии рабочих и служащих.

О ней же — о грядущей эре автоматике — взахлеб писали как о наступающем «земном рае», о «золотом веке» всеобщего изобилия и социальной гармонии.

Любопытно, что этот спор о судьбах автоматике начался задолго до ее появления. Фантазия человечества давно уже предвещала «эру роботов». Размышления о том, какое значение могли бы иметь автоматически действующие орудия, зародились в виде сказок, мифов еще в глубокой древности.

За два тысячелетия до того, как вступила в строй первая автоматическая линия, Аристотель писал: «Если бы каждое орудие по приказанию или по предвидению могло исполнять подобающую ему работу подобно тому, как создания Дедала двигались сами собою или как треножники Гефеста по собственному побуждению приступали к священной работе, если бы, таким образом, ткацкие челноки ткали сами, то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни господину рабов».

Со временем подобные мечтания приобретали все более определенную форму и вместе с тем все более зловещий оттенок. В начале девятнадцатого века Мэри Уолстон-Крафт Шелли в научно-фантастическом романе рассказала о том, как талантливому студенту Виктору Франкенштейну удалось создать искусственного человека, вдохнуть в него жизнь. Это создание обладало исключительной силой и необыкновенными способностями. Но в конце концов оно вышло из повиновения и натворило много бед.

Неясное предчувствие печальных последствий автоматизации в капиталистическом обществе, выраженное в этом романе, было развито в последующей научно-фантастической литературе.

В двадцатых годах нашего века Карел Чапек в пьесе «Рур» не только предсказал наступление эры автоматизации, но и нарисовал те противоречия, которые она породит. Герои этой пьесы изобретают «Робота». Робот в состоянии выполнять любую работу, притом лучше и быстрее человека. Он один может полностью заменить нескольких рабочих.

«Роботы будут нас одевать и кормить,— мечтает главный управляющий фирмы Домин.— Роботы будут изготавливать кирпич и строить для нас дома. Роботы будут выполнять бухгалтерскую работу и подметать лестницы. Никто не будет работать, но каждый будет спокоен и полностью освободится от деградации, которую несет с собой труд... Эксплуатация человека человеком, а также порабощение человека его обязанностями — прекратятся... Никто не будет зарабатывать свой хлеб ценой ненависти».

Служащий завода Алквист настроен не так радужно. «Рабочие всего мира,— говорит он,— станут безработными...»

Пьеса Чапека заканчивается крайне пессимистически: обленившееся человечество не могло больше противостоять наступательной энергии роботов. Роботы поднимают бунт и уничтожают своих создателей, присутствие которых на земле уже не представляется необходимым.

Современные фантасты Запада, которые имеют возможность наблюдать первые шаги автоматизации в капиталистическом мире, настроены еще более мрачно.

В книге американского сатирика Рэя Бредбери «451° по Фаренгейту» показана Америка XXI века. Автоматы обеспечили изобилие благ и свободного времени. Пассивные развлечения возведены в культ. Все творческие виды деятельности презираются. Школы готовят бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах. «Интеллектуальный» — самое бранное слово.

Француз Пьер де Латиль рисует будущее общество строго контролируемым специальной корпорацией экспертов, которые в свою очередь действуют от имени священных и непогрешимых машин. В его книге, однако, осталось неясным, как будет осуществляться всеобщий контроль.

Американский ученый Кэртис Шефер заполнил этот пробел. На происходившей в США конференции по вопросам электроники он предложил такой проект: «Через несколько месяцев после рождения хирург поместит под кожей головы каждого ребенка электрический патрон и электроды, достигающие определенных участков коры головного мозга. Через год или два в этот патрон будет монтирован миниатюрный радиоприемник и антенна. Начиная с этого времени чувственные восприятия ребенка и его мышечная деятельность могут изменяться или полностью контролироваться с помощью биоэлектрических сигналов, передаваемых радиопередаточными станциями, находящимися под контролем государства... Это бывшее когда-то человеческим существо, контролируемое таким образом, будет самой дешевой из машин как с точки зрения ее создания, так и управления ею».

Но, пожалуй, наиболее сочными красками рисует картину грядущей деградации человечества английский социолог П. Клигер в своей нашумевшей книге «Эра роботов». Увеличение свободного времени и обилие материальных благ приведут к тому, что большая часть населения развратится. Люди не только отучатся трудиться — они стучатся мыслить, станут паразитами. Резко возрастет количество бездарностей, идиотов, хилых, калек. Все функции людей одна за другой будут переходить к роботам, которые в конце концов достигнут самосознания и выйдут из-под власти человека. Тогда оглуевшее и выродившееся человечество постигнет безболезненное уничтожение «простым и эффективным способом» — посредством насильственной сегрегации полов и периодической стерилизации нейтронной иррадиацией. «И, будучи бессильно предотвратить надвигающуюся судьбу, человечество достигнет непосредственного бессмертия в электронных размышлениях вечного механизма — предвестника «Эры роботов».

Во всех этих мрачных фантазиях — не столько будущее, сколько настоящее капиталистической автоматизации с ее противоречиями и пороками.

МАШИНА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Юная по возрасту автоматика имеет довольно долгую родословную, которая уходит корнями к орудиям труда первобытного человека. Если бы фантасты направили свое перо не в область будущего, а в область прошлого техники, они смогли бы нарисовать

захватывающую воображение картину: человек столетие за столетием создавал из материала природы своего механического двойника. Он начал с малого. Сперва усовершенствовал свои работающие органы. Палка удлинена и укрепила руку, каменный нож обострил зубы, стрелы облегчили задачу для ног охотника.

Эти простейшие орудия труда со временем стали органами в теле машины, и роли уже переменялись: не орудия труда дополняли органы человека, а сам работающий человек превратился в орудие, придаток машины, в ее деталь. Он своим телом, руками, мозгом дает возможность функционировать механизмам, становясь, по выражению Маркса, «автоматически односторонним органом». Еще задолго до того, как этот процесс достигает современной ступени развития, машина властно подчиняет себе рабочего, превращает в своего слугу.

Такой неравноправный союз становится скоро слишком обременительным для обоих. Человек страдает физически и морально оттого, что его действия механизированы и стандартизированы, что он стал подобием машины, вместо того чтобы сделать ее своим подобием и слугой.

Но и машина, по мере того как она прогрессирует, обнаруживает стремление к все большей самостоятельности, к развитию по собственным законам, ибо человек — довольно несовершенное механическое орудие в ее системе, мешающее ей двигаться в нужном темпе.

Таким образом, с одной стороны, машина уродует рабочего, «притирая», приспосабливая его к своим механическим функциям, с другой стороны — рабочий тормозит дальнейшее развитие техники. Капитализм использует это реальное противоречие, вызванное особенностями развития техники, для того чтобы обезличить и всецело поработить рабочего, усугубляя тем самым антагонизм между рабочим и эксплуататором.

Устранить несоответствие между возможностями техники и возможностями рабочего призвана полная автоматизация. Электронные приспособления, контролирующие аппараты, следящие и направляющие устройства предназначены выполнять как раз ту часть работы, которую машинное производство возлагало на рабочего. Мертвый труд, овеществленный в машинах, не будет нуждаться для своего «оживления» в человеке. Он будет способен «оживать», то есть функционировать, сам. Для этого автоматика имеет все необходимое: собственные мышцы — в виде тех или иных механизмов, собственный источник движения — в виде электроэнергии, собственные нервы и мозг — в виде электронной аппаратуры.

Так рядом с миром человека вырастает мир его механических «двойников» — роботов, которые призваны осуществить пророческую мечту Аристотеля о замене рабского (то есть нетворческого) труда орудиями, двигающимися «сами собой».

Конечно, современная автоматическая линия или завод-автомат мало напоминают свой «прототип» — человека. Эта аналогия внешне не проступает, она, как говорят философы, «снята в своем результате». Ее, однако, может выявить либо исторический, либо логический анализ. Последним как раз и занимается кибернетика, в основе которой лежит принцип моделирования, то есть, грубо говоря, принцип электронной модели тех или иных функций человека. Создавая эти электронные «модели» работающего, мыслящего человека, ученые в известной мере делают сознательно то, что в историческом процессе развития техники совершалось стихийно.

Что же нового вносят роботы во взаимоотношения человека и техники? Карл Маркс, который предвидел наступление эры автоматизированного производства и справедливо связывал его с коммунистическим обществом, определил существование этих изменений. Рабочий, по его выражению, оказывается рядом с процессом производства, вместо того чтобы быть его главным агентом, из участника он превращается лишь в надзирателя и регулятора. Этот факт имеет огромное принципиальное значение как для человека, так и для техники.

Выигрывает ли от этого человек? Еще бы! Он освобождается от монотонного механического труда, получает время для всестороннего собственного развития, для творчества. Подобно тому как наш древний предок, приняв вертикальное положение, высвободил руки для созидательной деятельности, так ныне автоматизация освобождает руки и мозг рабочего для более достойных человека творческих видов труда.

Кибернетические устройства лишней раз напоминают людям: штампованная, механическая, однообразная работа — это еще не человеческая, не творческая деятельность.

А техника? Отделенная от своего создателя, она также оказывается в принципиально иных условиях. В нашей литературе на эту вторую сторону дела часто не обращают внимания, а ведь процесс этот двуедин и двусторонен, как двуедин и двусторонен процесс создания материально-технической базы коммунизма и воспитания нового человека. Насколько важно человеку освободиться от механического, однообразного труда для отдачи всех своих сил творчеству — настолько же решающее значение для развития техники имеет освобождение ее от такой несовершенной «детали», как рабочий. Если при машинном производстве человек должен приспосабливаться к работе механизмов, с которыми он составляет единое целое, то и техника должна быть в свою очередь приспособлена к возможностям рабочего.

Какую бы частичную роль ни играл рабочий в системе машинного производства, производство это все же связано, ограничено физиологическими пределами человеческого организма. Скорость станка, скажем, теоретически можно увеличивать беспредельно, однако скорость движений станочника ограничена. К тому же, как деловито заметил один английский предприниматель, автомат «не нуждается в перерывах, чтобы выпить чашку кофе».

В труде рабочих и станок образуют одно целое. Они как бы скованы друг с другом цепью, стесняющей их движения. Автоматизация (если смотреть на вещи с точки зрения ее потенциальных возможностей) расковывает их. Она не только создает условия для того, чтобы человек стал Человеком, но и для того, чтобы использовать все беспредельные возможности, заложенные в технике, сделать ее Машинной с большой буквы. Становясь «рядом с производством», человек получает возможность для свободного развития своих способностей, а машина, освободившись от «чужеродного тела» в своем организме, обретет присущую ей форму и логику развития.

Что же это за логика? В чем суть автоматической техники, каковы ее преимущества перед обычным машинным производством? Каковы ее возможности?

В нашей стране действуют сотни автоматических линий, есть цеха-автоматы, есть и автоматические заводы. Таков, например, завод-автомат по производству поршней. На завод поступают металлические болванки — выдает он уже совершенно готовую продукцию. Все многочисленные стадии обработки деталей совершаются без прямого участия человека.

Главное и наиболее экономически эффективное здесь — это непрерывность производства (мы не имеем в виду перерывы для ремонта и наладки, которые носят эпизодический характер). На заводе-автомате нет необходимости делать перерывы на обед, на передачу смен, на ночной отдых, сокращены паузы между обработкой детали на одном станке и на другом. Весь завод превращается уже по существу в единую автоматически действующую линию, в целостный механический организм с собственным «мозгом» — пультом управления.

Историческую последовательность (закономерность) развития техники можно представить, следовательно, так: разрозненные орудия труда комбинируются в машины, которые в свою очередь образуют автоматическую систему. Но и это, конечно, еще далеко не все. Тенденция к непрерывности и к концентрации будет, очевидно, прокладывать себе путь и дальше. Заглядывая в более отдаленное будущее, видишь, что грядет объединение сотен и тысяч автоматических фабрик и заводов в гармоничное производственное целое. Вслед за созданием Единой энергетической системы в нашей стране, что уже стоит в повестке дня, неизбежно последует создание Единой производственной системы, охватывающей все определяющие отрасли индустрии. Это станет делом вполне возможным, когда автоматизация революционизирует транспорт.

Мы говорили об идеале. А в реальной жизни автоматизация делает только свои первые шаги. И хотя на пути ее возникает много трудностей и организационного, а если речь идет о применении автоматике в капиталистическом обществе — то и социального характера, но по размаху этих шагов видно, что принадлежат они будущему великану. Даже частичная, незавершенная автоматизация, характерная

для современного производства, увеличивает экономический эффект в пять, десять, а в некоторых случаях даже в сто и более раз.

На рижском заводе «ВЭФ» я видел станок, сконструированный слесарем Вольдемаром Бушем,— полуавтомат для изготовления петлеобразной пружины. Раньше на этой операции рабочий делал две тысячи деталей в смену, а теперь — сто девяносто две тысячи. Производительность труда возросла, таким образом, в девяносто шесть раз! И это, конечно, не предел.

Но едва ли не самое существенное следствие автоматизации нужно искать не в производстве, а за его пределами. Речь идет о невиданном еще увеличении свободного времени.

Человечество стоит на пороге новой научно-технической революции, необычайно значительной по своим последствиям.

Карл Маркс отмечал, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Он писал, что если ветряная или водяная мельница соответствует обществу, возглавляемому сюзереном, то паровая мельница соответствует обществу, возглавляемому капиталистом. Продолжая эту мысль, можно сказать, что если крупная машинная индустрия — это техника капитализма, подготовившая становление социализма, то автоматическое производство — это техника развитого социалистического и коммунистического общества.

Действительно, самый характер автоматической техники, ее внутреннее стремление к концентрации, к объединению требует планового социалистического ведения хозяйства. В то время как перед капитализмом автоматика ставит ряд неразрешимых проблем, и в первую очередь проблему все возрастающей безработицы, в коммунистическом обществе автоматика, требующая высокой умственной культуры от управляющих машинами людей и оставляющая им несравненно больше свободного времени для развития этой культуры, представляет собой необходимую основу слияния умственного и физического труда, всестороннего развития личности, творческого труда, полной свободы человека.

«Производственные отношения капитализма,— говорится в Программе КПСС,— слишком узки для научно-технической революции. Осуществить эту революцию и использовать ее плоды в интересах общества может только социализм».

ОГОНЬ В БУРЮ

Начавшаяся революция в технике вызвала смятение в капиталистическом мире. Споры по поводу социальных последствий автоматизации ведутся самые жаростные и с диаметрально противоположных позиций. Они поразительно напоминают чапековский диалог о роботах.

В общем, отношение буржуазных ученых и публицистов к автоматизации похоже на отношение больного к новому лекарству: он глотает пилюлю со смешанным чувством надежды и сомнения. Он хочет верить рекламе лекарства, но боится, как бы оно не оказало губительного действия. Однако болезнь такова, что выхода нет: это лекарство — единственный шанс на спасение.

Вот что говорил, например, Джон Кеннеди в 1960 году, незадолго до своих выборов: «Автоматизация...— это революция, несущая яркую надежду на дальнейшее процветание для трудящихся, на изобилие для Америки, но в то же время это революция, несущая с собой мрачную угрозу потрясений в промышленности, которые увеличат безработицу и углубят нищету».

Растерянность перед автоматизацией хорошо выразил и западногерманский теоретик Курт Доберер. «Я знаю из тысячи отдельных фактов,— пишет он,— что автоматизация, как огонь в бурю. Никто не ведает, куда бросится ее пламя, никто не знает, что будет им охвачено. И непонятность этой стихийной силы толкает людей к астрологам и предсказателям».

В роли прорицательницы выступает, в частности, и правая социал-демократия. Она создала успокоительную теорию для масс — теорию «второй промышленной революции».

Эта «теория» принята на вооружение западногерманской социал-демократической партии, французскими правыми социалистами, английскими лейбористами. Она оказалась чрезвычайно удобной для подновления давно обанкротившихся идей «трансформации капитализма в социализм» и для обоснования буржуазных концепций «планируемого», «народного», «гуманного» капитализма.

Термин «промышленная революция» присвоен этой теории по аналогии с первой промышленной революцией, которая, как известно, привела к торжеству капиталистических производственных отношений. Вторая революция якобы также будет не только научно-технической, но безболезненно и бескровно (то бишь без классовой борьбы и революции) вольет в одряхлевший организм капиталистического строя молодую кровь социализма.

Сочиняется рождественская сказка для взрослых. Научно-технический прогресс создает изобилие материальных благ, и, словно по мановению волшебной палочки, эксплуатация рабочих заменяется эксплуатацией роботов. Рабочий же класс превращается в «средний слой» и вливается в счастлившую среду собственников автоматических линий. После чего представители всех слоев общества наслаждаются «гармонией интересов» и «всеобщим благосостоянием».

Известный американский ученый и публицист Фриц Штернберг в своей книге «Военная и промышленная революция» (1957) писал, что в результате автоматизации и использования атомной энергии в США к 1975 году совершится революционное преобразование всей общественной жизни: производство удвоится, полностью ликвидируется нищета, будет введена четырехчасовая рабочая неделя, буржуазия снизойдет до уровня пролетариата, а пролетариат поднимется до уровня буржуазии.

Авторы пресловутого «Капиталистического манифеста» Л. Келсо и М. Адлер не удовлетворяются отрицанием классовой борьбы, они идут еще дальше. Они утверждают, что в современном обществе не капиталисты эксплуатируют рабочих, а, наоборот, рабочие эксплуатируют собственников средств производства. Да, да, они не шутят. Они утверждают это на основании «объективного» «научного» анализа! Подсчитано, пишут они, что мускульная сила человека составляет ныне один процент всей энергии, затрачиваемой в производстве. Отсюда делается такое умозаключение: «В настоящее время человек, в общем, представляет собой куда менее значительную производительную силу, чем в ранние периоды истории». Авторы рассчитывают, что читатель не заметил софистического трюка: уменьшение роли живого физического труда в создании богатств они отождествили с прямо противоположным процессом роста производительности труда. А раз так — то до желаемого вывода уже недалеко.

Поскольку, считают они, значительная часть богатств создается не рабочими, а «капиталом», под которым понимаются орудия и средства производства, а они в свою очередь принадлежат капиталистам, то последние по праву должны владеть и соответствующей долей вновь произведенных богатств. И тут-то Келсо и Адлер усматривают вопиющую несправедливость: «В то время как девяносто процентов богатства (в США.— Г. В.) создается капитальными орудиями, около семидесяти процентов получаемого дохода достается труду». Бедные капиталисты!

В этом выводе, как и в рассуждениях теоретиков «второй промышленной революции», есть, конечно, видимость логики. Какая, в самом деле, может быть эксплуатация, скажем, на заводе-автомате, если там нет рабочих? Автоматизация кажется в принципе несовместимой с эксплуатацией. Но ведь прибыли капиталист получать продолжает, и немалые. За счет кого? «Конечно же, за счет «капитала!» — восклицают новейшие опровергатели марксизма и тут же объявляют несостоятельными всю Марксову трудовую теорию стоимости, учение об эксплуатации и классовой борьбе и т. д. Автоматизация-де лишает марксизм реальной почвы, ибо она в своем развитом виде означает сведение пролетариата до минимума и впоследствии полное его упразднение.

Так наши идейные противники вводят едва ли не самый внушительный свой теоретический козырь, который, как им кажется, бить нечем. Но если подходить к этому вопросу не догматически, а с позиций научного анализа действительности — главного оружия марксистов, — то «козырь» оказывается фиктивным.

Опубликованный недавно на страницах журнала «Проблемы мира и социализма» обмен мнениями по поводу влияния автоматизации на структуру рабочего класса дает очень интересный материал для размышлений.

Действительно ли исчезает в результате автоматизации капиталистического производства пролетариат? Нет, в реальной жизни происходит процесс прямо противоположный. Дело в том, что автоматизация вербует в ряды пролетариата служащих (так называемые «белые воротнички»). Электронные счетные машины в канцеляриях и контролах делают бывших бухгалтеров, счетоводов, экономистов обычными операторами и наладчиками при этой новой технике, объединяемой в целые цеха. Условия их труда, их социальное положение все более приближается к положению высококвалифицированных и даже средней квалификации рабочих. Как отмечал журнал «Марксизм тудей», возникла возможность сменной работы в учреждениях — неслыханное доселе дело! Финансовые работники США получают в среднем на десять процентов меньше, чем квалифицированные рабочие, а торговые — на шестнадцать процентов меньше. Служащие, как и рабочие, объединяются в массовые профсоюзы, как и рабочие, они ведут ныне упорную стачечную борьбу за свои права, используя тактику, выработанную десятилетиями пролетарского сопротивления эксплуататорам. Небывалые прежде по масштабам забастовки служащих произошли в 1960 году во Франции, Италии, Аргентине.

Американский экономист Виктор Перло отмечает, что автоматизация ставит в близкое к пролетариям положение техников и чертежников, составляющих в США половину работников «интеллектуального труда». На первый план выступает не то, что разъединяет, а то, что объединяет их с рабочими: все они — представители наемного, эксплуатируемого труда. Как показывают данные «Американской исследовательской ассоциации по проблемам труда», общее число лиц наемного труда не только не уменьшается, а значительно возрастает. Если в 1940 году они составляли в США семьдесят пять процентов самодельного населения, то уже через шестнадцать лет эта цифра возросла до восьмидесяти двух процентов.

Далее. Автоматика по самой своей внутренней тенденции ведет к сращению умственного и физического труда, науки и производства. Научно-исследовательские лаборатории, оснащенные новейшей техникой, напоминают ныне производственные цеха, в то время как последние все более приближаются по своему характеру к лабораториям. Никогда еще научные открытия, технические изобретения не внедрялись так быстро в практику, никогда еще они не приносили такого быстрого и ощутимого экономического эффекта.

Как сказал однажды немецкий химик Бунзен, нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Лабораторные опыты инженеров, изобретения техников и даже, казалось бы, далекие от практики теоретические расчеты ученых в сфере «чистой науки» означают сейчас реальный вклад в материальное производство в значительно большей степени, чем прежде. Даже такая абстрактная наука, как математическая логика, поставлена ныне посредством кибернетики в положение «служанки производства». И важно подчеркнуть, что в отношении к средствам производства многие ученые, как и большинство «белых воротничков», находятся на положении пролетариев.

Темпы увеличения числа ученых выше, чем любой другой категории работников, они превышают также темпы роста народонаселения. Количество ученых в индустриальных странах растет на семь процентов в год, или удваивается каждые десять лет. По мнению Джона Бернала, до конца нынешнего столетия число ученых составит двадцать процентов всего населения. Все это позволяет сделать вывод, что по мере того, как в результате автоматизации масса эксплуатируемого физического труда уменьшается, возрастает масса эксплуатируемого умственного труда — труда ученых, инженеров, служащих. Другими словами, капиталистическое общество не только не упраздняет класс пролетариат, но, напротив, низводит до положения пролетариата все новые слои общества...

Капитал не может использовать технику, не может пожинать плоды научно-технического прогресса, не эксплуатируя человека. Капитал, по выражению Маркса, — это мертвый труд, который, подобно вампиру, оживает лишь тогда, когда высасывает труд живой.

Автоматизация означает новые, более утонченные формы эксплуатации и социального угнетения рабочих. Эту новую форму буржуазные идеологи используют, чтобы скрыть действительное существо отношений. Они, например, любят ссылаться на изменение условий труда: рабочий день стал намного короче, автоматизация избавила рабочих от чрезмерного мускульного напряжения, от трудоемких, вредных для здоровья производственных процессов, растет число квалифицированных рабочих, техников, инженеров и т. д. Но посмотрим, что происходит в действительности, какие процессы скрываются за всем этим.

Верно, рабочий день становится короче. Но за этот короткий день трудящийся ныне производит гораздо больше продукции, чем раньше. Если полвека назад ему нужно было пять часов из десяти, чтобы оправдать свою заработную плату, то теперь достаточно двух часов из восьми. Остальные шесть часов труда идут капиталисту. Отношение фонда прибылей к фонду заработной платы, которое показывает норму эксплуатации рабочего, составляло для Америки в 1947 году 210 процентов, а в 1956 году — уже 236,3 процента!

Но дело не ограничивается ростом относительной прибавочной стоимости. Отставание заработной платы от повышения цен на многие предметы широкого потребления вынуждает трудящихся искать дополнительных заработков. Три миллиона рабочих в США вынуждены добывать себе дополнительную работу. Фактический рабочий день этих довольно значительных групп населения держится на уровне прошлого века.

Верно, в принципе автоматизация ведет к повышению квалификации рабочих, к росту числа инженеров и техников. Но, как пишет американский экономист Виктор Перло, «автоматизация разрушила столько же профессий, сколько она создала». Известный профсоюзный деятель США Стенли Рутенберг заявил, что «сдвиг к профессиям нефизического труда есть движение к менее оплачиваемым видам труда».

Верно, условия труда стали более гигиеничными, но еще менее безопасными. Нервная напряженность приводит к большому росту психических заболеваний. Один человек из каждых десяти в США нервнобольной. Растет число травм, увечий. Вот что говорил, например, председатель профсоюза железнодорожников США У. П. Кеннеди: «Члены нашего профсоюза считают, что внедрение автоматического торможения с центральным управлением сделало некоторые работы более опасными... Правление занимается проповедями, но не обеспечивает безопасность, особенно в тех случаях, когда это сопряжено с денежными расходами без перспектив их немедленного возмещения».

Так проявляется эксплуататорская сущность в новом обличье, которое создает автоматизация. Так проявляются колдовские чары капитализма, о которых говорил Маркс, так происходит метаморфоза чудесных свойств новой техники!

Конечно, предприниматель, внедряя автоматическое оборудование, мог бы позаботиться о безопасности труда, мог бы в первую очередь автоматизировать такие процессы, которые требуют особого внимания от рабочего, особого напряжения, мог бы ввести в цехе бесплатные вечерние курсы повышения квалификации. Все это он мог бы сделать, если бы руководствовался не интересами прибыли, а интересами рабочих. Но это возможно лишь в том случае, если бы он был не предпринимателем, а директором социалистического завода.

Точно так же можно было бы избежать безработицы, если бы планомерно сокращать рабочий день всех трудящихся без ущерба для заработной платы, если бы в плановом порядке осуществлять переподготовку высвобождающейся рабочей силы, если бы использовать технику на полную мощность. Но для этого обществу следовало бы национализировать крупную собственность и стать на рельсы социализма.

Капитализм не может справиться ни с одной из этих социальных проблем. Более того, автоматизация при капитализме угрожает превратить в безработных большую часть общества.

Если прежде машина соперничала с рабочим в выполнении какой-то функции, то теперь, в век автоматов-роботов, она становится его конкурентом в целом. Если прежде, оказавшись на улице в период кризиса, трудящийся мог рассчитывать на то, что рано или поздно вновь появится потребность в его рабочей силе, то теперь ему ничем

утешаться, теперь у него нет надежды найти себе применение в прежней отрасли производства. Его место занято прочно автоматом. Такого рода безработные получили название «технологических». И это звучит как приговор.

«Технологических безработных» в США в 1959 году насчитывалось три миллиона. Научно-техническая революция вызвала к жизни новую, скрытую форму безработицы — она и занятых трудящихся превращает в полубезработных. Если в прошлом рабочие капиталистических предприятий боролись с чрезмерно длинным рабочим днем, то сейчас они выступают и против чрезмерно короткого. Расчеты показывают, что из каждых трех человек самостоятельного населения США один трудится чрезмерно, а другой обречен на полубезработицу.

По прогнозу Британского департамента научно-промышленных исследований, через двадцать лет в результате автоматизации шестьдесят процентов рабочих всего капиталистического мира останутся за воротами фабрик и заводов. Американские социологи считают, что к середине семидесятых годов шестьдесят пять процентов всех рабочих будут уволены.

Перед лицом роботов служащие тоже беззащитны. В одном только министерстве финансов США после введения автоматических счетных машин занятость уменьшилась почти вдвое. Во второй половине пятидесятых годов в результате применения электронных машин в США была уволена четвертая часть всех конторских служащих. Конгрессмен Элмер Дис Голланд докладывал в феврале 1961 года президенту США, что внедрение в конторскую работу машин повлечет за собой в ближайшие пять лет увольнение четырех миллионов служащих, то есть около половины всего их числа. Таких мрачных перспектив перед капиталистическим обществом никогда еще не вырисовывалось.

Что же остается делать в такой ситуации буржуазным идеологам? Они готовы признать все, что угодно, кроме основного: виновен во всем этом не научно-технический прогресс, а регресс эксплуататорского строя, его неспособность поставить достижения технической мысли на службу человеку.

Буржуазные идеологи не видят, что автоматизация, подобно языку в притче Эзопа, может быть и наилучшей и наихудшей из вещей. Все зависит от того, в чьих руках находится техника, с какой целью она применяется.

Не желая принимать это во внимание, многие социологи и экономисты капиталистических стран взваливают ответственность за все социальные беды на саму автоматику. Но и свои надежды, свои утопии о социальном рае в результате «второй промышленной революции» они также основывают на свойствах самих автоматов, на их потенциальных возможностях. Из противоречивого процесса развития техники в условиях капитализма они выделяют только одну сторону. Они ослеплены ее гигантскими шагами, ее фантастическими возможностями. И они склонны видеть лишь эти возможности, а не их реальное проявление. Они видят облегчение труда, а не его интенсификацию; улучшение материального благосостояния занятых рабочих, а не усиление степени эксплуатации; сокращение рабочего дня, а не полную или частичную безработицу. Они выдают внешнее за внутреннее, явление за сущность.

Это принципиально важный момент для понимания современного ревизионизма и реформизма. В нашей критике справедливо подчеркивается, что эти течения выражают позицию мелкобуржуазных слоев, рабочей аристократии. Тем самым дается политическая, классовая оценка ревизионизма и реформизма. Но сводить все лишь к этой оценке — значит упрощать дело. Тут, к сожалению, действует иногда своего рода идеологическая инерция.

Живучесть оппортунизма в том и состоит, что он основывается на извращенно трактуемых фактах капиталистической действительности. Спекулируя на знакомых, понятных рабочим явлениях, связанных, скажем, с научно-технической революцией, он преподносит их в одностороннем свете. А полуправду труднее распознать, чем грубую ложь.

Почему, например, сторонники теории «второй промышленной революции», мягко говоря, заблуждаются насчет «автоматической социализации» общества? Само развитие техники, и особенно электронной автоматики, недвусмысленно указывает, в каком на-

правлении должен идти прогресс человеческого общества, как должны изменяться общественные отношения, чтобы соответствовать возможностям новой техники. Все очевиднее, что «крот истории», как любил говорить Карл Маркс, роет в направлении к бесклассовому, свободному, процветающему обществу. И характерно, что теперь уже не только социал-демократические, но многие откровенно буржуазные идеологи, говоря о грядущем человеческой цивилизации, рисуют ее как бесклассовое общество (состоящее целиком из «средних слоев»), с плановой интегрированной экономикой, с «диффузией собственности», с изобилием материальных благ, с атмосферой духовной свободы и демократии. Создаются теории (У. Росту, Дж. Бернарда, Р. Арона, А. Берля и других), пытаются доказать, что капиталистический мир движется к социализму, что происходит Революция Возрастающих Надежд.

Подвергая справедливой критике несостоятельность, вздорность этих идей, вскрывая буржуазно-классовый характер подобных «надклассовых» теорий, наша контрпропаганда, к сожалению, упускает из виду одно чрезвычайно важное обстоятельство, которое имеет для дискредитации этих теорий едва ли не решающее значение. Современным апологетам капиталистического строя нечего противопоставить социализму, кроме самого социализма (хотя, конечно, их «социализм» представляет собой все то же буржуазное общество, лишь облаченное в социалистические одежды), ибо дискредитированные самим капитализмом буржуазные идеалы уже не могут привлечь массы. Так или иначе, буржуазные идеологи применительно к будущему проповедают тот же идеал, против которого ведут бешеную травлю в настоящем, ибо это сейчас — единственный общечеловеческий идеал.

Тем из них, которые считают осуществление этого идеала невозможным, остается лишь рисовать ужасы деградации и истребления человечества — то ли в результате атомной войны, то ли вследствие «революции роботов» (подобно П. Клитеру, Пьеру де Латилю и многим другим буржуазным социологам и фантастам).

«ТРУД ИЛИ ДОСУГ?»

С научно-технической революцией, в частности с автоматизацией, тесно связана проблема свободного времени.

Время — категория и физическая, и экономическая, и философская. Оно служит мерой движения в микромире и в космосе, мерой труда человека, стоимости произведенных им вещей и мерой жизни его самого.

Ежедневное время трудящегося человека, естественно, делится на рабочее и свободное. Рабочее время как мера труда основательно изучено политической экономией.

А время свободное? Вплоть до наших дней наука не занималась им всерьез. Да оно еще несколько десятилетий назад и в самом деле не играло большой роли в жизни общества. Рабочий день длился десять, двенадцать, четырнадцать часов. Он исчерпывал почти все время активной жизнедеятельности рабочих. Досуг едва хватало лишь на пассивный отдых, сон, еду, необходимый домашний труд. Собственно свободного времени — а под ним понимается время, «необходимое человеку для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил» (К. Маркс), — таким временем рабочих по существу не располагал.

Тогда общественный прогресс выражался в чем угодно, но только не в систематическом сокращении рабочего времени тружеников. Даже напротив — XIX век можно по праву назвать чемпионом по части принудительного увеличения рабочего дня до предела, данного природой. Маркс отмечал, что современное ему машинное производство заставляет рабочего трудиться больше, чем трудился дикарь или ремесленник.

В XX веке декретом первого рабоче-крестьянского правительства был законодательно установлен восьмичасовой рабочий день в нашей стране. В последние годы рабочая неделя в Советском Союзе была значительно сокращена.

Мы и сами не заметили, как в структуре нашего времени, а следовательно, и нашей жизни произошли в связи с этим коренные изменения.

Произведем несложные подсчеты. 41-часовая рабочая неделя (в среднем продолжительность рабочей недели у нас еще меньше — 40,2 часа) означает, что на обязательный труд падает лишь менее четвертой части недельного времени советского человека. Если же учесть отпускные и праздничные дни, то рабочее время составит лишь одну шестую всего фонда времени труженика.

Из внерабочего времени¹ следует вычесть часы для сна, еды, ухода за собой, приготовления пищи, мытья посуды, уборки, стирки, проезда к месту работы и т. д. Этого рода потери строго индивидуальны. Как показывают обследования, проведенные Институтом экономики Сибирского отделения Академии наук, они больше у женщин и значительно меньше у мужчин (на 25—30%), они больше у новосибирцев, красноярцев и меньше у москвичей (примерно на один час). В среднем можно считать, что это потерянное для творческой деятельности время составляет тринадцать—четырнадцать часов в сутки.

Остается три-четыре часа собственного свободного времени творческого досуга. Если к этому прибавить выходные и праздничные дни (здесь свободное время составляет в среднем девять часов в сутки), а также отпуска (где доля свободного времени в течение суток еще больше), то годовой фонд свободного времени составит в среднем около полутора тысяч часов в год и, таким образом, приблизится к фонду рабочего времени.

Впервые за всю историю общества трудящийся человек получает возможность посвящать свободной творческой деятельности и своему духовному развитию почти столько же времени, сколько он отдает необходимому труду. Это принципиально важный факт.

Перспективы еще более захватывающие.

Согласно Программе партии в ближайшие десять лет будет установлена 35-часовая неделя, которая затем сократится еще более. Некоторые экономисты и социологи полагают, что уже к концу века при благоприятных условиях появится возможность свести необходимый рабочий день к нескольким часам в неделю. Прогрессивный английский экономист С. Лилли в своей книге «Автоматизация и социальный прогресс» подсчитал, что Англия в условиях социалистического строя могла бы к 2000 году сократить рабочую неделю до двенадцати часов, а к 2010 году — до шести часов в неделю, то есть до одного часа в день!

Во всяком случае любые оценки темпов увеличения свободного времени обнаруживают пробивающую себе дорогу закономерность: по мере того, как количественно уменьшается место обязательного рабочего времени, регламентированного труда в жизни общества, соответственно возрастает место свободного времени, свободной творческой деятельности. Уже в обозримой перспективе свободное время займет доминирующее положение в создающей человеческой деятельности.

Какое влияние это окажет на все стороны жизни общества? Например, на характер труда, на развитие личности?

...Они делят день на двадцать четыре равные часа, причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть: три до полудня, после чего идут обедать; затем, отдохнув после обеда в течение двух послеполуденных часов, они опять продолжают работу в течение трех часов и заканчивают ее ужином.

...Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лени, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему разумению, удачно применить эти часы на какое-нибудь другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам...

Так рисовал коммунистическое общество один из первых его провозвестников Томас Мор. Обитатели острова «Утопия», по его словам, почитали свободное время за величайшее благо. Целью всего общественного развития «Утопии» было: предоставить

¹ Мы исходим из терминологии, предложенной группой экономистов во главе с Г. А. Пруденским. Все внерабочее время подразделяется на четыре основные части: а) затраты, связанные с работой на производстве, б) затраты на домашний труд и самообслуживание, в) время на сон и прием пищи, г) свободное время.

всем гражданам «наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования». В этом они видели «счастье жизни».

Картина, нарисованная Мором, близка нам. Но с одним нельзя согласиться. Автор «Утопии» резко разграничивает труд и досуг, как нечто прямо противоположное: труд — это «телесное рабство», а досуг — время для духовной свободы и образования.

Но что в этом удивительного: Томас Мор писал свою «Утопию» более четырехсот лет назад, а представление о труде и досуге, как о чем-то непримиримо различном, живуче до сих пор.

Мне вспоминается письмо группы рабочих одного свердловского завода, присланное в редакцию вскоре после опубликования Программы партии. В Программе говорится о шестичасовом рабочем дне, писали они. Н. С. Хрущев в одной из своих речей заметил, что будет время, когда люди в нашей стране будут работать три-четыре часа в день. Затем, очевидно, рабочий день сократится еще больше. Что же получается? Со временем люди вообще перестанут работать? Но ведь это приведет к маразму! Нужно ли сокращать рабочее время?

Авторы письма, очевидно, твердо уверены в том, что свободное время несовместимо с трудом. Спросить бы у них, что они делают во время досуга. Неужели только развлекаются? Вряд ли. Они расскажут, наверное, и о занятиях в вечерних школах, о часах, проведенных над книгой, над чертежом нового изобретения, над математическими расчетами. Но разве это не труд? Разве свободная деятельность в часы досуга — скажем, радиолюбительство, изобретательство, садоводство, занятия живописью, музыкой — не есть труд?

Разница как будто лишь в том, что на производстве, в учреждении труд носит обязательный характер, а во время досуга человек волен сам выбирать род своих занятий и ограничивать их продолжительность. Но и эта разница относительна. Уже и сейчас представители многих профессий в нашей стране затрудняются сказать, где у них кончается обязательный труд и где начинается свободная деятельность. Труд на производстве, в учреждении, в редакции, в научно-исследовательском институте для многих и есть их любимое дело, которому они посвящают и рабочее и часть свободного времени.

Разве можно, скажем, представить себе, чтобы подлинный ученый работал над мучающей его проблемой лишь установленные законом семь часов — строго «от» и «до»?

Когда электросварщика дважды Героя Социалистического Труда Алексея Улесова спросили: «Бываете ли вы когда-нибудь свободны?», он ответил так: «Если меня отрываю от любимого занятия, от моей работы, я чувствую себя скованно, нехорошо и всякий раз жду, когда освобожусь для дела, для работы. Но если мне выпадает дополнительно два-три часа для моего творческого труда, тут я чувствую себя и свободно и счастливо и не замечаю, как летит время».

Великая «цивилизаторская миссия» автоматизации и свободного времени в бесклассовом обществе в том и состоит, что сближаются такие некогда полярные антиподы, как труд и досуг.

В наше время, на наших глазах, с нами самими происходит двуединый процесс. С одной стороны — свободное время, поскольку его становится больше, расходуется людьми не только на отдых и развлечения, но главным образом на свободные творческие занятия, а с другой — обязательный труд освобождается от своих отрицательных сторон — монотонности, неинтересности, чрезмерной продолжительности, и приближается по своему характеру к свободной деятельности.

Посетим Краснодарский завод-автомат по производству втулочно-роликовых цепей. Просторное, светлое помещение напоминает скорее машинный зал электростанции, чем производственный корпус завода. Вдоль широких проходов зеленеют растения в кадках. Ровными рядами выстроились автоматические линии. Около них нет рабочих. Лишь несколько слесарей-наладчиков наблюдают за машинами. Посмотрят на сигнальные лампочки, прислушаются к ритму работы машин и идут дальше.

Характер труда слесарей-наладчиков принципиально иной, чем станочных рабочих. Наладчики действуют свободно. Чтобы устранить любые неполадки в автоматах, они

должны знать не только чисто технические, слесарные приемы, но и разбираться в современной физике, электронике, кибернетике.

И вот что интересно. Как показали исследования Р. И. Чочиева на Руставском металлургическом комбинате, при полной автоматизации рабочее время превращается в разновидность свободного времени, так как наладчики в течение своего рабочего дня имеют возможность и отдохнуть, и просто поразмыслить, и набраться новых знаний. Происходит все это совершенно естественно. Рабочий не прикован к одному виду станков. Он отвечает за функционирование всех агрегатов автоматической линии. Мало-помалу он становится разносторонним техническим специалистом, который разбирается в любом узле деталей. Таким образом, политехническое обучение, рассчитанное обычно на свободное время производственника, фактически происходит и в рабочее время.

Иностранцам, побывавшим в наших автоматизированных цехах, сразу бросается в глаза отсутствие бешеной гонки, которая неизбежно сопутствует автоматизации в капиталистических странах и превращает рабочего из придатка к станку в придаток к автоматической линии.

С. Лилли, побывавший на Первом Государственном шарикоподшипниковом заводе, писал: «Люди работали не спеша... Отсутствовало характерное для большинства нынешних предприятий ощущение бешеной гонки... большую часть времени работа производится без напряжения. При такой работе принимается во внимание не общее количество активного труда, который затрачивается рабочим, а умение рабочего предотвратить аварии и в случае необходимости быстро их устранить».

Подсчитано, что более трех четвертей рабочего времени наладчика идет на выполнение высококвалифицированных видов работ с творческим решением. В его деятельности органически сращиваются физический и умственный труд. На автомобильном заводе имени Лихачева на автоматических линиях по обработке картера сцепления труд рабочих на 64,2 процента состоит из умственной деятельности. Вот и попробуй определи: кто они — рабочие или инженеры, представители физического труда или интеллигенты?

Так в деятельности современных наладчиков — основной фигуры автоматизированных предприятий — проявляются черты коммунистического характера труда. Но то, что сказано о наладчиках, относится, может быть, только в меньшей мере, и ко многим другим профессиям. Уже тот факт, что рабочее время сокращено, делает труд в нашей стране менее утомительным, более желанным и интересным и одновременно более производительным. Маркс писал, что даже «...простое сокращение рабочего дня поразительно увеличивает правильность, однородность, порядок, непрерывность и энергию труда».

Но у нас есть еще даже на передовых предприятиях такие трудовые процессы, которые требуют чисто механических действий, и поэтому вряд ли могут принести внутреннее удовлетворение человеку. На рижском заводе «ВЭФ» я видел конвейер, где каждый механически совершает одну и ту же несложную операцию. Трудятся за этим конвейером молодые девушки, которые одновременно занимаются в вечерних школах, техникумах, институтах. Через год-два они станут техниками и инженерами. Их место займет новое молодое поколение, если к этому времени место конвейера не займет автоматическая линия.

Вот это-то и отличает советских рабочих от таких же конвейерных рабочих капиталистических стран, которые трудятся при больших темпах и мечтают только о том, чтобы их не уволили, и которым автоматизация угрожает потерей работы и квалификации.

Капитализм стремится все время рабочих закрепить как рабочее время, а «безделье немногих» сделать «условием для развития всеобщих сил человеческой головы» (К. Маркс).

Если во времена Маркса это отчуждение от трудящихся свободного времени осуществлялось грубо и зримо¹, то в современных экономически развитых странах капитала, где рабочий день законодательно сокращен, трудящиеся имеют несколько часов до-

¹ Рабочий день «насчитывает полные 24 часа в сутки, за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей службы» (К. Маркс).

суга. Однако вследствие интенсификации труда и особой нервной его напряженности они должны больше времени затрачивать на пассивный отдых, на восстановление сил. Усталость, пустота и механическое однообразие труда определяют и бессмысленное использование при капитализме свободного времени, которое в этом отношении служит естественным продолжением рабочего времени. Каков характер труда, таков, в общем, и характер проведения досуга.

А что говорить об использовании такого свободного времени, которое проявляется в форме безработицы?

Вот что писала в марте 1961 года американская профсоюзная газета «Лейбор» о положении в Детройте: «Многие здесь не имеют работы уже несколько лет... Распространяются преступления, насилия, усиливается апатия, чувство безнадежности, учащаются столкновения между людьми различных рас. Наблюдается распространение пьянства среди мужчин и женщин, которые стремятся таким образом убить время».

Убить время! Какие страшные слова. Ведь это звучит почти так же, как «убить жизнь». «С возрастом свободное времени,— признается западногерманский профессор теологии Г. Тилике,— в нашем языке повторяются слова «убить время», «прогнать время». Что, собственно, прогоняют и что убивают? Очевидно, то, что представляет смертельную угрозу и враждебность».

По мнению руководителя исследовательского центра Чикагского университета профессора Д. Римана, пять дней полной свободы в неделю будут представлять в будущем социально опасную проблему номер один. «Пословица: «Безделье — начало всех пороков» — угрожает стать для широких кругов смертельной действительностью».

Так величайшее благо капитализм превращает в социальную трагедию.

Социализм и особенно коммунизм совлекают с труда и досуга покров антагонистичности. Если капитализм стремится всю жизнь трудящихся подчинить производству стоимости и даже их свободное время превратить в источник прибыли, то бесклассовое общество, напротив, стремится все время жизни людей сделать творческим.

Огромное влияние на изменение характера труда окажет то обстоятельство, что станет излишним экономическое принуждение к труду — заработок.

Тот факт, что человеку для того, чтобы производить, нужно есть,— на протяжении всей истории оборачивался так: производить, чтобы есть. Значительное большинство своего времени, своей энергии, ума человечество вынуждено было расходовать на производство жизненно необходимых вещей. Жизнь тратилась на то, чтобы выжить.

Впервые в истории человек освободится от тяготевшей над ним экономической необходимости трудиться ради того, чтобы обеспечить себе и семье еду, одежду, квартиру, мебель, автомобиль и т. д. Ведь человек «выше тьмотости», выше животной заботы о желудке. Почти все свое время, всю свою жизнь он сможет посвятить свободной, но, разумеется, общественно полезной, творческой деятельности, род которой выберет сам. Освобождение от необходимости тратить большую часть всей своей энергии на обеспечение средств существования будет означать величайший поворотный пункт всей человеческой истории.

Человечеству не к чему станет тогда делить свое время на рабочее и свободное. Труд и досуг станут сторонами одного процесса воспитания и активной жизнедеятельности человека-творца. Чередуя различные виды общественно-полезной деятельности, он будет находить в этом и творческое удовлетворение, и отдых.

Отказ от творческой деятельности будет самым большим наказанием для человека. Недаром социалист-утопист XVIII века Морелли предлагал в будущем обществе ввести в качестве воспитательной меры отстранение бездельника от работы, «дабы праздностью же наказать праздность». Говоря об этом новом периоде истории человечества, Маркс употребил гордые слова: «Царство свободы». Он считал, что царство свободы начинается «по ту сторону сферы собственно материального производства», «где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью».

Изменение характера труда — не эстетическое требование, не благое пожелание, не поклонение абстрактному идеалу, а объективная необходимость, которая берет исток в сегодняшней действительности и в обозримой перспективе выливается в могучий

поток, захватывающий все сферы общественной жизни. Его основа — научно-технический прогресс, автоматизация; его мера — ововобное время.

Именно в этой реальной, научно обоснованной, экономически и социально гарантированной перспективе расцветает человеческой личности и состоит главная притягательная сила коммунизма для человечества. Именно поэтому буржуазные идеологи не жалеют мрачных красок и самой дикой нелепицы, чтобы запугать обывателя, изображая коммунизм как мир, где все будут думать только о перевыполнении нормы и вместо стихов заучивать кодекс коммунистической морали.

Французский буржуазный социолог Эмиль Баас, например, заявляет, что, по Марксу, человеческая личность ограничивается только способностями к производству, низводится до «экономических параметров» и поэтому-де советский человек оказывается неполноценным человеком.

«Вы говорите: труд, творчество, деятельность, а где же наслаждение?» — сетуют буржуазные идеологи.

К сведению наших оппонентов: коммунизм — это и есть общество для нас л а ж д е н и й. Разве творчество, творческая деятельность — не самое большое и самое человеческое наслаждение? Оно, конечно, не исключает и прочих видов наслаждения.

Призовем в свидетели самого Маркса. Говоря о всестороннем развитии личности в коммунистическом обществе, он пишет: «Стало быть — отнюдь не отречение от н а с л а ж д е н и й, а развитие силы, развитие способностей к производству и следовательно развитие как способностей, так и средств для наслаждения».

Да, способность к наслаждению тоже должна быть развита! И первейшим условием для этого служит свободное время. В наши дни люди в большинстве своем заняты в рациональной сфере деятельности (умственный и физический труд). И лишь немногие имеют возможность посвятить себя художественному творчеству. Это диктуется относительной бедностью общества, необходимостью направлять почти всю общественную энергию на создание материальных благ.

А ведь человек по природе своей не только рациональное существо, но в р а в н о й мере и эмоциональное. Подлинное богатство общества, измеряемое свободным временем, обеспечит всем и каждому возможность развить свои эмоциональные, художественные способности, выразить себя в танце, в поэзии, в свободной фантазии, в литературе и живописи.

Очевидно, рядом с полностью автоматизированным производством, в противовес ему, вновь расцветут художественные ремесла, сметенные в свое время машинной техникой. В фантастической повести В. Д. Никольского «Через тысячу лет», написанной в 1927 году, содержится много удивительных предвидений. Он, например, предсказал, что первый атомный взрыв произойдет в 1945 году. Очень верно, на наш взгляд, описывает он и некоторые черты труда при коммунизме. Автоматика обеспечит изобилие предметов потребления. Но с эстетической точки зрения людей не удовлетворяют вещи массового, стандартного производства. Поэтому предметы домашнего обихода, личного пользования люди предпочитают делать в свободное время сами, полукустарным способом.

Я трачу больше времени на ее изготовление, говорит герой книги, но зато это оригинальная вещь, произведение искусства.

МЕРИЛО БОГАТСТВА

Если краеугольным камнем экономической жизни буржуазного строя служит стоимость и ее формы, измеряемые рабочим временем, то коммунизм основывает свое представление о богатстве на свободном времени. Если буржуа ко всему подходит с меркой своего кошелька, если его прикосновение, подобно прикосновению мифического царя Мидаса, все обращает в золото, если для него человек лишь источник прибыли, то в коммунистическом обществе богатством, «капиталом» становится не то, что человек производит, а он сам. Происходит революционная переоценка ценностей в буквальном смысле этого слова.

При капиталистическом строе богатство общества — материальные и духовные блага — являются не только средствами существования (чем они должны быть), но целью существования как человека, так и всего общества в целом.

В то же время сама человеческая личность рассматривается лишь как средство извлечения стоимости. Будучи только средством, личность, естественно, ставится всей экономической организацией общества в подчиненное, зависимое отношение к продуктам своей собственной деятельности. К зависимости от природы добавляется зависимость от материала природы, преобразованного человеческой деятельностью, и значит, что «вещь» господствует над человеком в двояком отношении. Это касается не только рабочего, но и капиталиста. Мещанский мирок, в котором не вещи служат человеку, а человек посвящает жизнь накоплению вещей (в их предметной или стоимостной форме), в такой же, если не большей мере, является обезчелоченным, как и мир наемного рабочего, которого общество обкрадывает и физически и духовно.

Маркс устанавливает парадоксальную зависимость между развитием личности и богатства при капитализме. Рабочий, пишет он, становится тем более дешевым товаром, чем более богатств он создает, чем более дешевые товары он производит. Он все сильнее подпадает под власть созданного им богатства. В ином отношении, но также надежду, под эту власть подпадает и капиталист, ибо он, независимо от свойств своего характера, добросердечия или черствости, исправно несет возложенную на него капиталом человеконенавистническую функцию.

Богатство, проявляющееся в форме стоимости, в форме капитала, подобно Дракону в прекрасной сказке Евгения Шварца, требует, следовательно, от человека самого дорогого — утраты самого себя, обезчелочения.

Богатство при капитализме — отчужденная от личности, стоящая над нею, поработавшая ее сила. Такое «богатство», с точки зрения последовательного гуманизма, является признаком бедности общества. Эта социальная ущербность выражается в неспособности капитализма сделать материальные и духовные блага достоянием всех граждан. Капиталистическое общество возводит нищенский идеал сытости, материального благополучия, комфорта, преуспеяния в ранг высшей ценности именно потому, что оно не может всем гарантировать даже эту сытость.

Французский ученый Габриэль Ардан признает: «Пятьдесят процентов населения земного шара не получают даже минимального количества необходимых для жизни калорий, а двадцать пять процентов если и приближаются к минимальной норме, то не получают такие вещества, как протеины, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность человеческого организма. Имеются все основания заявить, что большинство населения земного шара живет на режиме концентрационного лагеря».

Но если мы возьмем даже экономически развитые страны капитала, то каким бы ни был высоким жизненный уровень их населения, каким бы богатством они ни кичились, ни одна из них в силу самого способа производства не в состоянии поставить в качестве своей основной задачи воспитание и развитие самого человека, удовлетворение его растущих потребностей. Ни одна из них не может даже создать для этого такое необходимое условие, как достаточное количество оплачиваемого досуга в с е х граждан.

При капитализме свободное время (точнее, характер его использования) служит мерилем нищеты общества, характернейшим признаком его социальной недоразвитости. Именно в этом отношении капитализм наиболее отчетливо демонстрирует «жалкую основу» «нынешнего богатства» (К. Маркс).

В наш век социальных переустройств и научно-технической революции, когда наука и вообще человеческие знания в полной мере превращаются в непосредственную производительную силу, когда даже от рядового рабочего в процессе труда требуются уже не столько мускульные, сколько умственные усилия, становится совершенно очевидным, что дальнейшее производство материального богатства попадает все в большую зависимость от духовного богатства членов общества, от степени их интеллектуального и культурного развития. Но как раз это развитие личности капитализм и не в силах осуществлять в должных масштабах. Многие буржуазные экономисты и социологи с тревогой отмечают нехватку квалифицированных рабочих, техников и инженеров, способ-

ных управлять новейшим автоматическим оборудованием. В результате в рамках производительных сил общества возникает противоречие между уровнем развития техники и уровнем развития трудящегося населения.

Предприниматель видит в рабочем не человека, а лишь рабочую силу. Ему нет дела до того, что носитель этой рабочей силы может быть и мыслителем, и поэтом, и художником, что он может дать обществу неизмеримо больше, если будет гармонично развит и образован. Не будучи в силах обеспечить требуемое техникой интеллектуальное и многостороннее развитие личности, капитализм оказывается не экономичным, так как он крайне расточительно использует основную производительную силу общества — человека. Экономя за счет здоровья трудящихся, их недооказания, снижая и без того низкие ассигнования на образование, культуру, социальное обеспечение, создавая армии безработных, капиталистическое общество обворовывает самое себя, преступно растрчивает величайшее богатство общества — творческие возможности человека, а тем самым и свое материальное богатство. Капиталистическая экономика, стало быть, по всем линиям (тут, помимо сказанного, и кризисы, депрессии, замораживание новой техники, однобокое милитаристское развитие, хроническая недогрузка предприятий и т. д.) обнаруживает себя как экономика расточительства.

Здесь кроется решающее преимущество социалистической системы. В наше время в экономическом соревновании с капитализмом критерием богатства выступает не только производство на душу населения, но и, если можно так выразиться, «производство» самой этой «души», то есть всестороннее развитие личности как главный фактор созидания, определяющий и экономический и культурный прогресс общества, рост его материальных и духовных ценностей. В этом отношении наша страна и сейчас уже неизмеримо богаче любого самого развитого капиталистического государства, ибо ни одно из них не может сравниться с нами по постановке образования, профессионального обучения, по уровню развития культуры и искусства.

Директор Кильского института экономики Фриц Бааде в своей недавно вышедшей книге «Соревнование к 2000 году» назвал результаты сравнительного анализа системы образования в СССР и в США «просто устрашающими». «Превосходство советской системы над западной, — пишет он, — зиждется не только на том, что в СССР затрачивают на развитие образования и науки вдвое большую долю национального дохода, чем Запад, но и на том, что выделенные на эти цели средства расходуются более планомерно и централизованно».

Первое место по подготовке инженеров, техников, врачей, ученых, учителей, агрономов и т. д. обеспечивает нам в недалекой перспективе достижение первого места во всех сферах хозяйственной и культурной жизни. По данным академика С. Г. Струмилина, соотношение затрат на образование и экономический эффект от этих затрат равняется 1:6. Вот где кроется источник нашего богатства!

Гегель заметил как-то, что название цивилизованного человека приличествует только таким людям, которые сумеют сделать все, что делают другие. В этом смысле коммунистическое общество будет самым цивилизованным обществом на земле. Всесторонне развитые люди, их знания, их умения обеспечат невиданный взлет науки, невиданные темпы роста производства.

Один только дополнительный час свободного времени, который получили наши трудящиеся в последние годы, обогатил наше общество тысячами новых инженеров и техников, сотнями тысяч новых проектов и изобретений. На Минском радиозаводе в течение одного только года число уходящих без отрыва от производства возросло с трехсот пятидесяти пяти до четырехсот одного человека. На рижском заводе «ВЭФ» при восьмичасовом рабочем дне подавалось две с половиной тысячи рационализаторских предложений в год, а при семичасовом — уже три тысячи пятьсот предложений. Три года назад каждый двадцать пятый рабочий участвовал в кружках художественной самодеятельности, а сейчас — каждый шестой.

По данным НИИ труда, после перехода на семичасовой рабочий день рабочие нашей страны стали уделять больше времени: чтению (кроме газет) — на двадцать пять процентов, общественной работе — на десять процентов, кино — на тридцать процентов, спорту — на восемнадцать процентов. За десять лет — с 1950 по 1960 год — число изо-

бретателей и рационализаторов возросло в пять раз и составило 5 миллионов 431 тысячу человек.

Так на практике подтверждается сформулированный Марксом важнейший социально-экономический закон коммунистического общества: мерилom богатства общества, мерилom того неопенимого капитала, которым является всестороннее и гармоничное развитие личности, будет свободное время.

Вывод К. Маркса о подлинном богатстве при коммунизме, о противоположности его богатству капиталистического общества — одно из величайших завоеваний научной мысли. Этот вывод имеет особенно большое теоретическое и практическое значение в настоящий период ожесточенной борьбы двух идеологий — буржуазной и коммунистической. Противопоставляя «капиталу» как воплощению богатства капитализма — человека как «основной капитал» коммунистического общества, К. Маркс характеризует тем самым антигуманный характер одного общества и подлинный гуманизм другого. Категория богатства позволяет вскрыть самые существенные черты и самое существенное отличие коммунизма от капитализма. Эта категория, как и органически связанная с ней категория свободного времени, служит одним из краеугольных камней в фундаменте теоретического здания научного коммунизма.

Величие этой Марксовой формулы также в том, что он на место пустопорожнего словословия человеку буржуазных социологов поставил строгую закономерность Человека — «основной капитал» в коммунистическом обществе! Эта мысль у Маркса приобретает значение такого же непреложного экономического факта, как данное им же понятие «основного капитала» при капитализме.

В подготовительных рукописях к «Капиталу» Маркс впервые делает попытку не только охарактеризовать коммунизм политически и экономически, но и вывести его закономерности, его понятия и категории из самой действительности, из тенденций развития техники и экономики. Маркс тем самым дает золотой ключ к социально-экономической науке будущего. Здесь грандиозное поле деятельности для наших экономистов и социологов.

Грядущий XXI век будет веком свободного времени. Обществоведение будущего в противовес политической экономии капитализма должно будет основываться не на рабочем, а на свободном времени.

Мы свидетели того, как необычайно ускоряются шаги истории. Десятки веков потребовались людям, чтобы перейти от каменного к железному топору. Прошло много столетий, пока появились первые ручные станки. Менее двухсот лет отделяют первую промышленную революцию от той, которая совершается на наших глазах.

Трудно себе даже представить, какими шагами пойдет прогресс производства, науки и искусства, когда человеческая голова и руки будут освобождены от необходимости трудиться для обеспечения собственного существования! Это будет чудесный взлет в небывалое.

Автоматика — техника коммунизма. Полностью автоматизированное производство несовместимо с капитализмом, оно, как мы видели, загоняет его в тупик неразрешимых противоречий.

Общество без будущего вольно или невольно видит свой идеал в «эре роботов». Общество, прокладывающее путь к коммунистическому будущему всего человечества, противопоставляет этому научно обоснованный идеал Эры Человека, подлинного Царства Свободы, где «роботы» будут послушными и могучими помощниками человека.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

А. ШТЕЙНГАУЗ

★

ИНЖЕНЕР И ПРИРОДА

БИОНИКА. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Кто-то подсчитал: научных дисциплин существует около тысячи двухсот. Точнее, тысяча сто пятьдесят с небольшим. Количество огромное, но в наши дни не ошеломляющее; наоборот, иные подумают, что каких-то наук еще и не досчитались. Может, и вправду так. Не удивит нынче никого и рождение новой науки: иной раз кажется, что появляются они чуть ли не ежегодно.

Недавно в перечне наук добавилась еще одна. Вначале безымянная, она вскоре получила имя: «Бионика».

Сегодня о бионике знают немногие, но завтра о ней, наверное, заговорят с той же страстностью, с какою нынче говорят о кибернетике. Быть может, именно ей, бионике, суждено наиболее резко преобразить мир, в котором мы живем.

Бионика. Слово незнакомое и тем не менее вызывает определенные ассоциации. Уж не составлено ли оно из слов «биология» и «электроника»? И биология и электроника играют тут немалую роль. Однако происхождение слова «бионика» иное. Оно образовано из древнегреческого слова «бион», что означает «ячейка жизни». Подобно биологии, бионика интересуется живой природой. Но цель у нее совсем иная. Она изучает жизнь лишь для того, чтобы понять, в чем природа совершеннее, умнее, экономичнее современной техники, и, поняв, дать в руки инженеров новые знания, новые методы и средства решения стоящих перед ними сложнейших проблем.

Один из ученых следующим образом определил бионику: «Она является искусством применения знаний о биологических системах и методах к решению инженерных задач». Основное внимание бионика сосредоточивает на том, как работает орган, а не на его анатомических особенностях, — если последние не важны для решения технической проблемы.

Новую науку не придумывают, приставив палец ко лбу; почти всегда новое рождается по необходимости, в мучительных поисках выхода из тупика, куда рано или поздно заводят науку или технику старые воззрения, старые методы.

Какие же трудности, какие причины вызвали к жизни бионику?

Одна из причин — невероятная и непрерывно растущая сложность современных технических систем. Это особенно ярко видно на примере такой процветающей отрасли техники, как радиоэлектроника.

Тот, кому приходилось забираться в кабину современного реактивного истребителя, знает, что устроиться на сиденье пилота, не зацепив за тумблеры, не ударившись коленом о приборную доску, не так-то просто. Кабина истребителя и специальные приборные отсеки фюзеляжа до отказа забиты электронной аппаратурой. Обилие циферблатов, стрелок, тумблеров, кнопок подавляет. Кажется невозможным даже запомнить назначение каждого прибора, каждого органа управления, и уже совершенно не представляешь себе, как удастся летчику в маши-

не, мчащейся со сверхзвуковой скоростью, манипулировать всеми необходимыми органами управления, следить за показаниями приборов и вести при этом бой.

Известно, что стоимость радиоэлектронного оборудования современного самолета составляет от сорока до шестидесяти процентов от общей стоимости машины. Может быть, конструкторы допускают некие «архитектурные излишества»? Нет. Каждый из установленных на самолете приборов совершенно необходим. Более того, количество и объем такой безоговорочно необходимой аппаратуры не сокращаются, а, напротив, непрерывно возрастают. Вот пример: в бомбардировщике В-17, находившемся на вооружении США перед войной, было две тысячи электронных узлов и деталей. Современный американский бомбардировщик В-58 «хастлер» имеет их уже девять тысяч; стоимость электронного оборудования этого самолета приближается к десяти миллионам долларов.

Непрерывное совершенствование техники ведет к росту и усложнению комплексов оборудования не только в самолетостроении, но и во всех других отраслях — в энергетике, в связи, на транспорте и т. д. Невероятно усложнившиеся технические задачи требуют от новых систем очень высокой надежности в работе. Но чем система сложнее, тем вероятнее возникновение ошибки или даже отказа. Этот порочный круг создает в свою очередь новые сложные технические задачи.

Чтобы поддерживать сложную современную техническую систему в рабочем состоянии, приходится содержать огромный штат квалифицированного обслуживающего персонала, хранить огромное количество запасных частей, расходовать колоссальные средства. Так, например, стоимость обслуживания американского самолета В-58 превышает полмиллиона долларов, а одному часу летного времени такой машины предшествуют пятьдесят человеко-часов предполетной подготовки.

Срок службы самолета очень мал — две-три тысячи летных часов. Но за этот срок придется затратить сто—полтораста тысяч человеко-часов на земле! Если бы безотказность работы самолетной аппаратуры была столь же высока, как и безотказность биологических систем, которые служат живым организмам на протяжении всей их жизни, — каждая промышленно развитая страна, располагающая авиационным флотом, скажем, в две тысячи единиц, сэкономила бы на каждой тысяче летных часов всех машин примерно двести миллионов человеко-часов высококвалифицированного труда!

Дело тут не только в экономии. Не следует забывать и о чисто человеческой проблеме. Мы стремимся освободить людей от нетворческого труда, сделать рабочих не придатками машин, а их повелителями. Для этого мы вводим и совершенствуем автоматизацию. Но надежность современных технических комплексов все еще низка. И в результате создается целая армия ремонтников и эксплуатационников — очень квалифицированных рабочих, техников и инженеров, которые по существу не повелевают машинами, а обслуживают их.

Что же будет дальше? Если люди не научатся делать новые машины, которые по надежности были бы равны живым организмам или даже превосходили их, — все большее количество специалистов будет отвлекаться на эксплуатацию машин. Или, попросту говоря, машины нас поработят, превратят в своих слуг, ибо иначе они не смогут работать. Ведь они слишком «глупы», чтобы работать самостоятельно. А это куда страшнее, чем бунт мыслящих машин, о котором так любят рассуждать иные фантасты! Страшнее потому, что проще, понятнее и реальнее!

В последние годы от специалистов по радиоэлектронике (да и не только радиоэлектронике) можно было часто слышать о «кризисе инженерных идей». И это при тех успехах, которых с такой видимой легкостью добывается радиоэлектроника! Что это — высказывания пессимистов? Нет. В этих словах есть правда. Дело в том, что многие современные задачи приходится решать методом «грубой силы» (этот метод так и называется в радиоэлектронике) — то есть наращивая мощности, увеличивая вес и размеры, но основываясь при этом на неизменных принципах. А новые принципы еще не открыты.

В этом и состоит кризис идей.

Он-то и представляет собой одну из причин, вызвавших к жизни бионику.

Очутившись в тупике, ученые и инженеры, которые в большинстве своем каких-нибудь три года назад смотрели на природу примерно так же, как студент, освоивший дифференциальные уравнения, на шестиклассника, корпящего над исками, — вдруг поняли, что у матери-природы есть чему поучиться. Толчком к этому послужил поразительный прогресс электроники, кибернетики, физики, химии и других современных наук.

Основные идеи и теоретические предпосылки нынешнего развития радиоэлектроники, вычислительной техники и других были сформулированы между 1940 и 1950 годами. Тогда же были созданы и многие новые технические устройства: радиолокаторы, вычислительные машины, управляемые реактивные снаряды, реактивные самолеты, целый ряд автоматических систем и приборов для контроля, управления и измерений, а также для научных экспериментов.

Одними из основных элементов всех перечисленных устройств были радиолампы, сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы. Размеры этих элементов определялись отчасти их электрическими свойствами, отчасти возможностями применяемых материалов, но главным образом самим человеком, его руками, возможностями зрения: ведь изготовление этих элементов, а особенно сборка аппаратуры требовали большой доли ручного труда.

Время шло, и задачи, выдвигаемые жизнью, усложнялись. По функциональной сложности многие электронные устройства стали отдалять напоминая участки нервной системы живых организмов. Но попутно непомерно возрастали габариты этих устройств, увеличивалось потребление электроэнергии.

Трудно сказать, что случилось бы дальше, если бы в начале пятидесятых годов инженерам, мало что знавшим о физике твердого тела, не пришли на помощь созданные этой наукой новые устройства, аналоги электронных ламп — полупроводниковые приборы — транзисторы, — долговечные, миниатюрные, потребляющие чрезвычайно мало электроэнергии. А вслед за ними новые элементы — миниатюрные сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и многие другие. Сборка аппаратуры из таких элементов стала механизированной. И, что особенно важно, габариты аппаратуры и потребление электроэнергии резко уменьшились.

Это было лишь началом. В наши дни новые элементы, выполненные главным образом на основе законов физики твердого тела, стали поступать в распоряжение инженеров столь часто, что они едва-едва успевают осваивать эти новые элементы. Однако физика твердого тела в содружестве с новыми технологическими методами дала инженерам не только элементы. Теперь уже становится возможным создавать целые функциональные узлы и устройства, вводя контролируемые микронеоднородности в полупроводниковые материалы. Радиоэлектроника переходит от макросхем к схемам, выполненным на молекулярном уровне, к так называемым молектронным схемам. У них множество достоинств. Для нас же важны: высокая надежность, необыкновенно малые размеры и очень малое потребление электрической мощности.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что нервные системы живых организмов тоже представляют собой схемы, «собранные» из нервных клеток — нейронов. Живые схемы чрезвычайно сложны и состоят из огромного количества элементов. Если собрать электронный аналог даже простейшей из них, пользуясь самыми миниатюрными сопротивлениями, конденсаторами и транзисторами, он все еще будет иметь несравненно большие размеры, чем живая схема, а для работы такого аналога потребуется затрата значительно большей энергии. Даже самые экономичные вычислительные машины потребляют значительно больше электроэнергии, чем гратится в большой квартире на освещение и работу всех электрических бытовых приборов. А наш мозг, в котором имеется несколько десятков миллиардов элементов (то есть в миллионы раз больше, чем в самых сложных вычислительных машинах), потребляет мощность, равную двадцати ваттам. — столько же, сколько лампа, которую самые скарредные жильцы посовестились бы вернуть в коридоре коммунальной квартиры.

Только самые последние успехи микроминиатюризации позволят (да и то в будущем) довести плотность монтажа элементов аппаратуры до величины, сравнимой с плотностью «монтажа» нервных клеток в живых организмах. Ожидается, что новые технологические методы в сочетании с методами, разработанными в электронной микроскопии, дадут возможность создавать микроминиатюрные схемы с плотностью до пяти миллиардов элементов в одном кубическом сантиметре. Для сравнения стоит напомнить, что число нейронов центральной нервной системы человека составляет несколько десятков миллиардов. Таким образом, можно надеяться, что электроника получит весьма совершенные средства для создания моделей сложных живых систем. Модели будут иметь приемлемые габариты, потреблять умеренную мощность и, что особенно важно, будут надежно работать.

Именно эта возникающая в наши дни возможность — следствие достижений электроники, физики и других наук — и есть та вторая причина, которая вызвала к жизни бионику.

Развитие электроники в свою очередь дало биологическим наукам столь тонкие, столь совершенные экспериментальные методы, что оказалось возможным выяснить поразительные факты.

Однако большинство этих фактов не привлекло бы внимания инженеров, не было бы правильно понято и истолковано, если бы не кибернетика. Эта наука позволила сомкнуть между собой биологические науки и многие разделы техники. И инженеры обратились к фактам, добытым у живой природы, в надежде, что они подскажут новые пути в технике.

Эта надежда и есть третья причина зарождения бионики.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Пожалуй, прежде всего внимание инженеров привлекли новые — а иногда и старые, но по-новому понятые — факты о работе органов чувств человека и животных. Дело в том, что в технике сейчас применяется множество разнообразных искусственных органов чувств, так называемых датчиков, необходимых для научных исследований, для контроля производственных процессов и автоматизации.

Датчики позволяют преобразовывать самые разнообразные физические величины, начиная от температуры и кончая интенсивностью радиоактивного излучения, в пропорциональные (обычно электрические) сигналы. Эти сигналы по радио или по проводам передаются на контрольно-измерительные приборы или в управляющий орган автомата.

До самых недавних пор подавляющее большинство инженеров считало, что по своим характеристикам современные датчики значительно превзошли органы чувств животных. Это, однако, было заблуждением. Новейшие исследования не оставляют ни малейшего сомнения в том, что технике во многих отношениях еще далеко до природы.

Прежде всего стало ясно, что органы чувств животных в сравнении с датчиками имеют фантастически высокую чувствительность. Так, например, многие животные могут видеть столь слабый свет, что его не обнаружит почти ни один датчик; слышать такие тихие звуки, каких не уловит почти ни одному прибору. Если же говорить об обонянии, то надо признать, что наука толком не знает, что же собственно такое запах и какими путями создать прибор, выполняющий те же функции, что и нос.

Человек, зрение которого уступает зрению многих животных, в ясную, безлунную ночь в состоянии увидеть пламя свечи на расстоянии в одиннадцать километров. И в то же время он отлично видит при освещенности, в миллионы раз большей.

Ухо здорового человека воспринимает звуки, создающие ничтожно малые давления. Столь малые, что механические смещения, вызываемые этими звуками во внутреннем ухе, равны одной десятиллиардной доле миллиметра; такие смещения меньше размера атома. И тем не менее именно они вызывают в мозгу ощущение звука.

Некоторые рыбы чрезвычайно чувствительны к химическим примесям в воде. (Органы вкуса и обоняния рыб функционально не столь резко различаются, как у сухопутных позвоночных. Они часто располагаются по всему телу и даже на хвосте.) Рыбы одного из видов реагировали на пахучее вещество, растворенное в воде в пропорции один грамм на сто триллионов литров, или примерно тридцать граммов на все Аральское море!

Самцы бабочки «павлиний глаз» разыскивают самку на расстоянии десяти километров. Они находят ее даже в том случае, когда ее помещают в стеклянную банку, правда, банка должна быть прозрачна для инфракрасных лучей.

Охотиться за жертвой гремучей змее помогают не только органы зрения и слуха. Между ноздрями и глазами у нее находится орган, чувствительный к инфракрасным, тепловым лучам. С его помощью змея в состоянии различать изменения температуры в одну тысячную градуса.

Даже самая чистая вода значительно менее прозрачна, чем воздух. Поэтому дальность видимости в воде никогда не превосходит десятка — двух десятков метров. Этим объясняется то, что зрение у рыб и многих водных животных — орган ближнего восприятия и не играет столь же важной роли, как у животных сухопутных. Зато вода практически несжимаема и значительно лучше воздуха проводит звук. Поэтому слух у рыб и водных животных имеет первостепенное значение. Помимо слуха, распространяющиеся в воде колебания рыбы воспринимают особым органом — так называемой боковой линией. Во время второй мировой войны вокруг торпедированных судов довольно скоро и в очень большом числе собирались акулы. Полагают, что именно орган боковой линии позволял этим хищникам чувствовать и определять местоположение взрыва с очень больших расстояний. Акула, которую искусственно лишили зрения и слуха, продолжала реагировать на различные возмущения, распространяющиеся в воде. Опыты с пресноводными рыбами также показали, что, пользуясь боковой линией, ослепленные рыбы продолжают успешно охотиться.

Не только слух и зрение позволяют рыбам ориентироваться в воде. Некоторые рыбы полагаются на такие органы чувств, которых нет у других видов. Так, нильская рыбка «мормирус» ориентируется в мутной илистой воде великой реки, полагаясь на орган, чувствительный к изменению электрического поля, которое она сама же и создает вокруг себя. Орган, генерирующий переменное электрическое поле, находится на хвосте мормируса, а воспринимающий — на спине. Чувствительность такой системы очень высока. Утверждают, что поймать мормируса в сети невозможно. Интересно отметить, что помещенный в аквариум мормирус очень активно реагирует даже на электрические разряды, которые возникают на гребенке, когда наблюдатель, находящийся неподалеку от аквариума, причесывается.

Вообще говоря, все рыбы реагируют на электрические токи в воде. В зависимости от величины тока они ведут себя по-разному. Очень слабые токи отпугивают рыб, более сильные заставляют их ориентироваться по направлению поля совершенно определенным образом, подобно тому как ориентируется по направлению магнитного поля стрелка компаса. Еще большие токи заставляют рыб передвигаться по направлению к электроду, опущенному в воду. На этом, кстати, основан электрический лов рыбы.

Магнитное поле также воспринимается рыбами, птицами и даже кроликами. Какой-либо специфический орган пока еще не обнаружен ни у одного животного, и ученые склонны считать, что магнитное поле воздействует непосредственно на центральную нервную систему.

Перечень примеров можно продолжить, но, пожалуй, стоит добавить лишь одно. Целый ряд фактов указывает на то, что далеко не все органы чувств животных известны сегодня науке. Так, например, не объяснено еще, почему многие животные предчувствуют надвигающиеся стихийные бедствия: некоторые рыбы — приближение цунами, птицы и другие животные — непогоду и даже землетрясения.

Приведенные примеры показывают, что органы чувств реагируют на различные раздражители. На органы зрения воздействует лучистая энергия; на органы

слуха и осязания — механическая; к химической энергии чувствительны органы обоняния и вкуса; знает наука и об органах, реагирующих на энергию электрического и магнитного поля. Некоторые простейшие организмы чувствительны к радиоактивным излучениям.

Иначе говоря, всем известным на сегодня видам энергии соответствуют те или иные органы чувств, созданные природой. Мы, однако, не можем утверждать, что человечеству известны все виды энергии и все разнообразие органов чувств. В таком случае не удастся ли путем изучения органов чувств животных найти такие, которые реагировали бы на не открытые еще виды энергии? Ведь если бы такая попытка удалась, можно было бы установить существование и физическую природу нового вида энергии.

И если уж продолжать фантазировать, стоит упомянуть кажущиеся нередко вымыслом сообщения о передаче мыслей на расстоянии. Если наука признает заслуживающими доверия хотя бы часть подобных сообщений, то на повестку дня немедленно встанет вопрос о виде энергии, с помощью которой передаются мысли. Вопрос этот возникнет неизбежно, ибо для передачи любого вида информации энергия абсолютно необходима.

Открытие нового вида энергии всегда приводило к революциям в естествознании, а в более широком плане — к коренному изменению жизни человеческого общества. Может быть, на сей раз роль такого преобразователя жизни человеческого общества выпадет на долю бионики.

ТО, ЧЕГО НЕ УМЕЕТ ТЕХНИКА

Органы чувств превосходят датчики не только своей восприимчивостью. Подавляющее большинство даже самых совершенных датчиков в состоянии определить лишь силу воздействия раздражителя: ярче или тусклее, громче или тише, сильнее или слабее. Органы чувств могут делать гораздо большее — они анализируют внешние раздражения.

Так, глаза реагируют не только на величину яркости. Они могут отличать друг от друга бесчисленное множество цветовых оттенков, ощущать глубину пространства и, что особенно важно, различать предметы по форме.

Уши, воспринимая звуки, позволяют определять направление прихода звука, различать даже очень малые изменения высоты звукового тона и выделять из совокупности звуков отдельные самостоятельные звучания — инструментов в оркестре, различных агрегатов в работающем двигателе и так далее.

Вот этим-то избирательным вниманием, этой способностью выделять из множества однородных по своей физической структуре звуков только те, которые интересуют нас, или, как говорят, выделять сигнал из шумов мы обязаны замечательным свойствам нашего слуха.

Каждый радиослушатель знает, что количество мешающих друг другу станций год от года увеличивается, и это явление стоило бы назвать «эффектом взбесившегося эфира». Так вот, ученые и инженеры не знают пока надежных принципов создания такой аппаратуры, которая в условиях «взбесившегося эфира» могла бы отстраиваться от помех и реагировать только на полезные сигналы. Если бы удалось выяснить механизм действия нашего слуха (а это, конечно же, будет сделано), можно было бы создать значительно более помехоустойчивую радиоаппаратуру.

У зрения способность к избирательному вниманию выражена, может быть, даже лучше, чем у слуха. Так, мы без труда следим за одним из самолетов в воздушном строю, наблюдаем за одной звездой и находим заданный предмет среди множества однородных по таким ничтожным отличиям, каких не заметит ни одно из существующих технических устройств.

Конечно, работу глаза или уха нельзя рассматривать в отрыве от работы головного мозга. Видимо, последнему мы обязаны столь высоким совершенством аналитических способностей этих двух важнейших органов чувств.

Однако на это можно взглянуть и по-иному, сочтя, что органы зрения и слуха являются неотъемлемыми частями собственно мозга. Недаром же глаза и уши находятся в теснейшем соседстве с мозгом. Иными словами, правомерно рассматривать глаза и уши как части мозга, вынесенные наружу. Такой подход близок к истине, хотя исследования показывают, что эти органы сами по себе производят очень сложные (и пока еще до конца не понятые) операции над входящими извне сигналами. И выполняют их столь совершенно, что ни одна техническая система не может пока идти ни в какое сравнение с ними.

Сейчас ученые усиленно работают над проблемой общения человека и вычислительной машины. В наши дни такое общение крайне затруднено. Чтобы ввести в машину какие-либо данные, их приходится предварительно переводить на язык, понятный машине. Для этого на специальных лентах или картах в определенном порядке пробиваются отверстия, часто закодированные данные записываются на магнитной ленте. Затем ленту протягивают с определенной скоростью перед «органом чувства», заменяющим машине глаза, и таким образом вводят в машину данные. Это сложно, долго и неудобно.

Было бы куда проще, если бы электронная вычислительная машина умела читать хотя бы печатный (не говоря уже о рукописном) текст или же понимала речь. К сожалению, о том, как это сделать, знают пока только авторы научно-фантастических романов. Что же касается ученых, то лишь совсем недавно они предприняли попытку создать устройства, читающие текст. И это оказалось очень сложным делом. Изменение размеров букв, типа шрифта и даже наклона, неравномерность расстояний между буквами в слове и между строками — все это сбивает читающее устройство, заставляет его путаться и отказывать в работе.

Мы же при чтении не замечаем ни мелких типографских дефектов, ни различия в шрифтах. Более того, знакомые слова мы понимаем, даже не прочитывая их целиком. Иные же люди воспринимают одновременно по нескольку слов.

СЮРПРИЗ ДЕЛЬФИНА

С давних пор малайские рыбаки находили рыбы стаи по звуку. Для этого стоило лишь опустить голову в воду — и, конечно, нужно было знать, какие звуки издают те или иные рыбы. А вот ученым о звуках, издаваемых рыбами, стало известно совсем недавно.

Кое-что уже понятно. Звуки, издаваемые рыбами, служат своего рода сигналами. Они резко меняются в зависимости от смысла. Зеленушки, например, иногда издают цоканье, а иногда звуки, напоминающие барабанный бой. Первый звук имеет смысл предостережения, привлечения внимания. Зеленушки издают его перед началом питания или перед дракой. Барабанный бой носит характер угрозы. Множество разнообразных звуков, смысл которых еще не ясен, издает белуга.

Но еще богаче «язык» дельфинов. Эти животные из подотряда зубатых китов в настоящее время привлекают особое внимание ученых.

Дельфины великолепно поддаются дрессировке. Вероятно, многие видели на фотографиях или в кино дельфинов, прыгающих сквозь обруч, играющих в мяч и даже в кегли.

Во время опытов с дельфинами один из ученых создал несложный электрический прибор, ток которого вызывал приятные ощущения у животных. Чтобы научиться включать этот прибор, шимпанзе пришлось сделать двенадцать попыток, а дельфин научился с первой.

Самое интересное произошло, когда прибор испортился, но магнитофон, регистрировавший звуки, издаваемые дельфином, оставался включенным и записал голос дельфина. Вначале он напоминал голос самого ученого, потом дельфин стал подражать жужжанию трансформатора; когда и это не помогло, он принял за воспроизводить шум кинескопной камеры, которая всегда включалась во время опытов. Видимо, у дельфина выработались рефлексы на все звуки, неиз-

менно сопровождавшие работу аппарата. Но удивительнее всего, что он сам издавал их, вероятно «заклиная» аппарат выключиться.

Способность дельфинов к звукоподражанию необычайна. Как теперь выяснилось, в этом с ними не могут сравниться никакие другие животные. Один из исследователей утверждает, что дельфины способны детально имитировать речь человека. Конечно, звукоподражание само по себе еще ни о чем не говорит. Подражать человеческой речи (и очень удачно) может и попугай. Но все дело в том, что мозг дельфина совсем не похож на мозг попугая. По своему объему, развитию, плотности «упаковки» нервных клеток в важнейших участках мозг дельфина не уступает мозгу высших приматов. Это признанный учеными факт.

На основании изучения повадок живых дельфинов, опираясь на факты, добытые при тщательном изучении мозга этих животных, упомянутый исследователь приходит к выводу, что мозг дельфина хотя и специализирован совсем в другом направлении, чем человеческий, но тем не менее не уступает ему по развитию.

Так ли уж сильно фантазировали древние греки, рассказывая разные удивительные истории о дельфинах? Неужели сказка превращается в быль?

Пожалуй, не стоит торопиться с решающими выводами.

Признаться, сказанное о дельфинах мало связано с бионикой. Но можно ли было удержаться от такого рассказа? Тем более что изучение дельфинов все же с бионикой связано непосредственно: оно предпринято в основном для того, чтобы изучить органы и принципы гидроакустической локации и навигации у этих морских животных.

Лишь сравнительно недавно стало известно, что органами акустической локации обладают многие животные.

Есть они и у дельфинов. Область частот, занимаемая локационными звуками дельфинов, простирается до трехсот тысяч колебаний в секунду (человек воспринимает звуки в диапазоне от двадцати—сорока колебаний в секунду до восемнадцати тысяч колебаний в секунду). Органы гидролокации дельфинов столь совершенны, что позволяют им не только определять местонахождение рыб, но и узнавать с очень высокой точностью (до девяноста восьми процентов) их породу. Ученые считают, что современная гидролокационная аппаратура во многом уступает органам гидролокации дельфинов и некоторых других водных животных, например — морской свиньи, которая в мутной воде может на расстоянии пятнадцати метров находить кусочки пищи размером в два-три миллиметра.

Уместно задаться таким вопросом: не создается ли в мозгу животных с развитыми органами акустической локации некое звуковое «изображение»? По существу у нас нет еще никаких данных, которые давали бы право утверждать, что звуки отображаются в мозгу животных, обладающих органами эхолокации, таким же точно образом, как и в человеческом.

Ведь что такое изображение? В общем смысле — это картина распределения световой энергии в окружающем нас пространстве, которая с помощью органов зрения преобразуется и передается в мозг, анализирующий эту картину. В результате такого анализа мы и получаем изображение.

Но разве нельзя предположить, что уши и соответствующие части мозга некоторых животных устроены таким образом, что могут создавать изображение на основе картины распределения звуковой (а не световой) энергии в пространстве?

У человека и многих других сухопутных животных зрительные центры мозга занимают больший объем и более развиты, чем слуховые центры. Объем информации, который может быть обработан нашими органами зрения совместно со зрительными центрами мозга, в сто раз больше того объема, который обрабатывается органами слуха и соответствующими центрами мозга. Наша пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — оказывается верной в самом буквальном смысле слова.

Но у тех животных, которые в основном полагаются на органы слуха, зрительные центры развиты в меньшей степени, чем слуховые. И в этом случае мы вправе предполагать некое звуковое «видение».

Распространение света и звука представляет собой волновой процесс. В первом случае мы имеем дело с волнами электромагнитными, во втором — с волнами в воздухе или воде. Волны видимого света имеют длину порядка десятых долей микрона. Волны звуковые (в воздухе) — от шести метров до полутора сантиметров. Если же говорить об ультразвуковых волнах, то они могут быть очень короткими. Так, летучая мышь издает звуки с длиной волны полтора миллиметра.

Когда звуковые волны имеют столь малую длину, с ними в некотором смысле можно обращаться, как и со световыми, — собирать и рассеивать при помощи акустических линз, создавая «изображения» распределения акустической энергии в пространстве.

Четкость такого изображения значительно ниже четкости оптического изображения главным образом потому, что длина ультразвуковых волн больше, чем световых. Это обстоятельство, казалось бы, должно противоречить предположениям об ультразвуковом «видении», ибо такое видение было бы слишком приблизительным и неотчетливым.

Но бионика, кажется, подсказывает один важный аргумент в пользу возможности ультразвукового видения.

Как известно, глаза насекомых имеют совершенно иное строение, чем глаза позвоночных животных. Они представляют собой образования из так называемых смматидиев, или фасеток, каждая из которых является чрезвычайно несовершенной оптической системой. Если бы четкость зрения определялась только оптическими качествами этих фасеток, зрение насекомых было бы очень неотчетливым. Однако последние исследования показывают, что стрекозы видят достаточно четко. И это четкое видение обеспечивается зрительными центрами мозга, корректирующими недостатки оптической системы фасеточного глаза. Кстати говоря, оптическая система человеческого глаза тоже далека от совершенства. И если бы не особое устройство зрительных центров мозга, мы видели бы значительно хуже.

Конечно, предположение о звуковом зрении спорно. И о нем не стоило бы говорить, если бы нам не пришлось коснуться явления ультразвуковой локации у летучих мышей.

СЛУХ ИЛИ ЗРЕНИЕ?

Это явление стоит того, чтобы рассказать о нем подробнее. Тем более что не в пример многим другим интересным явлениям оно изучено значительно глубже. Очень интересна история самого изучения.

С давних пор люди убеждены, что совы великолепно видят в темноте. И действительно, сова различает поверхности, светимость которых в сто раз меньше светимости поверхностей, еще различаемых человеком. Но хотя чувствительность зрения сов потрясающе велика, эти птицы в полной темноте так же слепы, как и человек.

Однажды в комнату Ладзаро Спалланцани, выдающегося итальянского натуралиста XVIII века, влетела сова. Случайно она слишком близко подлетела к свече и задула ее крылом. И, к удивлению Спалланцани, в наступившей темноте сова оказалась совершенно беспомощной.

Это очень удивило ученого, и он решил выяснить, как ориентируются в темноте ночные животные. Для опытов он выбрал летучих мышей, о которых было известно, что они беспрепятственно летают в глубине самых темных пещер, куда свет не попадает совсем.

В 1793 году Спалланцани провел множество опытов и примерно за год узнал об ориентации этих зверьков столько же, если не больше, чем все остальные ученые за последующие полтора века.

Вначале Спалланцани обвязывал головы мышей непрозрачной тканью. И они действительно не могли ориентироваться. Исследователю, менее внимательному, чем Спалланцани, этого было бы достаточно, чтобы убедиться, что летучая мышь ориентируется при помощи зрения, которое значительно превосходит зрение человека и даже совы. Однако ученый остался неудовлетворенным своими опыта-

ми. Интуиция натуралиста подсказывала ему, что повязка на голове мыши могла помешать не только зрению животного. Спалланцани решил ослеплять мышей. И тогда обнаружилось, что, переболев после операции, ослепленные мыши вновь обретают способность летать, не сталкиваясь ни со стенами, ни с людьми, ни со специально поставленными препятствиями.

В дальнейших опытах, уже незадолго до смерти, Спалланцани установил, что летучие мыши теряют способность к ориентации, если им закрывать рот или уши. Это важнейшее наблюдение было, однако, забыто в последующие годы, и ученые считали, что, подлетая к препятствию, мышь ощущает повышение давления воздуха, которое возникает при отражении от препятствий воздушного потока, создаваемого ее крыльями.

Первым, кто после Спалланцани высказал мысль, что летучие мыши ориентируются при помощи слуха, был Хайрем Максим — изобретатель скорострельного станкового пулемета и огромного самолета с паровым двигателем, разбившегося при попытке к взлету. Максим пошел дальше Спалланцани, сформулировав принцип звуковой локации.

К мысли о звуковой локации Максима привел трагический случай гибели «Титаника», столкнувшегося с айсбергом. Максим предложил предупреждающее устройство, которое сигнализировало бы о приближении к айсбергу. Обосновывая предлагаемый принцип, Максим высказал мысль, что летучая мышь движением крыльев создает не слышимые для человека (не для нее самой) звуки. Воспринимая отражения этих звуков от препятствий, мышь выбирает направление полета. Максим считал, что частота звуковых колебаний очень низка — всего лишь около пятнадцати в секунду. Это было ошибкой.

Во время первой мировой войны было высказано предположение, что летучие мыши, наоборот, издают ультразвуки, но это предположение оставалось непроверенным до 1938 года, когда американский ученый Гриффин впервые экспериментально установил, что летучие мыши действительно испускают ультразвуки, но не при помощи крыльев, а ртом. Вначале Гриффин полагал, что эти звуки служат для сигнализации. И лишь после окончания второй мировой войны, когда идеи радиолокации и гидролокации стали известны широкому кругу людей и когда были созданы тончайшие радиоэлектронные приборы для научных экспериментов, Гриффин установил, что летучие мыши обладают поразительными по своему совершенству органами ультразвуковой эхолокации.

Эхолокация позволяет им не только избегать препятствия в полете, но и вести охоту за насекомыми, а некоторым видам летучих мышей — и за рыбами, подплывающими в ночные часы близко к поверхности воды. Органы эхолокации настолько совершенны, что говорить просто о слухе затруднительно; вполне возможно предполагать качественное изменение слуха у летучих мышей, его переход в ультразвуковое «видение». Ведь те породы летучих мышей, органы звуколокации которых достигают наибольшего совершенства, обладают очень несовершенным зрением, они почти слепы, и, следовательно, у них совсем иное соотношение слуховых и зрительных центров мозга. Так, например, летучую мышь не затрудняет полет в лабиринте из тонких проволочек, хотя при этом она должна иметь представление об их взаиморасположении. По существу это и есть видение.

А как же в действительности видит сова, с которой говорилось в начале этой главы?

Всем известен факт, что сова удачно охотится за летучими мышами, хотя последние могут ориентироваться в темноте, а сова не может. Но тут все дело именно в том, что сова охотится не в полной темноте. Кроме того, сова полагается не только на зрение, но и на слух. Слух у нее великолепный и приспособлен как раз для охоты на летучих мышей, потому что позволяет сове слышать те локационные звуки, без которых летучие мыши не могут ориентироваться. И еще одно замечательное свойство совы позволяет ей вести успешную охоту. Она одна из немногих, а может быть, и единственная в мире птица, чьи крылья в полете не издают совершенно никаких звуков.

ВЕЛИКИЕ НАВИГАТОРЫ

Говоря об ориентации животных, обычно понимают под этим способность определять местоположение различных объектов (в частности, препятствий) и приближаться к ним или обходить их. Однако под ориентацией часто понимают также и нахождение пути к весьма удаленной цели. В последнем случае ученые предпочитают пользоваться другим термином — «навигация».

О дальних путешествиях (миграциях) рыб, птиц, животных и насекомых люди знают с незапамятных времен. Факт этот столь привычен, что кажется абсолютно понятным: птицы улетают в теплые края потому, что им становится холодно и голодно; стада диких северных оленей откочевывают в другие места, когда на старых не хватает корма, и так далее и тому подобное.

И уже совсем не требующим объяснения представляется факт ежедневных странствий в поисках пищи и ежедневных возвращений домой — в нору, в гнездо, в берлогу. Это кажется не менее естественным, чем то, что цивилизованный человек — царь природы — наверняка заблудится в глухом лесу, в пустыне, в степи, если у него не будет карты и компаса. Но почему?.. Почему человек, обладающий разумом, не может сделать того же, что и кошка, собака, лошадь, птица? Разве над этим не стоит задуматься?

Сейчас благодаря кольцеванию птиц орнитологами накоплен огромный фактический материал о перелетах.

И то, что раньше, чисто умозрительно, объяснялось совсем просто, перед лицом фактов оказалось куда более сложным.

Да, действительно есть птицы, перелет которых зависит от погоды. К таким птицам относится вальдшнеп. Сроки его возвращения на родину всецело определяются погодой.

Однако есть птицы совсем другого рода. Их отлет и возвращение на родину происходят всегда в одно и то же время. Отклонения в сроках очень невелики и не зависят от погоды. К ним относятся хорошо известные нам соловей, черный стриж, иволга.

Эти птицы могут довольно спокойно переносить заточение в клетке, но лишь до тех пор, пока не подходит пора перелета. С наступлением срока стремление этих птиц к перелету подавляет все другие инстинкты. Даже инстинкт самосохранения. Как ни пытаются обмануть птиц: кормить самой лучшей пищей, содержать при постоянной температуре, создавать освещение, соответствующее летнему, — ничто не помогает. Перепутать листки в птичьем календаре не удастся. Птицы становятся неузнаваемыми. Они могут сутками махать крыльями, биться и даже разбиваться о стенки клетки.

Ученым известно также о перелетах летучих мышей. Иногда эти животные совершают перелеты в общей стае с птицами. Так, летучая мышь «северный кожанок» летит на зимовку в Северную или Среднюю Германию вместе с ласточками. Часто летучие мыши совершают перелеты самостоятельно, и даже моря не служат им преградой.

Мы знаем об удивительном свойстве почтовых голубей выбирать путь над незнакомой местностью, отстоящей иногда на сотни километров от дома. Не менее успешно находят дорогу к своему гнезду и перелетные птицы, которых (после окончания перелета, когда они уже выводили птенцов) насильственно увозили на далекие расстояния. Так, американских крачек сняли с гнезд, расположенных в районе Мексиканского залива, и выпустили на волю на расстоянии более тысячи километров. Через несколько дней они снова были найдены у своих гнезд. Возвращались к гнездам горихвостки, ласточки, скворцы. Одного буревестника увезли из Юго-Западной Англии в Венецию. Он вернулся через две недели. Выпускали птиц, увезя их на несколько сотен километров в море. Они все равно возвращались. На самолете увозили аистов из Львова. Их выпускали в Палестине, куда они вскоре должны были бы лететь по своей воле. Но и они меньше чем за две недели возвратились домой.

Но как же находят дорогу птицы?

Предполагалось, например, что во время перелетов старые птицы-вожаки показывают дорогу молодым, и таким образом создается преемственность. И действительно, в гусиной стае дело, вероятно, обстоит именно так.

А вот у аистов совсем не так. Молодые аисты могут совершать перелеты вполне самостоятельно.

Или кукушка. Ее-то уж никто не обучает. Она подкидыш и воспитывается птицами совсем другой породы. И все-таки даже не в стае, а в одиночку, она находит свой путь в теплые края.

Существует много теорий, или, вернее, гипотез, о навигации у птиц. По мнению одних ученых, птицы, подобно стрелке компаса, воспринимают магнитное поле земли; другие считают, что птицы выбирают направление по звездам (большинство птиц совершает перелеты в ночное время). Последние данные говорят в пользу именно этой гипотезы.

ТАЙНА ПЧЕЛ

Примером того, что можно узнать у природы, могут служить результаты многолетних исследований пчел, проведенных фон Фришем. Особенно интересные плоды принесли исследования пчелиных танцев. Явление это было известно давно, но до последнего времени назначение танцев и их смысл были непонятны ученым.

Каждая пчела-сборщица, вернувшись в улей с добычей, исполняет танец по временам круговой, а иногда так называемый «танец с трепетанием». Эти танцы описаны неоднократно. Прилетевшая с добычей пчела начинает «танцевать» в одиночку, но вскоре к ней присоединяются другие пчелы, и танец становится коллективным. Чем «темпераментнее» танцует пчела, тем большее число пчел следует за ней.

Что же это за танцы? Может быть, это некий ритуал — своеобразный танец урожая, который пчелы танцуют на радостях?

Фон Фриш доказал, что эти «танцы» представляют собой служебную пантомиму, или, точнее, своеобразный язык пчел, с помощью которого они передают друг другу информацию о направлении полета к месту сбора, о расстоянии до этого места, об изобилии и виде медоноса, с которого был собран взятки. Фон Фриш точно расшифровал этот язык.

Круговой танец пчела-фуражир исполняет, когда медонос близко, когда другие пчелы могут отыскать его просто по запаху. А быстрота и продолжительность кругового танца указывают на богатство источника нектара. Чем обильнее источник, тем энергичнее и продолжительнее танец, тем большее число пчел вылетает к месту сбора. Присоединившиеся к танцу пчелы узнают не только что медонос близко, но по запаху, исходящему от пчелы-фуражира, узнают о том, каков именно этот медонос. Получив необходимые сведения, они отправляются за добычей.

Когда пчела-разведчица прилетает со взятком издалека, она исполняет уже не круговой танец, а «танец с трепетанием». Запах, исходящий от пчелы, и в этом случае указывает вид цветов, с которых она получила взятки, а энергичность танца — на обилие источника. Однако «танцы с трепетанием» позволяют сообщать и другие важные сведения — направление к месту сбора и расстояние до него. Так, если ученый устанавливал розетку с медом в трехстах метрах от улья, то танец состоял из пятнадцати полных циклов и продолжался тридцать секунд. А когда розетку отнесли на расстояние в шестьсот метров, число циклов уменьшилось до одиннадцати.

Направление пчелы узнают по прямолинейному участку «танца с трепетанием»: он всегда направлен точно на место сбора. Это хорошо видно в теплую спокойную погоду, когда пчела-разведчица танцует на полочке возле летка, снаружи улья. Опыты убедительно показали, что направление всегда определяется пчелами относительно солнца. Во время полета к месту сбора пчела запоминает

положение солнца. Это помогает ей не сбиться с пути по дороге назад и, кроме того, ориентироваться во время исполнения «танца с трепетанием». Двигаясь по стрелку прямой, она перемещается относительно солнца в том же направлении, что и во время полета к месту сбора. Точно определять направление на солнце помогают пчеле ее фасеточные глаза.

Однако обычно пчелы танцуют не на горизонтальной полочке перед летком, где они видят солнце, а внутри улья, впотьмах, и не на горизонтальной полочке, а на вертикальной поверхности сотов. Тем не менее и в этом случае «танец с трепетанием» выполняет свое назначение. Пчелы, принявшие участие в нем, вылетают точно в направлении места сбора. Как же в этом случае передается информация о «курсе»?

Оказывается, в темном улье танцующая пчела ориентируется относительно направления силы тяготения, которая заменяет ей солнечные лучи. Так, например, если прямолинейный участок направлен точно вниз, то это указывает, что к месту сбора надо лететь точно по линии «пчела — солнце».

Но ведь солнце не остается на месте, и за то время, пока пчела возвращается с дальнего места сбора, оно успевает переместиться на какой-то угол. Система навигации пчел учитывает и это обстоятельство. Исполняя круговой танец, пчела сдвигает направление прямолинейного участка ровно на столько, на сколько переместилось за время полета солнце. Делает она это автоматически. А помогает ей в этом автоматизме очень точный хронометр — так называемые «биологические часы». Те же «биологические часы» пчел позволяют им, помимо всего прочего, составлять «график» распускания различных цветов. Ведь пчелы посещают те или иные цветы не когда попало, а только в те часы, когда цветы данного вида выделяют наибольшее количество нектара.

МОЗГ И МАШИНА

Вероятно, многие из читателей следили за дискуссией, развернувшейся в свое время на страницах «Литературной газеты». Она разгорелась после выступления одного из литераторов, позиция которого объективно сводилась к утверждению принципиальной непознаваемости и невоспроизводимости мозга искусственным путем.

Дискуссия носила философский характер: спор шел не только об аналогиях между работой машин и человеческого сознания, а о том, можно ли создать вычислительную машину, «интеллект» которой превосходил бы человеческий. Мнение ученых было единодушным: человеческий мозг познаваем и в принципе машина такая может быть создана.

Если бы в дискуссии приняли участие бионики, они высказали бы точно такое же мнение, но добавили бы, что бионные исследования мозга ведутся именно потому, что мозг значительно совершеннее любой машины, которую удастся создать в обозримые сроки. Такие исследования помогут быстрее совершенствовать вычислительные машины.

Одним из важнейших методов исследования мозга служит электроэнцефалография, позволяющая изучать электрические потенциалы головного мозга. На основании записанных на ленте колебаний потенциалов мозга (такие записи называются электроэнцефалограммами) теперь удается определять некоторые виды заболеваний, судить о действии лекарств, узнавать, когда человек производит вычисление в уме, когда он видит сны, а также многое другое. Но расшифровывать энцефалограммы так, чтобы читать по ним мысли, — не берется никто, ибо это невозможно.

Для бионики чрезвычайно важно, что теперь уже известны основные кирпичики, основные элементы, из которых собираются нервные сети живых организмов. Они представляют собой клетки особого рода, так называемые нейроны. Зна-

ние их свойств позволило ученым и инженерам создать множество моделей нейрона: механических, химических, математических и, разумеется, электронных.

Модели нейронов, особенно электронные, интересны уже сами по себе. Но еще больший интерес представляют модели нервных сетей, собранные из искусственных нейронов. Сочетая электронные нейроны с фотоэлементами или акустическими приемниками, удалось воспроизвести (хотя и очень приближенно) некоторые зрительные и слуховые процессы.

Исследование нейронов и простейших нервных сетей — не самое основное из того, что делается бионикой в области воспроизведения работы мозга.

Вот некоторые вопросы, которые интересуют бионику в первую очередь и решение которых позволит радикально усовершенствовать вычислительные машины.

Что такое память? Каков ее механизм? Где в мозгу находятся отделы, заведующие памятью? Сосредоточены ли они в одном месте или рассеяны по всей нервной ткани? Каким образом осуществляется долгосрочное запоминание и каким — краткосрочное?

Уже сформулировано несколько гипотез, в которых делаются попытки ответить на поставленные вопросы. Некоторые из гипотез частично подтверждаются фактами. Но все-таки вполне достоверных объяснений пока не найдено.

Здесь уже говорилось об избирательном внимании. Каждый нормальный человек, независимо от уровня развития, отлично пользуется этим свойством на практике. Но даже самый эрудированный ученый сейчас знает не более любого непосвященного о механизме избирательного внимания.

А вот еще одно важное свойство живой системы. Мы ставим перед собой определенную цель. На пути к ней мы совершаем различные действия. Но почему мы совершаем именно эти действия, а не другие? Ведь мы никогда не идем к одной и той же цели одинаковыми путями; выбирая наилучший образ действий, мы всегда сообразуемся с конкретными обстоятельствами — иными словами, приспособляем свои действия к данной обстановке, хотя цель сама по себе от нее вовсе не зависит. Такое приспособление называется в науке адаптацией. Так вот: каким образом мы адаптируемся?

И на этот вопрос пока нет ответа.

И еще один волнующий вопрос. Вот вкратце его суть.

Теперь уже твердо установлено, что разделы мозга, воспринимающие сигналы о внешних раздражениях, расположены в строго определенных участках коры головного мозга. Они как бы навечно закреплены за соответствующими органами чувств, соответствующими нервными путями, соответствующими группами мышц. Иначе говоря, эти участки выполняют строго специализированные функции.

Но весь ли мозг представляет собой подобную высокоспециализированную систему?

Некоторое время назад многие ученые считали, что весь мозг действительно — высокоспециализированная система, причем специализация эта врожденная. В последнее время ученые придерживаются противоположного взгляда. По их представлениям (за исключением названных разделов), мозг человека не является целиком специализированной системой. Врожденным свойством такого мозга должно являться лишь умение вырабатывать определенные устойчивые связи. И поэтому за исключением тех специализированных разделов, о которых говорилось выше, мозг новорожденного можно уподобить карте, на которой нанесены лишь круги полушарий да градусная сетка. И только жизнь, только обучение наносят на эту карту во всех тончайших оттенках океаны знаний, материки опыта, цветущие оазисы культуры и пустыни лени и скудоумия.

Вторая точка зрения многим, вероятно, покажется более привлекательной. Куда приятнее считать, что мы сами создаем карту своего мозга, что она не заложена в нас от рождения. Было бы очень скучно жить среди людей с одинаковыми мозгами. К счастью, жизнь говорит об ином.

Но, может быть, даже являясь высокоспециализированной структурой, наш мозг каким-то образом позволяет каждому из нас быть самим собой?

Рано или поздно мы узнаем об этом очень важном и с философской, и с научной, и — в частности — с бионной точки зрения свойстве мозга.

Можно, однако, приступить к практической работе, не дожидаясь точного ответа на поставленные вопросы.

В кибернетике существует понятие «черного ящика». Оно используется применительно к системам, внутреннее устройство которых по тем или иным причинам не может быть изучено на данном этапе. К счастью, «черные ящики», как и все материальные объекты, взаимодействуют с окружающей средой. А такие взаимодействия уже доступны для наблюдения.

Варьируя различные воздействия на «черный ящик» и регистрируя каждый раз его реакции, можно на основании полученных результатов создать некую модель (теоретическую или физическую), которая будет реагировать на внешние воздействия точно таким же образом, как и изучаемый «черный ящик».

Конечно, структура такой модели может оказаться совершенно иной, чем внутренняя конструкция «черного ящика». Но поскольку модель действует так же, как «черный ящик», мы не должны беспокоиться об этом. Ведь все равно мы не располагаем на данном этапе возможностью определить тождество или, наоборот, различие между внутренним строением «черного ящика» и модели. Потому что если бы мы могли это сделать, ящик оказался бы вовсе не черным, а вполне прозрачным, и незачем было бы исследовать его косвенными методами и подобным же образом моделировать.

И все-таки, прекрасно зная это, мы лишь в редких случаях удерживаемся от аналогий между внутренним устройством «черного ящика» и его модели. Таково непостижимое свойство самого «черного ящика» — человека. Об этом свойстве академик Колмогоров писал, что именно оно помогает думать и изобретать. И именно оно побудило ученых сказать, что мозг человека представляет собой некую математическую машину. Основанием для этого явилось не сходство устройства математических машин и мозга (он для нас пока является «черным ящиком»), а сходство в том, как машина и мозг перерабатывают информацию.

Такая аналогия не прихоть. При разумном пользовании ею можно добиться больших успехов в деле изучения мозга и в первую очередь правильно сформулировать вопросы, наметить пути и методы исследования мозга.

Справедливости ради нужно добавить, что в целом ряде случаев при изучении процессов в нервных цепях оказывалось, что аналогии между действием нервных цепей и действием узлов машины действительно существуют. И настолько тесные, что ученые с полным правом могут уподоблять мозг вычислительной машине.

Не надо забывать лишь одного: как бы ни совершенны были машины будущего, сколько бы ни уподобляли их ученые и инженеры человеку или отдельным его органам — никакая машина не будет человеком потому, что движение к истине бесконечно, и еще потому, что, пока мы существуем, мерой всему будет человек, а не машина. Иначе не стоило бы и существовать.

БИОНИКА И ЖИЗНЬ

Прежде чем закончить этот краткий и весьма неполный рассказ о бионике, хотелось бы затронуть еще один важный вопрос.

Но придется начать издалека.

Впервые я услышал о теории информации, а затем и о кибернетике в 1950 году — года через два после выхода в свет работ Шеннона, Габора, Винера. Об этих работах мне рассказал приятель, и вскоре, продираясь сквозь трудности незнакомого языка и математики, совсем не похожей на институтскую, я с грехом пополам разобрался в основных положениях теории информации и, как мне каза-

лось, кибернетики. Тогда я видел в них лишь новый подход к решению практических задач в области связи, радиолокации, автоматического регулирования и обработки данных физического эксперимента. Все указания на применимость новых научных методов к анализу нервной системы мне казались в то время лишь пожеланиями, но никак не реальными возможностями новой науки. Я отчетливо помню это свое впечатление потому, что оно совпадало с мнением моих друзей, и потому, что вскоре кибернетику (но не теорию информации) стали называть «реакционной лженаукой», и всех нас очень удивляло и даже забавляло такое отношение к чисто технической, как нам казалось, дисциплине — кибернетике.

Но и потом, когда у нас были изданы главные работы Винера, многие инженеры (не говоря уже о гуманитариях) все еще видели в кибернетике лишь ее техническую сторону и недооценивали или вовсе не чувствовали рождения множества проблем, которые можно объединить словами «кибернетика и общество».

С тех пор прошло более десяти лет. И каких лет! Ведь именно в эти годы завершился инкубационный период новейшей научно-технической революции, и она вступила в открытую и самую бурную фазу. Потрясающая работа общественной мысли, огромный опыт, накопленный народом, вряд ли могут быть осознаны современниками в полной мере. Но тем не менее мы понимаем, что мыслим шире и глубже, что само мышление наше стало иным.

Немалую роль в этом сыграли и жаркие дискуссии, посвященные кибернетике.

Теперь, услышав о бионике, вряд ли кто заинтересуется лишь технической и научной стороной дела. Не меньшее внимание привлекут и проблемы, которые коротко можно обозначить словами «бионика и общество».

Среди этих проблем многие имеют общую основу с проблемами кибернетики. Можно, например, упомянуть следующие: «мозг и машина», «человек и информация», «бионика и научное шарлатанство». Но есть и специфические проблемы.

Думается, что развитие бионики уже в самом скором времени приведет к переоценке роли природы в жизни человека, к более ясному пониманию неразрывного комплекса «человек и природа». Возьмем, к примеру, общение человека и животного. В наши дни мы безусловно повелеваем лишь некоторыми видами животных, отношения с другими строятся лишь на убийстве. Однако вполне можно предположить, что знания, которые накопит бионика, позволят понять «язык» различных животных. И тогда, быть может, человечество сумеет эффективнее использовать зверей, птиц, рыб и даже насекомых. Иными словами, бионика создаст новые связи между человеком и живой природой, а возможно, восстановит и старые связи, утраченные в ходе эволюции.

Есть и другой аспект во взаимоотношениях человека и природы. Нынешние возможности техники столь велики, что преобразования лика Земли приняли поистине геологические масштабы. Приемы, методы обработки и сам подход к решению производственных задач — словом все то, что можно объединить понятием технология, создано самим человеком. Они порождение его ума и опыта, и в большинстве случаев им невозможно подобрать аналогов в живой природе. Так, ей неизвестны ни колесо, ни гребной винт, ни пропеллер, ни многие другие устройства, основанные на неограниченном вращении. Это скорее всего объясняется тем, что природа не сумела найти способов соединения таких неограниченно вращающихся органов с другими. Живая природа проводит все необходимые ей реакции при температурах, совместимых с жизнью; ей неизвестны никовка, ни литье, ни обработка резанием, и все же она с неизменным успехом создает самые сложные, самые совершенные формы. Всему этому со временем научится и бионика. И тогда вместо многих нынешних заводов возникнут новые, «бионные», предприятия, будут созданы принципиально новые машины.

Влияние бионики благотворно скажется на многих науках, но, пожалуй, более всего на биологических. Ибо бионика явится могучим фактором их математизации. Более того, бионика и кибернетика — те пути, по которым в биологические

науки придут новые люди: инженеры, математики, физики — и принесут с собой новые идеи и методы.

Мы готовимся вступить в новую эпоху, когда, быть может, даже в электронных вычислительных машинах начнут применять некие искусственно созданные биологические структуры. Это не значит, конечно, что механика перестанет диктовать свои законы. Но многие машины и механизмы примут совершенно иной облик: своей структурой, формами и даже движениями они станут подобными живым организмам, ибо принципы действия и конструкции будут определяться не законами обычной для нас механики, а законами биомеханики.

Представьте себе гигантскую руку размером с сегодняшний подъемный кран, на которой, словно ветви, растут руки поменьше, но такие же послушные, гибкие и безусловно подчиняющиеся воле человека, как его собственные руки. — и перед вами подъемно-монтажный кран будущего.

Будет ли в действительности этот кран таким? Трудно сказать. Не вызывает сомнений лишь одно: бионные машины создадут не в таком уж отдаленном будущем, и они действительно будут напоминать и обликом, и принципом действия живые системы.

Биологизируя создаваемое нами окружение, придавая машинам биологическую структуру, ведя технологические процессы по законам биологии, все более глубоко познавая связи в природе, мы когда-нибудь устраним тот разрыв между нами и природой, ценой которого человечество покорило свою создательницу.

Восстановив единство (хотя бы частично), мы сумеем более гармонично организовать нашу жизнь, самих себя и не расточать понапрасну сокровищ нашей великой матери — природы.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Академик Е. В. ТАРЛЕ

★

ПУШКИН КАК ИСТОРИК

В архиве покойного академика Евгения Викторовича Тарле сохранилась стенограмма его доклада, посвященного историческим воззрениям А. С. Пушкина.

Доклад этот был прочитан им на четвертой Всесоюзной пушкинской конференции 6 июня 1952 года. Он, несомненно, представляет большой интерес — ведь Пушкина как историка мало кто изучал и литература по этому вопросу очень невелика. Доклад Е. В. Тарле полон свежих мыслей и оригинальных авторских выводов. Он был прочитан в обычной для Евгения Викторовича живой и блестящей манере. В нем есть ряд положений, которые настоятельно нужны исследователям — не только специалистам-пушкиноведам, но и историкам Пугачевского восстания, Петра I. А для читателя-неспециалиста это просто очень интересная и ценная статья.

Академик М. НЕЧКИНА.

Товарищи, по вашему желанию и по желанию устроителей этой конференции мне выпала сложная задача, с которой полностью справиться весьма затруднительно вообще и с которой я, конечно, тоже не справлюсь, так что я заранее прошу вашего извинения. Дело в том, что тема эта необычайно сложна, необычайно дробна и по существу не поддается слишком большому «сжатию».

Что такое исторические воззрения Пушкина?

Пушкин жил и писал, когда историческая наука была в младенчестве, когда она совершенно не удовлетворяла требованиям нынешней науки. Теоретических произведений Пушкин нам не оставил. У него есть лишь отдельные наброски, очень любопытные, очень важные, но нуждающиеся в детальной разработке. В них интересна каждая строчка. Он писал о феодализме, писал о силах, борющихся с феодализмом, писал о том, почему нельзя ставить знака равенства между аристократией и феодализмом. У него есть и статьи на эту тему, но и они нуждаются в разработке. Разработка такая уже начата, и появились даже отдельные статьи.

Мне моя задача — не знаю, насколько это мне удастся — представляется таким образом: я хотел бы передать мое ощущение Пушкина как историка. Я, как говорится, с младых ногтей, с самого начала своей сознательной жизни знаком был с ним довольно близко, и мне всегда представлялось и представляется ныне, что Пушкин не только ощущал историю, но и сумел подойти к истории, и прежде всего к русской истории, по-особенному. Так, как никто из наших историков до него еще не подходил.

Мне всегда казалось, что для Пушкина русская история и Россия были как бы своей семьей, своим домом, по-семейному родными и история для него была чем-то вроде расширенной их, Пушкиных, семейной хроники. Они сливались у

Стенограмма доклада хранится в Московском отделении архива Академии наук СССР, ф. 627, оп. 1, ед. хр. 238-а. Доклад печатается с незначительными сокращениями.

него так естественно, что даже не удивляешься, когда сталкиваешься с его — таким совершенно необычным — подходом к историческим явлениям.

Вот почему мне кажется, что если кто хочет понять пушкинский подход к истории, он должен начать с набросков его «Родословной», набросков как прозаических, так и поэтических.

Он писал:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.

То, что Пушкины часто стаяживались с царями и очень во многом расходились с ними — все это так переплетено с историческими событиями, что совершенно невозможно отделить историю пушкинского рода от истории Руси. И это первоначальное ощущение не оставляет читателя, а все более и более усиливается, чем больше перечитываешь пушкинские наброски, статьи и особенно историческое исследование о Пугачеве.

Как бы предчувствуя упрек в известного рода эгоцентризме и аристократическом эгоизме, Пушкин постарался, и самым подчеркнутым образом, не только отвести от себя этот упрек, но сделать так, чтоб упрек этот никому и в голову не пришел бы.

Смелся жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!

И он делает это с неподдельной искренностью!

Дальше Пушкин отмечает: в нашей российской родословной перевешивают два имени и оба они принадлежат не аристократам, а мужикам: один мужик рыбачил на Белом море, другой занимался мясным промыслом — это Михайло Ломоносов и Козьма Минин. И Пушкин бросает это так свободно и выражает суть так точно, что ничего не остается как признать его великим мастером прозы, умеющим, как и в стихах, в двух словах сказать то, что надо!

А как же его собственный аристократизм? Почему он в стихах так упорно называет себя «мещанином»? Он не желает быть русским аристократом. Это ни к чему — ему, Пушкину, который ценит свой род за то, что род его так или иначе, но навсегда сплел свою судьбу с судьбой России и в моменты наибольшей для нее опасности участвовал в ее спасении. Никто из его предков не мазал ваксой царских сапог, как это делал Кутайсов, и не был беглым австрийским солдатом, никто из них «в князя не прыгал из хохлов», как Безбородно, и не был тем, что по-николаевски, по-александровски, по-екатеринински называлось «русской аристократией». Он, Пушкин, не желает быть наравне с такой аристократией! Другое дело — быть выше или ниже ее. Но и этого он не желает. Если они — аристократы, то он — мещанин, и он предпочитает быть мещанином!

Пушкин все же признает аристократию, но видит ее истоки в другом — в том, что совершали его предки. И он отмечает не только то, как «водились Пушкины с царями», а и то, как расходились Пушкины с царями!

Заметьте: кто его любимцы в пушкинском роду? Прежде всего Гаврила Пушкин. А кто такой Гаврила Пушкин? Это демагог, бунтарь, который всячески способствовал низвержению законного царя Бориса Годунова. И он содействовал его низвержению тогда, когда еще было неизвестно, кто победит, и если победит Самозванец, то надолго ли. Почему Гаврила Пушкин разошелся с царем? Он не высказался сам об этом достаточно ясно — за него высказался Пушкин Александр Сергеевич. И тогда перед Гаврилой Пушкиным был народ... А когда Гаврила Пушкин беседует с Васмановым — с воеводой законного царя Бориса Годунова — и старается совратить Васманова, стремится показать ему, что бессмысленно бороться дальше, — что говорит Гаврила Пушкин, когда царский воевода Васма-

нов сомневается, стоит ли соглашаться на столь прозаичный шаг, и спрашивает: «Да много ль вас, всего-то восемь тысяч» — что отвечает ему тогда Гаврила Пушкин?

Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только села грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские... да что и говорить...
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.

Он напоминает Басманову:

Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?.. нет, Басманов, поздно спорить...

Другими словами, Гаврила Пушкин усматривает силы революционного протеста, революционного, само собой зародившегося народного сопротивления. Гаврила Пушкин вовсе не верит, что Самозванец — сын Грозного, но он становится на его сторону, потому что народ его хочет. В чем провинился законный царь Борис Годунов — это другой вопрос, но тут все решено — народ за Самозванца.

Вот пушкинское воззрение на роль одного из своих родоначальников. Когда же еще вспоминает он своих предков?

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

Пушкин здесь выражается чрезвычайно мягко: «...с Петром мой пращур не поладил...» Этот пращур его был Федор Матвеевич Пушкин, знатный боярин, как и все Пушкины, потому что пушкинский род — один из самых древних аристократических родов в Европе, а не только в России.

Этот старозаветный бородатый стольник Пушкин затеял не более не менее как убить Петра. Вот так «не поладил!» Федор Матвеевич Пушкин стал главой заговора только потому, что не мог допустить, чтобы другие его участники — Соковнин и Циклер — сравнялись с ним, родовитым боярином. А в результате этой истории все трое были казнены, опять же во главе с Федором Матвеевичем.

Вот вам другой предок Пушкина!

Но мысль Пушкина продолжает бродить по равнинам и лесам русской истории и набредает еще на одного предка:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин.
И присмирел наш род суровый,
И я родился мешанин.

О ком и о чем здесь речь? О Льве Александровиче Пушкине. От него самого тогда зависело — с кем быть в тот роковой час, когда будущая Екатерина II,

подъехав в карете к Измайловским казармам, остановилась неподалеку от ворот, а Алексей Орлов отправился в казармы и солдаты бросились к ее экипажу! Екатерина после сама говорила, что она тогда не знала. — убьюг ее или сделают императрицей. Впоследствии она не обошла ни своей лаской тех, кто ее спас и возвел на престол, на который у нее не было права, ни строгим наказанием тех, кто остался верен ее слабоумному мужу.

Лев Александрович Пушкин должен был самолично решать: быть ли ему графом, князем или кем еще заблагорассудится Екатерине, владеть ему двумя именьями в Симбирской губернии и тремя в Московской — либо же обречь себя на другую участь. И он сделал выбор.

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин.

Вот каковы предки Пушкина! И он считает необходимым подчеркнуть это. Если принять это во внимание, прояснятся и исторические воззрения Пушкина, и что он понимает под «аристократизмом». Иначе многие его суждения могут несколько шокировать и удивлять.

Перейдем теперь к воззрениям Пушкина на факты истории. Пушкин больше всего занимался тремя периодами русской истории: царствованием Петра I, Пугачевским восстанием и борьбой России и Европы против Наполеона.

Прежде всего отмечу самое что ни на есть главное в его воззрениях на Петра. Вы знаете, что источников у него было мало. То, что писал Голиков, это, конечно, может считаться источником только, как говорят французы, «faute de mieux», т. е. за неимением лучшего; правда, Голиков приводит некоторые документы, которых сейчас не найдешь, но и документами их тоже ныне не назовешь. Были у Пушкина кое-какие другие источники, но они, даже по сравнению с Голиковым, были ничто.

Голиков, конечно, не был бессовестным, хотя и искренним льстецом. Он старался быть беспристрастным, но внутреннее чувство восторга и обожания Петра никогда его не покидало. И это отчасти простительно, потому что Петр Великий — чудовищно громадная, исторически колоссальная фигура, со столь же чудовищными пороками и несравненными, совершенно исключительными человеческими достоинствами и такой необъятной реальной силы, что не один только Голиков увлекался ею.

У Пушкина такого увлечения нет. Конечно, то, что было в Петре приятно Голикову, Пушкину было не только приятно, но и восхищало его, потому что поэту свойственно восхищаться всем грандиозным — порой даже громадным злом, подобно Мефистофелю, и тем более восхищаться громадным человеком, у которого есть исторические и другие достоинства и заслуги.

И все же восхищения Петром у Пушкина несравненно меньше, чем у Голикова. Пушкин никогда не теряет из виду того, что черное есть черное. Никогда никакой исторической перекойкой, никаким историческим подкрашиванием и подсахариванием Пушкин не занимался. Огромность Петра I он, конечно, чувствует, заслуги его признает.

Что он считает заслугами Петра? Каковы его критерии для суждения о нем?

Самостоятельность, а затем историческое величие России. Эту пушкинскую точку зрения далеко не всегда разделяли даже самые близкие друзья поэта. Из-за нее не раз разгорались жестокие споры даже с такими близкими ему тогда людьми, как Петр Андреевич Вяземский и другие. Однако Пушкина это не обескураживало.

В глазах Пушкина заслуги Петра I — человека, на которого история возложила невероятно трудную задачу, человека, которому впервые стало очевидно, что России необходимо море, потому что без моря она погибнет сначала экономически, а потом и политически. — его заслуги были неоспоримы. История достигла Петра, когда он, став у кормила власти, как говорили современники, а

потом почитатели, и трех порядочных суденышек не имел. А к концу своего правления Петр Алексеевич обладал такой силой, что адмирал британского флота Норрис трижды входил в Балтийское море, чтобы испугать его, да только сам убежал с перепугу!

Русский флот стал первым среди флотов континентальных держав и вторым в мире. Французы и англичане всячески заискивали у русских вельмож — Шафирова и Александра Данилыча Меншикова, чтобы они «соблаговолили продать от своих щедрот», от своих богатств два-три корабля пятидесятипушечных, потому что у них таких не было! Это только одна-единственная деталь, а их множество!

Пушкин больше, чем кто-либо, понимал цену этому, потому что для него «принципиум компарационис» (принцип сравнения) играл большую роль. С кем еще мог он сравнивать в России Петра? Если не с гениальной дипломаткой Екатериной II, то с кем еще? В XVIII веке, кроме Екатерины II, не о ком говорить. А современники? Скажем, император Александр Павлович — Александр I! Понятно, что когда Пушкин сравнивал Петра — действительно великого самодержавного царя — с его потомками, с Александром I, то представляете, как выглядел Александр?

Пушкин не может и не хочет сравнивать Александра I с Петром; о его поражениях он говорит с насмешкой: Александр-де не был ими обижен.

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

Для Пушкина Александр I — властитель слабый и лукавый; в делах военных ни доблестью, ни талантами себя не заявил: под Аустерлицем он бежал, а в 1812 году дрожал. Он только «фрунтовой профессор»; когда же «фрунт герою надоел», он берется за другие дела, начинает заниматься иностранной политикой:

Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел!

Более высокими чинами Александр Сергеевич Пушкин его не жалует!

Сравнивать этого «коллежского ассессора», этого «дрожавшего капитана» с чудесным гигантом, который из ничего создал могучую армию, разгромил военную мощь тогдашней Западной Европы, расширил границы государства, кончил триумфатором, причем одновременно он заботился о будущем, обращал свой взор к другим странам, не упускал из виду самые разные стороны государственной жизни. Вот тут-то «принципиум компарационис» еще больше возвышает в глазах Пушкина фигуру Петра.

И что же, приукрашивает Пушкин Петра хоть сколько-нибудь? Нет. В мрачном, страшном судилище над царевичем Алексеем он не оправдывает царя. Но он не мог не сказать — и он был совершенно прав со своей точки зрения, — что в лице Алексея Петровича росла такая реакционная сила, готовившая гибель всего содеянного Петром для России, что Петр, даже если бы обожал Алексея (а он его не любил), не поколебался бы пойти на это. Много крови пролилось, много совершено было жестокостей, но Пушкин не находит и не может найти слов порицания самому факту такой борьбы не на жизнь, а на смерть, когда одна из противоборствующих сторон должна погибнуть.

Это была страшная трагедия, затмевающая трагедии Шекспира, и Пушкин встал на сторону того исторического деятеля, с которым связано было будущее страны и всего народа. А там, где не было подобного оправдания поступкам Петра, Пушкин его и не оправдывает. Там он чрезвычайно холодно говорит о его поступках. Холодно говорит он о том, что Петр сделал со своей первой женой, о том, что Петр вообще многое делал не так, как подобало бы поступать великому человеку, каким он действительно был. Пушкин говорит о том, что

одни указы Петра написаны мудрым государственным человеком, а другие — кнутом, во всяком случае читающему эти указы мерещится кнут самовластного помещика, истязającego своих подданных.

Пушкин не успел написать историю царствования Петра I, он даже не сделал набросков ее, он оставил лишь выписки для нескольких задуманных им работ. Но эти выписки поразительно характерны. Их можно сравнить только с подобными же выписками, сделанными другим великим человеком, которые были обнаружены совсем недавно. Я имею в виду «Хронологические выписки» Карла Маркса. Маркс был уже на вершине славы, когда сел на ученическую скамью — стал читать и прилежно изучать сочинения историка Шлоссера, который так же не может идти в сравнение с самим Марксом, как Голиков с Пушкиным. И тем не менее Маркс изучал Шлоссера тщательно и прилежно, и по многочисленным выпискам из устаревшего учебника мы видим, что собирался сделать Маркс с полученными сведениями. Только смерть помешала ему выполнить задуманное. То же произошло и с Пушкиным. Мы знаем это по его выпискам — они сделаны по его собственной системе, в основе которой лежало его же собственное воззрение на историческую фигуру Петра. Нам остается лишь сожалеть, что на этом все остановилось, потому что даже сказанное Пушкиным о Петре свидетельствует о его серьезных замыслах, которые прервала пуля французского проходимца. Но даже то, что от этих замыслов дошло до нас, лишний раз подтверждает, каким колоссом был Пушкин.

Однако Пушкин оставил нам и завершенное историческое исследование — «Историю Пугачева», которую Николай I велел перекрестить в «Историю Пугачевского бунта». Некоторые суждения, высказанные Пушкиным в этой работе, просто поразительны. Хотя наша задача — не детальный разбор тех или иных произведений Пушкина, а анализ его воззрений на ряд исторических событий, я все же, говоря об «Истории Пугачевского бунта», должен сказать и о «Капитанской дочке». Потому что, если бы повесть «Капитанская дочка» не была бы сама по себе гениальным художественным творением, ее можно было бы назвать беллетризованной хроникой Пугачевского восстания.

Каким рисует он нам Пугачева? То, что Пушкину удалось под недреманным жандармским оком клеветы Николая I Бенкендорфа и под «двумя свинцовыми пулями» — по выражению Герцена, — которыми сам Николай Павлович смотрел на мир божий», «прогащить», как говорится, Пугачева, того Пугачева, которого мы все благодаря ему знаем, — поразительно.

О Пугачеве много писали, пишут и будут писать. В эпоху дворянской и отчасти буржуазной историографии его рисовали чуть ли не исчадием ада с хвостом и рогами. Потом положение круто переменялось, и его стали рисовать ангелом с крылышками. И то и другое — фантазия, вздор, диктуемый сочинителями. И так, были разные увлечения и были разные сочинения о Пугачеве, как бранные, так и хвалебные, и все они со временем стали достоянием архивов, а пушкинский Пугачев остался и поныне здравствующим и невредимым. И что бы вы ни читали о нем, вы не можете отделаться от образа этого чернородого, со сверкающими глазами мужика, от этого исторического деятеля первого ранга, с которым вихрь и муть свели пушкинского героя зимней ночью. Этот Пугачев, который впервые явился нам из-под пера Пушкина, у нас, людей, выросших на великой русской литературе, всегда неотрывно стоит перед глазами, как только мы обращаемся к той эпохе, и ничто не вытравит его.

Сделать Пугачева симпатичным! Но сказать «симпатичным» — это мало: чем больше читаешь Пушкина, тем больше пленяешься, привязываешься к его Пугачеву. И сделать это под «свинцовыми пулями» Николая I и Бенкендорфа — это, повторяю, граничит с чудом.

При той неаккуратности, с которой сплошь и рядом, к сожалению, изучалась у нас «Капитанская дочка», нередко смешивают два лица — Петра Андреевича Гринева и Александра Сергеевича Пушкина и классические слова: «Не приведи

бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — часто приписывали автору. Но ведь и х говорит Петр Андреевич Гринев, а не Александр Сергеевич Пушкин. Это говорит дворянский недоросль, гонявший до той поры голубей да лобезничавший с дворовыми девушками, недоросль, который прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды, — чего еще можно было ожидать от него, как не такого отзыва?! Пушкин был прав: иначе и не мог думать этот дворянский сынок. «Ты никогда не лгал, наш великий поэт!» — сказал Тургенев. Пушкин и здесь не лгал — он не мог сказать иначе. Александр Сергеевич изучал географию, не запуская мыс Доброй Надежды под небеса, — он изучал и географию и историю по-иному, он и судит по-иному.

Готовясь к сегодняшнему выступлению, я задумался: стоит ли мне напоминать одно место из «Капитанской дочки», или оно слишком уж известно? И все же мне кажется, что стоит. Вот оно, это место. Я его знаю на память, но, чтоб не ошибиться хоть в одном слове, я прочту его. Это беседа в пути, когда Пугачев и Гринев отправляются освобождать Марью Ивановну.

« — Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. — «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна. — Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридрихом?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управлюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо».

Прочтя это место, перечитайте его еще раз и подумайте: что это? Кто говорит о хвастливом разбойнике? Это говорит не Пушкин, это говорит Гринев. Он должен так говорить, если он Гринев. А дальше кто говорит? Дальше говорит Александр Сергеевич, вкладывая в уста Пугачева ответ, который нельзя опровергнуть.

«Разбойник» — это слово ругательное, но как ни называй Пугачева: «разбойник» или «Емельяшка» — от этого его не убудет, а вас не прибудет.

Почему Пушкин вкладывает именно такой ответ? Потому что такой ответ логичен. Найдите хоть малейшее отступление от правды. Били Фридриха русские генералы? Кому же это знать, как не нам — историкам! Не только били, но он сам признавался, что яд в кармане неделями носил и не знал — когда решиться принять его. Ведь он тогда претерпел не поражение, а настоящий разгром. Ничего от Фридриха не осталось. И мог ли Емельян Пугачев это сказать — даже человеку, который как будто считал, что вправе называть Пугачева «Емельяшкой» и «разбойником»? Мог. Но это говорит не Пугачев, а Пушкин и потому, что Пушкин его понял и не только сделал его симпатичным, не только правдиво показал, что Пугачев способен на благородные поступки, но и дал тем самым общую его характеристику. Патриот Александр Сергеевич Пушкин не смеется, а серьезно выслушивает, что говорит Емельян Пугачев, потому что Пугачев прав, потому что здесь Пугачева ничем не опровергнуть. Это доказано исторически. Потому что и Пугачев и Фридрих уже врублены топором истории и их ничем не вырубить. Здесь Пушкин отдал должное тому, что один из величайших стратег того времени — Александр Васильевич Суворов — долго шел пешком за ехавшей шагом телегой, в которой сидел закованный в цепи Пугачев, и с любопытством расспрашивал его о военных распоряжениях — а Суворов понимал толк в военном деле! — и показал Пугачева недюжинным военачальником.

А вот еще одна деталь, которая особенно выразительна для исторического воззрения Пушкина. О Пугачеве написана целая библиотека, но, насколько мне известно, нигде не сказано, что хотя в тогдашних условиях Пушкин не мог сделать полностью, но все же сделал: он отметил, что через недолгое время бродяга, шлявшийся по большим дорогам и постоялым дворам, «потрясал государством».

«Потрясал государством!» — вот необычайно важное заключение, а оно почему-то пропускается во всех исследованиях о Пугачеве.

Чем был Пугачев в конце 1773—1774 годов? Он был конкурентом Екатерины. И таким, который треть государства уже отнял у нее, и она боялась, что он отнимет и остальные две трети. Кто свидетельствует об этом? Да она сама! Нужно только изучать ее как следует. О чем она писала Вольтеру? Она писала ему не только всем известные слова, приводимые даже в академическом издании Пушкина: дескать, Пугачев столь нелеп, что думает, будто его могут помиловать за храбрость. Если бы дело шло обо мне, добавляет Екатерина, то я помиловала бы его, но у государства свои законы. Это она пишет, желая прихвастнуть своей добротой и великодушием. Но она писала о Пугачеве не только Вольтеру, но и госпоже Бельке и некоторым другим своим корреспондентам. И там шла речь о том, что Пугачев мог бы въехать в Москву вовсе не в том виде, в каком он въехал. И это признает женщина, у которой властолюбие, хитрость, мужское мужество и самообладание были необычайные и самолюбие громадное. И тем не менее она признает «мощь разбойника». С нею тщетно пытались тягаться Уильям Питт-Младший, Густав III и Шуазель. А Фридрих II даже и не пытался, потому что боялся ее. Это было единственное существо, которого он по-настоящему боялся, единственное! И Екатерина ни о ком из них не говорила, что такой-то мог бы войти в ее Москву, другими словами — лишить ее престола. А вот об Емельяне Ивановиче она это сказала. И Пушкин сказал это. Многие же авторы прочли и «проследовали мимо» его слов «потрясал государством».

А если мы взглянем на эти события не только с точки зрения истории России, а с точки зрения мировой истории и попытаемся установить — так было дело или не так? Конечно, так! Напомню еще раз простую истину: все познается в сравнении. Сравните Пугачевское восстание с другим подобным ему и весьма тщательно изученным — с Крестьянской войной в Германии (1524—1525 гг.). Крестьянской войне повезло — о ней писали большие мыслители, о ней писал Энгельс. Она действительно заслуживала их внимания.

Но сравните Крестьянскую войну — единственную по своему размаху в Германии — с пугачевщиной, и вам покажется, что это можно сделать только для неуместной насмешки, до такой степени ничтожным было Крестьянское восстание в Германии исторически. Оно сыграло большую роль для Германии, но сравнить его масштабы и географический охват с Пугачевским восстанием никак нельзя.

Пугачевское восстание было гражданской войной, длившейся не месяцы, а годы, и достигло такого размаха и успехов, о которых в Германии и речи не было.

Разумеется, нельзя сказать человеку, который хоть отчасти прошел марксистскую школу, что все это произошло потому, что появился такой предводитель, как Пугачев! Хотя и не без этого! Многое для этого восстания подготовил тогдашний уклад жизни русского крестьянства, многое выросло из житья-бытья восточных народностей и казачества — как северного, яицкого, так и южного — донского. Так вот, без данных исторических условий Емельян Пугачев был бы бессилён, и, конечно, изучение этих условий западноевропейскими историками производит буквально переворот в их воззрении на социальную историю России..

Для понимания исторических воззрений Пушкина важно помнить и о том, что ему пришлось быть одновременно и человеком, переживавшим исторические события, и историком-публицистом, описывавшим эти события. Я говорю о 1812 годе и наполеоновской эпопее, которая надолго и властно приковала к себе Пушкина.

Читая Пушкина в хронологическом порядке, видишь, что поэт — участник и отчасти жертва событий своего времени — времени, о котором Вяземский говорил, что трудно даже представить себе бремя, выпавшее на долю его поколения. Об этом времени Пушкин писал:

...гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

Это были годы лицея. Юный Пушкин ненавидел тирана Европы Наполеона. Он ненавидел его тогда не только патриотической ненавистью, но и другой, особой ненавистью, которая исчезла у него к 1821 году. Эта ненависть отражена в его юношеских, мало известных и художественно малоценных произведениях и роднит Пушкина с другим по-своему замечательным деятелем, к сожалению, забытым историей, — с Павлом Александровичем Строгановым.

Павел Александрович Строганов — русский вельможа, владелец необъятных латифундий, ученик якобинца Жильбера Рома, фанатически ему преданный, живший с ним в Париже в начале революции 1789 года. Имя этого Строганова значится под протоколом об основании якобинского клуба. Когда ему пришлось вернуться в Россию, Павел Александрович писал, что он не поугай и не флюгер и останется при своих убеждениях, где бы он ни был — во Франции или в России. После казни Робеспьера термидорианцы казнили и Жильбера Рома, и Павел Александрович Строганов годами разыскивал окровавленную рубашку своего учителя... Строганов был человеком, который при всех своих латифундиях оставался поклонником французской революции. Он ненавидел Наполеона не только как русский патриот и не только тогда, когда Наполеон шел на Россию, — он ненавидел его всегда за то, что Наполеон задушил революцию.

У молодого Пушкина к 1821 году и в особенности к 1824 году тоже проявляется именно такое отношение. Он тоже ненавидит Наполеона-тирана, «холодного кровопийцу». Он изображает его кровожадным и злым царем Дадонем.

Вы слышали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого.
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови...

Впоследствии, когда после Ватерлоо реакция завладевает Европой, ненависть Пушкина получает иное направление: Священный Союз — вот тогдашний душитель свободы. По-иному он начинает относиться и к Наполеону. Вспомните его оду на смерть Наполеона. В гневных стихах излил тогда Пушкин и свое возмущение насильем тирана, и свое чувство патриотического удовлетворения возмездием.

И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Оплачены тебе, тиран!

Но затем он словно бы отдает должное величию Наполеона — ведь тот не только был узурпатором, не только совершал жестокие деяния, но способствовал прогрессу и

...русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Затем наше внимание должно привлечь другое, прямо касающееся России и Наполеона стихотворение Пушкина, иногда незаслуженно называемое «отрывком», рисующее Александра I — победителя, решающего судьбы Европы:

...и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли...

Не наполеоновскую неволю, которая сопровождалась громом пушек, а «тихую неволю» — жандармско-полицейский гнет:

...От царскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара...

И дальше:

Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

Но вот появляется тень Наполеона:

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал,
Таков он был, когда с победным договором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.

Это явный намек на прошлое позорное поведение Александра.

Пушкин оценивал Наполеона в разные моменты русской истории.

Интересно проследить, как Пушкин оценивал французскую революцию и все, что с нею было связано, и как он в конечном счете оценивал Наполеона. В отрывке только что приведенного стихотворения он характеризует Наполеона с чисто внешней стороны:

Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

Пушкин называет Наполеона еще «свершитель рэковой безвестного веленья», но это, вероятно, просто случайный мистический оборот, который больше нигде у Пушкина не встречается.

Итак, его отношение к историческим деятелям менялось. Причем, заметьте, так же, как его влекло к Петру I, так же увлекся он французской революцией, которую связывал непосредственно с Наполеоном и с его ролью в ее удушении.

Непрерывная смена грандиозных событий, которыми была так богата первая половина XIX века, разносторонне отразилась в творчестве Пушкина и, конечно, отразилась бы гораздо полнее, живи он дольше.

Единственно настоящим в смысле законченности историческим произведением Пушкина была «История Пугачевского бунта», над которой он работал с усердием не только подлинного специалиста-историка (специалистов-историков есть на свете даже больше, чем надо), но высокоталантливого историка-неспециалиста, что бывает несравненно реже, а именно таким и был Пушкин...

Не заслуживает внимания мнение некоторых современников Пушкина, которые говорили, читая его прозу, что Пушкин «кончился».

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят.—

писал Пушкин.

Его «суровая проза» была прекраснее и поучительней любой поэзии. Прочитайте еще раз его «Капитанскую дочку» — этот идеальный исторический роман, который как исторический роман превосходит величайшее произведение русской литературы — «Войну и мир».

«Война и мир» — великий роман, нет сомнения. Но в «Войне и мире» действуют персонажи, которые сплошь и рядом говорят не как офицеры 1812 года, а как офицеры Крымской кампании или даже более позднего времени. Могучий гений Толстого все превозмогает, и мы верим всему, а герои «Капитанской дочки» говорят и думают так, как они на самом деле могли думать и говорить в 1774 году.

Вот мысли, которые сами собой приходят в голову, когда начинаешь думать о том, что в Александре Сергеевиче Пушкине мы потеряли великого историка.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. Золотой список золотых людей.— **Корней Чуковский.** В защиту Бернса.— **В. Портнов.** Жар непосредственности.— **А. Каменский.** Трудности жанра.— **Л. Николаева.** Новое слово о Тургеневе.— **Ал. Гладков.** На арене цирка.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Минц. Ленин и внешняя политика СССР.— **М. Гутин.** Вехи борьбы и побед.— **Я. Тавров.** Коллектив и его судьба.— **В. Твардовская.** Исторические концепции революционных демократов.— **С. Смуглый.** Просто о сложном.— **Г. Кублицкий.** Замаскированная нищета.

Литература и искусство

ЗОЛОТОЙ СПИСОК ЗОЛОТЫХ ЛЮДЕЙ

Александра Бруштейн. Вечерние огни. «Советский писатель». М. 1963. 368 стр.

Новая книга Александры Бруштейн «Вечерние огни» во многом примыкает к другим ее автобиографическим произведениям («Дорога уходит в даль», «В рассветный час», «Весна»). Однако на этот раз перед нами не развернутая повесть о том или ином периоде жизни героини, а четыре фрагмента, посвященные разным событиям, которые разделены между собою многими годами, а то и целыми десятилетиями.

Новгород в тревожную осень 1905 года — и трагическая летопись Шлиссельбургской тюрьмы; обороняющийся от Юденича Петроград — и знаменитый институт академика Филатова в наши дни.

Доверительно-откровенные, глубоко личные страницы, а рядом другие, написанные скорее пером историка, исследователя революционного прошлого...

Но если читатель делает из сказанного вывод: книга-то, видать, неровная, с провалами в скучную информационность и составлена довольно произвольно — из вещей, которые могли бы существовать и по-прежнему, — он окажется глубоко не прав.

Все прочитанное в этой «разнородной» книге на самом деле находится в глубоком, органическом единстве.

В чем же это единство?

В поисках ответа на этот вопрос я мысленно листая страницы книги, первым делом вспоминаю мимолетный эпизод, когда писательница, приглашенная в школу, теряется в догадках, что именно ей надо будет сказать. «Зато я крепко знала, — оговаривается она, — чего не хочу сказать, чего ни за что говорить не буду». Речь, казалось бы, идет только об отвращении автора к сюсюканью и другим штампованным приемам обращения к сугубо детской аудитории: «Ах, дети, дети! Как вам не стыдно! Вам все дано, — вы учитесь в школе, для вас играют детские спектакли, пишут и издают детские книги... А вы... Ай, ай, ай! Недружно живете, — срам какой!»

Однако мы прекрасно понимаем, что А. Бруштейн столь же не способна к малейшей фальши в разговоре с любым читателем.

Уважение к своим невидимым собеседникам, стремление, выражаясь языком одного из революционеров, переубедить, а не перекричать, нежелание покупать внимание читателя ценой дешевых эффектов и заискивания, отвращение к высокопарному менторству — главная привлекательная черта «Вечерних огней».

Писательница никого не поучает, она просто посвящает нас в свои мысли, заново обдумывает уроки, преподанные жизнью. И от многих забытых эпизодов словно бы протягиваются живые ниточки к тому, что продолжает нас волновать и поныне.

Вот в ответ на успехи первой русской революции царизм спускает с цепи оголтелую свору черносотенных погромщиков, и в новгородском предместье, в доме, где собираются социал-демократы, раздается звон битого стекла: «В окне комнаты Колобка (маленького сына рассказчицы.—А. Т.) зияют пробитые кирпичом две многолучистые звезды неправильной формы».

Это контрреволюция голосок подала, как говорит наборщик Сударкин. Таково сугубо конкретное истолкование происшедшего. Однако употребленный писательницей образ будит в нас и другие, более широкие ассоциации: сквозь звездообразную пробину в окне мы видим уже не только хмурую новгородскую ночь, а и черные годы фашизма, сделавшего шестиконечную звезду позорным клеймом соплеменников маленького Колобка.

Мутная волна реакции уже не довольствуется прежними скромными жертвами: «Последняя новость — в городах, где нет «инородцев», устраивают погромы нового типа: убивают и громят революционеров, политических ссыльных, интеллигенцию».

Таким образом, фашизм с его претензиями на «новый порядок» и «новую идеологию» на самом деле позаимствовал старое оружие махровой реакции, придав ему только больший размах.

Когда-то Александр III со старательностью тупого ученика повторял за Победоносцевым злобную ругань по адресу «гнилой интеллигенции», якобы оторванной от народа, имея в виду, конечно, не буржуазную интеллигенцию, а революционно-демократическую ее часть. Но именно эта «гнилая интеллигенция» вносила свет теории, знания в разрозненное и стихийное рабочее движение, именно она в мучительных исканиях верного пути выстрадала для России

марксизм. Реакционеры всех стран и всех мастей справедливо боялись катализирующего, ускоряющего влияния, которое переломная интеллигенция могла возыметь на освободительное движение масс, и пускали в ход всевозможные средства, чтобы расколоть этот союз. Порой им удавалось сыграть на невежестве и укоренившихся за века нищеты и гнета темных инстинктах и посеять в части народа недоверие и неприязнь к «ученым», направить озлобленных жизнью людей на тех, кто был на деле истинным другом трудящихся. И все же революционная интеллигенция умела преодолевать все преграды в своем стремлении сблизиться с народом.

Даже в Шлиссельбургской крепости такие революционеры, как Ф. Н. Петров, Борис Жадановский и Владимир Лихтенштадт, не только показывали чудеса личной выдержки и работоспособности, но и становились коноводами и любимцами пестрой, разнородной массы заключенных. То, что «рафинированный» интеллигент Лихтенштадт стал вожаком каторги, создав своего рода «коммунистическое распределение» всех доходивших с воли передач, что и в этой тюрьме работали многочисленные кружки, в которых полуграмотные люди становились образованными, то, что здесь возникала дружба, связывавшая «ученых» интеллигентов с их новыми знакомцами, — все это говорит само за себя.

Комендант красноармейского госпиталя Бельчук, выведенный в рассказе «Суд идет!», называет позднейшее замечательное начинание новорожденной советской власти — ликбез — «интеллигентской затеей». Оно кажется ему совершенно бесцельным в городе, который, как Бельчук втайне надеется, будет вот-вот взят Юденичем.

Еще больше бы издевался он над «романовским университетом», как — по имени царствовавшей династии — называли заключенные свою учебу в тюремных кружках.

И какую гордость испытываем мы за эту давнюю «интеллигентскую затею»!

Конечно, жизнь и борьба шлиссельбургских узников, о которых идет речь в очерке «Цветы Шлиссельбурга», по масштабам своим несонизмерима с тем, что пришлось впоследствии вытерпеть узникам фашизма. Мало кто из последних мог мечтать в тюрьме о творческой работе, какой еще занимались Борис Жадановский, Владимир Лих-

тенштадт и другие. Однако разве это дает нам право пройти мимо их страданий, их жертв, их победы над своими тюремщиками? Разве не заслуживает нашей живой признательности и глубоко законспирированная организация столичной интеллигенции, помогавшая узникам выстоять в этой борьбе, и «негласный мир хороших людей», на которых она опиралась в своей деятельности? Нет, спасибо писательнице за то, что она извлекла из своей памяти этот «золотой список золотых людей».

В свою очередь и лишения, которые перенес Петроград в 1919 году, отражая натиск Юденича, тоже не чета смертельному испытанию ленинградской блокады. Но рассказ «Суд идет!» дает нам ощутить тот «вкус советской власти», который, по мысли одного из героев А. Фадеева, навсегда остался бы в памяти человечества, даже если бы белоохранительная и интервентам удалось бы одержать верх. Первый советский суд, на котором присутствует рассказчица, разбирает дело трех санитарок, отказавшихся уйти с занятий ликбеза и по приказу Бельчука идти грузить дрова. «Контрреволюция!», «Нарушение военной дисциплины!» — гремит Бельчук, хитро рассчитав, что «страшнее слова нет в сегодняшнем Петрограде, осажденном вражескими армиями, ежечасно подрываемом врагами изнутри», и что никто не будет разбираться в том, была ли у него нужда отправлять на разгрузку именно этих санитарок, а не других, не занятых учебой. Но Бельчуку не удалось «перекричать» правду. Судья — работница Маруся Солдатова — и заседатели не поддались на демагогию этого «полицейского последыша», как удивительно точно характеризует Бельчука выступавшая на суде учительница.

«Невозможно описать, какие мы в этот час счастливые! — торжествует рассказчица. — Мы шагаем и верим, что все, все будет очень хорошо, замечательно!»

Но, правдиво передавая это естественное чувство радости после испытанного волнения, А. Бруштейн какой-то ноткой своего голоса словно бы предупреждает нас, что Бельчук не обескуражен поражением, что он еще попытается отыграться...

Драматизм последнего очерка — «Свет моих очей...» — в значительной мере иной, чем в остальных частях книги. Здесь герои вступают в противоборство не с другими людьми,

защищающими иные убеждения или заблуждения, а со страшным несчастьем — слепотой. Но и в этой схватке, часто длящейся целые годы, им тоже требуется не только предельное напряжение своих собственных сил, воли, терпенья, но и живое участие со стороны товарищей по палате, врачей, сестер, санитарок. И здесь перед нами опять возникает «золотой список» добрых людей. Это не только замечательный ученый Филатов и плеяда его учеников и сотрудников, но и с утра до вечера занятая чужими горестями, хотя и сама жестоко страдающая Александра Артемьевна, и Марья Семеновна Кореняко, и санитар Юра, и многие другие, подчас лишь мельком, но четко обрисованные лица.

Очерк оканчивается описанием того, как после рискованной операции рассказчице было возвращено зрение и перед ней вновь возник мир «удивительной, давно забытой яркости окраски, четкости линий, чистоты цвета». Я упоминаю об этом потому, что вряд ли кому из читателей последних книг Бруштейн, написанных до этой удачной операции, приходило в голову, что их пишет человек, стоящий перед угрозой полной слепоты. В них не было ни грана жалобы на свою судьбу, ни малейшей поправки себе как писателю. Краски, которыми написаны ее книги, не были тусклыми, неверно положенными. Это прекрасное и доброе искусство, знающее и любящее мир не только на взгляд, но и на осязание. «Люблю их вопрошающие глаза, их доверчивое тепло, — пишет А. Бруштейн о детях. — Люблю осязывать под пальцами мягкие, легкие волосы девочек или низко остриженные, плюшевые на осязание головы мальчиков».

«У орешника лист мохнатый, добрый, как губы жеребенка, осторожно берушие хлеб из руки человека», — читаем мы в рассказе «Суд идет!». Вот какой чудесный жизнелюбивый образ родился у писательницы даже тогда, когда выбивался из сил «престарелый грузчик» — глаза.

Я говорил о том, что по внешности разнородная книга «Вечерние огни» обладает несомненным внутренним единством. Не знаю, удалось ли мне перечислить все черты, из которых складывается это впечатление. Но не последняя из них — та, что рассказ о борьбе, подвигах и горестях ведется человеком большой и мужественной души.

А. ТУРКОВ.

В ЗАЩИТУ БЕРНСА

Роберт Бернс. Песни и стихи. Перевод с английского Виктора Федотова, «Советская Россия». М.1963. 232 стр.

С детства я пылко люблю поэзию Роберта Бернса и потому чрезвычайно обрадовался, когда у меня на столе очутилась только что изданная «Советской Россией» хорошенькая, нарядная книжка: Роберт Бернс, «Песни и стихи» в переводе Виктора Федотова.

Раскрываю книжку где пришлось. Поэма «Святочная ночь»... Но позвольте, неужели она написана Бернсом? Читаю и не верю глазам: шотландские крестьяне, которых Бернс всегда воспевал с такой нежностью, представлены здесь чуть не олухами: в самую суровую зимнюю пору, когда трещат морозы и свирепствуют вьюги, эти чудачки всей оравой отправляются в засыпанные снегом поля и как ни в чем не бывало собирают там свой урожай. С изумлением читаю о них в этой «Святочной ночи»:

Под святки сноп последний ржи
Связали и гуляли

Потом всю ночь.

Но ведь святки — конец декабря, а зимы в Шотландии не такие уж мягкие. Нужно быть лунатиком, чтобы в декабрьскую жестокую стужу — за неделю до Нового года — выйти с серпами в обледенелое поле и жаг колосистую рожь.

Но этого мало. В ту же зимнюю ночь безумцы отправляются в огород за капустой:

...Собирается в полях
Народ селений ближних
Калить орехи на углях
И дергать кочерыжки

Под святки в ночь.

К счастью, я помню это стихотворение в подлиннике. Нужно ли говорить, что оно не имеет никакого отношения к святкам? Озаглавлено оно «Хэллоуин» («Halloween») — так называется в Шотландии один из народных праздников, который праздновался отнюдь не зимой, но осенью — в конце октября. Осенью.

От этого и произошел весь конфуз. Оказывается, переводчик напрасно обидел шотландских крестьян: они совсем не такие глупцы, какими он изобразил их в своем переводе.

Впрочем, можно ли назвать их шотландцами? Судя по этому переводу — едва ли. Раньше всего потому, что они верноподданные русского царя-самодержца и распевают в своей родной Каледонии русский урапатриотический гимн «Боже, царя храни!».

Переводчик так и пишет в своей книжке:

Кто не поет: «Храни царя»,
Того карают строго.

И на следующей странице опять дважды фигурирует царь. Мало того: когда в стихотворении Бернса появляется кальвиннистский священник, переводчик зовет его «батюшка»:

Из ближней церкви батюшка.

И перед нами мигом возникает образ деревенского попа, «долгогривого».

Но и этого мало. Свергнув с престола британского короля Георга III и утвердив в протестантской Шотландии православную церковь, переводчик в соответствии с этим заставляет шотландцев выражаться на таком диалекте:

«доля-долюшка», «судьбинушка», «ноченька» (стр. 159), «парнишка» (стр. 142), «тятенька» (стр. 103), «девчата» (стр. 172) и даже вводит в Шотландии российские наши дензнаки: здесь у него есть и «пятак» (стр. 157), и «копейка», и «копеечка» (стр. 116), и даже «целковый» (стр. 62), так что с удивлением встречаешь (тут же в его переводе) мельника, который берет за помол не русский двугривенный, но английский шиллинг (стр. 45).

Шотландские дороги измеряет он русскими «верстами» (стр. 132).

И добро бы он преобразил всю Шотландию в Рязанскую или Псковскую губернию. Здесь был бы общий принцип, была бы система. Но в том-то и дело, что, подобно тому, как он смешивает шиллинги с пятаками и гривенниками, он на пространстве всей книги смешивает реалии русского быта с реалиями быта шотландского. Наряду с «парнишками» и «тятеньками» у него есть и «волынки», и «пледы», и «феи», и «Стюарты».

Вообще самый аляповатый стилистический разноречивый несколько не корбит его, и

от него всегда можно ждать вот такого сочетания высокого стиля с вульгарным:

И в комнату вошла девчонка,
Сверкнув очами.

Поэма «Хэллоуин» в оригинале оснащена точными, четкими рифмами: дэнс — прэнс, бимз — стримз и т. д. У этих рифм такой же строгий чекан, как, скажем, в «Медном всаднике» или в «Евгении Онегине».

А переводчик считает возможным в первых же строках «Хэллоуина» рифмовать слово Касилз со словом прекрасной:

Когда со всей округи фей
Ночь манит в горы Касилз,
И каждый склон там озарен
Свеченьем их прекрасным...

В первую минуту вам кажется, что это опечатка, но нет, во второй строфе он рифмует кочерыжки и ближних! Дальше: растолковать нам и — не к стати (стр. 208), устремленья и — деньги (стр. 73), колосья и — крадется (стр. 174) и т. д. и т. д. Если глянуть на соседние страницы, там найдете вы рифмы и почище: зачатья и — зардьясь вся (стр. 189), бард мой и — благодатный (стр. 195), вот он и — полуголоден (стр. 188), смела б и — серой (стр. 190). Словом, на каждом шагу гвоздь рифмуется у него с панихидой.

Смелость В. Федотова в этом отношении не имеет границ. Отважно рифмует он слово Нэнни со словом сердцебиение (стр. 151) и слово ручья со словом любимая (стр. 149).

Конечно, такие приемы сильно облегчают ему переводческий труд. Но Бернсу от этого не легче, так как из-за них он предстает перед русским читателем как разнужданный словесный неряха, кропающий свои кривобокие вирши спустя рукава, кое-как, на ура, на фуфу.

Конечно, переводчик в оправдание своих неряшливых и вялых рифмондов может сказать, что это самоновейшие рифмы, но ведь Бернс жил в XVIII веке, и те стихи, о которых я сейчас говорю, построены на пушкински точных созвучиях.

Для дальнейшего облегчения своей работы над Бернсом Виктор Федотов прибегает и к другому столь же хитроумному

способу: если какое-нибудь слово выходит за пределы правильной ритмической схемы, он коверкает его нелепым ударением. Отсюда у него: взпуски (стр. 205), полуголоден (стр. 188), ахти (стр. 175), сломленый (стр. 126), прилила (стр. 192) и (честное слово!) постны (стр. 203):

Черты их лиц постны (?), остры.

Из-за этой бесшабашной разнужданныости многие кристаллически ясные мысли и образы Бернса оказываются в переводе до того замутненными, что приходится разгадывать их, как некие ребусы. Сколько ни думай, никак не смекнешь, что же может значить такое двустишие:

По мере силы избегай
Критических разъятий (?)

(стр. 156).

Или:

Разменивая (?) с глупой
Достоинство мужское.

(стр. 148).

Иногда такое замутнение смысла принимает очень большие размеры.

В подлинном тексте знаменитого стихотворения «Добровольцы Дамфриза» («Does haughty Gaul») Роберт Бернс призывает своих соотечественников к братскому единению с Англией перед лицом грозной национальной опасности, а в переводе он призывает шотландцев объединиться с шотландцами, хотя Бернс четырежды повторяет слова «британский», «Британия». Это то самое стихотворение, где, к довершению путаницы, фигурирует русский царь.

И «при всем при том» — гигантская безвкусица, которая на каждой странице буквально кричит о себе. Например, в стихотворении «Парни из Гэла Вот» (которое на самом деле называется «У нее такие белокурые волосы», «Sae fair her hair») он заставляет Бернса писать:

Среди раки, среди раки,
Среди раки в тени крушины
Шнурок девчонкой позабыт,
Ах, как она о том крушилась.

«Крушилась» и «крушина» — игра слов, которой устыдился бы даже Лебядкин. То же самое в поэме «Видение»:

А платье из шотландки серой
Приоткрывало ножку смелю.
Но что за ножка! Джин лишь смела б...

«Смело» и «смела б» — неплохой каламбур, но попробуйте произнести или спеть это корявое сочетание слов: Д ж и н л и ш ь с м е л а б — косноязычное скопление согласных, не дающее стиху той текучести, которая свойственна благозвучнейшей поэзии Бернса. Сюда же относятся: з а р д я с ь в с я , н е р в н а т я н у т , б а р д м о й и т . д . Но это особая тема, а рецензия моя и без того затянулась.

Я пишу эту рецензию с большой грустью, потому что мне искренне жаль переводчика. Нельзя сказать, чтобы он был безнадежен: в его переводах нет-нет проскользнет какое-то подобие живой интонации, какой-то не совсем раздребезженный эпитет. Я уверен, что сил и способностей у него гораздо больше, чем можно подумать, читая его бедную книжку.

После стоеросовых, шершавых стихов вдруг послышится чистый мелодический голос — правда, немного банальный:

Постой, о нежный соловей,
Побудь со мной в тени ветвей,
Овей печаль души моей
Волною нежных жалоб.

Есть проблески подлинной лирики в переводе фривольных стихов—таких, как «Не там ты, девушка, легла», «Что мамочка наделала», «У мамы я росла одна» и т. д., хотя то, что у Бернса выходит улыбочиво, грациозно, игриво, у переводчика звучит куда грубее. Как бы то ни было, здесь (а не в переводе поэм) он мог бы добиться удачи. Порою среди расхлябанных и вялых стихов встретятся крепко сколоченные, ладные, прочные строки:

Голод с матушкой нуждою
Днюют в хижине моей,
Как ни бьюсь, все нет отбою
От непрошенных гостей.

И в переводе «Дерева свободы» есть несколько мест, которые звучат хоть и не поэтически, но вполне вразумительно.

К сожалению, эти немногие блестящие захламлены горами словесного шлака, которого не отгребешь никакими лопатами.

Неужели возле переводчика не нашлось человека, который удержал бы его от такого разгула неряшливости? Можно ли так необдуманно губить и свой труд, и свое доброе имя? Если бы он обратился к кому-нибудь из знающих друзей за советом и

помощью, эти люди, я твердо уверен, легко убедили бы его, что такие переводы не принесут ему славы, и дружески посоветовали бы воздержаться от их напечатания.

— Нельзя же переводить наобум, даже не понимая тех слов, которые вы переводите,— сказал бы ему доброжелательный друг.— Ведь это значит сделаться посмешищем — особенно в нашей стране, где искусство художественного перевода достигло необычайных высот совершенства.

Здесь этот авторитетный и доброжелательный друг взял бы листы его рукописи, воспроизведенные в его книжке на страницах 170-й и 171-й, и стал бы перечислять те ошибки, которые так густо теснятся в его переводе на пространстве двадцати с чем-то строчек.

— Вот,— сказал бы он,— судите сами... Бернс в предисловии к поэме употребляет этнографический термин *chants and spells*, который здесь означает «обрядовые гаданья», а вы поняли этот термин как эмоциональное выражение восторга и перевели его такими словами: «прелесть(!) и очарование(!) этой ночи» — то есть увидели метафору там, где ее нет и в помине, и тем исказили истинную мысль Бернса. Не «прелесть и очарование» видел Бернс в этих суеверных обрядах, но свидетельство темноты и отсталости шотландских крестьян. Он так и сказал в предисловии: они находятся на низкой ступени развития (*in a rude state*). Вы же, не поняв этой горестной мысли, заменили «отсталость» каким-то дымчатом, абстрактным словом первозданности, какое, в сущности, не значит ничего. Этак кто-нибудь из англичан или французов переведет толстовскую «Власть тьмы» — «Власть первозданности».

И тут же рядом новая ошибка. У Бернса сказано, что осеннею ночью под праздник волшебницы-феи во всем своем великолепии гарцуют по горам и долам на резвых боевых скакунах (*sprightly coursers*). В переводе от этих лошадей ничего не осталось, зато о феях почему-то написано:

И каждый склон там озарен
Свеченьем их прекрасным.

В подлиннике — лошади, а в переводе — свеченье. Очевидно, вас сбילה с

толку строка, где поэт говорит, что наездники скакали «во всем своем блеске». Но ведь блеск — здесь метафора, и принимать ее буквально не следует...

Есть и еще с полдесятка ошибок на этом крохотном пространстве двадцати с чем-то строк. Но мне кажется, и этих достаточно, чтобы вы убедились, что печатать ваши переводы рановато.

Так сказал бы Федотову всякий благожелательный друг. Но такого друга не нашлось у него. Переводы его напечатаны. И теперь перед ним один-единственный путь: осознав свою вину перед Бернсом и перед читателем, попытаться загладить ее усидчивым и упорным трудом.

Корней ЧУКОВСКИЙ.

★

ЖАР НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Олжас Сулейменов. Солнечные ночи. Стихи. Казахское государственное издательство художественной литературы. Алма-Ата. 1962. 184 стр.

Книгу Олжаса Сулейменова трудно найти. Он пишет по-русски, но издавался лишь в Алма-Ате, а продажа «периферийных» изданий налажена у нас из рук вон плохо. Между тем интерес к творчеству молодого поэта большой. О нем дважды писал в «Литературной газете» Леонид Мартынов, назвал его «прекрасным поэтом», а в двенадцатой книжке «Молодой гвардии» за прошлый год Борис Слуцкий заявил о последнем сборнике Сулейменова: «Мне кажется, что в нашей поэзии ни разу так подлинно не говорила русская Азия».

Эти слова не могут не озадачить: о «русской Азии» писали Луговской, Тихонов, Заболоцкий, Мартынов... Пришлось пойти читать «Солнечные ночи» в Публичную библиотеку, где имеется один обязательный экземпляр, может быть единственный в Баку.

В лирике Олжаса Сулейменова преобладает интонация раздумья или возникшего под влиянием сильного чувства разговора с собой — интонация внутреннего монолога. Отсюда — открытость чувства, не стесненного присутствием собеседника. В лучших стихах это дает возможность сохранить весь жар непосредственности. В слабейших — порождает невнятицу и бессвязность.

Умение передать переживание так, как будто оно вот сейчас переполняет душу, можно отметить во многих стихотворениях. Вот, скажем, «Ночи августа...»:

Ветка яблони,
Как завеса приподнята,
В черном небе — огонь.
Морщу лоб, я стараюсь припомнить
Имя этой звезды.
Марс. Наверно — Марс!
У сарая откликнулся конь,

Вороной мой Джульбарс
Тихо звякнул железом узды.

Поэт не описывает, как он вышел ночью из юрты, не поясняет, что название звезды произнес невольно вслух. Он дает мгновенные приметы увиденного как бы в одну минуту, и по движению самого чувства, по интонации мы явственно представляем себе, как все происходило.

Еще одно свойство таланта Сулейменова — зримость его образов. Все видно! Пластично, как живопись:

Ах, какая женщина,
Руки раскидав,
Спит под пыльной яблоней.
Чуть журчит вода.
В клевере помятом сытый шмель гудит,
Солнечные пятна бродят по груди,

Вдоль арыка тихо еду я в седле.
Ой, какая женщина! Косы по земле!
В сторону смущенно
Смотрит старый конь.
Солнечные пятна шириной в ладонь.

Первый раздел книги — «Половецкие песни» — самый цельный. «Русской Азии» здесь нет. Напротив, речь идет об исконной Азии диких страстей, свирепых желаний, жестоких схваток, степной нищеты, где заветное богатство — конь и вода. Но в «Половецких песнях» есть ощущение доподлинности:

Я молод и беден,
Я сыт этой жизнью
Собачьей.
Я хана в раба превращу
И сломаю хребет!

Так и должен был, наверно, думать, воячаясь без сна в черной душной юрте, казахский парень лет сто пятьдесят назад.

стихотворений в прозе «Шесть солнц». Здесь есть и тонкие наблюдения, и серьезные раздумья («Рассматривая карту Земли...», «Россия»). И вдруг — такие вот откровения:

«Мы научились брить бороды, чтобы меньше походить на мамонтов. Женщины стесняются могучих бедер и шикарных бюстов. В жизнь властно входит изящное. Оно более походит на светлую, стройную мысль. Но мамонтов пока большинство. Они защитники земли, но враги революций. Они против движения всей тяжестью массы. Их телами жива нация, но мертва духовно».

Небольшой цикл «О, Алабама...» отразил впечатление поэта от поездок в Америку и Францию. В этих впечатлениях, хотя они разрозненные и мимолетны, есть немало примечательного. Запоминается «негр в здании ООН» со знаменем Кении, шалью брошенным на плечи, автобус, начинающий «рейс свободы», церковь на Монмартре, где молитвы похожи на стихи, а викарий — на Блока...

В этом цикле к поэту куда чаще, чем в поэмах, возвращаются наблюдательность и живое отношение к слову.

К сожалению, два стихотворения, наиболее значительные по теме, не стали удачнейшими в цикле. Я имею в виду «Из окна отеля» и «Арлингтонское кладбище».

Первое написано почему-то без запятых — вероятно, чтобы передать, что из высокого окна люди видятся как немые и их движения кажутся бессвязными, не вполне осмысленными. Но в стихах-то речь не об этом. Речь о дворнике-алжирце, ко-

торый с ножом за пазухой ждет нападения ультра. Изобразительные средства здесь не соответствуют теме. Такие вещи нельзя передавать так, словно все происходит на экране немого кино или во сне.

«Арлингтонское кладбище» многословно, и то и дело неточные строки сбивают с толку:

Я молчать не могу
Над могилей врага,
Хан Аттила лежит, или раб, или милая?
Я и сам не пойму!
Только мне дорога,
Как родная, любая людская могила.

Все здесь не так. О чем речь? О том, что смерть все примиряет? Нет, из контекста более или менее явствует, что поэту больно и за тех, что были врагами, горько за их неправедную жизнь и бессмысленную смерть. Но слова о том, что и их могилы дороги, «как родные», — это же совсем другое!

Тот придумал напалмы,
Тот придумал столетние пальмы,
Мы, сцпившись, под пальмами пали,
Нам обоим чеканят медали,
Как великим героям.

Кто «придумал пальмы»? Какие пальмы? И кто это — «мы»? Ничего не понять!

Сборник составлен не тщательно. Если бы молодой поэт отобрал для книги только лучшие свои стихи, она была бы гораздо интересней, а несомненный талант автора, несмотря даже на некоторую суженность лирического кругозора, был бы представлен более весомо.

В. ПОРТНОВ.

Баку.

★

ТРУДНОСТИ ЖАНРА

В. Смирнова-Ракитина. Валентин Серов. «Молодая гвардия». М. 1961. 336 стр.
Михаил Герман. Домье. «Молодая гвардия». М. 1962. 272 стр.

В редакционных аннотациях к различным выпускам серии «Жизнь замечательных людей» часто встречается такое определение жанра этих книг: «Беллетризованная биография».

Термин, правду сказать, несколько зыбкий и смутный, допускающий самые различные толкования. Чтобы добраться до его сути, очевидно, надо начать с негативных построений.

В самом деле. Это не роман, ибо худо-

жественный вымысел не может и не должен играть тут решающую роль.

Но это и не документальная хроника, ибо тогда совсем неуместна была бы «беллетризация».

Наконец, это и не научное исследование (во всяком случае в его чистой, традиционной форме) хотя бы по тем же самым литературным причинам.

Однако это и одно, и другое, и третье, в своем сложном, органичном сплетении

получающее новое жанровое качество. Автору биографии необходимо владеть писательским мастерством, чтобы увлекательно поведать читателю о «драме жизни» избранного героя во всем его своеобразии. Автору нужно изучить, как правило, огромное количество материалов, связанных с «замечательным человеком», его окружением, исторической эпохой и, разумеется, с тем делом, которое прославило его навеки. Наконец автор должен глубоко и разносторонне понимать суть этого дела, дать ему ясную, верную оценку с точки зрения наших современников.

Я не намереваюсь, конечно, провозглашать некие обязательные правила, но, по-моему, наиболее подходящей авторской фигурой для серии «Жизнь замечательных людей» является специалист в определенной области знания, обладающий литературным дарованием. Разумеется, мыслима и иная пропорция — литератор, основательно изучивший профессию своего героя. Но, откровенно говоря, первое как-то надежнее хотя бы в том отношении, что исключает опасность дилетантизма.

Эта опасность может возникнуть вовсе не только в тех случаях, когда книга посвящается, скажем, математику или геологу, прославленному «охотнику за микробами» или гениальному автору теории относительности — словом, тем или иным знаменитостям из мира естественных и «гочных» наук. По меньшей мере предрассудком является встречающееся иногда мнение, будто о поэте, композиторе, актере, художнике может писать всякий владеющий пером человек — лишь бы «с большим чувством». Искусствоведение — не менее сложная наука, чем любые прочие, оно требует обширных и прочных знаний, четкой методологии. А задача рассказать о творческой биографии в «беллетризованной» форме представляет собой не всепрощающую скидку, а дополнительную (и очень немалую!) трудность работы.

Знакомство с книгами серии «Жизнь замечательных людей» может еще раз подтвердить резонность такого тезиса.

Перед нами два последних выпуска, посвященных художникам, — «Валентин Серов» В. Смирновой-Ракитиной и «Домье» М. Германа.

Не вызывает сомнений, что оба писателя отнеслись к своей работе с подлинной добросовестностью. Читая книги, быстро убеждаешься, что их авторы собрали и изучили

кипы материалов, документов, исследований. Даже за мимолетной, вскользь брошенной строкой иногда стоит долгий труд поиска и радость находки.

Книги менее всего можно было бы упрекнуть в хладнокровной созерцательности. Авторы по-настоящему любят своих героев, рассказывают о радостях и невзгодах на их жизненном пути с волнением и глубокой заинтересованностью, с той личной интонацией, которую немислимо как-то подделать, симулировать.

Но на этом, пожалуй, сходство кончается и начинаются различия. Конечно, я имею в виду не различия индивидуального писательского стиля, исторического колорита и прочих обязательно неодинаковых вещей. Особенно существенной является тут разница в подходе к материалу, в характере его отбора, обработки и подачи.

В книге В. Смирновой-Ракитиной множество различных сведений и фактов, но не все среди них существенные или к делу идущие. Это становится очевидным, как только откроешь книгу. Она называется «Валентин Серов», однако сам художник становится основным персонажем действия лишь приблизительно на пятидесятой странице. До этого идет подробный рассказ о творчестве отца живописца — композитора и музыкального критика А. Н. Серова, о постановках его опер и т. д. Все это само по себе небезынтересно, но к основной теме книги не имеет решительно никакого отношения, ибо В. А. Серов музыкантом не стал, да и отца своего, в сущности, почти не помнил: композитор Серов умер, когда будущему живописцу Серову было всего шесть лет.

Этот пример не представляет собой исключения. Книга изобилует бытовыми подробностями, штрихами из биографий друзей, знакомых и родственников Серова, жанровыми сценками и зарисовками, которые, в сущности, не помогают решению стержневой задачи повествования и только рассеивают внимание читателя. «Художник» и «окружение художника» здесь взяты в неверных пропорциях, без точного и органичного подчинения второго первому. Достаточно сказать, что до знаменитых «Девушек», которыми открывается зрелая, самая интересная и плодотворная пора творчества Серова, автор добирается лишь на 182-й странице, то есть израсходовав более половины книжной «территории». За-

то в последующем изложении, касаясь многих прославленных работ художника, В. Смирнова-Ракитина то и дело сбивается на скороговорку. Например: «Чудесны серовские портреты артисток — монументальная Ермолова, добродушная Федотова, легчайшая Анна Павлова или женственная Карсавина». Или: «В этом же году нарисованы Серовым корифей Художественного театра — Станиславский, Москвин, Качалов, изумительные портреты-рисунки, в которых говорят линии, не менее выразительные, чем цвет в картинах».

Читатель остается в совершенном неведении насчет того, чем именно чудесны упомянутые женские портреты, почему и как линии в рисунках «говорят» не менее выразительно, чем цвет, и т. д.

Аморфность композиции книги объясняется, на мой взгляд, тем, что автору куда ближе, яснее, понятнее историко-бытовая атмосфера эпохи, чем развитие искусства в эту пору (творчество В. А. Серова, в частности).

Когда В. Смирнова-Ракитина пишет о личной жизни художника, о его окружении, путешествиях, взаимоотношениях с заказчиками, учениками и т. д., она чувствует себя уверенно, выполняет привычную для ее большого литературного опыта работу. Но проблематика искусства, видимо, трудна для писательницы. Здесь она и сама нередко сбивается с толку и читателя путает.

Наиболее разительный пример в этом плане — глава «Мир искусства», где В. Смирнова-Ракитина пытается набросать историко-теоретический очерк эволюции русского искусства на рубеже XIX—XX веков (что, к слову сказать, и необязательно было делать в книге такого типа: по своему стилю и характеру эта глава решительно отличается от всех других разделов повествования). Тут автор потерпел явную неудачу. Вся сложная, напряженная обстановка художественной жизни времени сведена в названной главе к соперничеству различных группировок, причины которого трактованы, деликатно говоря, поверхностно.

Поначалу отдав должное передвижникам, провозгласив, что они «создали нерушимый фундамент большого национального искусства», автор через несколько страниц неожиданно заявляет: «Всем передовым и наиболее талантливым художникам всегда

было свойственно желание расширить свой кругозор, стремление к поискам художественного опыта и новых эстетических ценностей. Все это были вопросы, волновавшие творческих людей и никогда не поднимавшиеся ни в среде передвижников, ни в среде академистов». Вот тебе и раз! Как же это могут создать «большое национальное искусство» люди, которые никогда (!) не стремились расширить свой кругозор, не стремились к эстетическим ценностям и т. д.? Суждение это до такой степени противоречит общеизвестным фактам, что с ним нет нужды и спорить. И дальше: «Идея красоты, попиравшаяся у передвижников, и свобода индивидуальности особенно привлекали к себе художников» (речь идет о художниках «Мира искусства». — А. К.).

Тут в одинаковой степени неверно и обвинение передвижников в том, что они «попирали» «идею красоты», и утверждение, будто только «мирискусники» эту идею выдвинули. Категорические противопоставления такого рода вообще антиисторичны. Разве встречались когда-либо в искусстве прошлого такие направления или группировки, у которых не было своих представлений о красоте, о прекрасном? Были они, конечно, и у передвижников, и у «мирискусников», только очень разные. Причем, простая справедливость требует признать, что у Крамского, Сурикова, Репина, Левитана эти представления были куда глубже, содержательнее, гражданственнее, чем, например, у Бенуа, Сомова, Бакста.

Само собой, не следует принижать бесспорных достижений художников «Мира искусства» (особенно значительных в графике и театральной декорации). Но во имя этой цели вовсе ни к чему перечеркивать предшествующий период истории русского искусства.

Ни к чему также было делать Серова центральной фигурой «Мира искусства», чуть ли не его творческим знаменем. В. Смирнова-Ракитина пишет: «Самым цельным и крепким из ядра «Мира искусства» оказался Серов». И дальше: «Совсем особо в стороне стояло творчество таких талантливых художников, как Сомов, Бенуа, Бакст... Но их сугубый эстетизм был глубоко чужд основной массе членов «Мира искусства», стремившейся к реализму». Но ведь как раз Бенуа, Бакст, Сомов вместе

с Дягилевым были организаторами, основными деятелями и теоретиками «Мира искусства». Большая часть участников группировки вовсе не «стояла от них в стороне», а шла за ними. А вот Серов (так же как и Нестеров, Левитан, Врубель, Архипов, Коровин и некоторые другие мастера) был связан с «Миром искусства» в основном чисто организационно. У него и корни творчества совсем иные, и идейно-образная суть произведений совершенно другого плана, характера, значимости.

Запутаны в книге вопросы взаимоотношений Серова с импрессионизмом и более поздними течениями западного искусства. То автор заявляет, что с созданием «Девушек» «русский импрессионизм и русская живопись в лице Серова преодолели подъем на головокружительную высоту», хотя эти картины 1887—1888 годов созданы художником, попросту не знавшим еще произведений импрессионистов (ссылки на детские воспоминания мастера, который в возрасте девяти-десяти лет был в Париже, конечно, нельзя воспринимать всерьез). То специально для героя книги изобретается формула «реалистический импрессионизм», уж во всяком случае неверная по отношению к Серову, который, если держаться почвы фактов, никогда не был импрессионистом, хотя бы и с эпитетом. То, наконец, автор прибегает к такой пышной терминологии, что просто трудно добраться до сути. Вот, например, что говорится в книге по поводу известного серовского полотна «Ида Рубинштейн»: «Это произведение модернистское по самой своей сущности, написанное в условно-реалистической манере, стильно и монументально, хотя и изображает опустошенную, изощренную каботинку». Ну как модернистская сущность может благополучно ужиться с реализмом, пусть хоть и «условным»? Как известно, «Ида Рубинштейн» вызвала бурную полемику, не умолкнувшую и поныне. Автор, должно быть, хотел как-то примирить крайности суждений, но в итоге все смешал. К слову, на мой взгляд, эта знаменитая серовская картина как раз по сущности своей — отнюдь не модернистская.

Справедливости ради надо сказать, что В. Смирнова-Ракитина не часто прибегает к таким рискованным искусствоведческим эскападам. В большинстве случаев, говоря о серовских произведениях, она использует

чисто литературные приемы, так сказать, «переживая» те или иные картины и рисунки. В жанре беллетризованной биографии художника такой прием не только допустим и уместен, но, по-моему, закономерно должен занимать ведущее место. Вся суть в том, как этот прием осуществляется. У В. Смирновой-Ракитиной чаще всего дело сводится к занимательному описанию сюжета, выражения лица на портрете и т. д. Это делается хорошо, но сложность, глубина, многоплановость образа, не говоря уж про способ его создания, остаются нераскрытыми. Причем, главная причина этого, думается, не в том, что писательница не вполне сумела приспособить упомянутый литературный прием к разговору о живописи. Скорее тут сказалось недостаточное владение материалом искусства. Поэтому то в книге, как я уже говорил, возобладал не «художник Серов», а «вокруг художника Серова»...

Но, может быть, это неизбежно? Может быть, тут властвует непреодолимое «или — или»: или искусствоведческое исследование, сделанное по всем старым, добрым академическим правилам, или литература, художественное сочинение, беллетристика, где все подчинено образности рассказа, а любящая «научность» — не ко двору, не вступает в соединительную реакцию и плавает в повествовании, как масляные пятна по поверхности воды?

Что это не так — доказать нетрудно. Я не буду сейчас вспоминать различные общепризнанные образцы жанра «беллетризованной биографии». Укажу лишь на опыт соседа «Серова» по серии «Жизнь замечательных людей» — «Домье» Михаила Германа.

Речь идет вовсе не о каком-то шедевре. Это просто хорошая книга, хотя и не безгрешная, что, впрочем, и неудивительно, ибо написана она молодым писателем, который, как сообщает аннотация, до сих пор выступал лишь со статьями и работами по вопросам современного и классического искусства.

Успех работы М. Германа во многом определяется именно широтой диапазона его знаний и способностей. Он выступает как искусствовед, историк, биограф и литератор, находя верную, диктуемую интересами жанра пропорцию различных начал и оставаясь единым в четырех лицах.

Искусствоведческий профессионализм, разумеется, весьма ценный для автора книги о художнике, мог, однако, и помешать ему. За послевоенные годы у нас вышли сотни монографий, посвященных живописцам, скульпторам, графикам. Среди них есть работы великолепные и плохие, но больше всего посредственных. Они образовали прочный монографический стандарт, некое подобие типовой конструкции. Перелистав десяток-другой таких монографий, с изумлением замечаешь поразительное сходство портретов совершенно различных оригиналов.

М. Герман сумел забыть о привычных искусствоведческих штампах. Он нашел живые, незатрепанные слова для рассказа о работах Домье и его современников. Причем, повествование о жизни и искусстве не расслаивается, не дробится, оно слитно, цельно и тогда, когда автор от изображения повседневности переходит к разговору о графике и живописи. Вот взятый наудачу пример — рассказ об одной из литографий серии «Парижские типы»: «В лице изнуренного зубрежкой школьника он угадывал сумрачное детство, годами воспитанный страх перед учителями и родителями. Из множества наблюдений складывался единый образ. Рисуя школьника, Домье наделял его чертами, собранными за долгие часы наблюдений над десятками мальчишек. Его персонаж получал все самое острое, характерное: и полуоткрытый рот, и жидкие пряди волос, падающие на готовую подломиться шею, и нелепую шляпу, и наивно-кокетливый галстук бабочкой. Он идет, стараясь держаться прямо, «как следует юноше из хорошей семьи», и держит в обеих руках по веночку — награды за бесконечные часы усердных занятий... Родители торжествуют: «Двенадцать с половиной лет, и уже три первые премии!»

Как бы следуя за художником, писатель здесь переносится воображением в самую гущу парижской жизни тридцатых годов прошлого столетия, «оживляет» запечатленную в литографии сцену, которая получает теперь и литературное бытие. Поскольку автор тактичен, не допускает ненужных вольностей, он не наносит ущерба оригинальности работы Домье — напротив, она раскрывается перед современным читателем во всем богатстве, яркости своего жизненного содержания и образных красок.

Конечно, когда литератор имеет дело с сюжетным изображением в живописи или графике, его работа в известной мере облегчена: сюжет можно использовать как своего рода сценарий повествования. Труднее добиться сочетания строгой смысловой верности и ненаигранной образности изложения в рассказе о стиле, манере, языке художника, системе его творческих приемов. Однако М. Герману это удается. Вот, например, как он пишет о впечатлении, которое произвела на Домье знаменитая картина Эжена Делакруа «Резня на Хиосе» (я умышленно опускаю рассказ о сюжете полотна): «Светлые солнечные тона странно сочетались здесь с каким-то обнаженным страданием. Казалось, художник переступил обычные границы искусства. В картине была пугающая откровенность, она чувствовалась и в прозрачных пляшущих тенях и в резких мазках, брошенных на холст словно в минуту смятения, которое художник не смог скрыть от зрителя. Это была совсем необычная живопись — приподнятая, звучная, как стихи, и вместе с тем до изумления правдивая. Вокруг спорили о романтизме...»

Разумеется, тут нет академической полноты описания колористической системы Делакруа, элементов его палитры, излюбленных цветовых соотношений: желающим узнать все это придется полистать специальные труды. Но эмоциональное воздействие картины лидера романтического направления воссоздано верно и тонко, да и его живописная техника хоть и пунктиром, но отмечена.

Вообще об изобразительных приемах, о художнической «кухне» М. Герман пишет и со знанием дела, и с родственной, любовной проникновенностью. Для него это не только предмет исследования, но и столь же волнующий, полнокровный жизненный материал, как и любое другое существенное явление повседневности. Даже о такой, казалось бы, сухой материи, как техника литографии и ее отличие от гравюры, он пишет с искренним, заразительным увлечением.

Словом, автор книги о Домье оказался смелым и удачливым в своем первом опыте. Можно, правда, упрекнуть автора за некоторую стилевую однотонность: с первых строк книги, где мальчик Оноре едет на почтовой карете в Париж, и до послед-

них, где приводится эпитафия на могиле Домье, интонационный строй повествования почти не меняется. Можно пожалеть, что при разговоре о некоторых произведениях Домье красочное, как всегда, изложение сюжета не освещено рефлексам глубинных слоев содержания вещи. Соотношение разных произведений и жанров творчества мастера также показано не всегда точно и убедительно. Например, утверждение, что «приемы литографии — расположение фигур, острота силуэта — назойливо проникли в живопись Домье независимо от его воли», совершенно неправильно, ибо графика и живопись художника обладают глубочайшим внутренним единством, причем чрезвычайно своеобразная заострен-

ность живописного языка Домье относится к числу ценнейших завоеваний (особенно при создании образов высокой трагической силы). Жаль также, что автор ни в какой связи не сказал об огромном воздействии великого французского мастера на дальнейшее развитие мирового изобразительного искусства.

Словом, есть о чем поспорить с М. Германом, есть что пожелать ему для дальнейшего улучшения и углубления написанной им книги.

Но она удалась в главном и решающем — и поэтому ее без колебаний можно оценить как одну из удач в трудном жанре.

А. КАМЕНСКИЙ.

★

НОВОЕ СЛОВО О ТУРГЕНЕВЕ

Г. Б я л ы й. Тургенев и русский реализм. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 246 стр.

Посмертная судьба писателей нередко таит в себе загадки. Даже великие имена испытывают колебания литературных репутаций, своего рода приливы и отливы интереса со стороны последующих читательских поколений. На фоне все возрастающего внимания к творчеству Достоевского, Льва Толстого, Чехова в литературе о Тургеневе до недавнего времени царил некоторое затишье. Раздавались (да и сейчас порой слышатся) голоса, что Тургенев «старомоден», архаичен, что современный стиль не приемлет добросовестной описательности старой «тургеневской» манеры — при всей ее неоспоримой для своего времени влиятельности.

Такое мнение, если даже оно не формулируется резко и прямо, отражает скорее предубеждения, чем реальные запросы бесконечно разнообразных течений современного литературного стиля. Один из источников такого рода предубеждений — «хрестоматийность», восприятие образцовых явлений искусства прошлого сквозь призму упрощенных концепций и построений. «Разобранный» на составные элементы, прокомментированный применительно к пунктам методических схем, писатель несет на этих операциях неисчислимы потери, причем как раз в глазах массового читателя, в конечном счете определяющего литературные запросы и вкусы.

«Хрестоматийность», как правило, связана

с идеализацией объекта, устранением из творчества писателя тех противоречий и сложностей, которые составляют его душу. С другой стороны, угрюмые инвективы по поводу творчества писателя вместо объективного исследования — все это повторялось достаточно часто по отношению к автору «Отцов и детей», чтобы быть вовсе забытым. Но всякая полемика вокруг того или иного произведения Тургенева лишней раз подтверждала, что его творчество, его нравственные и художественные искания сохраняют свой живой, непреходящий интерес.

Г. Бялый хорошо известен как исследователь русской литературы XIX века, преимущественно второй его половины, своими работами о Гаршине, Короленко, Надсоне, Глебе Успенском, Чехове. Новая книга Г. Бялого возникла на основе многолетнего изучения творчества Тургенева, большого круга опубликованных исследований, специального курса, читанного автором в аудиториях Ленинградского университета. Последнее обстоятельство сообщает книге Г. Бялого качество, которое не так часто встречается в литературоведческих работах. В ней есть энергия основных, центральных мыслей, развивающихся со стремительностью импровизаций, стройность и доказательность изложения, возникающие обычно в счастливом контакте с аудиторией.

Выдвинув свою оригинальную концепцию творчества Тургенева, Г. Бялый более чем щепетильно отнесся к своим предшественникам, писавшим на те же темы и в давние времена, и сравнительно недавно. Лучшее из того, что было сказано о Тургеневе, в книге тщательно сбережено, отмечено, поставлено на свое место.

Умение подвести итоги, суммировать наблюдения, выделить рациональное зерно даже в тех высказываниях, которые отвергаются в целом, но принимаются частично, — это задача совсем нелегкая, если учесть, что о Тургеневе писали почти все знаменитые русские критики, начиная с Белинского и Аполлона Григорьева.

Книга Г. Бялого охватывает творчество Тургенева целиком — от ранних реалистических опытов и до стихотворений в прозе, увенчивающих все здание тургеневского реализма. Но это не традиционный очерк жизни и творчества с присущим нередко этому жанру нагромождением проблем и вопросов, различных по характеру и значению. Бесспорное знание огромного фактического материала Г. Бялый использует с большим чувством меры. И вместе с тем круг рассмотренных вопросов настолько широк, так глубоко связан с самыми существенными проблемами творчества Тургенева, что в книге создается целостный облик замечательного художника.

В работе Г. Бялого намечены два центра. Первый определяется проблематикой «Записок охотника» и их местом в русской литературе, второй — особенностями тургеневского романа. Эти два своеобразных цикла и являются, по логике исследователя, тем главным, чем обогатил Тургенев русскую литературу.

Значение тургеневской «книги о народе» выяснено и обосновано точными сопоставлениями с предшествующими, современными ей и последующими явлениями русской литературы. Г. Бялый показывает специфику каждого этапа в развитии той традиции, которая, не прерываясь, идет от «Записок охотника» через весь XIX век.

Глубоко понимая сложность проблемы, подходит Г. Бялый к анализу тургеневских романов. Первый же роман Тургенева «Рудин» рассматривается как произведение синтетического, вобравшее в себя опыт широкого круга повествовательных, лирических и драматических замыслов, осуществленных писателем с первых шагов его лите-

ратурной деятельности. Поэтому именно при анализе «Рудина» Г. Бялый подробно говорит о философии, эстетике и поэтике Тургенева-романиста.

При этом философские взгляды Тургенева, его понимание истории, человека, природы, его эстетика прекрасного и трагического — все это приобретает для Г. Бялого тем больший интерес, чем полнее проявляется во всем разнообразии созданных художником конкретных образов и мотивов.

Последовательно обращаясь к каждому новому роману Тургенева («Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь»), Г. Бялый стремится выяснить те новые элементы, которые появлялись в самой структуре тургеневского романа. Эти изменения он связывает с важнейшими моментами эволюции взглядов писателя. Здесь хотелось бы особо отметить главы о «Дыме», о поздних рассказах и «таинственных повестях», по-новому освещающие весь путь Тургенева между «Отцами и детьми» и его последним романом «Новь».

Каждый новый роман Г. Бялый рассматривает как итоговое, обобщающее произведение по отношению к целому ряду предшествовавших, подготовивших — и тематически и эстетически — почву для его возникновения, как закономерное завершение определенного периода творческих исканий и открытий. В результате в наши представления о творческом пути писателя вносятся много новых существенных оттенков.

В книге о Тургеневе наиболее ярко проявились достоинства исследовательского стиля Г. Бялого — умение воссоздать сложную историю идейного развития писателя, уловить своеобразие его художественной манеры, выявить внутренние закономерности его творчества и отличительные черты присущего ему мироощущения.

Тема книги Г. Бялого — не только «Тургенев», но и «русский реализм». В главах о «Записках охотника», как уже отмечалось, обе части этой формулы раскрыты и с необходимой детализацией, и с завидной широтой подхода.

Что же касается глав, посвященных романам Тургенева, то здесь Г. Бялый несколько сузил свою задачу. Углубившись в конкретную проблематику и поэтику тургеневского романа, Г. Бялый наглядно показал, какую

форму принял классический русский реализм в произведениях Тургенева. Многие замечания и наблюдения, сделанные по ходу анализа, имеют, конечно, и общий интерес, выходящий за рамки исследования собственно тургеневского творчества: и постановка вопроса о типах анализа внутренней жизни человека, и замечания о характере историзма в художественном повествовании, и многочисленные наблюдения над тургеневской стилистикой в точках ее соприкосновения с другими родственными явлениями русской прозы. В то же время общая «география» русского реализма XIX века обозначена лишь попутно, частными, примыкающими сторонами. Тема книги, на наш взгляд, тре-

бовала более широких сопоставлений искусства Тургенева с реализмом Гончарова, Герцена, Щедрина, Достоевского, Толстого — писателей, творивших рядом с Тургеневым и принесших вместе с ним всемирную славу русскому классическому роману. Достижения тургеневского реализма и его границы, направление и сферы его влияния на весь литературный процесс второй половины XIX века выступили бы еще рельефнее на фоне поразительного богатства исканий, оригинальных концепций и целых художественных миров, созданных великими современниками Тургенева.

Л. НИКОЛАЕВА.



НА АРЕНЕ ЦИРКА

Эдуард Басс. Цирк Умберто. Перевод с чешского И. Иванова и В. Савицкого. Гослитиздат. М.—Л. 1963. 547 стр.

«Цирк Умберто» — это роман о цирке. И это роман о жизни.

Обобщения и ассоциации, расширяющие действие, ограниченное изображением труда и быта артистов арены, напрашиваются сами собой, но автор нигде не подталкивает нас к ним. Это вовсе не аллегория, замаскированная описанием будней цирка, и не притча с наглядной моралью. Автор не только предельно точен во всех подробностях организации циркового представления, репетиций, тренировок, обдумывания новых номеров, костюмировки, рациона питания цирковых животных и даже тайн цирковой бухгалтерии, но чувствуется, что он дорожит этими подробностями больше, чем другими элементами романа, и именно от этого возникает то ощущение поразительной достоверности всего происходящего, которая заставляет вспомнить лучшие книги документальных жанров.

Если сравнить «Цирк Умберто», например, с «Братьями Земгано» (а сравнение это уместно: и то и другое — большая литература), то знаменитый роман Э. Гонкура при всех его достоинствах кажется более условным, что ли, более искусственным и придуманным, хотя и хорошо придуманным. Чтобы сказать точнее, аллегоризм сюжета в «Братьях Земгано» очевиден, и, видимо, в намерения автора вовсе не входило его прятать. Где-то в своих дневниках Э. Гонкур признается, что, в сущности, это за-

маскированная автобиография — история его самого и погибшего брата, друга и соавтора. Мы знаем и другие произведения, где быт цирка являлся не предметом изображения, а фоном для условного психологического сюжета, образным материалом для иносказания, как, например, знаменитая в свое время пьеса Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины».

Роман Эдуарда Басса лишен какой бы то ни было нарочитости и претенциозности этого рода. Автор очень много знает о цирке, горячо любит тружеников арены и с удовольствием, которого не скрывает, неторопливо, обстоятельно и подробно рассказывает нам об этом. Рассказ его вовсе не бесстрастен. В нем есть и скрытый лиризм, и нежность, и горечь, и сочный чешский юмор. Полнота знания предмета заставляет автора уходить из границ семейного романа, и действие обрывается естественно возникающими попутными рассказами-отступлениями. В романе есть свадьбы и смерти, рождения и измены, подвиги верности и предательства, пощечины и несчастные случаи на арене, банкротства и триумфы, но все эти сюжетные ситуации нужны автору не как аксессуары романтической или мелодраматической фабулы — они здесь явления жизни. Они не сочинены, а естественны, ибо за всем этим стоит главное, что интересует автора, —

трудный, а часто и мучительный творческий труд артиста.

Именно в сфере трудовой деятельности раскрываются характеры героев книги. О личной жизни своего главного героя Вашека автор иногда говорит как бы через чур бегло, но зато он подробнейшим образом описывает его тренировки как гимнаста, его отношение к цирковым животным, его выступления на арене. Пропорция «личного» и «производственного» в жизни Вашека тоже кажется правдивой: ведь цирковое искусство — одна из тех профессий, которые не прикладываются к человеку, а занимают его целиком, определяя его физический и духовный режим. В романе описывается эпоха, когда в цирке даже во время «смертельных номеров» работали без предохранительной сетки, и для циркачей тех лет «быть в форме» — это просто-напросто значило быть живым.

Роман «Цирк Умберто» рассказывает историю крестьянина Караса из деревни Горная Снежня, поехавшего на заработки в большой город и случайно ставшего рабочим и музыкантом в передвижном цирке. За кулисами цирка растет его сын — главный герой романа — Вашек Карас и становится известным цирковым артистом, а впоследствии и руководителем предприятия. Действие романа занимает более полувека и разворачивается во многих странах, следуя за скитаниями передвижного цирка, но все же в центре повествования остается история чешской «бригады» в цирке.

Автор откровенно любит национальные черты своих земляков: их способность быть мастерами в любом деле, любовью к труду, добросовестностью, возведенной в степень «чести» человека-труженика, ловкостью, сообразительностью, физической выносливостью, юмором. Подчеркивая и выделяя положительные черты народного характера, автор не только следует благородной традиции писателей-патриотов Чапека и Гашека: с лукавым, тонким умыслом он тем самым протестует против унижения чешской национальности фашистскими оккупантами в те годы, когда писался этот роман. Антифашистский подтекст тут несомненен, и он не только в особом любовном отношении к героям-землякам, но и в добром, объективном показе разноплеменного братства цирковых артистов, где все равны, несмотря на цвет кожи, а где человека выделяет только труд и талант.

Африканец Ахмед Ромео, испанцы Баренго и Перейра, шведы братья Гевертс, французы Гамбье и Гектор Ларибо, индус Ар-Шегир, голландцы Анна и Франц Стеенговер, немцы дирижер Сельницкий, конюх Ганс и группа чехов — вся эта пестрая труппа живет дружно и лишена каких бы то ни было национальных предрассудков, хотя это все простые люди, а некоторые даже еле грамотны. Задумывал это автор или нет, но разноязыкий коллектив цирка Умберто является поэтичным образом большого многонационального мира, где все народы могут жить в дружбе и братстве. Если главное воспитательное значение романа в любовном и вдохновенном описании труда и ремесла, то вторая воспитательная задача, которой он служит без всякой нарочитой наставительности и дидактики, — это его антишовинистическая направленность.

Как и все по-настоящему хорошие книги, «Цирк Умберто» многослоен. В нем есть и «чистый» роман — драматическое сплетение судеб героев, и эпос — он рассказывает о времени: по его страницам проходит множество судеб и человеческих историй на протяжении нескольких поколений. Он строго историчен: в нем подробно, точно, с эрудицией и технической проникновенностью показана эволюция циркового искусства и предпринимательства. Это отличный «производственный роман» — увлекательные страницы посвящены в нем труду людей цирка, репетициям, тренировкам, дрессировке животных и даже технике монтажных работ по установлению цирковых шатров типа «шапито». Он благородно педагогичен, ибо показывает, что не удача и не случайность приводят к успеху, а терпеливый и часто мучительный труд. А помимо всего, он достаточно занимателен в лучшем смысле этого слова.

Но самая привлекательная черта этой превосходной книги — ее поэтичность. Все происходящее в ней одухотворено доброй или горькой, ласковой или грустной, но всегда человеческой, живой интонацией автора-поэта. В романе нет «я» постоянного рассказчика, но внимательный читатель все время чувствует его присутствие. Он персонафицируется в героях так, как, например, персонафицируется Марк Твен в Томе Сойере и Гекльберри Финне, или Ромен Роллан в неистовом Кола Брюньоне.

С одной особенностью романа, может быть, кому-нибудь захочется поспорить. Автор несколько идеализирует традиционный цирк девятнадцатого века и с нескрываемой грустью описывает эволюцию цирка к современному варьете. Прошлое ему кажется более прекрасным, чем настоящее. Цирк меняется, и расцвет традиционного цирка позади нашей эпохи. Объяснения этому могут быть разные, но исторически это, видимо, закономерно. Закономерен и элегический тон в конце книги. Блестящий конный цирк прошлого века, описанию которого в романе посвящено столько прекрасных страниц, — уже не существует.

Одна из лучших вставных новелл романа — это встреча его героев с ушедшим на покой знаменитым наездником Вольшлегером. Этот небольшой эпизод значителен и поэтичен. Бесхитрый рассказ автора тут становится патетичным и многозначно-образным, прямая разговорная речь, не переставая быть естественной, делается метафорической. В этой главе как бы фокус романа. Расположенный в середине повествования, он освещает и начало и конец.

С первого взгляда может показаться, что по своей проблематике и художественной манере роман Эдуарда Басса стоит как бы вне споров о стиле современного романа и искусства середины XX века. Но его несовременность мнима. Во-первых: он глубоко человечен. Во-вторых: в нем есть соединение «поэзии и правды», точности факта и романного вымысла, документализма и воображения, которое в таких верных пропорциях не слишком часто встречается.

В содержательном послесловии О. Малевича

рассказана жизнь автора этой книги. Эдуард Басс большую часть своей жизни отдал журналистике. Полтора десятка лет на первой странице либерально-демократической газеты довоенной Чехословакии «Лидове новины» каждую субботу появлялся его короткий стихотворный фельетон на злобу дня. Он написал за свою жизнь более семисот таких фельетонов. Чаще всего они были злы и сатиричны, но иногда в них прорывался и гражданский пафос и горький лиризм. Кроме фельетонов, Э. Басс писал парламентские отчеты, политические обозрения, судебные хроники, этюды из истории старой Праги, детские сказки, театральные и цирковые рецензии и маленькие пьески для эстрадных театров. В юности он и сам выступал на сцене. Всю жизнь он мечтал написать документальную историю революции 1848 года в Чехии, но успел завершить только первый том. Роман «Цирк Умберто» он написал более двадцати лет тому назад и, как всегда пишутся такие счастливые книги, неожиданно для себя, вдохновенно и стремительно. И вдруг оказалось, что эта как бы случайно возникшая книга стала центральной работой его жизни, его главным произведением, подготовкой к которому он непроизвольно занимался всю свою жизнь. И когда после освобождения Чехословакии от фашистской оккупации первый государственный цирк в Праге был назван в честь его книги цирком Умберто, то это было своеобразным памятником писателю и его роману, давно уже ставшему в Чехословакии любимой, истинно народной книгой.

Ал. ГЛАДКОВ.

★

Политика и наука

ЛЕНИН И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР

М. И. Труш. Внешнеполитическая деятельность В. И. Ленина. 1917—1920. День за днем. Издательство Института международных отношений. М. 1963. 312 стр.

«...Владивосток далеко, но, ведь, это город-то нашенький»¹, — сказал Ленин в своем последнем публичном выступлении, когда получил известие об изгнании из города японских интервентов. Высоко оценив новый подвиг Красной Армии — «сброшены в море последние силы белогвардейцев» —

¹ В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 33, стр. 399.

Ленин тут же добавил и другие причины, определившие успех советской власти: «Но вместе с тем мы должны также сказать, чтобы сразу же не впасть в тон чрезмерного самохвальства, что здесь сыграли роль не только подвиг Красной Армии и сила ее, а и международная обстановка и наша дипломатия»¹.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 353.

Так охарактеризовал значение и роль советской дипломатии тот, кто светочем своего ума, творческим усвоением и развитием огромного международного опыта определил советскую внешнюю политику и руководил ею. Только что опубликованная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС книга тем прежде всего и больше всего ценна, что она рассказывает — день за днем — о работе Ленина, заложившего основы и практически осуществлявшего в крайне сложных исторических условиях внешнюю политику впервые в истории победившей диктатуры пролетариата.

Вот Ленин на трибуне II съезда Советов, в руки которого перешла вся власть в стране. Весь мир втянут в войну. Трудящиеся с тоской и ужасом спрашивают: найдутся ли силы, которые приостановят преступную войну? И вдруг, словно ослепительная молния, вспыхнула надежда в сердцах миллионов людей: впервые в истории человечества от имени не одного какого-либо деятеля или партии, но от имени трудящихся огромной страны Ленин осудил империалистическую войну как «величайшее преступление» и провозгласил политику мира основой всей государственной политики Советской России.

Мир увидел новые принципы отношений между народами. Основной среди них — борьба за мир, за мирное сосуществование между государствами с различными социальными системами.

Буржуазные политики, исходя из своего опыта классовой оценки, твердили, что постоянные призывы к миру говорят о слабости государства. Современные догматики — руководители компартии Китая, — отмахиваясь от совпадения своей политики с буржуазной оценкой, продолжают говорить о «вымаливании мира» у империалистов, то есть опять-таки о слабости предлагающего мир. В. И. Ленин еще в день оглашения «Декрета о мире» дал марксистское определение силы народа, сказав: «...Пора отбросить всю буржуазную фальшь в разговорах о силе народа. Сила, по буржуазному представлению, это тогда, когда массы идут слепо на бойню, повинувшись указке империалистических правительств... Наше понятие о силе иное. По нашему представлению государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают,

обо всем могут судить и идут на все сознательно»¹.

Народные массы России в течение многих лет, в особенности в революции 1917 года, видели на практике многие партии у власти и, сравнив их слова и дела, отдали руководство собой большевикам, единодушно поддерживав всю их политику и в том числе внешнюю политику. Мирная политика советской власти определялась и раньше, не говоря уж о теперешнем могуществе СССР, но слабостью и не временным соотношением сил на международной арене. Борьба за мир — это очень хорошо показано в книге — вытекает из самой сущности социалистического строя, не заинтересованного ни в каких формах агрессии, насилия и эксплуатации. Мирное сосуществование предусмотрено еще в ленинской теории возможности победы социализма в одной стране, сформулированной Лениным в 1915 году. В полном соответствии с этой теорией мирное сосуществование определено и в «Декрете о мире».

Как известно, советская власть, предлагая свои условия мира, отнюдь не считала их ультимативными: она соглашалась рассмотреть и другие предложения, тем самым признавая возможность и необходимость переговоров. На II съезде Советов Ленин, сообщая об отмене тайных договоров, добавил: «Мы отвергаем все пункты о грабежах и насилиях, но все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические, мы радушно приемем, мы их не можем отвергать»². И эту политику Ленин вел с первого же дня перехода власти в руки народа. Даже в период интервенции, когда армии империалистов огнем и мечом пытались восстановить в России капитализм, Ленин настойчиво и систематически отстаивал генеральную линию советской внешней политики.

Из многочисленных свидетельств, тщательно подобранных в книге из литературы и из архивов, приведем только одно. В сентябре 1919 года Ленин писал: «Прочный мир был бы таким облегчением положения трудящихся масс в России, что эти массы, несомненно, согласились бы и на предоставление известных концессий. На разумных условиях предоставленные кон-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 224.

² Там же, стр. 223.

цессии желательны и для нас, как одно из средств привлечения к России технической помощи более передовых в этом отношении стран, в течение того периода, когда будут существовать рядом социалистические и капиталистические государства»¹. Речь идет о концессиях для американских капиталистов.

Кстати, к сведению тех, кто бездоказательно утверждал, что у Ленина нет самого термина «сосуществование». Отметим, что «существовать рядом» — и есть сосуществовать. И это отнюдь не оговорка или отдельная, вырванная из текста фраза. Говоря об итогах гражданской войны, завершившейся изгнанием интервентов, Ленин подчеркивал: «...Мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с капиталистическими державами... Мы имеем новую полосу, когда наше основное международное существование в сети капиталистических государств отвоевано»². Как видим, Ленин не побоялся будущих критиков и прямо заявил, что за мирное сосуществование пришлось бороться, что его возможность была отвоевана в борьбе с международным империализмом.

Но вернемся к концессиям. Они не только подтверждают идею сосуществования — без признания этого принципа нелепо даже говорить об экономических соглашениях, которыми и являются концессии, — но и тут Ленин дал изумительный пример диалектики. «Было бы большой ошибкой думать, — говорил Ленин на VIII съезде Советов в 1920 году, — что мирный договор о концессиях — мирный договор с капиталистами. Это — договор относительно войны, но договор менее опасный для нас, менее тяжелый и для рабочих и крестьян, менее тяжелый, чем в тот момент, когда против нас бросали лучшие ганки и пушки...»³. Это буквально не в бровь, а в глаз тем, кто полагал: подписал договор — значит, попал в зависимость. Ленин словно предвидел теперешних догматиков и сектантов, утверждающих, что мирное сосуществование стран с различным социальным строем ведет к мирному стовору рабочих с капиталистами, когда говорил: «Концессии — это не мир, это тоже война, только в другой форме, более нам выгодной. Прежде война велась

при помощи танков, пушек и т. п., которые мешали нам работать, теперь война пойдет на фронте хозяйственном»¹.

Слова и дела у большевиков не расходились. Выдвинув принцип мирного сосуществования, Ленин поддержал его конкретными предложениями. Еще в начале 1918 года Ленин вручил полковнику Р. Робинсу, представителю американского Красного Креста, подробный список тех товаров, которые могли быть немедленно проданы, и тех концессий, которые советская власть могла предоставить США. Список этот был опубликован в американской печати. После того как интервенты с позором были изгнаны из Советской страны, Ленин поручил советским дипломатам М. М. Литвинову, Л. Б. Красину, В. В. Воровскому, Я. С. Ганецкому, Я. З. Сурци и другим вступить в переговоры с рядом капиталистических стран о заключении экономических договоров. В книге приводятся мандаты, подписанные Лениным на ведение переговоров с Англией, Францией, США, Германией, Италией, Японией, странами Скандинавии и другими. Одно это перечисление стран говорит о том, с какой настойчивостью и последовательностью Ленин проводил в жизнь основной принцип советской внешней политики — мирное сосуществование стран с различным социальным строем.

С такой же убедительностью и полнотой представлен в книге и другой принцип ленинской внешней политики — признание национального самоопределения и суверенитета всех наций, отказ делить нации, как это делается при империализме, на малые и большие. Тут и признание независимости Финляндии, и первые связи со странами Востока, признание их самостоятельности и оказание им помощи — Афганистан, Турция, Иран, Китай, Индия и другие. Советская власть объявила о выводе русских войск из Ирана, куда они были введены во время войны, чтобы не допустить проникновения германского империализма. История не знает таких примеров, чтобы большая страна, не потерпев поражения, добровольно покинула занятую территорию, да еще пообещала (и выполнила это) выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Советская страна была единственным государством, которое отказалось получать с Китая унижительную контрибуцию, наложенную на Китай в на-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 21.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 384—385.

³ Там же, стр. 453.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 404.

чале нашего века империалистическими державами в наказание за восстание народа против иноземных захватчиков. Советская власть оказала экономическую и военную помощь Турции, поднявшейся во главе с Мустафой Кемалем против империалистического владычества.

В книге приведено много ярких фактов пролетарского интернационализма, проявленного советской властью. Ленин принимал иностранных рабочих, зарубежных социалистов, оказывал им помощь в организации своих сил. В кабинете у Ленина не раз бывали Джон Рид, чье имя стало символом революционной борьбы американских рабочих против империализма, Альберт Рис Вильямс, до конца своей жизни сохранивший любовь к Ленину и к его детищу — Советской стране. У Ленина они оба нашли поддержку в своей интернациональной деятельности, как и Жанна Лябурб, отдавшая свою жизнь за власть Советов.

Советское правительство, руководимое Лениным, поддерживало морально, политически и материально национально-освободительное движение угнетенных прежде народов, которым Октябрьская революция открыла дорогу для успешной борьбы и которых приобщила к общей и совместной войне против поработителей. Большевики, еще на II съезде утвердившие Устав и Программу партии, первыми среди всех социалистических партий приняли решение о праве наций на самоопределение и последовательно и решительно отстаивали его. Еще в 1916 году, задолго до революции, Ленин сформулировал программу, которая стала одним из основных принципов советской власти. «Мы все усилия приложим, — пророчески писал Ленин, — чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами сблизиться и слиться, мы считаем своим долгом и своим интересом сделать это, ибо иначе социализм в Европе будет не прочен. Мы постараемся оказать этим отсталым и угнетенным, более чем мы, народам «бескорыстную культурную помощь», по прекрасному выражению польских социал-демократов, т. е. помочь им перейти к употреблению машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму»¹.

Победа Октябрьской революции позволила начать реализацию этой программы. Бескорыстно оказывая помощь и притом в

период, когда все силы Советской страны были перенапряжены, не хватало продовольствия, мало было средств, Ленин всегда и неустанно проповедовал как обязательный принцип пролетарский интернационализм. Получив резолюцию, принятую на митинге индийских революционеров 4 мая 1920 года, в которой выражалась глубокая благодарность Советской России, начавшей великую борьбу за освобождение угнетенных классов и народов, Ленин немедленно послал приветствие Индийской революционной ассоциации. «Только тогда, — писал Ленин, — когда индийский, китайский, корейский, японский, персидский, турецкий рабочий и крестьянин протянут друг другу руки и пойдут вместе на общее дело освобождения, только тогда обеспечена решительная победа над эксплуататорами»¹.

Богатейший опыт пролетарского интернационализма В. И. Ленин теоретически обобщил в ряде своих работ. Когда ренегат Каутский пытался опорочить интернационалистическую тактику большевиков — в том числе мирную политику советской власти и заключение Брестского мира, — Ленин гневно обрушился на изменника социализму. «Эта тактика, — писал Ленин в брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский», — была единственно интернационалистской, ибо проводила максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах»².

Партия большевиков на всем протяжении своей деятельности оставалась верна этой ленинской тактике. Ныне руководители китайских коммунистов, подобно Каутскому и пользуясь его же терминологией, осмелились бросить Советскому правительству обвинение в предательстве и поставить под сомнение пролетарский интернационализм Советской страны, столь много и бескорыстно помогавшей всем социалистическим странам, в том числе и Китаю. Они не считаются с общими интересами социалистических стран, единодушно поддерживающих политику Советского Союза, и выше всего поставили свои интересы. Руководители китайской компартии полностью отказались от ленинской политики пролетарского интернационализма и скатились на позиции мелкобуржуазного

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 55.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 116.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 269.

национализма. Именно таких политиков имел в виду Ленин, когда писал: «Мою страну обижают, мне до большего нет дела,— вот к чему сводится такое рассуждение, вот в чем его мешански-националистская узость»¹. Особенно ярко проявилась эта позиция китайских руководителей в отказе подписать соглашение о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. Московский договор отражает интересы всего человечества и воспринят всеми трудящимися как реальный шаг в осуществлении великих надежд народов на мир. Но что китайским руководителям до интересов всего мира! Они предали эти общие интересы в угоду своим узким националистическим целям.

На страницах книги Ленин показан не только как вдохновитель, теоретик, разрабатывающий основные принципы внешней политики, но и как практический руководитель. Он составляет инструкции для делегатов, посылаемых в Брест на мирные переговоры с Германией или для заключения мира со странами Прибалтики. Ленин сам подбирает делегатов на мирные конференции, беседует с ними перед их отъездом. Он подбирает работников и составляет «Положение» для вновь создаваемого аппарата Наркомата иностранных дел. Не случайно, характеризуя НКВД, Ленин позже писал: «...Этот аппарат исключительный в составе нашего государственного аппарата. В него мы не допускали ни одного человека сколько-нибудь влиятельного из старого царского аппарата. В нем весь аппарат сколько-нибудь авторитетный составил из коммунистов»².

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 263.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 36, стр. 557.

Книга снабжена предисловием, списком литературы по истории внешней политики, именным указателем и довольно обширным количеством примечаний.— все это говорит о большом внимании к интересам читателей и помогает в дальнейшем изучении трудов Ленина. Приходится, однако, пожалеть, что в ряде случаев приведен, если можно так выразиться, «немой» материал. Что, к примеру, дает такое сообщение: «Ленин дает интервью корреспонденту газеты «New York Herald» (стр. 225)? Какое? О чем? В других подобных случаях приводится ссылка на Сочинения Ленина, а в данном случае указывается швейцарская газета «Вепер Tagwacht». Кто и где может ее найти? В ряде мест дана ссылка на архив, но опять-таки он мало кому доступен. Будем надеяться, что в следующем издании, а в его необходимости мы не сомневаемся, немые факты «заговорят»: будут даны краткие выдержки или краткое изложение документов хотя бы за счет предисловия.

Книга, изданная Институтом марксизма-ленинизма, позволяет еще и еще раз показать, что советская внешняя политика, которую столь успешно во имя интересов трудящихся всего мира ведет Центральный Комитет партии во главе с Н. С. Хрущевым, есть продолжение и развитие в новых условиях ленинской внешней политики. Духом Ленина, его высокими идеалами и преданностью народным массам, его заветами пронизаны величественные, яркие, волнующие и понятные сотням миллионов людей слова Программы КПСС: «Уничтожить войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия коммунизма».

Академик И. МИНЦ.

★

ВЕХИ БОРЬБЫ И ПОБЕД

К П С С. Справочник. Госполитиздат. М. 1963. 344 стр.

Обычно, когда говорят о справочной литературе, имеют в виду сборники, носящие «подсобный» характер, не претендующие на сколько-нибудь полное и последовательное изложение основ той или иной науки. А можно ли создать справочник по истории Коммунистической партии Советского Союза? Не объединит ли несколько сжатый перечень положений, цифр, фактов со-

держания той титанической борьбы за торжество коммунизма, которая и составляет сущность истории партии Ленина? Нет, не объединит, если это сделано умело.

Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с участием широкого круга историков, философов, экономистов, партийных работников создается фундаментальный труд — «История КПСС» в шести томах.

В процессе подготовки этого многотомного издания и родилась идея — создать справочник, в котором содержался бы фактический материал о Коммунистической партии Советского Союза, о ее героическом пути. И вот такой справочник — первый в нашей историко-партийной литературе — вышел в свет.

Перед авторским коллективом стояли большие трудности. Надо было правильно определить «лицо» издания, избежать схематизма, сделать так, чтобы справочник не представлял собой простую «выжимку» из ранее вышедших книг. Первая попытка, на наш взгляд, оказалась удачной.

Сосредоточив главное внимание на важнейших событиях в жизни КПСС, авторы смогли вместе с тем довольно подробно рассмотреть большой путь, пройденный нашей партией (справочник охватывает период от сентября 1883 года до декабря 1962 года). Наряду с широко известными партийными документами они приводят немало сведений и фактов, которые до сих пор упоминались редко или вообще не упоминались в массовой партийной литературе. Справочник, таким образом, носит характер не только популярного, но и в полном смысле слова научно-исследовательского труда.

Разделу «Рождение партии» предпосланы знаменитые ленинские слова: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Помещенные в этом разделе материалы рассказывают, как благодаря титанической деятельности В. И. Ленина из первых рабочих марксистских кружков в России создавалась самостоятельная революционная марксистская партия — партия большевиков.

На первых же страницах — наглядные иллюстрации. Вот две примечательные карты. На одной из них показаны города, в которых под влиянием петербургского «Союза борьбы» возникли социал-демократические организации, на другой — местные комитеты и группы РСДРП, которые перед Вторым съездом партии присоединились к ленинской «Искре».

Вокруг В. И. Ленина сложилось ядро профессиональных революционеров, сыгравших видную роль в укреплении позиций большевизма в партии. Наряду с известными именами верных ленинцев в справочнике приводятся фамилии стойких революционеров, о которых до последнего времени писа-

лось незаслуженно мало. Это В. Ф. Горин (Галкин), Г. М. Мишенев, И. К. Никитин и другие, непримиримо боравшиеся вместе с Лениным против оппортунизма.

Авторы дают четкое, научное определение характера и движущих сил первой русской революции, полностью соответствующее ленинской оценке роли и значения «генеральной репетиции» Октября. По своему характеру и задачам, говорится в справочнике, революция 1905—1907 годов была буржуазной, по руководящей роли пролетариата и по способам борьбы с самодержавием — пролетарской. Революция была народной, так как главной движущей силой и вождем революции выступил пролетариат, сплачивавший вокруг себя многомиллионное крестьянство. В то же время она была крестьянской революцией, поскольку ее главной задачей являлась ликвидация помещичьего землевладения.

Тысячи пламенных революционеров боролись за интересы народа, и первым из них, самым мудрым и отважным, был великий Ленин. Шаг за шагом, на большом фактическом материале справочник показывает неутомимую организаторскую, теоретическую и пропагандистскую деятельность вождя партии, вождя революции. Под его руководством проходили партийные съезды, конференции, совещания. Ленин был создателем и активнейшим сотрудником многочисленных большевистских изданий, сыгравших огромную роль коллективного пропагандиста и организатора. Авторы сборника отвели значительное место изданиям партии, в том числе многочисленным изданиям местных организаций. Внимание читателей, в частности, привлечет таблица, помещенная на странице 91, из которой видно, что, помимо широко известных большевистских изданий, в годы первой мировой войны были и другие, названия которых многие узнают впервые: «Причины войны», «Клич», «Трубаач», «Товарищ»...

Ленин придавал большое значение теоретической подготовке работников партии. По его инициативе в 1911 году в местечке Лонжюмо, близ Парижа, была создана партийная школа. В ней учились Г. К. Орджоникидзе, Б. А. Бреслав, И. А. Шварц, И. С. Белостокский, Я. Д. Зевин, А. И. Догалов, И. Д. Чугурин, И. Б. Присягин и другие партийные работники. В справочнике указано, что В. И. Ленин прочитал двадцать девять лекций по политэкономии, две-

надцать — по аграрному вопросу, двенадцать — по теории и практике социализма в России. И это при всей его занятости!

В справочнике приведены многочисленные факты, свидетельствующие об ошибках И. В. Сталина и его прямом отходе от ленинских позиций в ряде вопросов. Так, сообщается, например, что Сталин придерживался неправильной линии в отношении к Временному правительству, одно время высказывался за объединение с меньшевиками — вопреки решительному выступлению В. И. Ленина против такого объединения. На заседании ЦК в апреле 1917 года Сталин заявил, что Апрельские тезисы В. И. Ленина якобы не дают ясной картины, а потому и не удовлетворяют. Высказывался Сталин и за явку Ленина на суд Временного правительства... В последующих разделах книги показаны тяжёлые последствия культа личности Сталина.

Сведения, содержащиеся в справочнике, разбивают в пух и прах лживые утверждения реакционных историков, пытающихся доказать, что Октябрьская революция в России — это будто бы результат деятельности небольшой группы «большевистских заговорщиков», что она «не была народной революцией». В действительности в решающие недели и дни подготовки революции ЦК был особенно тесно связан с массами. Только в сентябре в ЦК прибыло более семидесяти делегаций от армии. К этому времени у ЦК были непосредственные связи с четырьмястами — пятьюстами партийными организациями семидесяти пяти губерний России. Четыреста тысяч человек — таков был численный состав партии накануне Октября. В стране выходило около восьмидесяти большевистских газет. Местные организации полностью одобрили ленинскую линию ЦК и вели огромную организационную, агитационную и военную работу по подготовке восстания.

Лучшего свидетельства подлинно народного характера социалистической революции в России, пожалуй, и не требуется.

Значительное место в справочнике уделено борьбе партии за мир, за выход России из империалистической войны. Показано, что ленинская идея мира, мирного сотрудничества стран с различным политическим и общественным строем явилась основой всей внешней политики Советского государства. Подробно говорится о борьбе Ленина против Троцкого и группы «левых коммуни-

стов», возглавлявшихся Бухариным, по вопросу о мирном договоре с Германией.

Кратко, но содержательно рассказывает справочник о деятельности партии в годы иностранной интервенции и гражданской войны. Центральный Комитет, руководимый В. И. Лениным, решал все вопросы ведения войны и прежде всего вопросы стратегического руководства. Несмотря на трудности военной обстановки, регулярно созывались съезды партии и пленумы ЦК, проводились заседания Политбюро и Оргбюро. В период 1918—1920 годов состоялось три съезда РКП(б). Только в промежутке между VIII и IX съездами шесть раз собирался Пленум Центрального Комитета, проведено двадцать девять заседаний Политбюро, сто десять заседаний Оргбюро ЦК РКП(б). Вот что означал на деле ленинский принцип коллективности партийного и государственного руководства!

В справочнике детально изложен разработанный В. И. Лениным план построения социализма в СССР, показана борьба партии против различных антипартийных группировок — троцкистов, «новой оппозиции», правых капитулянтов и других противников генеральной линии партии. Идеальный и организационный разгром этих отщепенцев позволил партии, тесно сплоченной вокруг Центрального Комитета, успешно осуществить социалистическую индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства.

К своему XVII съезду партия пришла монолитной и сплоченной. Однако проведение в жизнь внутривнутрипартийной демократии тормозилось уже сложившимся к этому времени культом личности Сталина. Особенно уродливые формы, подчеркивается в справочнике, культ личности принял после убийства С. М. Кирова (1 декабря 1934 года). Начались массовые репрессии, грубейшим образом нарушалась социалистическая законность.

Большой ущерб нанес выдвинутый Сталиным на февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 г.) теоретически ошибочный и политически вредный тезис о неизбежном обострении классовой борьбы при дальнейшем строительстве социалистического общества. Этот тезис послужил теоретическим обоснованием и оправданием развернувшихся в 1937—1938 годах массовых репрессий, жертвами которых стали тысячи и тысячи преданных коммунизму работников. Ответственность за эти репрессии несут также Молотов, Кага-

нович, Маленков, составлявшие ближайшее окружение Сталина.

Однако, как подчеркивается в книге, культ личности Сталина хотя и тормозил развитие советского общества, не мог остановить его дальнейшее продвижение к коммунизму. Партия вела самоотверженную борьбу за интересы народа и привела его к великим победам.

В книге даны основные сведения о важнейших событиях Великой Отечественной войны, рассказано об исторической победе, одержанной советским народом под руководством Коммунистической партии во главе с Центральным Комитетом. Монолитное единство партии, сплоченность народа под ее ленинским знаменем, готовность советского человека идти на любые лишения, чтобы отстоять свое социалистическое отечество, обеспечили разгром сильного и коварного врага.

После смерти Сталина партия сразу же повела борьбу за ликвидацию последствий культа личности во всех областях жизни советского общества. ЦК КПСС взял твердый курс на восстановление и развитие ленинских норм партийной жизни и прежде всего принципа коллективного руководства.

Подробно изложенные в справочнике решения XX съезда КПСС и пленумов ЦК дают возможность глубоко уяснить сущность нового периода в жизни партии. Пар-

тийные организации осуществили перестройку воспитательной работы в массах, тесно связывая ее с задачами коммунистического строительства. Центральный Комитет партии проводил широкие совещания с активом и специалистами, организовал всенародное обсуждение коренных вопросов хозяйственного строительства, в котором участвовали миллионы советских людей.

Особое место в книге занимает освещение работы XXII съезда КПСС — съезда строителей коммунизма, характеристики принятых съездом Программы и Устава КПСС. На конкретных фактах показано, как партия борется за претворение в жизнь намеченного ею исторического плана построения коммунистического общества.

Излагая основные события из истории КПСС, справочник показывает изменения форм и методов партийной работы в различные исторические периоды. Многочисленные схемы и диаграммы, а также содержащаяся в конце каждого раздела хронология важнейших событий усиливают познавательное значение этого издания. Справочник послужит большим подспорьем для миллионов людей, изучающих славный путь Коммунистической партии Советского Союза, и это определяет его ценность и его место в историко-партийной литературе.

М. ГУТИН,

кандидат исторических наук.

★

КОЛЛЕКТИВ И ЕГО СУДЬБА

Тульский комбайновый. Рассказы о прошлом, настоящем и будущем завода. Тульское книжное издательство. 1963. 176 стр.

Дважды рожденный. Очерки по истории Лиепайского пробочно-линолеумного завода. Лиепая. 1963. 264 стр.

М. Сударев. Страницы истории. 175 лет Мулловской суконной фабрики. Ульяновское книжное издательство. 1963. 150 стр.

В. Маркелов, И. Козин. Слава Златоуста. Челябинское книжное издательство. 1963. 92 стр.

«Создание научной и художественной истории заводов движется медленнее, чем следовало бы». Это утверждение А. М. Горького и сегодня остается в силе. Суть не в том, что пишется мало книг. Нет, они выходят в свет в изрядном количестве. За последние четыре года создано около двухсот «биографий» различных предприятий. Беспочинит непропорциональность затрачиваемой энергии, средств и результатов. Есть много книг, из них иные весьма ценные, но нет целеустремленной деятельности широкого

круга людей, организовано, коллективно продолжающих дело, начатое Горьким и одобренное, о чем уже многие позабыли, особым постановлением Центрального Комитета партии.

С 1931 года утекло много воды. С тех пор фантастически выросли культурные силы на самих предприятиях. В любом промышленном центре стало не в пример больше историков, литераторов, экономистов. Наконец богаче стала сама заводская жизнь. Казалось бы, есть все предпосылки

для того, чтобы история заводов писалась на более высоком уровне. Однако нередко происходит далеко не так. Пример тому — некоторые «биографии» заводов, появившиеся в первые месяцы нынешнего года.

Когда раздался горьковский клич — рабочие, пишите истории своих заводов! — на Щегловской засеке, отведенной под строительство Тульского комбайнового завода, еще только корчевались пни.

Первые тульские комбайны вышли на поля всего за четыре года до Великой Отечественной войны. Это совсем молодое предприятие. Но с ним связано рождение и развитие очень важной и совершенно новой отрасли промышленности. За четверть века иным стал и советский рабочий, в его профессиональном и духовном облике все заметнее проступают подлинно коммунистические черты. И хотя вся недолгая история завода очень близка к нашим дням, это все же подлинно история.

Как же воссоздана она в «Тульском комбайновом»?

Книга представляет собой сборник разнородных материалов — статей, воспоминаний, очерков. Чтобы такой сборник сохранял внутреннее единство и последовательность изложения, необходима очень продуманная организация материала. Осуществляя свою конкретную задачу, каждый автор должен развивать и общий замысел всей книги. К сожалению, объединяющее начало в «Тульском комбайновом» выражено слабо. В книге есть содержательные воспоминания людей, много сделавших для развития завода, — инженеров Б. Гладышева, бывшего директора завода М. Баженова, П. Максимова. Но их не так уж много.

Показать вклад своего завода в общую сокровищницу народного труда, его роль в развитии данной отрасли промышленности — вот главный смысл создания истории любого предприятия. Тульским комбайностроителям есть что рассказать о своем предприятии — это ясно чувствуешь, читая книгу. Но едва только начнешь вчитываться, как рассказ обрывается. А бывает и так, что вместо осмысления прошлого преподносится отписка вроде: «Коллектив завода свое слово сдержал. Преодолевая большие трудности, он с каждым днем наращивал темпы работы. Росло и расширялось стахановское движение. В социалистическом соревновании к 1 Мая 1938 г. добились лучших результатов...» И далее перечень имен.

Эти «пустоты» говорят не только об отсутствии редакторской работы над книгой. Их, несомненно, не было бы, если бы, прежде чем взяться за издание книги, туляки старательно изучили прошлое, обнаружили, показали на фактах и цифрах и то особенное, что отличает Тульский комбайновый завод от любого другого предприятия, и то общее, что роднит его с ними.

Более половины «Тульского комбайнового» занимают написанные в беллетризованной манере очерки профессиональных журналистов. Вполне оправданные на страницах газет, очерки эти далеки от выполнения тех конкретных задач, которые ставит перед авторами действительная история фабрик и заводов.

Неудача «Тульского комбайнового» весьма поучительна. «Жизнеописание» завода не может создаваться по принципу нанизывания случайных очерков и статей. Предъюбилейной спешкой нельзя заменить громадную коллективную работу, именуемую накоплением и осмыслением фактов. Она немислима без архивных розысков, без литературной записи воспоминаний, без тщательной проверки сотен «микрособытий» с тем, чтобы идти от частных к явлениям и процессам. Другими словами — труд по истории завода должен быть прежде всего историчен.

Требованию историчности в значительной мере отвечает книга «Дважды рожденный», изданная в Лиепе по постановлению партийного бюро Лиепайского пробочно-линолеумного завода. В ее создании на общественных началах принял участие коллектив журналистов.

Пробка. Линолеум. При всем понимании значимости этих предметов мы прекрасно сознаем, что не здесь пролегает главная магистраль техники. Но почему же нас захватывает сугубо деловое повествование о судьбе небольшого предприятия, основанного шведскими капиталистами Викандером и Ларсоном на латвийской земле?

Впоследствии это предприятие переходит в руки европейского картеля «Continental Linoleum Union». Судьба рабочих решается теперь в Цюрихе. У картеля свои цели: он хочет собирать прибыль там, где это проще и легче делать, — и в 1930 году неожиданно закрывает завод. Сопни людей остаются без работ.

«В борьбе с капиталом» — так называется первая часть книги «Дважды рожден-

ный». Статья эта представляет собой обстоятельное исследование, написанное доцентом Г. Фрейбергом и научным сотрудником Лиепайского музея К. Буде. Умело используя большую документальную основу, авторы создали правдивую, впечатляющую летопись стачек, нужды, безработицы, первых проблесков классового сознания и растущей пролетарской организованности. Фотокопии газетных статей, листовок, портреты подпольщиков вводят нас в обстановку острейшей классовой борьбы, которая велась в Латвии тогда, когда в Советском Союзе уже укреплялся социализм.

«Дважды рожденный» — не целостное произведение. Вторая часть книги, посвященная вооружению завода при советской власти, смонтирована из статей мемуарного характера и очерков. Знакомый принцип. Он привел к неудаче «Тульского комбайнового». Нет слов, в Лиепаяе его применили удачнее, хотя и здесь не обошлось без потерь. Пожалуй, лучше всего передан ход борьбы за революцию в технологии производства линолеума, связанную с использованием синтетических жирных кислот вместо пищевых. Итог этих поисков ощутим — огромная экономия, ускорение производственного цикла в десять раз.

Если бы история завода сводилась к истории прогресса техники в данной отрасли, то, пожалуй, можно было бы сказать, что авторы «Дважды рожденного» вполне справились со своей задачей. Мы видим новый облик механизированного предприятия, его связь с наукой. Есть в книге и взгляд в будущее, в ней проступают контуры совершенно нового производства, целиком базирующегося на нефтехимическом сырье — полихлорвиниле.

«Надо знать завод в его современном значении как организатора социалистического сознания и социалистического производства», — писал А. М. Горький. В «Дважды рожденном» не забыты люди. Есть в очерках и коммунисты-вожаки, и «беспокойные искатели», и рассказ о дружбе четырнадцати национальностей, и описание пропагандистских дел. Нет одного: становления новых черт характера. А такое становление, надо думать, было не простым на заводе, где капитализм еще хозяйничал каких-нибудь двадцать с небольшим лет тому назад. И, вероятно, весьма содержательным и своеобразным мог стать рассказ о том, как достигается победа над старой, индивидуали-

стической психологией, над живучестью частнособственнических привычек.

Чтобы знать, насколько мы ушли вперед, надо не терять из виду оставленное позади. Только тогда можно увидеть, какой путь пришлось пройти многим лиепайским товарищам, прежде чем они вместе со всем своим коллективом подошли к нынешнему рубежу. Совершенно ясно, что стержнем массового перевоспитания было партийное влияние. Как же говорится о нем в книге?

«Партийная организация, возглавляемая т. Боровиком, а затем т. Салказановым, провела большую организаторскую работу среди коллектива. Главное внимание уделялось вопросам улучшения качества, подбору и воспитанию кадров».

Сколько раз уже читали мы подобные фразы в статьях и брошюрах. Да и в том же «Тульском комбайновом»... Это фразы, за которыми ничего определенного разглядеть нельзя.

Тульскому комбайновому заводу ровно четверть века. Втрое старше его Лиепайский пробочно-линолеумный. Но и этот завод относительно молод в сравнении с Мулловской суконной фабрикой. «Страницы истории» — называется книга, написанная об этом предприятии М. Сударевым.

Начав читать ее, даже настогаживаешься как-то: уж очень увлекательно написано. Не попался ли нам тот сомнительный род литературы, где авторский вымысел стремится оживить историю? К счастью, «Страницы истории» приковывают к себе внимание не выдумкой, а увлекательностью самого исторического материала. Он бережно восстановлен и тщательно изучен, обработан и осмыслена солидная архивная основа, начиная от переписных книг, ревизских сказок, фондов мануфактур-коллегии и кончая статистическими обзорами русской промышленности в императорской России.

Мы с интересом следим за тем, как созданная в бывшей меншиковской вотчине, старейшая в Заволжье крепостная домашняя мануфактура постепенно превращается в один из очагов текстильной промышленности. «Работный регул», регламентировавший пятнадцатичасовую барщину у станка, заменяется вольнонаемной кабалой. На смену помещикам, «балующимся» фабричным делом, деспотам, картежникам, мотам приходят новые хозяева — купцы, капиталисты. Они добиваются своего не «дубьем, а рублем» и доводят до совершенства систе-

му «ограбления ограбленных». Штрафы сыплются как горох, по вечерам рабочие ткут при своем керосине.

В книге приводятся интересные данные о производительности труда, о заработках рабочих, иногда не превышавших в прошлом веке пятидесяти рублей в год у мужчин и двадцати пяти — у женщин. История труда дана в книге слитно с историей техники. Читая «Страницы истории», получаешь представление о том, как развивалось на Руси прядильно-ткацкое дело, как любовь к труду, одаренность рождали даже при работе на хозяина искусных мастеров. Они не только работали, но и бунтовали против неправды. Сударев воскрешает имена и судьбы людей, действовавших в глубоком предполье будущей революционной борьбы. Беглецы — ткач Тимофей Галактионов, пряха Анна Егорова, братья Григорий и Борис Шпаровы, бунтовщик чесальщик Андрей Григорьев и Елистрат Иванов...

«Не может быть сознательным рабочим тот, кто относится, как Иван Непомнящий, к истории своего движения», — говорил В. И. Ленин. «Страницы истории» — правдивый рассказ о формировании одного из отрядов рабочего класса, о его революционном развитии.

Почти две трети книги посвящено советскому периоду. Как будто бы немало. Но глубокая застойность старой жизни сменилась таким спремительным утверждением, вызревaniem новых начал, что событиям сразу стало тесно в книге.

Если автору удалось сжато, но не торопливо описать первые годы работы на себя, борьбу с разрухой, тифом и голодом, то, чем ближе к нашим дням, тем явственней ощущается соскальзывание к скороговорке. Исследовательский принцип явно уступает место описательскому.

Книга «Слава Златоуста» В. Маркелова и И. Козина, посвященная Златоустовскому металлургическому заводу, очень невелика — в ней нет и сотни страниц. Вместить в такой объем историю старого уральского предприятия можно, лишь излагая события весьма крупным планом. Десять страниц отводят авторы всему дореволюционному периоду. Всего две страницы длится наше знакомство со знаменитым металлургом П. П. Амосовым. И все-таки оно состоялось. Павел Петрович остается в нашей памяти. Очень убедительно воскрешен труд златоустинцев во время Великой Отечественной

войны. Раньше знаменитая булатная сталь плавилась в электропечах малыми порциями. Эту сталь потребовал фронт. И в Златоусте научились получать качественный металл в большегрузных мартенах. Об этом рассказано живо и увлекательно.

Книга показывает постоянную сопричастность труда коллектива к подвигу всего рабочего класса, всего народа. Но почему хорошо написанная книга не оставляет все же чувства удовлетворенности?

Все то, о чем рассказали авторы — замечательные биографии новаторов производства, развитие завода как центра образования, его роль в формировании эстетической культуры, — не стало материалом для анализа, для обобщений. А раз нет этого — нет и целостной картины зарождения нового.

Конечно, исследование зарождающегося — очень тонкий и сложный труд. Историк должен опираться на большой фактический материал: в частности, ему необходимы столь долго находившиеся в забвении социологические исследования.

Книги по истории заводов могут и должны быть очень разными по манере изложения, объему. Нужны и солидные монографии, и брошюры. Однако при всех условиях все они должны служить самопознанию коллектива, воспитывать людей на производственном, политическом и культурном опыте, на традициях, накопленных главным образом (а иногда и целиком) в наше, советское время. Это означает, что советский период приобрел ныне, несомненно, иное значение, чем в пору тридцатых годов. Даже у самого молодого движения — движения за коммунистический труд — пятилетняя история.

Не случайно Л. Ф. Ильичев в своем докладе на последнем, июньском, Пленуме ЦК говорил: «Не продолжить ли на новой основе начатую в свое время по инициативе М. Горького работу по созданию революционной и трудовой истории заводов, городов, колхозов и совхозов? Неверно, что такую историю имеют лишь старые предприятия... А разве десятилетняя история целлюлозного совхоза не заслуживает того, чтобы ее бережно хранили? Советские люди пишут свою историю своими делами. Наш долг — сохранить пафос сегодняшней борьбы...»

Задача столь же благородная, сколь и трудная. Книжки, свободные от декларирования общих истин и нудной назидательности,

раскрывающие на обильном фактическом материале конкретные закономерности возникновения и победы коммунистического в производстве, в психологии в данном коллективе — вот ее решение!

Строгая научность должна сочетаться с искусной литературной формой. Нет спору, история завода — не приключенческая повесть, это серьезное чтение, но оно должно быть увлекательным, иначе эти труды останутся достоянием узкого круга диссертантов. Требование литературности особенно относится к мемуарным записям. В них правде фактов всегда должна сопутствовать правда языка. Не случайно у колыбели первых книг по истории заводов стояли писатели. Это, конечно, не значит, что история заводов должна «твориться» одними литераторами. Здесь нужен совместный, подлинно коллективный труд и союз трех сил — писателей, историков и, главное, самих рабочих и инженеров.

Рабочий-публицист, рабочий-историк. Это теперь не мечта. С очень любопытной статьей о создании истории Трехгорной мануфактуры выступил недавно в журнале

«История СССР» гравер Ю. Крылов, он же выпускник исторического факультета МГУ. Таких людей становится все больше.

Время от времени пресса вспоминает о горьковской идее. Раздаются призывы браться за работу, нет недостатка в заверениях... Потом все умолкает, и год спустя газеты и журналы ничем не откликаются на появление книг, писать которые они сами призывали.

Теперь тоже все может обернуться по-старому, если не будет постоянной заботы о концентрации сил, о планомерной подготовке работ, отражающих наиболее важные явления на наиболее характерных заводах, — то есть выполняющих в новых условиях и во многом новыми методами работу прежней главной редакции «Истории фабрик и заводов». Только в атмосфере пристального общественного внимания работа по истории заводов и совхозов, несомненно, приобретет новый размах и приведет к созданию значительных книг, в которых просто и величаво прозвучит голос самого народа.

Я. ТАВРОВ.



ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ

В. Е. Иллерицкий. История России в освещении революционеров-демократов. Соцэкгиз. М. 1963. 440 стр.

Просмотрев несколько первых страниц этой книги, читатель — если он не специалист-историк — едва ли заинтересуется ее содержанием. Из введения он узнает, что автор стремился «характеризовать воззрения демократических деятелей на русский исторический процесс», с тем чтобы «более глубоко раскрыть систему их социально-политических взглядов», а также исследовать революционно-демократическое направление в русской историографии середины девятнадцатого века. Нечто специфически историографическое, подумает неискушенный читатель, и тут, на первых страницах, и может закончиться его знакомство с книгой. А это было бы очень досадно, потому что работа В. Е. Иллерицкого «История России в освещении революционеров-демократов» интересна и полезна не только для историков, но и для значительно более широкого круга читателей.

Книга эта — не только об исторических взглядах В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Н. В. Шелгунова и других революционеров-демократов сороковых — шестидесятых годов девятнадцатого века, но и об истории как науке, ее месте в общественной жизни, ее роли в революционной борьбе.

Правильно охарактеризовать взгляды революционеров-демократов на ход русской истории можно, лишь рассматривая историю как «острое оружие в идейной борьбе». Именно таким оружием, утверждает автор, и была для них история. В книге вырисовывается огромная роль изучения истории в формировании мировоззрения революционеров-разночинцев, в утверждении их идеологии.

В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, так же как и их идейные сорат-

ники, не были профессиональными историками, занимающимися этой наукой специально, систематически. Как показано в книге, они обращались к ней в ходе своих идейных исканий, пытаясь путем осмысления опыта прошлого найти ответы на самые злободневные вопросы современности—о роли народных масс в развитии общества, о влиянии на него государственных и политических учреждений, о значении для общественного прогресса народных движений и т. д. В истории они стремились найти обоснование своей революционной борьбе.

И в то же время именно в силу такого партийного подхода к истории идеологи крестьянской демократии сделали для ее развития неизмеримо больше, чем официальные представители этой науки—дворянские и буржуазные историки.

В области истории—как это раскрывается в книге—Белинский, Герцен, Чернышевский и другие оказались такими же революционерами, как и в общественной жизни. Они впервые подошли к русской истории не как к жизнеописанию князей и царей, а как к истории народа. Понимание решающей роли народных масс в историческом процессе было главным завоеванием революционно-демократической мысли.

Книга убеждает, что плодотворная разработка исторической науки возможна только с позиций партийности в единстве с научной объективностью. Это было хорошо понятно Чернышевскому, который подметил, что степень научности в истолковании прошлого всегда зависит от степени прогрессивности общественных убеждений историка.

Думается, что в своеобразной пропаганде истории—этой важнейшей, коренной науки, служащей фундаментом всякого образования, призванной пробуждать в людях общественные интересы, просветляющей взгляд в будущее,—и состоит главное значение книги В. Е. Иллерицкого.

Трактовку революционерами-демократами различных периодов русской истории автор исследует на высоком научном уровне, широко привлекая их литературное наследие и в первую очередь исторические произведения. Он не упрощает исторических взглядов шестидесятников и их предшественников, а представляет их во всей сложности и противоречивости, какими они были в этот период мучительных поисков правильной революционной теории.

Избегая идеализации великих мыслителей, он рассказывает о них как о живых, ищущих людях, у которых подчас были и ошибочные, односторонние толкования отдельных вопросов истории. И тем яснее становится читателю тот трудный и не всегда прямой путь, которым шло развитие русской общественной мысли, тем понятнее ее достижения.

Некоторую ограниченность революционно-демократических воззрений на историю, сказавшуюся прежде всего в подходе к общественной жизни с идеалистических позиций, исследователь правильно объясняет не только общей отсталостью социально-экономического и политического развития России, но и классовой точкой зрения крестьянских революционеров. «Но правильно судить об этом стало возможно лишь с позиций подлинно научной марксистско-ленинской методологии,—замечает автор.—В свое же время исторические воззрения идеологов демократического движения обращались к современникам своими сильными сторонами, чертами бесспорного превосходства над взглядами дворянских и буржуазных историков».

Отмечая несомненные достоинства рецензируемой книги, хочется вместе с тем высказать некоторые возражения.

Исторические взгляды революционеров-разночинцев представлены в книге прежде всего как взгляды на отдельные периоды русской истории (на древнерусское государство, государство четырнадцатого—шестнадцатого веков, семнадцатого века, первой четверти восемнадцатого века и т. д.—вплоть до современного им государства). Соответственно этому и написаны главы. Тем самым создается впечатление, будто революционеры-демократы с равным интересом и тщательностью изучали все эти исторические эпохи с их проблематикой. Так ли это было в действительности? Ведь, конечно же, история Киевской Руси интересовала этих революционеров далеко не в той же степени, как, скажем, история революционной мысли и освободительного движения. Между тем освещению первой темы в книге отводится в два раза больше места, чем последней. Думается, что изложение взглядов революционеров-демократов на русскую историю целесообразнее было бы вести в связи с теми проблемами, которые являлись для них центральными при обращении к истории. Это проблемы народа и государства, революционной борьбы и реформаторской

деятельности, освободительного движения и общественно-политической мысли и т. д. Сама структура книги показала бы в этом случае, на чем именно концентрировалось внимание революционеров-демократов, и дала бы более полное и четкое представление о революционно-демократической концепции русского исторического процесса.

Другое не менее важное возражение хочется сделать автору в связи с тем, как он обособывает ограничение темы своей работы. «Хронологические грани исследования ограничены 40—60 годами XIX в., — пишет В. Е. Иллерицкий, — когда сложилась и вполне определилась в своих характерных чертах демократическая идеология». По его утверждению, «с конца 60-х годов прошлого века начала складываться народническая идеология» (стр. 9). Взгляды народников семидесятых годов кажутся автору столь серьезным шагом назад «от идейно-теоретических позиций своих предшественников в трактовке основных проблем философии, политики, в понимании экономических явлений» и особенно в области истории и социологии, что, как он считает, должны быть предметом специального исследования.

Итак, для автора демократическая идеология шестидесятых годов и народническая семидесятых годов девятнадцатого века — это две различные идеологии, соот-

ветствующие двум различным этапам русского освободительного движения. Но ведь известно, что шестидесятые и семидесятые годы составляют единый разночинский, или буржуазно-демократический период русского революционного движения с господствующей народнической идеологией. Родоначальниками народничества В. И. Ленин считал Герцена и Чернышевского. И в этом смысле революционеры-демократы шестидесятых годов были народниками, как революционные народники семидесятых годов — революционерами-демократами. Несмотря на определенные принципиальные отличия между ними, в их взглядах — в том числе и исторических — больше сходства, чем это представляется автору. И в семидесятые годы господствующими в области революционной идеологии оставались идеи шестидесятников — вера в крестьянскую революцию, понимание решающей роли народа в историческом развитии...

Вот почему хотелось бы, чтобы исследование исторических воззрений революционеров-демократов автор не обрывал на шестидесятых годах, а завершил свою работу изучением исторической мысли революционеров-семидесятников, явившейся их логическим продолжением и развитием.

В. ТВАРДОВСКАЯ.

★

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

М. Васильев. И реки вспять потекут... Географгиз. М. 1962. 70 стр.

И. Адабашев. Подземный океан. Географгиз. М. 1962. 102 стр.

А. Б. Авакян и Е. Г. Ромашков. Приливы на службу человеку. Географгиз. М. 1963. 88 стр.

Я. Голованов. Штурм бездны. Географгиз. М. 1963. 88 стр.

«Сегодня не только молодежь, а и глубоких стариков интересует все, что связано, скажем, с достижениями в освоении космоса, с новейшими открытиями в области химии... Хочется, чтобы подобная литература была написана простым, доходчивым языком, популярно, в виде непосредственной беседы с читателем... Нам нужны популярные книги буквально из всех областей жизни».

Так писали два года назад сельские библиотекари в открытом письме к издателю.

Первым откликнулось на этот призыв Государственное издательство географической литературы. Перед нами — выпущенные

им в 1962 и 1963 годах книжки «Народной библиотеки», объединяемые одной общей идеей: природа и человек. Издатели не забыли просьбы библиотекарей дать сельскому читателю дешевую книжку: цена брошюр 8—12 копеек.

Просты и увлекательны по своему замыслу и содержанию эти книжки, назначение которых — рассказать самому широкому кругу читателей о величественных планах покорения стихийных сил природы, о большой созидательной работе, которую ведет под руководством Коммунистической партии советский народ. Интереснейшие факты, популярно изложенная сущность гран-

диозных проектов, еще недавно выглядевших фантастическими, новые идеи в науке и технике — все это позволяет увидеть близкое и далекое будущее нашей страны.

Открывает народную библиотеку книжка «И реки вспять потекут...», написанная М. Васильевым — автором многих научно-популярных книг. Шаг за шагом, последовательно читатель вовлекается в обсуждение деталей целого комплекса проблем, выдвинутых дерзновенным вмешательством советского человека в вековечные дела природы. О будущем повороте течения северных рек Печоры и Вычегды на юг, о переброске их вод в Каспийское море, о записанных в Программе КПСС планах ирригационного строительства рассказывает эта небольшая книжка. Впечатляющая картина преобразования пустынь и засушливых земель вырисовывается не только из приведенного в книжке большого материала, но также и из своеобразного путешествия в послезавтра, которое автор предпринимает вместе с читателем. Удачно использованы отрывки из записей М. Горького о разговоре на одной из улиц революционного Петрограда в 1917 году. Бородатый крестьянин с винтовкой в руках говорит:

«Я — вот с этой самой земли, — ну? Солдат, как видишь. Был на японской войне, вот и теперь тоже воевал, а — больше не желаю. Разбудили, проснулся. И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу: землю мы обязательно в свои руки возьмем — обязательно! И все на ней перестроим...»

— Горы-то сроешь?

— А — что? Помешают, и горы сроем.

— Реки-то вспять потекут?

— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?»

В этих словах простого русского солдата была выражена вера в творческие силы народа.

Повернуть вспять северные реки! Если тогда это многим казалось несбыточной мечтой, то сейчас воспринимается как реальный проект. Решение такой грандиозной задачи, сказал Н. С. Хрущев, «нам теперь вполне по плечу», выразив тем самым твердую уверенность советского народа в том, что «чудо» свершится: наши ученые, инженеры, рабочие заставят природу отдать свои воды для обогащения Каспийского моря, увлажнения пустынь и засушливых земель.

Романтикой исследования океанических глубин веет от другой книжки народной библиотеки — «Штурм бездны». Рассказав об истории проникновения людей в тайны морского дна, Я. Голованов показывает затем, как современные наука и техника приближают нас к наиболее полному использованию неисчислимых богатств великого голубого континента.

Поистине фантастические цифры о ресурсах живой и неживой природы океанических глубин найдет читатель в этой книжке. Вот одна из них: триста пятьдесят миллиардов тонн руд с примесью марганца, никеля, меди, редких металлов, миллиарды тонн кобальта — таковы запасы океанического дна. А морская вода? Какая это огромная сокровищница химических элементов! В ней хлор, бром, фтор, натрий, магний, кальций, стронций и даже золото и серебро. Если бы человеку удалось извлечь все золото из воды мирового океана, то на каждого жителя планеты пришлось бы его более трех тонн! В главе «Континент сокровищ» мы находим ряд увлекательных эпизодов о подводных кладонисателях, затонувших армадах... Алчным страстям искателей чужих богатств противопоставляются иные страсти — энтузиазм рыцарей подводной археологии, начинателем которой был в нашей стране известный ученый Р. А. Орбели.

Космическим силам, которыми еще в очень малой степени овладел человек, силам, создающим приливную энергию, посвящена небольшая книга — «Приливы на службу человеку». Она напоминает нам о замечательном стиле знаменитого русского популяризатора Н. А. Рубакина. Очень сложные и трудно усваиваемые неподготовленным читателем вопросы воздействия сил межпланетного притяжения излагаются в простой и спокойной манере. Есть в книжке очень важное для популяризатора стремление показать не только историю исканий в данной области знания, но и перспективы развития науки.

Исследованию гидроресурсов посвящена и четвертая книжка народной библиотеки, но в ней рассказывается не о наземных, а подземных водах. Проблема освоения открытых за последние годы громадных артезианских бассейнов (на одной Западно-Сибирской равнине их площадь равна трем миллионам квадратных километров) привлекает внимание многих ученых и практи-

ков. Когда познакомишься с приведенными в книжке интересными фактами и цифрами, отчетливой видишь, какие новые и новые богатства природы заставляют служить себе строители коммунизма. Многообещающее будущее горячих подземных бассейнов — это теплофикация северных городов и растущей промышленности Сибири и Урала, поток тепла людям и растениям, развитие местных курортов на базе подземных целебных источников.

Выше я упомянул о замечательной традиции рубакинских народных книг, в которых с огромной тщательностью отбиралось каждое слово, каждое понятие с точки зрения научной достоверности — с одной стороны, и доходчивости — с другой. Сын Н. А. Рубакина, профессор А. Н. Рубакин, рассказывал мне, как его отец, работая над своими книгами, при объяснении ряда физических явлений избегал, например, слова «тело», опасаясь, как бы при тогдашнем уровне знаний массовый читатель не уразумел бы под этим словом человеческое тело. Ныне, конечно, таких недоразумений не может быть, и все же тем, кто пишет популярные книжки, следует тщательно работать над словесным материалом. Между тем чувство меры, очень важное для популяризатора, нередко уступает неукротимому желанию расцветить текст, привлечь внимание читателя неожиданным эпитетом, парадоксальным названием — пусть даже это и расходится с истиной!

Так обстоит дело, например, с открытыми за последние годы артезианскими бассейнами, которые с легкой руки некоторых газетчиков переименованы в «подземные океаны». Хорошо известно, что, как ни значительны содержащиеся в трещинах и порах горных пород истощимые со временем воды, они ни по количеству, ни по режиму и составу несравнимы с океанами и морями. Против этих сенсационных названий как антинаучных не раз выступали наши видные ученые. И об этом, несомненно, знает И. Адабашев. На странице 81 его книжки «Подземный океан» читаем: «Океан подземной воды! Часто так и говорят, хотя подобное сравнение при всей его образности

неверно. Артезианские бассейны, даже самые большие, не могут быть равными океанам уже хотя бы потому, что четыре существующих на планете океана занимают семьдесят один процент поверхности земного шара, а на долю шести материков остается лишь двадцать девять процентов». И в полном противоречии с только что сказанным автор, не желая расставаться с полюбившимся ему «образом», не только в названии, но и во всем тексте книжки широко пользуется понятием «подземный океан», прививая читателю неправильные представления об артезианских бассейнах.

Несомненно также, что легко можно было бы обойтись в книгах народной библиотеки и без некоторых специфических терминов («электрический потенциал», «тектонические силы», «лотлинь» и другие), понятных лишь специалистам.

Первые четыре книги серии посвящены использованию гидроресурсов, играющих огромную роль в преобразовании природы и освоении ее богатств для развития народного хозяйства. В ближайшее время издательство выпускает книгу Р. Г. Подольного о мире микроорганизмов, о том, как наука проникла в этот мир и подчинила его законы интересам человека. В перепетиве — книги по ряду других вопросов. Думается, что издательству следует чаще привлекать в качестве авторов видных ученых.

Вспомним опять слова из открытого письма сельских библиотекарей: «Нам нужны популярные книги буквально из всех областей жизни». Хорошее, благородное начинание Географиза безусловно должно быть подхвачено и другими издательствами. Нужны такие же простые, дешевые и привлекательные книги по астрономии, физике, математике, химии.

«Почетный долг советских ученых, — говорится в постановлении июньского Пленума ЦК КПСС, — нести знания в массы». Эти знания играют значительную роль в идейном воспитании советских людей, в формировании их коммунистического мировоззрения.

С. СМУГЛЫЙ.

ЗАМАСКИРОВАННАЯ НИЩЕТА

М. Харрингтон. Другая Америка. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 210 стр.

Думаю, что если бы я мог прочесть книгу Майкла Харрингтона перед первой поездкой в Соединенные Штаты, это избавило бы меня от обескураживающего чувства неполноценности своего писательского и журналистского зрения.

В общем-то я долго готовился к путешествию за океан и блокноты мои были заблаговременно заполнены весьма полезными выписками. Но, выйдя утром из отеля «Тюдор» на Сорок второй улице и затерявшись в густой толпе нью-йоркцев, я вдруг обнаружил, что не различаю контрастных примет, позволяющих по внешнему виду судить о социальной принадлежности джентльменов, торопящихся куда-то по своим делам. Совсем как у Саши Черного: «Все в штанах, скроенных одинаково...» Первые дни меня сбивало ощущение какого-то несоответствия живых зрительных впечатлений и хорошо запомнившихся статистических данных об этой богатой и бедной стране. Богатство бросалось в глаза, бедность куда-то стыдливо пряталась. Но вот что пишет Майкл Харрингтон, американский журналист и социолог, деятель католических благотворительных организаций: Америка нищеты «замаскирована сегодня так, как никогда раньше. Миллионы ее обитателей социально невидимы для остальных американцев».

Тем менее они видимы для иностранца, недолгого гостя Америки. И дело не только в том, что нищета гнездится в стороне от столбовых туристских дорог, нередко теряется на фоне красот природы или искусно облагораживается колоритными преданиями. Главное — в особенностях современной американской жизни, надежно изолирующих и маскирующих бедность. Так, белая рубашка и костюм стандартно-модного покроя здесь далеко еще не признак и не мерка благосостояния: «В Америке нищета одета лучше, чем где бы то ни было в мире... В Соединенных Штатах гораздо доступнее быть прилично одетым, чем иметь сносные жилищные условия, питание и медицинскую помощь. Даже те, кто зарабатывает гроши, могут быть приняты за людей преуспевающих».

Это лишь один пример камуфляжа бедности. Харрингтон не скупится на подобные примеры. «Страну невидимых людей», стра-

дающих от бедности и неравенства, он старался сделать видимой. Он вовсе не противник социального строя Америки, он далек от того, чтобы обличать и порицать капитализм, первопричину бедствий миллионов своих соотечественников. Сострадательный взгляд буржуазного гуманиста позволяет ему хорошо различать людские беды, однако он идейно безоружен против истинных носителей зла...

Харрингтон назвал свою книгу «Другая Америка». Эта Другая Америка — «нация бедных», существующая внутри прославляемой и с напыщенным бахвальством рекламируемой страны. В Другой Америке сорок—пятьдесят миллионов человек, которые бедствуют в так называемом «обшестве изобилия», постепенно исчезая из поля зрения общества и становясь все более невосомыми в политическом смысле.

Не знаю, является ли Харрингтон автором очень емкого определения «культура нищеты». Во всяком случае он широко пользуется этим термином. «Нищета в Соединенных Штатах, — пишет он, — не что иное, как культура, институт, образ жизни». Отсюда ее устойчивость. «Культура нищеты» цепко держит людей в заколдованном круге, лишая их возможностей роста и прогресса. Родившийся бедным и умирает бедняком. Разговоры о равных возможностях — одно, статистические данные и непредвзятые жизненные наблюдения — другое.

Харрингтон признается: изучая статистические данные, он сумел доказать существование в США десятков миллионов бедняков, но почувствовал, что... сам не верит собственным цифрам! Видимо, сказался груз типичных предрассудков и заблуждений среднего американца, которому без усталости твердят о изобилии и достатке для всех, кто не ленится и не пьянствует. А тут — десятки миллионов бедняков!

Харрингтон решил погрузиться в жизнь Другой Америки, стал частым гостем обитателей трущоб и ночлежек. Неподалеку от великолепных солнечных пляжей Калифорнии он обнаружил жалкие лагеря кочующих полевых рабочих. Он поехал в расистские южные штаты. Увиденная изнутри жестокая и неприглядная действительность Другой

Америки подкрепила, сделала бесспорно доказательными колонки статистических выкладок, вдохнула в них жизнь. Родилась честная, убедительная книга.

Я прочел ее после трех поездок за океан, уже успев, как мне казалось, кое-что повидать и понять. И все же при чтении часто ловил себя на мысли: «Черт возьми, да как же мне это не бросилось в глаза? Почему я не заметил этого?» Правда, все три поездки виза ограничивала мои передвижения сначала центром Нью-Йорка, потом его границами, и, таким образом, я не мог видеть давно и постоянно бедствующие районы Другой Америки, брошенные фермы или лачуги негритянского Юга. Но я не заметил многого и в доступных мне трущобных районах Нью-Йорка...

Харрингтон прав, когда он говорит, что Другая Америка бедна не в том смысле, который подразумевается в разговоре об отсталых странах, где люди рады сухой корке как спасению от голодной смерти. Это верно и в отношении трущоб. Я видел окраины Багдада, район так называемых сарифов — хижин из битых кирпичей, пальмовых листьев, кусков жести, картонных ящиков, скрепленных глиной. Бессознательно я ожидал увидеть нечто подобное и в Нью-Йорке. А знакомый привел меня на улицу, где стояли вполне приличные каменные дома — правда, довольно угрюмые.

— И это трущобы? — не поверил я.

— Подожди, присмотришься получше, — ответил знакомый.

Из-за угла с воем сирены выскочила полицейская машина. И посмотрели бы вы, сколько физиономий, то испуганных, то выражающих любопытство, появилось вдруг в окнах! По четыре-пять в каждом! Стало очевидно, как плотно, туго набиты эти каменные ящики, разгороженные внутри на крохотные клетки.

«Каждому известно, — говорится в книге, — насколько острой является жилищная проблема в США; в газетах регулярно появляются статьи, предсказывающие, что если немедленно не будут приняты срочные меры в этом отношении, то в самое ближайшее время жилищный кризис примет катастрофический характер». Выясняется, что в богатой Америке четырехлетняя программа строительства дешевого жилья, составленная еще в 1949 году, не была выполнена и двенадцать лет спустя, когда Харрингтон писал свою книгу. И если в районах трущоб

появляются бульдозеры и взрывники, чтобы сносить старые дома, всех вокруг охватывает беспокойство: ведь строят меньше, чем разрушают, в Нью-Йорке на каждую новую квартиру претендовали сначала семь, потом больше десяти нуждающихся семей.

Трущобы в Америке поразительно живучи как социальное явление. Вот разрушен старый клоповник, его обитатели переселились в новый, так называемый дешевый дом. Однако вместе с ними справила новоселье и цепкая «культура нищеты». Полицейская хроника отмечает, что новостройки нередко становятся новыми очагами старых болезней — бандитизма и детской преступности. «Вест-Сайдские истории», стычки враждующих банд подростков, выросших в мире насилия и жестокости, разыгрываются там лишь на фоне более современных «декораций»: вместо змеящихся по красным кирпичным фасадам ржавых пожарных лестниц — безликая серость новых дешевых домов.

Мне приходилось читать в американской печати статьи о том, что планы сноса трущоб странным образом игнорируют Гарлем — перенаселенный негритянский район Нью-Йорка, хотя там такая теснота, что, если бы весь город заселялся столь же плотно, все население Соединенных Штатов удалось бы втиснуть всего в три нью-йоркских района! Так почему же сносятся еще сравнительно хорошие дома в Гринвич-вилледж и сохраняются в заповедной неприкосновенности многие кварталы Гарлема? Дискриминация? Возможно, однако попробуйте это доказать.

Наш читатель наиболее овеомлен о крайних проявлениях расизма и сегрегации, которыми печально знаменит Юг. Но полицейские собаки, пожарные брандспойты, пылающие в ночи креслы кукуклукклановцев и кровавые потасовки, возможно, скорее уйдут в прошлое, чем менее заметные, но не менее позорные явления.

Харрингтон справедливо говорит, что, если бы даже все дискриминационные законы были вдруг отменены, расовая проблема все равно осталась бы одной из самых серьезных моральных и политических проблем страны: слишком пропитаны расизмом американская экономика, американское общество и его психология. Помимо расизма буйного, воинствующего существует всеохватывающая молчаливая система, направленная против людей с темной кожей. Она не даст большинству негров воспользоваться

ся возможностями, которые могло бы открыть перед ними самое прогрессивное законодательство. Об этом следует помнить при оценке реальных результатов правительственного вмешательства в острые расовые конфликты на Юге, возникшие уже после появления книги о Другой Америке.

Иные гости Соединенных Штатов склонны соглашаться с нью-йоркцами, когда те говорят, что сегрегация — это где-то там, на Юге, что в Нью-Йорке ее давно нет. И в самом деле: вон негр идет с белой девушкой, оба оживленно болтают и за ними не крадутся молодчики с намыленной веревкой. А Гарлем? Побывайте в Гарлеме — он поет и танцует. Разве в гетто могут веселиться так беззаботно? Только не следует поздним вечером шататься в одиночку по гарлемским улицам: могут намять бока. Да, представьте, в некотором роде дискриминация белых...

Так говорили мне нью-йоркские знакомые. Я бывал в Гарлеме, готов засвидетельствовать, что там действительно танцуют. Видел также, что в барах и закусочных полно людей. Но не обратил внимания на одно обстоятельство: кому принадлежат бары и магазины. Харрингтон доказывает, что экономника черного Гарлема целиком в руках белых. Гарлем не принадлежит самому себе, негров не оставляют в покое даже в гетто. Всюду «он» — так называют здесь белого. «Он» появляется то в полицейском мундире, то за судейским столом, то с квитанционной книжкой сборщика квартирной платы. Появление его не сулит ничего хорошего, «он» враждебен миру гарлемской нищеты, его подозревают в недобром, его боятся.

Да, в Нью-Йорке нет формальной сегрегации, в штате приняты хорошие законы о равных условиях найма белых и черных на работу. Есть даже комиссия по борьбе с дискриминацией. Но безработица в Гарлеме вдвое выше, чем в белых районах, заработная плата — лишь половина заработка белого. Вот вам и хорошие законы!

Каждый, кто по утрам наблюдал нью-йоркскую толпу, вероятно, замечал такую ее особенность. Пока ранним утром подземка и автобусы полны «синими воротничками» — так в Америке называют рабочих, — черные лица всюду рядом с белыми. Но вот в девятом часу улицы заполняются «белыми воротничками» банковских и конторских служащих. И что же? Белоснежные воротнички подпирают преимущественно белые

физиономии. «Конторское учреждение является бастионом расизма в американском обществе», — говорит Харрингтон. Здесь действует всеохватывающая молчаливая система. Спросите людей, ведающих в корпорациях наймом служащих. Негры? Они, кадровики, решительно ничего не имеют против негров, даже симпатизируют им. Но высшее начальство... И служащие будут протестовать, если рядом с ними окажется негр...

«Белая Америка не дает негру поднять голову». Но белая Америка не шадит и некоторых «своих» белых. Так, это страна не для стариков. Журнал «Америка» однажды с гордостью сообщил, что средний возраст ответственных работников провинциального банка — тридцать один год. Харрингтон показывает обратную сторону медали: многие отрасли промышленности бракуют рабочих, которым едва перевалило за сорок. Пожилые становятся первыми жертвами технического прогресса. Их выталкивают из активной жизни на заколдованный круг, вернее на заколдованную спираль, «культуры нищеты». Появились уже тенденции создавать гетто для престарелых. Это районы дешевых меблированных комнат, районы одинокой, забытой, бедствующей старости...

Бедность многолика. Одно время по недоразумению у нас едва ли не ставили знак равенства между американскими «битниками» и отечественными «стилягами». Харрингтон называет «битников» единственными веселыми нищими Другой Америки и считает, что и уитменовские искания, и склонность к кривлянию, эротике, цинизму лишь приписаны им ловкими журналистами. «Битники» — это прежде всего бедняки. Да, среди них встречаются приверженцы старых традиций богемы и показной бравяды, но гораздо больше студентов, которые учатся в крупнейших университетах. Это не постоянные жители трущоб, им не грозит спуск по спирали. Они как бы временные гости одного из первых ее витков. Подчас эти люди голодают. Их жилье — склад или ветхий дом на грязной улице, с клопами и крысами, их ванна — корыто посреди кухни. Но не всех их загнала в трущобы бедность. «Интеллигентная молодежь, — отмечает Харрингтон, — идет в трущобы Другой Америки, готовая бедствовать, лишь бы бежать от духовной нищеты нашего общества избилля».

Турист в Нью-Йорке отправляется обычно на поиски «битников» и местной богемы в

Гринвич-вилледж. Там действительно немало живописных кабачков и попадаются бордатые уличные художники, изо всех сил пытающиеся создать этому району города славу нью-йоркского Монмартра. Но действительные бедняки-интеллигенты давно уже откочевали из этого ставшего недоступным им района в восточную часть Нью-Йорка, в старые дома и кое-как приспособленные для жилья склады Ист-Сайда.

Внимательный наблюдатель, который хочет увидеть один из последних витков спирали, идет на Бауэри, когда-то, в старые годы, слывшей улицей состоятельных людей. Теперь Бауэри дала приют нищете. Это улица ночлежных домов, лавок старьевщиков, низкопробных кабаков. Здесь алкоголики пьют денатурат, пропущенный сквозь кусок черствого хлеба или тряпку; путь отсюда — через примный покой печально знаменитого бесплатного госпиталя Бельвию на кладбище для нищих...

А начало этого пути... О, оно может быть незаметным. Скажем, человек заболел. Известно, что бедняки болеют чаще и больше других. Это понятно: плохое жилье, плохая еда, невозможность оплачивать докторов и лекарства. Но тому, кто часто болеет, легко потерять постоянную работу. А раз нет постоянной работы, нечего и думать об улучшении жилья, о лечении. Болезнь прогрессирует, ускоряя спуск по заколдованной спирали нищеты к еще большим и неотвратимым страданиям...

Только падаи на первый ее виток! А ведь попасть на него легче легкого. Вот пример. Закрылся мясоконсервный завод, и прилично зарабатывавшие рабочие, члены профсоюза, получавшие пособия по болезни, очутились перед выбором: либо улица, либо завод искусственных елок. А на этом потогонном заводике заработок в два с половиной раза меньше, ежедневные увольнения нескольких непокорных, никакого профсоюза; чтобы сходить в уборную, надо спрашивать разрешение у мастера...

С концом рождественского сезона начался второй виток: рабочих уволили и с потогонного завода. Что дальше? Улица, перемена жилища на худшее, расставание со взятыми в рассрочку вещами, за которые нечем уплатить очередной взнос...

Всем известно, как много в Соединенных Штатах психически больных. Харрингтон доказывает лживость мифа, будто жертвами напряженности и душевных конфликтов

становятся богачи или процветающие бизнесмены. Среди бедняков душевнобольных почти втрое больше, чем в любой другой общественной группе. Душевное равновесие и оптимизм в Америке прямо пропорциональны содержанию кошелька; это не домысел, а вывод из анкеты американского Института общественного мнения...

Удел психически неполноценных бедняков — жизнь на средства благотворительности. Бедность и благотворительность — вообще старые соседи. Харрингтон считает, что даже в политике американская беднота, распыленная политически, как правило, не состоящая в партиях и общественных организациях, обречена быть объектом благотворительности.

Но что такое благотворительность в Америке? Автор говорит об этом бегло и сдержанно. Однако после выхода его книги в одном из весенних номеров этого года журнал «Лук» невольно восполнил пробел публикацией статьи консультанта по делам общественной благотворительности Д. Хорвитца. Статья озаглавлена «Мрачная картина социальной помощи».

На средства благотворительности в Нью-Йорке живут триста шестьдесят тысяч человек — престарелые, нетрудоспособные, безработные. Это обитатели трущоб Другой Америки.

«В Нью-Йорке трущобы не в новинку, — пишет Хорвитц. — Этот город превратился в гигантскую трущобу чуть не с момента своего возникновения. Но трущоба, существующая за счет общественной помощи, явление новое. Это узаконенная трущоба; трущоба, финансируемая обществом и приносящая большие барыши домовладельцам; трущоба, предоставляющая кров только семьям, получающим пособия в порядке вспомоществования, — такую трущобу человек, проведший там детство, не забудет ни во сне, ни в наркотическом трансе после укола героина, ни в Роклендской больнице штата Нью-Йорк».

Инспектор благотворительности описывает несколько встреч со своими опекаемыми. М-с Джилборг живет в комнатке, где пятеро детей спят на двух кроватях. Совершенно темную комнату занимает ее старшая дочь Роберта.

«Роберте четырнадцать лет. Она беременна. М-с Джилборг сорок один год, она тоже беременна...

— Где же вы поместите новорожденного? Ведь для второй детской кроватки нет места?

— В ящике шкафа. Он и там отлично вырастет».

Дом, где живет м-с Джилбург, принадлежит м-ру Шеку. В этом доме каждая девочка старше тринадцати лет либо беременна, либо уже родила, либо делает все, чтобы забеременеть: ведь тогда дадут пособие! Дети, рожденные детьми, «это комочки мяса, вызревающие в темных, мрачных комнатках, чтобы быть пожранными крысами, гомосексуалистами или торговцами наркотиками, когда они придутся им по вкусу».

Это не ново: трущобы Нью-Йорка описывались много раз. Ново, может быть, то, что подобная статья напечатана в «Лук». И очень примечательны в ней слова домовладельца Шека, который говорит, что «содержит свинарник» в интересах Нью-Йорка, что он и городские власти — компаньоны, что город платит ему за очистку улиц от «этого сброда», за предоставление «этим свиньям» крыши над головой, чтобы они «никому не мозолили глаза».

С грубой прямоотой и откровенностью здесь высказана та же мысль, которая проходит через всю книгу о Другой Америке: бедняков стараются сделать невидимыми...

Книга Харрингтона во многом противоречива и наивна. Автору кажется, например, что предполагаемое создание при правительстве ведомства по городским делам способно бы резко изменить положение. Он полагает, что это ведомство «могло бы стать штабом крестового похода против Другой Америки». Косвенно доказав всей своей книгой, всей логикой и строем собранных в ней фактов и наблюдений беспомощность, консерватизм, вялость правительственных учреждений в борьбе с заколдованным кругом бедности, Харрингтон сам оказывается в заколдованном круге идеалистических представлений: «В нашем обществе имеется только одно учреждение, способное уничтожить нищету,— федеральное правительство». Придя к подобному выводу методом исключения, он признается, что этот вывод его не радует, но он не видит никаких других реальных возможностей...

Будем же благодарны Майклу Харрингтону за обильный фактический материал о Другой Америке!

А с верным анализом этих фактов, думается, без большого труда справится сам советский читатель, вооруженный марксистским мировоззрением и глубоким знанием жизни.

Г. КУБЛИЦКИЙ.



ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ ШКОЛЫ

В конце минувшего года «Новый мир» опубликовал (в № 11) под рубрикой «Читатели обсуждают вопросы школы» статьи своих читателей В. Семенихина «Учить и учиться разумно», Л. Айзермана «К миру прекрасного», С. Владимирова «Кто же их научит?». Выступления эти вызвали широкий отклик. Редакция получила десятки писем и статей, которые продолжают начатую дискуссию, авторы этих писем верно чувствуют необходимость серьезного улучшения школьного обучения и воспитания. Они конкретно, практически ставят вопросы всестороннего гармонического развития и коммунистического воспитания молодого поколения. Именно об этом шла речь на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Часть полученных редакцией писем мы печатаем ниже с некоторыми сокращениями. Основные мысли, содержащиеся в остальных, изложены в обзоре.

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ, ЧТО НАМ МЕШАЕТ

Наша Выездновская средняя школа № 6 считается неплохой в Арзамасском районе. Педагоги у нас почти все с высшим образованием и большим опытом. Наша школа первой в районе стала одиннадцатилетней и начала производственное обучение учащихся. Ежедневно мы встречаемся со всякого рода трудностями, видим немало недостатков в своей работе и стараемся преодолеть их, но не всегда это нам удается, потому что многое зависит не от нас. Мы живо интересуемся каждым новым начинанием своих товарищей, следим за педагогической литературой, обмениваемся мнениями, спорим. Статьи о школе, напечатанные в «Новом мире», мы не просто прочитали, а обсуждали всем учительским коллективом до позднего вечера. То, что мы вынесли из этого обсуждения, я и выскажу с читательской трибуны «Нового мира».

Мысли, изложенные в статьях гг. Семенихина, Айзермана и Владимирова, не так уж новы — они высказывались, только бо-

лее робко, в разное время на страницах наших газет и журналов, и они, безусловно, правильны. А то, как убедительно подтверждают они необходимость коренного улучшения народного образования — чтобы наша школа вооружала всеми необходимыми знаниями строителей коммунистического общества, — как раз и привлекает к ним внимание и вызывает поддержку школьных работников.

Самые неотложные меры должны быть приняты, с нашей точки зрения, в трех направлениях.

Первое — качество знаний. Отвечают ли они требованиям времени, какой запас и каких знаний необходим человеку, вступающему в ряды строителей коммунизма? Никто этим всерьез не занимается. Если говорить по-ложа руку на сердце — основания для беспокойства немалые, и доказывать это, призывая на помощь статистику, нет нужды. Причин, конечно, много. Из года в год увеличивается нагрузка детей. Несмотря на протесты учителей, ро-

дителей и общественности, школьные программы растут как снежный ком. Потому что составители программ, прибавляя необходимое новое, оставляют в нем много лишнего, отжившего. Прав тов. Семенихин — учащиеся вынуждены забивать свою память массой ненужных правил, определений и др. Прав тов. Владимиров, критикуя школьный курс физики за устарелость и оторванность от жизни. Учителя истории тоже считают необходимым пересмотреть программы и особенно по истории древнего мира и средних веков. Биологи настаивают на пересмотре программы по ботанике, зоологии, где только на изучение червей отводится шесть, а на внешнее и внутреннее строение насекомых (на примере майского жука) — пять часов! К чему такая неэкономная трата времени и усилий?

Сделав программы более компактными, мы дадим учащимся возможность еще в школе, на уроке, осмыслить и закрепить в памяти главное, нужное каждому человеку знание.

Руководители народного образования на словах признают необходимость разгрузки ребят, но делают это крайне медленно и нерешительно. Пока же нагрузка старшеклассников достигла тридцати семи часов в неделю. Если же учесть время на приготовление уроков и на внеклассную работу, рабочий день подростка сейчас составляет десять — одиннадцать часов, тогда как рабочий день взрослого — семь часов. Ученик должен заниматься в школе не более пяти-шести часов, включая экскурсии и кружковые занятия.

Но существующие школьные программы вызывают не только перегрузку учеников, а и порождают формализм в преподавании. Глубоко прав тов. Айзерман, настаивая на коренном изменении преподавания школьного курса литературы. Уроки литературы должны прививать учащимся любовь и вкус к книге, стремление видеть в ней учителя жизни, должны формировать эстетический вкус молодого поколения. Поэтому школьные программы должны требовать от учеников не запоминания готовых выводов учебника, как это сейчас происходит, а умения анализировать художественное произведение, самостоятельно разобраться в его художественных особенностях и идейном содержании. Но ведь до сих пор учащийся нередко получает хорошую отметку за изучение литературного

произведения, хотя само произведение он даже в руки не брал, а лишь заучил соответствующие выводы учебника. Тов. Семенихин советует научить ребят пользоваться различными справочниками. Это правильно. Но беда в том, что зачастую нелегко достать даже школьный орфографический словарь. Следует обратить внимание и на преподавание курса литературного чтения в начальной школе. Именно там, подбирая соответствующие возрасту, вызывающие живой интерес произведения, можно научить детей хорошо, выразительно читать, вдумываться в смысл прочитанного. Сейчас формализм школьного курса порождает равнодушие даже к лучшим классическим произведениям.

Другим примером формализма в школе служит нынешнее преподавание иностранных языков. Каждому ясно, что успех в изучении любого иностранного языка достигается постоянной тренировкой. А если ученик всего два часа в неделю встречается с иностранным языком на уроках и очень редко на «внеклассных мероприятиях»? Школьники вынуждены зазубривать десятки и сотни слов, стараясь донести их хотя бы до урока. Опыт наших школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке показал, что даже семь уроков в неделю с группой в десять—двенадцать человек не дают желаемых результатов. Вот и получается, что, закончив школу, после шести-семи лет изучения иностранного языка наши юноши и девушки с трудом читают самый простенький текст, да еще и с убийственным произношением. На мой взгляд, изучение иностранного языка в современной общеобразовательной школе должно способствовать расширению кругозора учащихся. Нужно научить детей пользоваться распространенными в быту иностранными словами, научить составлять фразы и пользоваться словарем. При изучении иностранного языка в школе должно быть больше игровых элементов, соревнования, поощрения. Тех учеников, которые проявляют особый интерес и способности к иностранным языкам, следует вовлекать в ученические кружки, в специальные школы, где и развивать эти склонности.

Углублению и прочности знаний учащихся в большой мере способствуют хорошие, стабильные учебники. Но в этой области до сих пор многое не сделано.

Нам кажется, что труд ученика и учителя можно было бы справедливее оценивать, если широко практиковать школьную взаимопроверку качества знаний, межшкольные конкурсы письменных работ учащихся и т. д., привлекая для этого общественность. Органам народного образования в городах и районах нужно поднять авторитет учителей, дающих глубокие и прочные знания учащимся, и использовать их опыт работы, а им самим — чтобы ближе быть к школе и заниматься ее нуждами — надо освободиться от огромного количества ненужной писанины. Однажды вместе с инспектором мы подсчитали, что школьная инспекция Арзамасского района за десять месяцев 1962 года получила только от облоно и других областных организаций 170 писем и директив, сама написала 430 писем. А сколько директив идет от министерства, от местных органов власти!

Тов. Семенихин совершенно справедливо выступает против зубрежки, механического заучивания. Разве зубрежка, которую мы сейчас фактически часаждаем, может повысить интерес детей к учебе? Нет, она губит этот интерес в зародыше. Но, по нашему мнению, тов. Семенихин указывает неверный выход из трудностей и несовершенства учебного процесса. Он считает целесообразным загружать память учащихся «знаниями» и предлагает вырабатывать у детей «умения». «Знание» у него выглядит каким-то абстрактным понятием. Однако предлагаемые им «умения» в копеечном счете все же прочно стоят у него на знаниях. Грамотность, утверждает тов. Семенихин, зависит не от прочно заученных правил грамматики, а от умения ими пользоваться. И получается, что можно пользоваться тем, чего не знаешь. Здесь явная путаница книжных знаний со знаниями, переработанными в сознании человека.

Тов. Семенихин, собрав в одну кучу и нужные и ненужные знания, получаемые в школе, называет эти знания ношей, которую школьник обязан тащить с собой на экзамены только для подтверждения своей образованности. Основную часть ноши с течением времени поглощает Лета. Из этого автор делает вывод: «Не загружать, а разгружать надо память». Странный вывод! Образованный человек тем и отличается от необразованного, что много

знает, во многом свободно разбирается. В этом ему помогают знания по истории, математике, географии и т. д. Способность человеческого мозга позволяет нам пользоваться тем, что в данный момент больше всего потребовалось, особенно если наши знания освежать и обновлять.

Нам, учителям, следует больше думать над тем, как лучше и проще передать ученикам знания, выработать у них навыки, воспитать в них черты коммунистической нравственности. Мне кажется, что учебный процесс и в школе надо строить на основе ленинской формулы познания истины: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — так,— писал Ленин,— диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Часто приводя эту формулу, мы в преподавании далеко не всегда следуем ей.

Что такое живое созерцание и как его достигнуть в учебном процессе?

Это значит, что на уроках, в процессе познания, необходимо как можно разнообразнее воздействовать на восприятие учеников. После вводного рассказа учитель переключает учащихся на работу со схемами, макетами, картинками. Учебный фильм пусть чередуется с экскурсией в лес, на завод, на ферму. Чтение документа или литературного произведения пусть завершится слушанием грамзаписи. Пусть на уроках будут чаще лабораторные работы, а в тетрадях учащихся будет больше схем, таблиц, дат, новых слов. Нужно, чтобы туристическая и экспедиционная работа с учащимися стала обязательной.

Какое же это живое созерцание, когда наши ученики из урока в урок слушают одни только объяснительные рассказы учителя!

Почему ответственные товарищи из Министерства просвещения и Академии педагогических наук много говорят обо всем этом, но так мало делают? Где, например, столь необходимые таблицы, схемы, рисунки, картины по новой и новейшей истории, математике, географии, природоведению, русскому и иностранному языкам? Где школьные фильмы и другие наглядные пособия?

Второй этап познания — абстрактное мышление. Но мы меньше всего заботимся о развитии абстрактного мышления у на-

ших учеников, и не только не помогаем им, а даже мешаем ребенку мыслить. Зачем мы требуем от ученика точного, слово в слово, повторения рассказанного учителем или прочитанного в учебнике? Почему мы довольны, когда учащиеся решают задачи или примеры по математике только предложенным нами способом? Почему мы мало учим ребят сравнениям и сопоставлениям, анализу и синтезу? Почему самостоятельные, творческие работы учащихся не стали в школах системой, а на уроках вовсе не поощряются их вопросы: «зачем?» «почему?», «каковы причины?», «а можно ли так?», «в чем разница?».

И, наконец, чтобы окончательно уяснить и закрепить в памяти вновь полученные знания, необходимо выработать автоматизм в применении этих знаний, нужна практика. Нужны многочисленные тренировочные упражнения, лабораторные и контрольные работы, работа над ошибками и т. д. Чем больше тренировочных упражнений, тем прочнее знания — это самоочевидно.

Вот давно известные пути передачи знаний учащимся, идя по которым можно достичь замечательных результатов. Разве эти пути недоступны тысячам учителей? Да, если хотите, недоступны. Учитель скован громоздкой, непродуманной программой, у него просто нет времени на то, чтоб повышать активность и развивать самостоятельность учеников, нет возможности увеличивать количество практических работ, потому что и он сам, и его ученики во власти этих программ, которые то заставляют топтаться по несколько часов на месте, разжевывая маловажные темы и устаревшие, ставшие аксиомами понятия, то нестись галопом при разъяснении важных разделов современных знаний.

Второе направление — это воспитательная работа. В стенах школы все учащиеся должны получить навыки общественной деятельности, массовой работы, навыки руководства общественными организациями или группами учащихся. Но главным образом нужно воспитать в учащихся сознательное, коммунистическое отношение к труду. Как подкашивает жизнь и анализ поведения молодежи в обществе, главное в воспитательной работе — это

именно воспитание коммунистического отношения к труду, любовь к нему.

Сейчас в школе учащиеся занимаются общественно-полезным и производственным трудом — это правильно. Но, на мой взгляд, явно неправильно подчинять этот труд только задаче политехнического обучения, как теперь в большинстве школ это делается. Практика работы школы показала, что учащимся приходится выполнять (особенно в сельском хозяйстве) самые простейшие, не требующие квалификации работы: подсобные работы при уходе за техникой и ремонте техники. Конечно, учитель объясняет ребятам, для чего это делается. Но ведь ребят нужно научить любить труд, нужно, чтоб они испытывали радость от него, от сознания, что они участвуют в общественно-полезном деле. У нас не ведется — а Министерство просвещения и не требует этого — разумно поставленной воспитательной работы, которая объяснила бы детям общественную пользу их производственного труда. Зато в педагогических изданиях то и дело появляются статьи с попытками искусственно связать труд детей только с учебным процессом и доказать, что благодаря этой связи резко повысилась их успеваемость и знания стали по всем предметам более глубокими, наполненными смыслом жизни. А ведь чаще всего дело обстоит вовсе не так.

Я знаю множество примеров, когда у учеников сельских школ, широко участвовавших в общественно-полезном труде, были очень невысокие знания, и по окончании школы большая часть из них поставилась избежать сельскохозяйственного труда потому, что не любила его. Значит, в этих школах трудовое воспитание было поставлено неправильно. А именно оно должно стать стержнем всей воспитательной работы.

Некоторые школы уже приобрели немалый опыт трудового воспитания. В таких школах труд детей — посильный и перспективный — пропитан духом соревнования, организован на основе взаимопомощи при условии, что видна работа каждого члена коллектива. Особенно хорошие результаты для воспитания дает опытнический труд школьников по заданию сельскохозяйственных органов, шефство детей над колхозными фермами, промышленными цехами, детскими садами и тимуровская работа. Большое значение имеет система поощрения

детских коллективов за успехи в труде. Спрашивается, почему этот опыт до сих пор не обобщен и не приобрел силу программы, по которой видно было бы не только что делать, но и как делать?.

Некоторые товарищи могут меня обвинить в излишней привязанности к методическим разработкам и рекомендациям, чуть ли не в педантизме. Ведь появились у нас скептики, которые ставят под сомнение вообще необходимость методических разработок под предлогом, что разработки сковывают инициативу учителя.

Мое мнение на этот счет такое: кому эти разработки и рекомендации не нужны, пусть тот ими и не пользуется. Хорошо рассуждать о всяких «целесообразностях» тем, у кого под руками есть все, что нужно. Руководителям Министерства, Академии, Учпедгиза следовало бы решительно взяться за создание «Библиотечки учителя», где можно было бы найти нужную литературу, таблицы, схемы, репродукции и другие пособия. Пусть в такой «Библиотечке» будет и описание передового опыта учебной и воспитательной работы.

Большое внимание школа должна уделять эстетическому воспитанию. Родителей и нас, работников просвещения, тревожит то, что немалая часть молодежи, вышедшей из стен средней школы, «не признает» симфонической музыки, но охотно кривляется на заграничный манер под душераздирающие звуки импортных джазов. Многих беспокоит, что некоторая часть молодежи после средней школы не понимает красоты и глубокого смысла картин великих художников, но охотно перенимает дурной вкус в одежде и т. д. Многие родители и даже сама молодежь ищут корни этого в школе. Нельзя сказать, что они целиком неправы. Преподавание пения и рисования, которое должно заложить основы эстетического воспитания, поставлено плохо. В большинстве школ эти предметы ведут случайные люди, иногда далекие от искусства. Так как преподавателей музыки и рисования почти никто нигде не готовит, в некоторых, особенно сельских, школах за это берутся учителя «по очереди» для часовой «догрузки». В пединститутах (кроме вновь созданных педфаков) не преподаются ни музыка, ни хореография, ни другие виды искусства. При приеме в педвуз не интересуются, имеет ли будущий воспитатель какие-либо способности или наклон-

ности к пению, музыке, рисованию, танцам и др. И вот молодой педагог приходит в школу и не может ни увлечь детей, ни научить их чему-нибудь во внеурочное время. Нельзя, конечно, научить всех детей игре на музыкальных инструментах, пению, рисованию, но можно и нужно добиться, чтобы выпускники средних школ хорошо разбирались в музыке, в картинах художников, в народных и классических танцах. Этому должны учить не только учителя музыки и рисования, но и учителя литературы, истории, географии и др. Нужно срочно готовить учителей музыки, рисования, хореографии и создать им условия для жизни и работы в селе. Они помогут оживить и работу сельских клубов.

И все же я считаю, что основная цель школьника, его главный труд — это учеба. Воспитать в детях стремление к глубоким и прочным знаниям была и есть одна из важнейших задач педагогики. И тут многое можно и нужно сделать. Потому что в большинстве школ увяло все живое, задорное, интересное, свойственное детскому возрасту и темпераменту. Единственными стимуляторами учебы остаются оценки «5» и «2» и ежемесячные или четвертные классные собрания-«накачки» (на которых почему-то игнорируется детское самоуправление), да вызов отстающих учеников и их родителей на «проработку». А вот если бы разгрузить классных руководителей от учебной работы и обеспечить им ставку учителя с максимальной загрузкой, он бы отдавал больше времени и внимания воспитательной работе с классом, и с него был бы большой спрос.

Наконец, третье направление — это производственное обучение школьников. Политехнизация школы ведется пока не всегда правильно, порой формально, без учета реальных возможностей. Министерство просвещения и Академия педагогических наук во многих случаях пустили перестройку школы на самотек.

Вот что в последние годы происходит, например, в школах нашего сельского района. Да и не только нашего! Перестройку работы многих школ начали с организации производственного обучения учащихся по принципу «кто во что горазд». Практически ею никто не руководил. Все решают

сроки, «спущенные» сверху: положено такой-то школе к такому-то времени стать одиннадцатилетней с производственным обучением — и она будет ею, хотя в школе не появится ничего нового. Например, Красносельская средняя школа в 1961 году была переведена в разряд одиннадцатилетних, хотя в школе скученность учащихся предельная. В две смены там заняты все более или менее пригодные комнаты. Нет ни одного учебного кабинета, не занятого под класс, нет спортивного зала, негде оборудовать кабинет машиноведения. В прошлом году Кожинская семилетняя школа, размещенная в трех аварийных домиках, не имеющая не только спортивного зала, но даже мастерской и учительской, была переведена в разряд восьмилетних школ. Из шести средних школ, расположенных в пределах старых границ Арзамасского района, кабинеты машиноведения оборудованы только в двух школах. Подобных примеров казенного, формального отношения к перестройке можно привести много.

Опыт работы школ за последние годы показал, какие трудности встают при производственном обучении школьников, особенно в небольших городах и в сельской местности. Прежде всего плохо подготовлена производственная база. Создать такую базу при школе трудно, так как это требует больших средств, а предприятия и колхозы не всегда могут предоставить необходимое оборудование, так как у них на это твердых указаний, а тем более ассигнований, нет. Некоторые сельские школы готовят полеводов и животноводов при полном отсутствии механизации. Хороша политехнизация, если тебя учат работать так, как работали далекие предки сотни лет назад. Инструкторами производственного обучения и в школах, и на предприятиях часто бывают случайные, даже малограмотные люди.

Разве при таком положении дела можно выполнять указания партии, которая требует обеспечить «...трудовую и политехническую подготовку в соответствии с возрастающим уровнем развития науки и техники...»?

Некоторым школам приходится одновременно готовить несколько специальностей. Так, постановлением Горьковского облисполкома от 19 июля 1961 года № 470 Балахнинской средней школе № 6 надо го-

товить печатников, наборщиков, токарей, шоферов, слесарей, поваров, продавцов, специалистов картонного производства. Этим же постановлением школе имени Пушкина (г. Арзамас) утверждены специальности: монтеры связи, телеграфисты, машинисты, продавцы. Спрашивается: зачем все это нужно? В речи на XIII съезде ВЛКСМ товарищ Хрущев сказал: «При перестройке работы средней школы, может быть, целесообразно подумать об использовании такой оправдавшей себя формы, как школы фабрично-заводского обучения. До какого-то определенного класса школьники могли бы учиться в средней школе, затем идти в фабрично-заводские училища, чтобы там продолжать свое образование и приобретать трудовые навыки, профессию, которая нужна каждому человеку... Такой порядок обучения и воспитания будет лучше соответствовать демократическим принципам советского общества».

Этот совет открывает весьма и весьма рациональный путь профессионального обучения школьников. Он дает возможность обучаться основам наук и искусств в политехнической школе десять лет. В XI классе осенью, после летних каникул, два месяца ученик готовится под руководством учителей и сдает экзамены на аттестат зрелости. Затем по своему выбору и по направлению школы выпускник в обязательном порядке проходит восемь-девять месяцев обучения одной из промышленных, сельскохозяйственных или других профессий в специальном училище или ученических производственных курсах. Здесь он осваивает профессию и, возвратившись в школу, получает аттестат зрелости. В таких училищах или курсах выпускники школ могут заниматься по семь-восемь часов в день.

Преимущество такого способа обучения: каждый молодой человек получит возможность выбрать профессию по своему желанию, независимо от места жительства.

Можно будет создать образцовые, типовые условия обучения, со всем необходимым оборудованием и инструментарием, сырьем, наглядными пособиями и квалифицированными мастерами-инструкторами.

Наконец, что не менее важно, государство сможет более точно регулировать в соответствии со своими потребностями подготовку работников определенных профессий.

Несколько слов об учительских кадрах. Жизнь подсказывает, что до сих пор неправильно планируется выпуск учителей для школ. Сейчас даже в городских школах не хватает учителей химии, иностранного языка, биологии, географии. О преподавателях музыки (пения) и рисования я уже говорил. Несколько лет назад в массовом порядке закрывались педучилища, а теперь из-за острой нехватки учителей начальных классов срочно открываются десятимесячные курсы по подготовке учителей из молодежи, окончившей средние школы. Это плохой выход из положения. И еще. Я не знаю, может быть, это только в нашем районе, но за послевоенные годы местные органы власти не строят домов и квартир для учителей в деревне. Многие учителя вынуждены ездить пятнадцать—двадцать километров на квартиру в город. И вовсе не потому, что им не хочется расставаться с городом, а потому, что у них нет квартир

с минимальными для работы удобствами. Чего можно ожидать от учителя или директора школы, если он с утра мечтает о попутной машине или спешит попасть на рейсовый автобус? Из-за неудовлетворительных бытовых условий в некоторых сельских районах происходит непомерная текучесть учительских кадров. Надо безотлагательно принять меры и создать нормальные условия для жизни и труда учителей на селе. Это окупится сторицей.

Мы, советские учителя, горды тем, что нам доверено воспитание человека коммунистического завтра. Что может быть выше этого доверия! Многое в нашей работе нас не удовлетворяет, волнует, многое мешает. Вот об этом я счел необходимым рассказать.

Б. Голованов,

директор средней школы № 6,

*с. Выездново Арзамасского района,
Горьковской области.*

УЧИТЬ ЧУВСТВОВАТЬ И ДУМАТЬ

Мне хорошо запомнился тот день, когда я впервые по-настоящему задумалась об эстетическом воспитании школьников непосредственно на уроках литературы. Это было несколько лет назад, перед началом учебного года. Я возвращалась домой после консультации с группой своих восьмиклассников. Осень в тот год стояла удивительная: теплая, сухая, солнечная.

— Как красиво падают листья,— сказала вдруг, обращаясь ко всем, худенькая девушка с косичками.

— Падают — и все!

— А что здесь особенного?

— Нет! Вы только обратите внимание, какие краски!

— Чудная ты, Лида, всегда видишь что-то особенное,— заметил крепыш в клетчатой рубашке.

Особенное? И тут передо мной встал вопрос: почему эти юноши и девушки не чувствовали, не видели окружающей их красоты?

А Лида Кондрашова между тем читала:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ребята замолкли, внимательно вслушиваясь в стихи, и я подумала: «Нет, еще ничего не потеряно. Надо разбудить у них интерес к прекрасному, к миру поэзии, музыки, живописи. Но как?»

Начался учебный год. В классе проходили «Слово о полку Игореве». На одном из уроков я спросила, что знают ребята об опере «Князь Игорь». Кто может рассказать о Бородине как композиторе? Но разговора не получилось. Два-три несвязных ответа — и в классе воцарилась неловкая тишина.

— А какое отношение это имеет к литературе? — раздался звонкий голос Иванова.

Я было растерялась: неужели ум и чувства этих уже почти взрослых людей глухи к выразительным средствам искусства? И все же я принесла на следующий урок пластинку с арией князя Игоря и предложила, прежде чем начать разбор «Слова», внимательно прослушать музыку, особенно вступление.

Раздались медленные аккорды в низком регистре. Вглядываюсь в лица: неужели и сейчас они останутся равнодушными, не-

уже ли ребята не вдумаются в смысл, не почувствуют этого тревожного вступления?

Класс притих. Когда музыка кончилась, секунду-другую еще длилось молчание. И вдруг прорвало. Говорили о тревожном настроении князя Игоря, о его тоске по родине, по Ярославне, об основной мысли арии, заключенной в словах «О, дайте, дайте мне свободу...», о том, как глубоко и тонко передан в музыке образ князя.

— Вот никогда не предполагал, что и в музыке есть художественные образы,— сказал Иванов.

А Лариса Тюленева пожаловалась:

— Ничего не могу объяснить, могу только сказать, понравилось или нет.

Ребята удивлены: для них было открытием, что музыка, как и литература, тоже отражает жизнь в образах, что мир человеческих чувств и мыслей находит в ней волнующее воплощение. Научить Ларису и каждого из сорока своих воспитанников замечать и понимать прекрасное в окружающем их мире и в произведениях литературы, живописи, музыки стало одной из моих главных задач.

Так проходили уроки, и на каждом, в меру моих возможностей, я раскрывала перед учениками что-то для них новое из мира прекрасного. И когда мы начали изучать лирику Пушкина, то уже сами учени-

ки принесли на урок пластинки с пьесами Чайковского из цикла «Времена года» и репродукции картин Левитана «Золотая осень», Дубовского «Зима», Похитонова «Зима». Уроки проходили в непринужденных беседах и спорах.

Как-то Володя Владимиров спросил меня (это было уже в девятом классе):

— Вот Чернышевский говорит: «Пре-красное есть жизнь». А разве можно считать прекрасным слепого хозяина в картине Максимова «Слепой хозяин», или бурлаков у Репина, или «Владимирку» Левитана?

Значит, им еще не ясно, что такое прекрасное в искусстве. По программе нам предстояло проходить Тургенева. Он — вместе с художниками-передвижниками — помог нам разобраться в том, чего еще не понимал не только Володя.

Только прочувствованное и продуманное принималось всей душой, становилось убеждением. Ученики думали, может быть, еще не всегда правильно, но они думали, думали серьезно и самостоятельно и умели выразить свои мысли. Это показали сочинения, написанные на выбранные каждым из них темы, и притом без предварительной работы над темой в классе.

О. Иванова.

Ленинград.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ — НОВЫЕ ФОРМЫ

Мне приходилось работать и в школе рабочей молодежи, и в обычной средней школе — в старших и младших классах. Я часто задумываюсь: всегда ли мы критически осмысливаем нынешнюю организацию, формы и методы обучения? Тесной, мне кажется, стала для нашей школы «классическая» система классных уроков с ее одинаковостью форм изучения самых разных дисциплин, с пестрящей многопредметностью в каждодневной подготовке ученика, с чрезмерной раздробленностью изучаемого материала, с ее неоправдываемой затратой времени, с ее непрерывной погоней за отметками. Ведь школа должна прежде всего воспитывать в каждом ребенке необходимые советскому человеку гражданские качества: коммунистическое мировоззрение, гуманизм, пролетарский интернационализм,

желание и готовность выполнить свой долг перед родиной. Она должна подготовить каждого своего ученика к выполнению общественного долга, вооружить его необходимыми знаниями, умениями и навыками, должна помочь каждому своему питомцу найти место в обществе.

Задача сложная. Чтобы успешнее решить ее, необходимо, мне кажется, не только устранить чрезмерную перегрузку школьников, столь вредно сказывающуюся на их здоровье, но и перейти к более гибким формам преподавания и воспитания.

Формализм требований, предъявляемых ученикам, еще далеко не изжит. Бесцельное заучивание мало или вовсе не нужных фактов не только бесполезно, но и, если учесть огромную потерю драгоценного времени, вредно. Е понятие «знание» нередко

вкладывается неверный смысл. Есть знания, убеждения, умения и навыки, которые помогают людям жить, творить, двигаться вперед, а есть и такие, что лежат мертвым грузом. Нынешние школьные программы в немалой степени как раз и загромождены таким мертвым грузом. Школа должна готовить не «ходячие энциклопедии». Она должна научить человека умению учиться. Подлинно образованный человек — это тот, кто постоянно стремится к узнаванию и осмысливанию нового.

Серьезный недостаток нынешней организации обучения — это игнорирование специфических особенностей различных предметов. Каждой области знаний должна соответствовать, и притом наилучшим образом, определенная форма обучения. Например, гуманитарным дисциплинам — основам политических знаний, истории, литературе, — мне кажется, больше бы отвечал правильно поставленный лекционно-семинарский метод обучения. Традиционные уроки по этим предметам в старших классах средней школы (особенно в школе рабочей молодежи) целесообразнее было бы заменить циклом ярко прочитанных лекций и живых, интересных собеседований, будящих мысль учащихся, затрагивающих их чувства. Это даст возможность разумнее использовать время учителей и время учащихся. Хорошая лекция, акцентируя внимание на главном, существенном, оставляет целостное впечатление у каждого из присутствующих, и нет надобности скрупулезно допрашивать затем учащихся о деталях, связанных с темой лекций. Если лекция разбудила мысль учащихся, подействовала в нужном направлении на их чувства, то она достигла и своей образовательной и воспитательной цели. К тому же лекции можно читать одновременно всем параллельным классам, и это экономит народные средства.

Семинарские занятия должны, мне кажется, носить характер направляемого учителем живого собеседования. Учитель ставит перед учащимися проблемы, волнующие их, и они естественно и непринужденно вовлекаются в обсуждение. Учитель отмечает правильные мысли, развивает их, указывает на ошибочные суждения, тактично разбирает и доказательно опровергает их. Такое собеседование вызывает активность учащихся, развивает их мышление и навыки работы над книгой. Тогда отпадает

сама собой бессмысленная погоня за отметками, приводящая к формализму в оценке знаний наших учеников и работы учителя.

Итак, лекционно-семинарский метод изучения гуманитарных наук сэкономит много времени, сосредоточит внимание на самом существенном, откроет возможности для развития мышления учащихся и более активного формирования их коммунистического мировоззрения. Этот метод позволит отвести высвобожденное время для курса основ политэкономии или основ коммунистической морали, а возможно, и основ марксистской философии. Разве разумно отводить на изучение географии целых пять лет и так мало времени уделять изучению основ политэкономии? А ведь именно изучение политэкономии наглядно раскрывает сущность капитализма и социализма и способствует формированию коммунистического мировоззрения. Не умаляя значения географии, можно сделать курс ее более сжатым. Изучение основ политэкономии в старших классах средней школы просто необходимо потому, что знакомство с этой наукой не менее полезно рабочему, чем врачу или музыканту, которые изучают этот предмет в вузе. В часы внеклассной работы я не раз устраивал беседы на темы политэкономии для учеников 5 класса школы рабочей молодежи и встречал живой интерес к ним своих учеников.

Важное значение для воспитания человека коммунистического общества имело бы изучение правил социалистического общежития. Его, разумеется, в соответствующей форме можно вести, начиная с первого класса. Конечно, и сейчас многие классные руководители ведут беседы, устраивают специальные вечера на подобные темы, но все это делается бессистемно: один проводит беседу о дружбе и товариществе, другой — о культуре поведения, третий — о подвиге и героизме. А привести в определенную систему это не менее важно, чем курс истории, литературы или биологии. Преподавание этого предмета должно предполагать и целенаправленный рассказ учителя, и активные собеседования-диспуты о поступках людей и самих учащихся.

По предметам политехнического цикла также следовало бы сочетать общие лекции, практические занятия, самостоятельные работы и консультации. Здесь, конечно, необходимо продумать систему зачетов. Преподавание гуманитарных дис-

циплин по-новому позволило бы высвободить время для более глубокого овладения предметами политехнического цикла. Но и для лучшего усвоения знаний этого цикла необходимо пересмотреть изучаемые в школе темы. Взять, например, математику. Надо привести в соответствие с требованиями жизни программы. Для их разработки следовало бы привлекать инженерно-технических работников и целесообразность таких программ делать ясной, убедительной каждому учителю.

Что же касается разделов математики, развивающих логическое мышление, то здесь важно не столько количество изучаемых тем, сколько качество их изучения.

При такой перестройке обучения изменился бы характер домашних заданий. При нынешней перегрузке учащихся они ведут к подрыву их здоровья и, что еще серьезнее, к неверию в свои силы. Нельзя подрывать у учащихся веру в себя, но нельзя и создавать у учащихся обманчивое впечатление, что в жизни, в практике не при-

ходится встречаться с трудностями. Надо учить преодолевать эти трудности. Очень полезны задачи, в которых трудно найти решение. Если даже ученик не решит такую задачу, но поломает над ней голову, а затем узнает решение, то затраченное время не пропадет даром: ученик лучше запомнит ее решение и проявит больше упорства при решении следующих задач. Что же касается перегрузки, то можно задавать меньше однотипных упражнений, сократить количество обязательных для запоминаний подробностей. По гуманитарным предметам нужно так строить домашнее задание, чтобы не загружать учащихся механическим заучиванием, но приучать их выделять главное и делать самостоятельные выводы. Домашняя работа непременно должна заключать в себе элементы самостоятельности, исследования, творчества.

А. Кельман,

преподаватель школы рабочей молодежи.

г. Биробиджан.

В ПЛЕНУ ЛОЖНОЙ ПОЗИЦИИ

Хотя формализм и процентомания в школьном деле уже давно осуждены, они, к сожалению, продолжают существовать, потому что до сих пор процесс учебно-воспитательный почему-то ассоциируется, а порой и отождествляется с процессом производственным. Но ведь ребенок — не кусок металла, и в педагогическом процессе участвуют две активно взаимодействующие стороны — учитель и ученик. Материал, поступивший в обработку, — живой, он сопротивляется, и, чтобы на него воздействовать, надо учитывать его характер, возраст, даже настроение. А это в процессе обучения влияет и на педагогические приемы, и на самого учителя. Сейчас мы, педагоги, начинаем осознавать одну из своих серьезных ошибок: мы мало думаем об индивидуальных особенностях наших учеников, о том, что имеем дело не с детьми вообще, а с подрастающим поколением нашей эпохи.

Чтобы сделать педагогический процесс более совершенным, надо привести в соответствие все стороны многообразного воздействия общества на ребенка. В наш век, век радио, кино, телевидения да еще в на-

шей стране — стране коллективизма и плановости — изменилось соотношение между воспитательным воздействием на ребенка общества и учебно-воспитательных учреждений. Теперь даже нельзя сказать «неорганизованное воздействие общества», потому что оно в нашей стране целенаправленно; нельзя сказать, что это только «воспитательное воздействие», потому что радио, кино, телевидение, популярная книга не только воспитывают, но и учат детей, как и школа, хотя мы еще не учли меру этого обучения, чтобы скорректировать наши школьные программы и приемы.

Между тем вопрос, как нам, учителям, двигаться к великой цели, намеченной Программой партии, решается подчас вслепую, чисто практически, в порядке копирования передового опыта, тогда как решающая роль и здесь должна быть отведена теории.

Распространенное копирование передового опыта в школьном деле приводит к самым неожиданным результатам. Я наблюдал, как учительница довольно спокойного, если не сказать флегматичного, характера пыталась давать уроки по новому, скоропалительному, как его окрестили

ученики, методу. Такой темп урока никак не вязался с ее характером, и неизбежно получалось плохо. Ведь в классе всегда найдутся ученики с замедленным восприятием — и таких немало, — и учитель обязан терпеливо выслушивать их, не торопя, не перебивая. Должен он учитывать эту их особенность и при разъяснении нового материала.

А ведь у нас передовой опыт учителей внедряется, можно сказать, принудительно. И при этом обычно вспоминают слова Ленина, который предлагал даже с помощью принуждения внедрять... на производстве передовой опыт. Однако в высказываниях Ленина, Крупской, Луначарского и других видных деятелей просвещения мы не встретим совета принудительно внедрять передовые педагогические методы. Пропаганда передового учительского опыта необходима, и должна проходить она в форме обсуждения, через печать. Применять или не применять тот или иной метод — должно решать не горно или облоно, а каждый учитель самостоятельно. Тогда он возьмет на вооружение только то, что по его силам и возможностям.

Пропаганда передовых методов при помощи так называемых открытых уроков имеет и другие негативные стороны. Они не только изматывают учителя, но и отрицательно влияют на воспитание учащихся. Всякий открытый урок несет в себе что-то показное, фальшивое. Положа руку на сердце это должен признать каждый учитель из собственного опыта.

Мы говорим, что школа воспитывает и обучает. Но как только вопрос ставится в плоскость организационную, административную, все сводится к тому, чтобы не было двоек и второгодничества, чтобы была стопроцентная успеваемость. Да и эффективность всех методов, в том числе и самых передовых, тоже измеряется этим.

Сейчас все силы школы устремлены в сторону обучения. А не пора ли повернуть ветрила и твердо сказать себе, что воспитание — это тоже главная задача, и, может быть, в данный момент самая главная. Легче всего оценивать работу учителя вообще, по оценкам за знания, по принципу: раз хорошо учил — значит, хорошо и воспитывал. На самом деле это не так. Учитель часто встает перед необходимостью решить очень сложный и ответственный

вопрос о судьбе Иванова, Петрова, уделяя чуть-чуть больше внимания его успеваемости. И это «чуть-чуть», как и в искусстве, решает все. Учитель знает, что Иванов — бездельник, лентяй, что Петров — лживый мальчик, очень ловко списывает работы у товарищей. Знает, что у обоих ребят нет настоящих знаний в силу этих причин, но все-таки он не желает их наказать оценкой, потому что не может допустить второгодничества — за это его самого бьют, и больно. Ведь по сей день почти все заседания педагогических советов в школах посвящены преимущественно копанию в оценках. А за то, что Петров, Иванов воспитываются на лжи и лени и могут стать в жизни тунеядцами или правонарушителями — за это учителя не накажут.

Да что говорить — и сами-то вопросы обучения упираются в нравственные причины. Почему дети не успевают? Чаше в силу тех же причин: лени, лжи, дурных наклонностей и увлечений. Если в школе низкая успеваемость, ищи причину в воспитательной работе. Но сложность всей этой проблемы в том, что процесс формирования нравственных качеств гораздо сложнее и длительнее в отличие от обучения. Можно школьника научить чему-то за один урок, за месяц. Но нельзя, например, сделать человека честным за одну неделю или за год. Ошибки в воспитании сказываются чаще всего через много лет, когда, собственно, учитель перестает быть ответственным лицом. Теперь психологическая наука утверждает, что закладка самых глубоких нравственных качеств, часто определяющих судьбу человека, происходит в детстве. Тем более почетна роль педагогической науки, которая может направлять и координировать воспитательное воздействие общества на детей, предъявлять учителю посильные требования, возлагая за это определенную меру ответственности, но не делая его козлом отпущения.

Учитель должен ясно представлять, как его слова-зерна взойдут через месяц, год, а может быть, и позже. Мы часто миримся с подсказками, шпаргалками, потому что для некоторых детей обучение бывает непосильно, и приносим в жертву более важное — совесть человека. Наш святой долг оберегать детей, добиваться, чтобы обучение было посильным для них, и не жертвовать воспитанием во имя обучения, не толкать детей ко лжи.

При оценке знаний следовало бы проявлять побольше гибкости. Часть детей не в силах овладеть той или иной дисциплиной по общим нормативам то ли из-за отсутствия чувства языка или из-за слабых математических способностей. Но пока мы таких детей жестоко наказываем нравственно, оставляя на второй год: приостанавливаем развитие, бросаем в объятия улицы, подрываем веру в себя и т. д. И все из-за двух-трех «сверхнормативных» ошибок или нерешенной задачи. Назрела необходимость предоставить педсоветам право в исключительных случаях переводить по ходатай-

ству учителя таких учеников в старшие классы.

В школьном деле не применим контроль единицей продукции. Секрет нашей профессии не в том, что учитель не имеет двоек, а в том, все ли он отдал, что может отдать. Добросовестный он человек или нет. Умеет ли он воспитывать уча или нет. Учитель — в первую очередь воспитатель. В школьном деле воистину все начинается с человека, все в человеке, все для человека.

Б. Петелин,
учитель.

г. Липецк.

ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ ГАРМОНИЧЕСКИ

Политехнизация нашей школы приближает ее к жизни, дает учащимся необходимый минимум технических знаний и умение обращаться с машинами. Но, выйдя в жизнь, им придется работать и сталкиваться не только с машинами: техника существует и действует не в пустоте, а в определенной географической среде, она на нее влияет. Нынешнему молодому поколению — строителям и членам коммунистического общества — придется вплотную заняться перестройкой географии нашей страны, перестраивать природу в соответствии с потребностями человека. Но для того, чтобы перестраивать природу, надо не только знать ее законы, но и любить ее — ведь ни одно дело, если оно делается без любви, не может быть плодотворным!

В нашем социалистическом обществе, казалось бы, не должно быть тех страшных разрушений природы, которые неизбежны при капитализме. И тем не менее они у нас еще есть. Материалы Третьего съезда географов полны тревожных данных о загрязнении воздуха и вод, уничтожении рыбы.

Конечно, со всем этим ведется борьба: с нарушителей взыскивают, их наказывают, населению разъясняют... Но куда больше пользы даст другое: с детства, с начатками грамоты учить детей любить и беречь окружающую их природу.

Хорошо, что в последние годы от детей требуют не только отвечать урок по ботанике, но уметь выращивать растения, работать на пришкольном участке. Однако дело ведь не только в практическом знании при-

емов сельского хозяйства, а в понимании ответственности за окружающую природу, в любви к ней. Этому научить трудно. Если с детства человек не понял этого, не разжиг в себе это чувство, он может так и остаться на всю жизнь разрушителем, даже не сознавая, какой страшный вред он наносит.

Мы с детства внушаем детям любовь к родине. Но любовь эта не может быть отвлеченной. Ее питают не возвышенные слова, — она складывается и из впечатлений детства, связи с родной природой, чувства радости, красоты, кровного родства с окружающим миром. Осознанию этого чувства следует научить ребенка. Показать ему жизнь реки, леса, луга и то, как их дыхание входит в город, как украшают его деревья, цветы.

«Здоровье детской души очень много зависит от разумного общения детей с животными и растениями. Очень много значит, что дети сами им помогают жить и расти», — писал М. М. Пришвин.

Творчество наших великих писателей пронизано чувством любви к природе, сочувствия и бережного отношения к животным. Этим чувством пронизана и наша детская литература. Но в сознании школьника книги и жизнь часто сталкиваются в противоречии. Книги учат чувствовать и любить природу, а в жизни ребенок часто встречает равнодушные к ней. Книжки говорят о дружбе, понимании животных, а встречаются родители, которые поручают детям убить собаку или кошку, ставших им в тягость. Выбросить когтя. В лучшем случае на жестокость

к животным не обращают внимания. Зато над любовью ребенка к ним иногда подсмеиваются, и он начинает ее стыдиться.

Уже много писалось и можно еще много написать о том, как разрушаются зеленые насаждения, как на глазах детей производится жестокий отстрел собак, уничтожение кошек, голубей. Уничтожать беспризорных животных бывает необходимо, но сжигать живых кошек в топке кочегарки да еще на глазах у детей — недопустимо. А это имело, например, место в школе-интернате под Ленинградом: кочегар бросал в топку живых кошек — от него требовали, чтоб на территории интерната не было беспризорных животных. Дети бросились искать защиты. Но директор не увидел в действиях кочегара ничего особенного и не задумался, как это отразится на сознании детей.

Случаи мучительства животных не еди-

ничны и обычно служат началом к преступлению против людей.

Чтобы развить у ребенка душевное здоровье, то есть умение быть справедливым, чутким, добрым, мужественным — ведь эти качества просто обязательны для человека, принадлежащего к коммунистическому обществу, — надо направлять его внимание на сочувствие и заботу о тех, кто слабее его.

Воспитательные работы в классе и вне его, книга, кино, театр должны быть едины в своей направленности, их цель — развивать в подрастающем поколении благородные человеческие чувства и качества, умение видеть и любить многообразный мир его прекрасной социалистической родины.

Н. Гаген-Торн.

Ленинград.

ТОЛЬКО ЛИ ШКОЛА ВИНОВАТА?

В связи с поднятым на страницах «Нового мира» разговором о школе хочется поделиться некоторыми мыслями. Прежде всего о грамотности школьников. Известно, что даже для вполне успевающих учеников правописание слишком часто служит камнем преткновения. И немало людей с аттестатом зрелости пишут с ошибками. Только ли школа в этом виновата?

Правописание русского языка постепенно совершенствуется и упрощается. Мы давно уже отказались от многих архаических знаков и правил орфографии, затруднявших овладение грамотой. Но еще далеко не все «орфографические рогатки» устранены. Русский язык стал ныне языком мирным, его изучают во многих странах, и надо дать возможность не только нашему подрастающему поколению, но и иностранцам овладеть русской грамотой с возможно меньшей затратой времени и сил, устраняя правила, излишне осложняющие наше и без того сложное правописание.

Взять хотя бы для примера применение двух рядом стоящих одинаковых согласных букв. В предложении «Мы видели раненого солдата» слово «раненого» пишется через одно «н», а в фразе «Мы видели раненого в бою солдата» это слово пишется через два «н». Специалисты объяснят, что в первой фразе слово «раненого» — прилагательное,

а поэтому ему достаточно одного «н», а во втором предложении «раненого» — причастие, а поэтому его необходимо писать через два «н». Так говорят ученые-лингвисты. Но ведь для простых смертных это самая настоящая схоластика!

Другой пример. Только у очень хороших дикторов и премированных чтецов в слове «программа» слышится два «м». А большинство людей произносит это слово так, что слышно только одно «м». Никакого вреда не будет, если и дикторы, и известные чтецы будут произносить слово «программа», как и все прочие люди, и можно будет писать это и аналогичные слова без удвоения одинаковых букв. То же самое со словами: «коэффициент», «аппетит», «сессия» и др.

Немало специалистов будет оспаривать наши предложения. Но ведь, отказавшись от буквы «ять», двух «и» и прочего, мы ничем не ухудшили русскую грамоту, а упрощение ввели значительное. И дальнейшие разумные упрощения нашего сложного правописания, несомненно, пойдут на пользу русскому языку. Пора создать учебник русского языка, исключив из него все бесполезные, а порой и просто вредные правила.

Теперь уже нет необходимости доказывать, что обучение должно отвечать нуждам жизни, что школьник должен получить та-

кие знания, которые он мог бы применить в труде. И в программах средней школы, утвержденных Министерством просвещения РСФСР, сказано: «Целью преподавания математики является... применение сведений из математики при решении различных практических задач» (стр. 5). На странице 7 читаем: «Следует избегать громоздких и сложных преобразований и задач...» «Следует воздержаться от увлечения решением искусственных и громоздких тригонометрических уравнений» (стр. 24). Но когда брешь в руки задачки, то кажется, что авторы специально задались целью составить их наперекор всем этим требованиям.

И ведь так обстоит не только с матема-

тикой, но и с другими предметами. Учитель химии заставляет зазубривать валентность и атомные веса элементов. Эпи цифры, конечно, тут же забудутся. Было бы куда полезнее научить школьников находить по справочникам все нужные ему сведения. Это будет полезным на всю жизнь.

Если упростить и умело составить программы и учебники, школу можно было бы окончить за восемь-девять лет, и при этом школьник получил бы знания на уровне современной науки. Такие знания пригодятся ему на практике и сделают его подлинно культурным человеком.

Профессор М. Штармин.

Москва.

ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, КАК УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

В своей, в общем, правильной статье В Семенихин пытается, однако, доказать, что в учебном процессе нельзя рассчитывать на память учащихся, что в основу обучения должен быть положен принцип «учи, не заучивая». Верно ли это?

То, что память играет очень важную роль в психическом развитии и деятельности человека — бесспорно. Ведь именно она — главная предпосылка приобретения знаний и умений, глазное условие обогащения опытом.

Безусловно, деги овладевают многими знаниями без специальных усилий, в порядке, как говорят психологи, непреднамеренного запоминания. И такое запоминание весьма эффективно и прочно. Однако есть обширный круг знаний, который требует преднамеренной памяти, значительных усилий и активности учащихся. И это не только таблица умножения, как думает В. Семенихин, но и большое количество сведений и данных по математике, биологии, физике, химии, развивающимся в последние годы. Как может ученик усвоить не уча, в порядке занимательной деятельности алгебраические зависимости, тригонометрические функции, пользование логарифмическими таблицами, физические законы и учение об атомах и электронах, формулы неорганических и органических соединений, строение клетки, строение и функций нерв-

ной системы, органов чувств и т. д. и т. д.? А ведь все это и многое другое составляет основы современных научных знаний, которыми должен владеть каждый образованный человек.

Преднамеренное запоминание неизбежно должно занимать в учебе определенное и даже значительное место. Конечно, оно не должно быть бессмысленным, то есть зубрежкой. Автор статьи отождествляет запоминание и зубрежку. С этим нельзя согласиться. Зубрежка — это запоминание, лишённое всяких элементов осмысления. Любое проявление зубрежки должно быть безусловно изгнано из школы.

Все, что учащийся заучивает, он в конечном итоге забывает, считает В. Семенихин. Это неверно. Очень многое из заученного мы помним в течение долгого времени, иногда всю жизнь. Живым доказательством этого служит сам В. Семенихин. Но даже и то, что со временем мы забываем, если только оно не лишено познавательного значения, все же оставляет в нас свой след, сказывается на нашем общем развитии.

Нельзя освободить школьников от необходимости учить и запоминать еще и потому, что по окончании начальной и средней школы они с этой необходимостью, да еще в гораздо более сложном виде, столкнутся и в своей профессиональной деятельности, и в высшем учебном заведении. Поэтому

школа, ставящая своей задачей всестороннее развитие личности учеников, не может не заботиться о совершенствовании их памяти. Тем более что память можно развивать, улучшать — это один из наиболее упражняемых процессов, по выражению психологов.

В. Семенihin совершенно прав, настаивая на предоставлении учащимся возможности пользоваться справочниками, орфографическими словарями — всегда, даже на контрольных работах и экзаменах, — как это делает каждый человек, даже самый большой специалист в той или иной области. Ведь что сейчас получается? Письменные работы в школе исполнены часто формализма и очень далеки от жизни. Я знаю учителей, которые, чтобы проверить знание того или иного правила правописания, умудряются диктовать детям не связанные между собою слова, фразы, лишённые всякого смысла. А оцениваются диктанты в зависимости от количества допущенных ошибок, независимо от характера этих ошибок и степени их серьезности. Существует «такса», утверждённая Министерством просвещения. По этой «таксе» учитель выставляет баллы, руководствуясь только количеством ошибок. Самостоятельные, творческие письменные работы учеников по родному языку, да и по другим предметам очень редки. Но и в этих редких случаях учащийся старается писать поменьше, чтобы сделать меньше ошибок. И он по-своему прав. Ведь как получается: ученик пишет десятистрочное, примитивное по содержанию сочинение, но не делает ни одной ошибки и за это получает оценку «4». Другой ученик, написавший пять страниц содержательного текста с четырьмя орфографическими ошибками, получает двойку.

Я не против безукоризненной грамотности, наоборот, очень высоко ставлю людей, которые в совершенстве владеют ею. Но надо, чтобы, работая над сочинением, ученик думал о том, что он напишет, а не мучился над тем, как написать слово, где поставить запятую. Я за то, чтобы учащиеся получили возможность пользоваться орфографическим словарем.

Основной недостаток организации педагогического процесса в школе — невероятная перегрузка детей. У одесских школьников седьмых-восьмых классов школьный день длится, как правило, шесть-семь часов, в то время как в высших учебных заведениях мы добились разгрузки студентов, установив предел учебной работы — шесть часов. Нужно положить конец вредной перегрузке детей и установить для них как максимум пять уроков в день.

В. Семенihin совершенно прав, выступая против нынешней практики домашних заданий. Однако совсем отказаться от домашних заданий, как он предлагает, на наш взгляд, было бы неверно: они способствуют закреплению учебного материала, дисциплинируют детей, приучают их к самостоятельному труду, к систематическому исполнению школьных обязанностей.

Но сейчас старшеклассники на приготовление домашних заданий тратят ежедневно пять-шесть часов. Дети лишены возможности читать, посещать театр, отдыхать. Необходимо установить нормы домашних заданий для учащихся различных классов. Пределом должны быть два — два с половиной часа в день. Учителя обязаны согласовывать друг с другом домашние задания своим ученикам.

Профессор Д. Элькин.

Одесса.

ОБУЧАТЬ ПО-НОВОМУ

Мы утверждаем, что человек будущего должен быть всесторонне развитым и гармонически сочетать в себе широкие знания с умением делать многое. Но существующая система обучения, лишаящая школьников свободного времени, сковывает их развитие рамками школьной программы. У детей не хватает времени для общественной — комсомольской и пионерской ра-

боты, для занятий в интересующих их кружках, для спорта.

Утомленные ребята часто смотрят на общественные поручения как на обузу. Не поэтому ли общественная работа во многих школах превращается в формальность, часто выполняемую под нажимом классного руководителя и только для того, чтобы была поставлена «галочка» о выполненном

«мероприятии»? А задумывается ли кто над тем, какова морально-этическая сторона этого? В тех же случаях, когда ребята отдаются общественной работе сознательно, не считаясь со временем, они должны наверстывать отданное время, допоздна засиживаясь над домашними заданиями.

Школьники — народ, который нет нужды убеждать в необходимости заниматься спортом. Их не оторвать от лыж, коньков, теннисной ракетки. И опять это «но»: при существующей нагрузке они лишены возможности не только регулярно заниматься спортом, а и просто прогуляться на свежем воздухе. Маршрут дом — школа — дом — вот часто и вся прогулка. Достаточно ли этого для нормального физического развития?

Но есть еще и другая сторона. Ведь чрезмерная загруженность учеников классными и домашними занятиями невольно вынуждает ребят относиться к своему труду как к обременительной обязанности. Об органической потребности в занятиях, о душевной удовлетворенности ими часто и речи нет. А ведь за отношением школьников к своим занятиям кроется их будущее отношение к труду на заводе, в колхозе, в совхозе. И это вопрос не только физического, но и духовного воспитания нашего молодого поколения.

Чем оправдывается непомерная нагрузка детей? Может быть, естественной способностью человека легко запоминать в детском возрасте? Но каждый, имеющий детей, подтвердит, что такой труд утомляет и изнуряет ребят, делая их к вечеру вялыми, нервными, неработоспособными. А это, конечно, огнюдь не способствует развитию запоминаемости. Напротив, зубрежка в таких условиях ведет к ослаблению способности детей к запоминанию.

Знания, добытые в такой трудной зубрежке, очень легко выветриваются.

Почему же так цепко держатся в нашей школе ничем не оправданные, неразумные методы обучения? Дело, видимо, просто в привычке, в нашем нежелании расставаться со старым, привычным.

Предложения В. Семенихина о максимальной разгрузке школьников и избавлении их от зубрежки очень полезны и правильны.

Не менее важны вопросы, поднятые Л. Айзерманом и С. Владимировым.

Из разговора со многими учениками из разных классов и разных школ мне ясно, что родная литература считается у нынешних школьников одним из самых неинтересных предметов. Но почему же тридцать лет назад я, как и все мои соученики, считали литературу самым интересным, а потому и любимым предметом? Кто научил нас любить литературу? Это сделал наш старый, светлой памяти учитель Петр Михайлович Котляр. Жаль, что я не могу с такой же определенностью ответить на второй вопрос: как он этого добился? Но думаю, что он прежде всего глубоко знал, понимал и любил родную литературу. Он горячо любил свой предмет, любил нас, и это делало его волшебником, потому что с каждого его урока мы уходили со все усиливающейся жадью чтения, которая, по правде сказать, не утолена по сей день.

А как же дети наших дней? Мы обязаны подготовить их к самостоятельной жизни таким образом, чтобы они прошли ее с книгой, чтобы книга была их помощником в труде и другом, чтобы они черпали в ней светлые мысли и чувства. Но можно ли рассчитывать на то, что школьное преподавание литературы в его нынешнем виде подготовит их к этому?!

Все, о чем говорит в своей статье С. Владимиров, тоже чрезвычайно важно, и обойти это молчанием просто невозможно. Он совершенно прав, утверждая, что между учебником по физике и жизнью налицо большой невосполненный разрыв, и разрыв этот все увеличивается и увеличивается.

Значит, люди, готовящиеся в качестве будущих хозяев жизни к моменту завершения ими среднего образования, то есть к моменту готовности начать самостоятельную жизнь, будут все больше и больше отдаляться от запросов и требований жизни. И выходит, что наведение моста между школой и жизнью, который не был построен ни семьей, ни школой, ни многочисленными организациями, ведающими обучением детей, возлагается на самого вчерашнего школьника. А ведь таким мостом мог бы быть отвечающий уровню современных знаний учебник.

Более того, такой учебник крайне нужен и людям, получившим образование давно. И уж если зашла речь об одной из статей академика А. И. Алиханова (о ней

говорит С. Владимиров), то должен сказать, что, встретив ее на газетной странице, я понял, что она рассчитана на массового читателя со средней подготовкой. Пробежав статью, я нашел в ней много для себя непонятного. И тогда обратился к учебнику физики — ведь когда я изучал физику в школе, а затем в вузе, многого из того, без чего чемыслима современная физика, и в помине не было. Моему изумлению не было границ, когда я увидел, что в основе своей учебник остался на том

же уровне знаний, который известен был мне десятки лет назад.

Хорошо еще, если с другими учебниками дело обстоит не так, как с учебником по физике. Но, боюсь, что и там во многих случаях не лучше. И тут, видимо, полумерами — не меняя коренным образом программы — не обойтись. Жизнь требует новой, научно обоснованной системы обучения.

Ал. Корчагин, доцент.

г. Монино Московской обл.

* * *

Кроме напечатанных выше читательских статей и откликов, редакция получила еще десятки писем буквально со всех концов страны. Большая часть авторов полностью разделяет точку зрения товарищей Семенихина, Айзермана и Владимирова на необходимость серьезной перестройки школьного обучения.

«Наш педагогический коллектив, — пишут педагоги Новопетровской школы-интерната из Снигиревского района Николаевской области УССР, — обсудил Вашу статью и солидарен с Вами в том, что надо учить и учиться разумно.

Но как учить и учиться по-новому? Как добиться прочных знаний и навыков у ребят? Как облегчить их обучение?

К сожалению, на эти и другие вопросы нет еще ответа.

Наша школа-интернат образовалась год назад. На своем пути мы встречаем очень много трудностей, которые в письме не опишешь. На втором (1962/63) учебном году своей работы мы решили ввести у себя новую систему занятий. Суть ее заключается в том, чтобы изучать и закреплять новый материал на уроках, не задавая домашних заданий. Урок наш состоит из двух частей и составляет шестьдесят минут. На этот путь мы пока встаем робко и о своем опыте пока писать не станем — ведь мы еще в поиске и, конечно, боимся стать «белой вороной».

«То, о чем Вы, тов. Семенихин, пишете, полностью относится и к нашей школе, — говорится в письме директора школы М. Бурдакова из Луганской области. — Хорошо, что Вы поставили перед общественностью вопрос о необходимости пересмотра и изменения всей системы обучения. Полно-

стью разделяем изложенные Вами в статье мысли, предложения».

Учительница К. Рабошинская из Йошкар-Олы особо отмечает значение статьи В. Семенихина. Она пишет:

«Большое удовлетворение вызвала та часть статьи, где автор отстаивает положение: учить — не заучивая. Заучивание наизусть больших отрывков из художественной прозы вызывает отвращение не только к тому, что заучивается, но часто и к художественному слову вообще... Сочинения многие ребята ненавидят из-за резкого снижения оценок за ошибки в орфографии и пунктуации.

На уроках русского языка и литературы мы не учим мыслить, не учим наслаждаться красотой слова, а требуем лишь запоминать. И как следствие этого, художественная литература из могучего средства нравственного и эстетического воспитания превратилась в пугало на экзаменах для большинства учащихся».

Но нельзя согласиться с вашим предложением отказаться от заданий на дом. Для таких предметов, как грамматика (русского и иностранного языка), математика, самостоятельные занятия необходимы, особенно для учащихся со средними и слабыми способностями.

Необходимо только научить школьников работать с книгой и тетрадью, экономно расходуя свое время и силы».

Приветствуют появление статей и полностью поддерживают предложения коренным образом улучшить систему обучения учительница А. Кочкина из Ялты, учитель физики Г. Каназей из Полтавской области, А. Кикоть из Ейска, О. Ануфриев из Тарту, А. Гудим из Днепродзержинска, учительница истории Ж. Бахмутская из Лозовой.

Пишут в редакцию не только учителя, но и родители учащихся.

«Я полностью согласна с товарищем Семенихиным о разгрузке ученика от домашних заданий, об освобождении их от ненужных заучиваний... Как только ребенок идет в школу — на этом, можно сказать, кончается детство для него и покой для родителей», — говорится в письме В. Гребцовой из Туапсе.

«Прошу присоединить мой голос к разумному голосу учителей и родителей, вот уже много лет безрезультатно просящих и требующих освободить детей-школьников от перегрузки», — пишет Е. Комарова из Перми.

Некоторые читатели, как, например, учительница З. Скацелова из г. Гавиржов (Чехословакия), Е. Ищенко из Сухуми, не только одобряют и считают своевременным выступление В. Семенихина о перестройке работы школы, но просят ответить на ряд практических вопросов, прислать планы уроков по русскому языку и литературе и т. д.

«В нашей школе семь словесников, — обращается чехословацкая учительница к В. Семенихину, — и мы все просим вас, чтобы вы по возможности описали нам подробно несколько уроков русского языка и литературы. Мы все молодые, не боимся эксперимента. Мы бы с удовольствием познакомились с вашим опытом и применили его в нашей работе».

А молодой учитель физики В. Тимошин кое в чем возражает В. Семенихину. Он пишет:

«Безусловно, практика должна иметь первостепенное значение в процессе обучения, безусловно, без практики правило забудется, и все-таки его надо учить наизусть. Ведь запоминать написание слов, как Вы предлагаете, гораздо труднее, чем запомнить правило, а после закрепить его. Мысль, что учеников нужно научить пользоваться словарями и справочниками, очень правильная. Большой недостаток школы в том, что она этого не делает. Но ведь не буду же я все время ходить со словарем или справочником...»

Вы утверждаете, что нужно заботиться о приобретении практических навыков. Не спорю. Но ведь правильное написание слова возможно только при знании правил, а умение разобраться в мыслях автора появится только тогда, когда мы вооружим

ученика пониманием автора и его произведения. При чем же здесь навыки?

Может быть, я не прав по своей неопытности, не бойтесь обидеть меня. За Ваши замечания буду весьма благодарен Вам».

Категорически возражает против предложений В. Семенихина Ф. Мирошников из Ташкентской области (УзССР). Подробно разбирает статью Семенихина учитель-пенсионер А. Шульгин (Москва). Он считает, что в ней есть отдельные правильные и интересные мысли, но в целом она ошибочна и не решает вопроса — не показывает, как же разумно учиться и учить.

Не согласен с необходимостью отменить домашние задания сельский учитель И. Шутенко из Пензенской области.

«Я — старый учитель. И хотя, как говорится в таком случае: ушел на покой, — но все, что связано со школой, продолжает меня волновать. Ведь те, кто сейчас продолжает работать в школе, обучают и воспитывают наших внуков и правнуков, которые будут жить при коммунизме, должны подумать о методике обучения и воспитания детей по-новому, они должны готовить детей к коммунистической практике».

Права учителя тт. В. Семенихин и Л. Айзерман, которые честно и по-деловому высказались на страницах Вашего журнала. Материал учебника, любого, надо не «зубрить», а надо учить, то есть разработать, понять, овладеть им и тем самым приобрести умение, получить знания.

В свое время я на уроке, и особенно дома, всегда не только рекомендовал, но требовал пользоваться словариком Шалопникова. А учащихся старших классов можно и нужно допускать и к большому орфографическому словарю. Вот тогда-то не будет у нас в школе «казусов» с диктантами, с изложениями и сочинениями.

А то вот пишет мне внук из армии, а ведь семь классов школы рабочей молодежи окончил, — а я его письма с трудом прочитал: почерк убийственный, почти в каждой строке ошибка. Скажу прямо: неприятно, неловко, стыдно мне за него, да и за его учителей...

Кроме того, детей надо учить (в средних и старших классах) письму не только с помощью упражнений, изложений, сочинений, но пусть они учатся писать и заявление, письмо, расписку и т. д. Я помню, широко практиковал это в школе, и не без пользы».

Главные споры кипят вокруг того — нужны или не нужны домашние задания.

Свое несогласие с В. Семенихиным в вопросе о заданиях высказывает и Л. Буйновская из Витебска, приславшая нам свои «Заметки о школе». Вот некоторые извлечения из них:

«Тов. Семенихин выступает против зубрежки в школе, в этом согласны с ним не только учителя, но и мы, родители. Однако это не значит, что отдельные места из литературных произведений писателей и поэтов, таких, как Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, ученики не должны знать на память...

Учитель, прежде чем задавать уроки на дом, должен помочь ученику осмыслить то, что надо выучить, и он тогда выучит без зубрежки и знания его будут прочны.

Урок, хорошо понятый в классе и повторенный учеником дома на примерах, решении задач или в сочинениях, никогда не забудется. Совершенно другое получается, когда на дом задается урок, не понятый учениками в классе, тогда заучивание превращается в зубрежку. Не видеть в этом разницы нельзя, тем более учителю.

Учитель, который не может дать ученикам прочных знаний, должен прежде всего поговорить со своей совестью, а может, даже оставить педагогическую работу. Учитель должен работать так, чтобы его ученики всегда с благодарностью вспоминали о нем.

В 10-й школе Витебска литературу в старших классах преподаёт Ольга Ивановна. Она не имеет высшего образования, но она очень любит и очень хорошо знает свой предмет. Свою любовь к литературе Ольга Ивановна умело прививает и детям, ученики ее классов хорошо знают и любят литературу, да и легко читают наизусть отрывки. В этой же школе много лет преподавала математику в старших классах заслуженная учительница — ныне пенсионерка — А. Г. Блау. Она дала своим ученикам такие прочные знания, что, поступая в высшие учебные заведения через несколько лет после окончания средней школы, они сдавали математику на «отлично». Требовательная к себе, она была очень требовательна к своим ученикам. О Блау сами ученики всегда говорили: «Анна Григорьевна — вот это учительница! У нее будешь знать математику».

Нельзя согласиться и с тем, чтобы прекратить давать ученикам домашние зада-

ния. В некоторых школах, правда, злоупотребляют этим. У подростка нет времени не только помочь родителям, но и просто побыть на воздухе. Задавать домашние задания по математике необходимо, иначе как же ученик может закрепить знания, полученные на уроке в школе. Не вредно задавать и домашние сочинения, ученик в свободное и удобное для него время лучше может сосредоточиться, свободно может пользоваться литературой и справочниками, наедине у него больше развивается фантазия, и сочинение получается лучше, чем написанное в классе, где он ограничен временем и окружен товарищами, которые подчас его отвлекают.

Нельзя не согласиться с тем, что методы обучения детей должны быть изменены и расширены. Сейчас так много нового в области физики, химии и других наук, что старых методов явно не достаточно.

Воспитание детей — это очень трудное дело, и поэтому приходится удивляться тому, что у нас мало еще уделяется ему внимания».

Л. Лифар — геолог из поселка Березово, Тюменской области, считает, что слишком затягивается при нынешней организации обучения период подготовки нашей молодежи к самостоятельной деятельности, особенно тех, кто продолжает образование в высших учебных заведениях. «Не правильнее ли оставить, как прежде, десятилетнее обучение в средней школе с трудовыми навыками за счет сокращения материала, ничего не дающего на практике, и поскорее выпустить на самостоятельную дорогу жизни юношу или девушку, предоставив им дерзать, пораньше проявить свои способности, чтобы скорее стать полезными обществу.

Тов. Семенихин слишком резко ставит вопрос, полностью отрицая «заучивание». Ведь трудно усвоить необходимые понятия, не заучив их. Что касается словарей и справочников, конечно, учащихся необходимо научить ими пользоваться, но вряд ли правильно разрешать ученикам раскрывать их на контрольных и тем более на экзаменах. Мне думается, такая перспектива отобьет желание работать самостоятельно, а также готовиться к экзаменам. Приучить их писать грамотно — обязанность учителя. Ведь не будут же бывшие ученики ходить всюду со словарем под мышкой, чтобы написать правильно заявление или письмо. Но дети должны получить в школе не толь-

ко определенный объем знаний, но и научиться мыслить».

Инженер И. Хохлов (Москва) считает, что неизбежные, по его мнению, при нынешней системе обучения шпаргалки уродуют душу детей, толкают их на нечестность. «Человек, привыкший обманывать своих учителей, легко может стать на путь очковирательства и обмана государства». Поэтому он горячо поддерживает предложения В. Семенихина.

«Сейчас уже недостаточно осуждать систему заучивания, от нее необходимо решительно отказаться на практике...— пишет Е. Коханов из Львова.— В первые послереволюционные годы старая методика обучения была отвергнута, взамен выработывалась новая. Я учился с 1923 по 1928 год в Слуцкой семилетней школе. Зубрежка у нас презиралась всеми. К ней прибегали только отсталые ученики, но она им помогала мало. Отметки, как правило, выставлялись за понимание материала. Сочинения по языку и литературе чаще всего были на свободные темы. Письменные работы давались и по остальным предметам, при этом разрешалось пользоваться учебниками, но не списывать из них. За списанные отметки не выставлялись, и поэтому никто этим не занимался. Учиться было интересно и увлекательно. Сейчас дочь моя учится в десятом классе, но без должного энтузиазма. Всегда я застаю ее за зубрежкой. Мои попытки отучить ее от этого безуспешны. Причины этого — схоластическая, не соответствующая характеру современных знаний система обучения».

Учитель А. Комиссаров из Бегичева (Тульская область) целиком посвящает свой отклик преподаванию и учебникам русского языка. Они, по его мнению, требуют существенной переработки.

«Трудно представить, чтобы во время работы человеку привязывали руку, чтобы она отдыхала, и он действовал бы только одной. Однако такая парадоксальная, искусственная практика с некоторых пор укоренилась у нас в школе. Скажем, в шестом классе всю первую четверть года изучается только глагол, а во вторую причастие. Совершенно непригодна и отдает дурным академизмом в школе разбивка русского языка на синтаксис и морфологию по частям речи.

Учебник русского языка для средней школы следовало бы дать в единой книге, «под одной крышей», чередуя, а чаще соединяя темы синтаксиса и морфологии.

Многие темы можно было бы расположить по аналогии либо по контрасту.

Путь к грамотности, умению, творческим навыкам, самостоятельности порой преграждает сам учебник. И если он не дает прочного и основательного, если в нем много путаного, неясного, то повинны в этом не одни только авторы и программа. Тут называется и ненужный для обучения грамоте «академизм». Взятые напрокат из академической грамматики определения делаются в школе абракадаброй.

Еще одно: только в последнее время в грамматике стала появляться связная речь, и то на положении редкого гостя. Нет никакой связности, смысла, кроме какофонии, если одно короткое упражнение представляет собой крошку из разностильных произведений разных эпох.

Механические упражнения в учебниках, когда ученик только вставляет пропущенные буквы или знаки, без конца переписывая чужое, не дают нужного результата. Никакого сравнения, загадки, раздумья не возникает при выполнении такого упражнения, как это бывает в жизни, в живой речи. Мысль ученика почти исключается.

Сохраняя естественный, связный, а не препарированный текст, мы как бы учим ходить в настоящем лесу. Когда же ученик восклицает: «О, тут и думать нечего!» — вспоминаются слова Пришвина о том, что ему довольно было увидеть в лесу одну банку с консервами, чтобы стало скучно и неудивительно. Всего в пятых—шестых классах приходится выполнять 1298 (!) упражнений. И в школе и дома! Продохнуть некогда. Развита речь и самостоятельными работами заниматься некогда. Одни «консервные банки».

Во многих письмах с большой озабоченностью затрагивается проблема воспитания. «Воспитание нового поколения — того поколения, которому жить при коммунизме, — это проблема № 1, — пишет А. Гельман (Москва). — Необходима реформа системы народного образования на различных принципах обучения. Необходимо тесно увязать всю систему воспитания и образования».

«Совершенно согласен с тов. Семенихиным, — пишет учитель А. Мосякин из Калининской области, — мы плохо еще учим, а еще хуже воспитываем. Справедливо и то, что главное лицо в школе — учитель, однако главное в обучении зависит не от него.

Если это верно в отношении обучения, то тем более верно в отношении воспитания. Если мы не перестроим сверху донизу систему воспитания, школа не сможет справиться со своей главной задачей — воспитанием подрастающего поколения строителей коммунизма. Все, что делаем в этом направлении в Министерстве просвещения и в Академии педагогических наук, делается крайне робко, а чаще и, хуже того, формально.

Пора покончить с вредной системой оценки поведения учащегося. Хулиганствующему ученику ставят поведение «4» (хорошее), а всем остальным «5» (отличное). Выпускаем «продукцию» только отличного качества. Странно: откуда же тогда берутся молодые люди с не вполне отличным поведением: ведь в аттестате у них непременно стоят слова: «При отличном поведении».

Прислали свои отклики гг. А. Лубянцева (Горький), Р. Слуцкер (Наманган УзССР), В. Ильин (Иваново) и другие.

* * *

Воспитание подрастающего поколения в коммунистическом духе — общее дело первостепенного значения. Ведь это задача, которую непременно надо решить для успешного построения коммунистического общества.

Обсуждение вопросов, поднятых гг. Семениным, Айзерманом и Владимировым, продолжается. В редакцию приходят новые читательские письма. Мы рассчитываем вернуться к этим вопросам через несколько номеров журнала, чтобы подвести итоги дискуссии.

Хотелось бы, чтоб Министерство просвещения РСФСР и других союзных республик, Академия педагогических наук обсудили многие, безусловно разумные, предложения наших читателей и завершили деловыми шагами это горячее и заинтересованное обсуждение. Трибуна для их выступлений открыта!



В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО МИРА»

В номере шестом «Нового мира» помещен мой очерк о Польше «Третье свидание». В очерке этом по моей вине допущена грубейшая ошибка — в той его части, где говорится о месте рождения Фридерика Шопена. Шопен родился в Желязовой Воле, в очерке же сказано, что он родился в Новогрудке — то есть в том месте, где родился Мицкевич.

Мне трудно самому себе объяснить причину этой ошибки. С юных лет я хорошо знал, что Шопен родился в Желязовой Воле, а Мицкевич — в Новогрудке, где, кстати, я бывал во время первой мировой войны.

Я приношу свои глубокие извинения читателям «Нового мира», особенно читателям в Польше, а также редакции журнала.

О степени своего огорчения этой ошибкой говорить нет надобности.

К. Паустовский.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

МИРОСЛАВ ИВАНОВ. Ленин в Праге. Перевод с чешского. Госполитиздат. М. 1963. 168 стр. Цена 25 к.

Благородную задачу поставил перед собой чешский литератор Мирослав Иванов — собрать новый материал о пребывании В. И. Ленина в Праге.

Книга написана в форме своеобразного репортажа, в котором события более чем полувековой давности переключаются с нынешними днями. В ней удачно сочетаются точное изложение исторических фактов, тщательный анализ эпистолярного наследия Ленина с интересными догадками автора, ведущими его на поиски многих людей, с которыми Ленин встречался в Праге. Переписка В. И. Ленина с родными осенью 1900 года, воспоминания Н. К. Крупской о ее поездке в Прагу, беседа автора с бывшим чешским социал-демократом Ф. Модрачком, который был посредником между Лениным и социал-демократами России, — все это дает Мирославу Иванову возможность утверждать, что Владимир Ильич Ленин впервые побывал в Праге осенью 1900 года.

Значительное место уделено в книге рассказу о поисках новых материалов шестой конференции РСДРП в Праге в январе 1912 года и о пребывании там В. И. Ленина в это время. Автору удалось разыскать письмо Ленина к руководителю чешской социал-демократии А. Немецку. Большую помощь оказали автору своими воспоминаниями старейший коммунист Вацлав Вацек, известная писательница Мария Майерова и другие.

Увлекательно рассказывает автор о поисках, которые он проводил в Праге вместе с единственным оставшимся в живых делегатом шестой конференции РСДРП Е. П. Онуфриевым, чтобы найти квартиру, в которой жили В. И. Ленин и Онуфриев.

Перед читателем проходят портреты людей, которые помогали литератору в его интересных поисках. Это честный и добросовестный Бедржих Вышин, старый доктор Поппер, рабочий Липа, артист Корбелярж и другие.

«...Кончаются наши поиски, — пишет в заключение автор. — Многое выяснилось, многое еще осталось неизвестным и, может быть, так навсегда и останется... Возникают... легенды двадцатого столетия... о скромном человеке, который не погнушался

спать на полу в нусельском трактире, о ласковом человеке, который играл с маленькой девочкой и качал ее на коленах... Легенды о Владимире Ильиче».

Книга чешского литератора Мирослава Иванова свидетельствует о том, с какой любовью хранят в социалистической Чехословакии память о Ленине и обо всем, что с ним связано.

Ф. Молок.

★

П. А. ХРОМОВ. Некоторые закономерности развития промышленности СССР (Формы промышленности, технический прогресс, темпы развития). Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 324 стр. Цена 1 р. 14 к.

Новая работа известного советского экономиста профессора П. А. Хромова посвящена анализу социально-экономических форм, технического прогресса и темпов развития промышленности СССР. Книге предпослано «Введение», в котором в краткой форме характеризуются особенности промышленности как сферы материального производства, роль ее в экономике современных стран высоко развитого капитализма и экономически отсталых стран; особо подчеркнута значимость промышленности в экономике СССР — в создании общественного продукта и народного дохода, в реконструкции всего народного хозяйства.

Автор анализирует формы промышленности в их развитии. Большую и интересную главу он посвятил техническому прогрессу в промышленности СССР. При этом показана структура капиталовложений в нашу промышленность, соотношение чистых и валовых капиталовложений, их эффективность.

Большой интерес представляет рассмотрение темпов развития промышленности. Автор вскрывает неравномерность экономического развития капиталистических стран, показывает падение удельного веса промышленности США и рост промышленности Японии, ФРГ, Италии в мировом капиталистическом производстве за последнее время.

Достоинством работы является наличие богатого фактического материала, хорошо проверенного и отобранного. В книге широко использована не только отечественная экономическая и статистическая литература, но и зарубежная, характеризующая структуру, возраст и темпы обновления

оборудования в капиталистических странах, нормы накопления, темпы роста отдельных отраслей.

★

П. Дузь.

ПАВЕЛ ПОДЛЯШУК. Товарищ Инесса. Документальная повесть. Госполитиздат. М. 1963. 168 стр. Цена 20 к.

С 1904 года — большевик. Видный деятель нашей партии, неоднократно подвергавшийся арестам и ссылкам. Один из организаторов партийной школы в Лонжюмо, ее преподаватель. Ученик, друг и соратник Владимира Ильича Ленина, по словам Е. Стасовой, «стойкий проводник ленинских идей, энергичный исполнитель ленинских поручений, одаренный партийный публицист и организатор». После революции — председатель Московского совнархоза, первая заведующая женотделом ЦК, член ВЦИК.

И наряду с этим — обаятельная женщина, обаятельный, светлый человек. Мать пятерых детей — и прекрасная мать, несмотря на кипучий водоворот революционной борьбы, партийной работы. Умный, остроумный и веселый собеседник. Талантливая пианистка, блестяще образованная, свободно разговаривающая на многих языках, отлично знающая литературу, искусство.

Такова Инесса Арманд, «товарищ Инесса», как звали ее в партии. Легкую и бездумную жизнь жены богатого московского фабриканта, жизнь светской дамы она променяла на трудную, суровую и опасную судьбу профессионального революционера, солдата партии и нашла в этом свое призвание, свое счастье...

Инесса, умершая от холеры во время поездки на Кавказ в 1920 году, похоронена на Красной площади. Были годы, когда о ней редко вспоминали, когда ее имя почти не упоминалось, как, впрочем, и имена многих других деятелей ленинской гвардии, незаслуженно полузабытых. В Большой Советской Энциклопедии можно найти коротенькую суховатую справочку об Инессе Арманд, но без всякой библиографии — не указано ни одной книги или хотя бы статьи. А книг и не было — только сейчас мы читаем первую документальную работу, в которой П. Подляшук бережно, с большим тактом и любовью воссоздает образ Инессы Арманд. По выцветшим комплектам старых газет, по архивным документам и свидетельствам товарищей и близких он кропотливо, тщательно восстанавливает отдельные факты этой богатой событиями, пламенной жизни. Многочисленные письма Инессы, вкрапленные в повествование, впервые увидевшие свет, адресованные то ее детям, то товарищам по партии, умные и тонкие, сильные и принципиальные, помогают лучше почувствовать и понять благородную атмосферу жизни большевика-ленинца, ощутить ее высокий интеллектуальный накал.

Книге предпослан эпиграф из Юлиуса Фучика: «...И мертвые мы будем жить в чаще вашего великого счастья; ведь мы

вложили в него всю нашу жизнь». И хочется, чтобы люди сегодняшнего дня лучше знали и чаще вспоминали ту, что рано ушла, но успела отдать многое — «товарища Инессу», на свежую могилу которой лег венок из живых белых цветов от Владимира Ильича Ленина и про которую Надежда Константиновна Крупская сказала: «Светлело в доме, когда Инесса приходила».

Наг. Соколова.

★

ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ. Сборник воспоминаний партизан. Воениздат. М. 1963. 240 стр. Цена 63 к.

Из двадцати четырех рассказчиков этого сборника фамилии двоих следовало бы заключить в черную траурную рамку. Пока сборник готовился к печати, не стало комбрига курских партизан Остапа Казанкова и заполярного партизана Ивана Шувалова. Простились навсегда бывшие партизаны и с членом редколлегия сборника — со славным генералом и хорошим писателем Петром Вершигоровым. Автор книги «Люди с чистой совестью» многое успел рассказать. А некоторые другие бывалые люди не успели, не поделились бесценным, кровью оплаченным партизанским опытом.

Отрадно, что еще двадцать четыре бывших партизана гражданской и Отечественной войн из Белоруссии и Заполярья, с Дальнего Востока и Украины поведали нам свои самые дорогие воспоминания. Если бы не победа ленинского закона в жизни страны, мы бы так и не узнали из уст Игоря Саблина, бывшего начальника особого отдела партизанской армии Черноморья, о подвиге патриотов, взорвавших танкер «Свет», доставлявший нефть врангелевцам в Крыму...

Партизанская «комиссарша» Антонина Геласимова вспоминает дела партизандальневосточников, десантница Клавдия Милорадова описывает подвиги своих однополчанок из отряда, прославленного Зоей Космодемьянской, бывший секретарь подпольного райкома Георгий Храмович взволнованно рассказывает о старой белоруске, ставшей ему второй матерью... Широка «география» сборника, велико число его героев. Этот сборник — как бы залп из двадцати четырех винтовок в честь героев народной войны в тылу врага.

Хорошее дело сделала редколлегия секции бывших партизан Советского комитета ветеранов войны, подготовившая уже второй сборник воспоминаний партизан. Первый — он назывался «Партизанские были» и объединял рассказы почти пятидесяти партизан — вышел в 1958 году большим тиражом и был всюду распродан в несколько дней.

Жаль, что не многие авторы сборника упоминают о больших трудностях партизанской борьбы. Сколько говорится о жертвах, о потерях и тут же декларируется: «Но минутная печаль, как это бывает на

войне, быстро сменилась радостью победы» (стр. 166).

Жаль также, что «литобработчики» сборника не отнеслись бережнее к индивидуальной речевой манере рассказчиков-партизан, подогнали почти всех под одну «стандартно-литературную» гребенку. В сборнике трудно отличить язык партизана-белоруса от языка украинских и русских партизан, и потому порой видишь героев партизан, словно сквозь какой-то серый туман, и речь их слышишь, будто сквозь вату. Огорчают такие назойливые трафареты, как: «Оккупанты трепетали» (стр. 90), «Словно ошалелые, метались они, попадая под пули народных мстителей» (стр. 166).

Хочется пожелать составителям третьего сборника рассказать о других, пока еще безымянных героях, подвиги которых остаются неизвестными, о делах целых отрядов и подполья, еще ждущих своих первооткрывателей.

О. Горчаков.

★

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ. Сколько лет, сколько зим. Повесть и рассказ. «Советский писатель». М. 1963. 168 стр. Цена 26 к.

Один из маленьких шахтерских городков в Верхней Силезии: они так близко расположены друг от друга, что порой лишь по дорожному указателю и можно установить, что выехал из одного города и въехал в другой. Черная пыль висит над черепичными крышами домов, ажурными вышками копров, башнями костелов. Шахтеры в маленьких, похожих на жокейские шапочки касках участвуют в соревновании и гордятся, когда над шахтой загорается красная звезда, и в то же время перед спуском под землю не забудут взглянуть на икону и распятие. Эффектные, изящные, как киноактрисы, девушки, которые умеют, однако, очень толково и добросовестно выполнять совсем не эффективную работу продавщиц, лаборанток. Все это встает перед нами со страниц лирической повести Е. Воробьева «Сколько лет, сколько зим». С родственным вниманием всматривается писатель в чужой и одновременно такой близкий уклад жизни братской страны, в повадки и нравы людей, в само звучание польской речи, характерные особенности которой, ее «сверхчувствительные» конструкции, он умело передает.

И самое главное, что волнует писателя, что он стремится воплотить в повести, — это неумирающая в сегодняшней Польше память о войне, ненависть к фашизму, дружба русских и поляков, родившаяся в совместной борьбе.

Это, собственно, определяет и сюжет произведения: бывший советский военнопленный, которому полька Тереса (она словно «мадонна в голубом платке») помогла бежать из концлагеря, приезжает вновь в этот же город в командировку, помогая теперь в качестве инженера наладить работу угольного комбайна. Он мечтает встретиться с Тересой, чтобы отблагодарить ее за

спасение, но встреча эта не состоится. Выросшей же дочке Тересы Сабине он оказывает дружескую поддержку в очень трудную для девушки минуту.

В повести есть некоторая романтическая условность (пронесенная через множество лет любовь к женщине, которую герой видел один-единственный раз), расплывчатость характера главного героя — но, несмотря на это, мысль о братстве двух народов отчетливо звучит в книге. Эта же мысль лежит в основе и включенного в сборник рассказа «За тридевять земель» — о том, как польский рабочий Квятковский приезжает к уральским сталеварам и как все несходство характеров и привычек исчезает в совместной работе.

К. Морозова.

★

Н. Д. ХВОЩИНСКАЯ (В. Крестовский — псевдоним). Повести и рассказы. Гослитиздат. М. 1963. 512 стр. Цена 88 к.

Имя Надежды Дмитриевны Хвощинской (В. Крестовский — псевдоним) мало что говорит сегодня. В советское время произведения ее не переиздавались.

Сейчас читатель получил возможность познакомиться с творчеством писательницы, активного сотрудника «Отечественных записок» Некрасова и Щедрина.

При составлении этого сборника можно было идти двумя путями: включать лучшее или же предсказать произведения разных лет, характерные для творческой эволюции Хвощинской.

Стремясь показать становление и развитие писательницы, составитель сборника М. С. Горячкина, к сожалению, подчас оставляла за бортом много интересного и яркого, включив отдельные — не лучшие произведения Хвощинской.

Долгая жизнь в провинциальной глуши, оторванность от революционного движения 60–70-х годов наложили заметный отпечаток на все творчество Хвощинской: писательница не создала значительных образов «новых людей», но она изобразила целую галерею «не героев», начиная с «отступников», предавших освободительное движение 60-х годов, кончая многоликой фигурой обывателя.

Особенную ненависть писательница питала к либералам типа Драгаева («Учительница») — рыцарям «демократической аристократичности», которые в годы реакции, последовавшей за разгромом «хождения в народ», показали свое настоящее лицо. Само противопоставление чистой и целеустремленной Зинаиды Николаевны, стремящейся всю жизнь свои отдать крестьянам, и охотника за богатой невестой «либерала» Драгаева ярко раскрывает симпатии Хвощинской, ее следование демократическим традициям.

В творчестве Хвощинской последних лет появляется все же герой-революционер (повесть «После потопы» 1881 года, отрывок «Вьюга» 1888 года), но это уже

человек, не способный на борьбу. Зато в ее произведениях перед нами во весь рост предстает тот враг, которого так ненавидели революционные демократы, — «герой» поры разгула реакции, времени, о котором сама Хвошинская сказала афористически точно: «Были времена хуже — подлее не бывало!» (рассказ «Счастливые люди», 1874 год, к сожалению, не включенный в сборник). Слова эти сразу же были взяты на вооружение и Некрасовым и Н. Щедриным.

Вступительная статья сообщает необходимые сведения, позволяющие правильно оценить произведения Н. Д. Хвошинской, одного из интересных представителей русской литературы 60—80-х годов

Р. Борисов.

★

ЭДВАРД ЛИР. Прогулка верхом и другие стихи. Перевел с английского С. Маршак. Детгиз. 1962. 32 стр. Цена 20 к.

Для чего существуют в детской литературе путаницы-небылицы? Исследователи отвечают на этот вопрос точно и кратко: такие небылицы помогают ребенку в его познании реального мира, утверждают «от противного» (а точнее, «от смешного») его уже накопившийся опыт.

Правильно? Конечно. Но если бы дело было только в этом, тогда бы эти небылицы, оставаясь озорными и поучительными, были бы все же несовместимы с настоящей поэзией. А они могут быть с нею совместимы — об этом говорят хотя бы замечательные стихи любимца английских детей Эдварда Лира, переведенные на русский язык С. Я. Маршаком и впервые изданные у нас отдельной книжкой.

В одном из стихотворений (называется оно «В страну Джамблей») рассказывается о неких чудаках, которые плывут по бурному морю в решетке; парусом им служит зеленый носовой платок, а чтобы уберечься от гриппа, они оборачивают ноги розовой промокашкой. Конечно, читатель-ребенок знает, что в решетке плыть нельзя, что и от гриппа есть лучшие средства, и, конечно, он получает от этой проверки своих знаний удовольствие. Но в этом стихотворении есть и большее. Нас захватывает еще и вдохновенная детская вера в чудо, в то, что на свете все возможно.

В решетке они в море ушли, в решетке.

В решетке по седым волнам.

С берегов им кричали: — Вернитесь,

друзья! —

Но вперед они мчались — в чужие края —

В решетке по крутым волнам.

Заметьте, огажные мореплаватели по-прежнему не только стихию, но и чье-то недоверие, боязнь: «Отвечали пловцы: — Чепуха!» И как это по-детски самоуверенно и по-детски самозабвенно!

«Прогулка верхом» — рассказ о том, как щипцы для орехов и щипцы для конфет,

соскучившись в буфетной темнице, решили бежать на волю — и вот оседлали белого и вороного коня и, натворив в буфете переполуху, умчались прочь. И, как ни странно это может прозвучать, опять-таки в стихах этих — настоящая лиричность, чувство освобожденности, легкости, словно это не детская небылица, а чуть ли не «Отворите мне темницу...». Да и заканчиваются они удаляющимся, радостным и чуть грустным цокотом копыт:

И долго еще отдаленное эхо
До нас доносило последний привет
Веселых и звонких щипцов для орехов,
Блестящих и тонких щипцов для конфет...

Книга эта — настоящее событие в поэзии для детей (кстати, и издана она очень хорошо, и рисунки Л. Зусмана красочны и изобретательны). Эдвард Лир (как говорится в издательской аннотации) будто «и сам по-детски, от души смеялся, сочиняя свои затейливые книжки». А Маршак сумел заставить с такой же заразной силой смеяться его маленьких русских читателей.

Ст. Рассадия.

★

С. ВЕЛИКОВСКИЙ. Поэты французских революций 1789—1848. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 279 стр. Цена 36 к.

На титульном листе этой книги значится: «Научно-популярная серия». В данном случае это, пожалуй, точное определение не только жанра книги, но и ее достоинств: знание материала, увлеченность исследователя сочетаются здесь со стремлением ввести в круг своих исследований широкого читателя.

В книге приводится множество интересных сведений о жизни революционных поэтов Франции. Судебные процессы Беранже и трагические злоключения Э. Моро, озорные проделки Ш. Жилля, водившего за нос полицейских шпиков, и участие в баррикадных боях июня 1848 года Дюпона, Шателена, Потье — все эти любопытные сами по себе биографические детали вносят в книгу атмосферу эпохи, «воздух которой, — пишет автор, — был насыщен разрядами политических бурь», эпохи, когда «певцы сделали гражданственность душой своего творчества».

Не менее поразительной, чем жизнь поэтов, оказывается рассказанная здесь судьба многих произведений: бунтарской песни «Ça ira!», родившейся из незатейливого присловья, которым подбадривали себя уставшие землекопы, или судьба «Марсельезы», прошедшей «с французской демократией более чем полутора вековой боевой путь», французской песни, полюбоившейся декабристам, петрашевцам, народникам, взятой на вооружение русской революцией.

Преемственность и развитие революционных идей — вот та нить, которая прочно связывает вполне самостоятельные и законченные главы-очерки этой книги.

Подчеркивая публицистичность, гражданственность анализируемых произведений, автор ни на минуту не позволяет забыть о том, что перед нами поэзия, и тонко, со вкусом показывает ее художественное богатство.

Наряду с широко известными и любимыми у нас поэтами в книге представлены такие, которые вовсе или давно не издавались на русском языке (Лебрен, Андре Шенье), и те, что фигурировали до сих пор главным образом лишь в специальных исследованиях, — С. Маршалль, Бартеlemi, Берто и Вейра.

Примечательно, что имена многих писателей, названия многих произведений, которым посвящена эта книга, трудно найти в «канонической» истории французской литературы: современное буржуазное литературоведение во Франции так же непримиримо к революционной поэзии, как и сто — сто пятьдесят лет тому назад, и по-прежнему отказывает в праве на признание не только поэтам-рабочим, но даже прославленному Беранже. Тем большее значение приобретают работы советских литературоведов, которые стремятся раскрыть подвиг французских поэтов, связавших свое творчество с жизнью революционного народа, стремятся помочь нашему читателю вступить в созданный ими мир идей и образов. В этом мире хорошим ориентиром послужил бы библиографический указатель — приходится пожалеть, что его нет в книге.

Н. Рудина.

Великие Луки.

★

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР. Грустный мотив. Рассказы. Перевод с английского. Библиотека «Огонек» № 21. Издательство «Правда». М. 1963. 64 стр. Цена 8 к.

Этот маленький сборник является первым самостоятельным изданием произведений Джерома Дэвида Сэлинджера в нашей стране. В него вошли рассказы «В яльнике», «Посвящается Эсме» и «Человек, Который смеется» (ранее опубликованные в «Новом мире»), вводящие нас в простой и трогательный мир сэлинджеровских героев. Новым для читателя является четвертый рассказ, давший название сборнику, — «Грустный мотив» (перевод И. Бернштейн).

В этом рассказе — история дружбы, любви и развлечений мальчика Радфорда и девочки Пегги. Обрамлением является «сказание о Лиде-Луизе, которая пела блюзы так, как никто, ни до нее, ни после» (таков подзаголовок рассказа). Третий, внешний круг композиции — встреча автора «зимой сорок четвертого года в армейском транспортном грузовике» с Радфордом, уже взрослым, капитаном медицинской службы. В грузовике все это и было рассказано. Радфорд рассказывал о своем детстве, и оба они — он и автор — говорили о Лиде-Луизе как о замечательной джазовой певице, пластинки которой ценятся на вес золота.

Нигде в рассказе Сэлинджера нет и намека, что речь идет о Бесси Смит. Но именно она пела блюзы так, как никто. И именно с нею произошло в реальной Америке то, что с Лидой-Луизой в «Грустном мотиве» — тяжело больную женщину не приняли ни в одну больницу и она умерла на улице, потому что она была черная, а больницы там были только для белых. Об этом говорится в книгах по истории джаза. Об этом написал молодой современный американский драматург Элби пьесе «Смерть Бесси Смит». Об этом же написал и Сэлинджер. За рулем машины сидит Черный Чарльз, голова Лиды-Луизы лежит на коленях Радфорда, плачущая Пегги гладит ее лоб, в больнице «Самаритянин» не принимают, в Джефферсоновской тоже, они едут в Мемфис, но до Мемфиса они не доезжают. Они не проехали и полпути. Лида-Луиза умерла.

«У рассказов не бывает концов. Самое большее — какое-нибудь удачное место, где рассказчику полагается умолкнуть». Это написано сразу вслед за словом «умерла». Детство Радфорда и Пегги обрывается на этом месте, и мы быстро переходим к финалу, где они встречаются через пятнадцать лет, чужие друг другу и почти что чуждые, если бы не грустный мотив, едва звучащий в памяти обоих. Была такая песенка у Лиды-Луизы — «Малютка Пегги», песенка про них, но пластинка Радфорда поцарапана и заиграна, он ее и не заводит, а на пластинку Пегги наступил пьяный дурак. Вот и все.

Трагизм рассказа — не просто в трагической ситуации. Главное — детство Радфорда и Пегги. Оно написано Сэлинджером на таком уровне любви, понимания и радости, что смерть Лиды-Луизы воспринимается читателем как конец всего самого лучшего в жизни, как торжество тупого и кошмарного мира бесчеловечности.

«Грустный мотив» — произведение большого мужества. Дочитав его до конца, вы возвращаетесь к началу и по-новому воспринимаете слова автора, обращенные к читателям, которые усомнятся в этом рассказе хулу на определенную часть нашей страны. Это ни на кого и ни на что не хула. А просто небольшой рассказ... о том, во имя чего мы сражались».

А. Асаркан.

★

ПЕР ВЕСТБЕРГ. Запретная зона. Перевод со шведского. Географиз. М. 1963. 278 стр. Цена 71 к.

Колониализм в Африке уже сломлен, но еще не ликвидирован полностью. Одна из последних «твердых» колониализма — Южная Родезия. В 1959 году там побывал прогрессивный шведский писатель Пер Вестберг. В Родезии он попал в окружение людей, принадлежащих к господствующему

классу, и подвергся соответствующей идеологической обработке.

Вестберг воспроизводит свои беседы с белыми колонистами. «Понимаете, нам не справиться без посторонней помощи. Нам необходим труд чернокожих», — разъяснял автору владелец фермы, на которой поселили Вестберга. «Но нам приходится все время помнить о том, чего вы в Европе никак не можете понять: африканцы — не такие, как мы. Это не люди, это животные. Нужно, чтобы они всегда знали свое место. Им нельзя давать политические права. Нам нужно иметь полицию, чтобы при любых обстоятельствах держать черных в руках. Мы ведь не предоставляем скоту право голоса и свободу слова»...

Вестберг сразу понял фальшь колонизаторской пропаганды. Он беседовал с африканцами, посещал их селения, изучал их быт, психологию и искусство.

Правдивая и честная книга Вестберга — первое произведение очеркового жанра, проливающее свет на жизнь в Южной Родезии. Автор не свободен от некоторых либеральных иллюзий, но он хорошо передает тяжелую, предгрозовую атмосферу этой страны, правдиво пишет о бесчинствах расистов, зверской эксплуатации коренного населения, о стремлении обезземелить африканцев и получить таким образом дешевую рабочую силу для горной промышленности.

Некоторые стороны положения в Южной Родезии остались у Вестберга недостаточно освещенными (не упомянул он, например, о таком вопиющем факте: заработная плата африканца в десять раз меньше заработной платы европейца, выполняющего ту же работу). Об этих пробелах, а также о некоторых ошибочных положениях книги говорится в содержательном послесловии В. Сиденко.

В. Шпринк.

★

Е. М. КРЕПС. «Витязь» в Индийском океане. Географгиз. М. 1963. 278 стр. Цена 80 к.

«Плавание на экспедиционном судне — это прежде всего непрерывная, без конца и края, без отдыха и передышки, работа». Это свое определение автор подтверждает всесторонним описанием тридцать первого рейса флагмана советского исследовательского флота «Витязя» и первого его рейса в Индийский океан. Плавание длилось всего семь месяцев, но за это время плавучая база Института океанологии Академии наук СССР сумела по определенной программе изучить протекающие в океане процессы — физические, химические, биологические и геологические.

В составе экспедиции работали отряды донной и придонной фауны, ихтиологический, геологический, гидрохимический, радиохимический, зоологи, синоптики и другие специалисты.

Крупный ученый, физиолог и биохимик Е. М. Крепс знакомит читателя со всем объемом работы экспедиции, но особое вни-

мание уделяет животному царству, увлекательно рассказывая о подводном мире, диковинных рыбах, морских змеях, черепахах с исключительно красивыми панцирями, морских крабах весом до трех килограммов, угрях до трех метров длины, совершающих поразительные путешествия из пресноводных рек до глубин морей и океанов.

Экспедиция побывала на тропическом острове Рождества (к югу от острова Ява), где знакомилась с фосфатными разработками, в столице Индонезии Джакарте и ее морском порту Танджунгпироке, в столице штата Западная Австралия Перте, на острове Цейлон — в Коломбо и Перадени, в Индии — в Кочине и Бомбее, на Мадагаскаре...

Наибольший интерес представляют, однако, очерки, посвященные странам, куда еще не заходили советские корабли, — островам Мальдивским, Коморским, Сейшельским, Занзибару и Носи-Бе (у северной оконечности Мадагаскара), где еще живы люди, помнящие русских моряков эскадры Рождественского, стоявшей в бухте, которую французы и ныне называют «Бухтой русских».

В этих описаниях все ново и свежо, и познавательная ценность их несомненна. Ведь мало кому из нас знакомы природные условия окруженных коралловыми рифами островков, их история и политическое устройство, экономика и быт. Путевые записи Е. М. Крепса найдут живой отклик у советского читателя, и он порадует еще раз тому, что даже на маленьких островах, разбросанных в западной части Индийского океана, флаг его родины встречают с неизменным радушием и уважением.

Книга хорошо иллюстрирована фотографиями, но карт слишком мало — всего четыре, да и те даны уж в слишком мелком масштабе.

В. Владимиров.

★

Ю. СЛОНИМСКИЙ. «Лебединое озеро» П. Чайковского. Государственное музыкальное издательство. Л. 1962. 78 стр. Цена 28 к.

Медленно, но верно продолжают выходить книжки серии «Сокровища советского балетного театра». Плохо, что медленно. При бедности специальной литературы (что вовсе несообразно с заслуженным признанием советской страны как «родины танца») не мешало бы хоть данную — популярную, массовую — серию выпускать быстрее.

Книга Ю. Слонимского написана популярно и в то же время обстоятельно. Автор сообщает интересные сведения, неизвестные дотоле широкому читателю. Правда, в книге, на мой взгляд, не все бесспорно. Например, Ю. Слонимский слишком категоричен в утверждении, что поставить «Лебединое озеро» в точном соответствии с партитурой Чайковского невозможно. Мне кажется также, что автор преувеличивает роль первого постановщика балета — бездарного хореографа Большого театра Рейзингера, который якобы так руководил

композитором, что тот написал много «не-нужной», к делу не идущей музыки. Трудно себе представить, что Чайковский с такой готовностью шел на поводу у посредственного балетмейстера.

Что же касается возрождения всей партитуры «Лебединого озера» без вставок и купюр, то тут, думается, дело в таланте балетмейстера. Если появится такой человек, который осилит действительно новую, свою постановку «Лебединого озера», то зазвучит заново вся музыка балета.

Ю. Слонимский увлекательно рассказывает об истории замысла «Лебединого озера»: от сочинения Чайковским одноактного балета для своих маленьких племянников до появления монументальной партитуры, заказанной Большим театром. От неудачной постановки балета на сцене Большого театра до второго его рождения в Петербурге, когда Мариус Петипа и Лев Иванов создали свою версию спектакля.

Особенно интересно описание работы русского балетмейстера Льва Иванова. Автор «лебедьних картин», он первый по суще-

ству понял, что в сказочных персонажах — реальность живых человеческих чувств, доказав, что ему ближе чем кому бы то ни было новаторский смысл музыки Чайковского.

Интересны гипотезы относительно рождения сюжета; полезен разбор музыки «Лебединого озера». Не без сарказма говорит автор о том, как отнеслись к появлению «Лебединого озера» балетоманы придворных театров и реакционная критика, которая утверждала, что самый слабый элемент балета — его музыка. В то же время мы знакомимся с высказываниями передовых людей прошлого века, которые уловили могучую силу, новизну этой музыки, предрекли ей блестящее будущее.

Триумфальное шествие по сценам разных стран и континентов, исполнение главной партии Анной Павловой и Галиной Улановой, Марго Фонтейн и Алисней Алонсо, Аллегрой Кент и Марией Толчиф утвердило поэзию, фантастику и великую жизненную правду «Лебединого озера».

Анна Илупина.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Г. Арефьева, Е. Лысманкин. Классы и классовая борьба. 46 стр. Цена 5 к.

П. Демченко. Новый день Исмена. Записки советского журналиста. 32 стр. Цена 4 к.

Х съезд Итальянской коммунистической партии (Рим, 2—8 декабря 1962 года). Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий. 160 стр. Цена 19 к.

О. Г. Дробницкий. Оправдание безответственности. Критические очерки о современной буржуазной этике. 112 стр. Цена 13 к.

Н. Zubov, Ф. Э. Дзержинский. Биография. 333 стр. Цена 61 к.

Крушение колониализма. Краткий справочник. 176 стр. Цена 20 к.

Милитаризм, Разоружение. Справочник. 190 стр. Цена 15 к.

Мораль как ее понимают коммунисты. Второе, дополненное издание. 247 стр. Цена 20 к.

И. Новик. Кибернетика. Философские и социологические проблемы. 207 стр. Цена 24 к.

М. Родионов, О. Козопольский. Ветераны остаются в строю. 45 стр. Цена 5 к.

Вальтер Ульбрихт. Программа социализма и историческая задача СЕПГ. Программа Социалистической единой партии Германии. Перевод с немецкого. 359 стр. Цена 77 к.

В. Чернявский. Шпион № 1. Pamфлет о шесте разведки США Джоне Алексее Мэнкуне. 48 стр. Цена 4 к.

Е. Шевелева. Люди, которые выше пальм. 63 стр. Цена 8 к.

СОЦЭКГИЗ

В. Ф. Асмус. Проблема интуиции в философии и математике (Очерк истории: XVII—начало XX в.). 312 стр. Цена 86 к.

Н. Дворянов, В. Дворянов. В тылу Колчака. 176 стр. Цена 25 к.

Сельскохозяйственная кооперация в условиях капитализма. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Асенов. Мой день. Стихи. Перевод с кумыкского. 104 стр. Цена 13 к.

Р. Ахматова. Трудная любовь. Стихи. Перевод с чеченского. 80 стр. Цена 9 к.

Н. Браун. Живопись. Новые стихи. 140 стр. Цена 21 к.

Н. Джусойты. Мой горный край. Стихи. Перевод с осетинского. 100 стр. Цена 10 к.

Г. Державин. Стихотворения. 456 стр. Цена 62 к.

Н. Долнина. Сколько стоит хлеб. Рассказы учительницы. 196 стр. Цена 29 к.

Л. Жак. От замысла к воплощению. В творческой мастерской М. Горького. 316 стр. Цена 75 к.

И. Константинов, Б. Рест. О чем рассказывала Кубра. Фельетоны. 120 стр. Цена 18 к.

Е. Лось. Купалка. Стихи. Перевод с белорусского. 128 стр. Цена 14 к.

Л. Лубнин. По следам Васьки Жабрея. Повести и рассказ. 248 стр. Цена 33 к.

А. Макашич. Левониха на орбите. Пьесы. Перевод с белорусского. 288 стр. Цена 56 к.

Г. Тунай. Стихотворения и поэмы. 388 стр. Цена 35 к.

Б. Шмидт. Заповедь. Стихи. Поэма. 100 стр. Цена 13 к.

А. Шпирт. Всполнованный берег. Стихи. 88 стр. Цена 10 к.

К. Эрендженов. Пылающие тюльпаны. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. 98 стр. Цена 14 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Г. Бергстедт. Праздник Святого Йоргена. Повесть. Перевод с датского. 176 стр. Цена 43 к.

Н. Брыкин. Искупление. Роман. 543 стр. Цена 1 р.

Стефан Жеромский. Верная река. Семейное предание. Перевод с польского. 200 стр. Цена 44 к.

Эм. Казакевич. Сочинения в двух томах. Том 1. 751 стр. Цена 1 р. 40 к. Том 2. 644 стр. Цена 1 р. 21 к.

Карло Каладзе. Стихотворения. Перевод с грузинского. 215 стр. Цена 40 к.

Эдуардо Кабальеро Кальдерон. Сьерво Безземельный. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 44 к.

Жигмонд Мориц. Жаркие поля. Роман. Перевод с венгерского. 264 стр. Цена 43 к.

Мурацан. Георг Марзнетуни. Исторический роман. Перевод с армянского. 368 стр. Цена 72 к.

И. Наканиси. Смерть Кихэя. Роман. Перевод с японского. 176 стр. Цена 20 к.

Нариман Нариманов. Бахадур и Сона. Повести и пьесы. Перевод с азербайджанского. 296 стр. Цена 50 к.

Герберт Нахбар. Дурная примета. Роман. Перевод с немецкого. 279 стр. Цена 94 к.

Польская поэзия. В двух томах. Том 1. XVI—XIX вв. 556 стр. Цена 80 к. Том 2. XIX—XX вв. 503 стр. Цена 71 к.

Русские сказки. 576 стр. Цена 1 р. 50 к.
Леся Украинка. Лирика. Перевод с украинского. 208 стр. Цена 31 к.

А. Черненко. Расстрелянные годы. Повесть. 208 стр. Цена 48 к.

Эллинские поэты. В переводах В. В. Вересаева. 408 стр. Цена 64 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Волков. Солнечный бунт. Стихи и поэма. 112 стр. Цена 32 к.

Л. Гроссман. Достоевский. 544 стр. Цена 1 р. 3 к.

С. Дангулов. Ленин разговаривает с Америкой. Рассказы. 288 стр. Цена 60 к.

Г. Дмитриев. Границы и люди. Рассказы. 176 стр. Цена 40 к.

Цырен Дондокова. Девушка с Байкала. Повесть в стихах. Перевод с бурятского. 160 стр. Цена 48 к.

Н. Исполатов. Люди трудной судьбы. 192 стр. Цена 44 к.

В. Лебедев. Крылья буревестника. Трилогия о М. Горьком. 416 стр. Цена 84 к.

Л. Мерзлякин. Купава. Поэмы и стихи. 96 стр. Цена 15 к.

В. Песнов, М. Ребров. Ждите нас, звезды! Документальные очерки. 168 стр. Цена 23 к.
Ю. Пилляр. Люди остаются людьми. Роман. 336 стр. Цена 62 к.
А. Прокофьев. Горислава. Лучшее из лирики. 207 стр. Цена 32 к.
Б. Расин. Подбельский. 173 стр. Цена 41 к.
Э. Роблес. На городских холмах. Роман. Перевод с французского. 174 стр. Цена 33 к.
Иван Стаднюк. Люди не ангелы. Роман. 236 стр. Цена 50 к.
А. Суров. Одного кремня искры. Иртышские были. 208 стр. Цена 49 к.
Гр. Федосеев. Смерть меня подождет. Повесть. 528 стр. Цена 1 р. 15 к.
А. Шишов. Рассказы о М. И. Калининe. 128 стр. Цена 68 к.

ДЕТГИЗ

Р. Баранникова. Солнце отражается в Ганге. 176 стр. Цена 40 к.
Р. Бахтамов. Человек штурмует Землю. 240 стр. Цена 45 к.
А. Кузьмин. Паруса, изорванные в клочья. Историческая повесть. 288 стр. Цена 53 к.
Н. Морозов. Юта. Повесть. 176 стр. Цена 36 к.
Р. Реджани. Пятеро ребят и одна собака. Перевод с итальянского. 192 стр. Цена 43 к.
А. Решетов. Дороги и думы. Стихи разных лет. 224 стр. Цена 39 к.
Б. Скорбин. Знамя. Повесть. 192 стр. Цена 36 к.
Г. Тушман. Друзья и враги Анатолия Русакова. 528 стр. Цена 93 к.
Я. Ухсай. Стаи белых лебедей. Стихи. Перевод с чувашского. 96 стр. Цена 19 к.
Б. Шергин. Илья Муромец. По мотивам были. 72 стр. Цена 20 к.

ГОСЮРИЗДАТ

В. С. Андреев. Материальное обеспечение граждан СССР в старости, в случае инвалидности и временной нетрудоспособности (Правовые вопросы). 164 стр. Цена 45 к.
М. В. Баглай, В. И. Усенин. Правовое регулирование труда в капиталистических странах. 216 стр. Цена 35 к.
Н. Н. Демочкин. Советы 1905 года — органы революционной власти. 176 стр. Цена 58 к.
С. Л. Зивс. Идеиная нищета антикоммунизма. Против извращения идеологами антикоммунизма вопросов социалистического государства и права. 128 стр. Цена 16 к.
В. Г. Филимонов. Образование и развитие РСФСР. Очерки по государственному строительству. 232 стр. Цена 71 к.
В. Ф. Яковлева. Кооперированные поставки в промышленности СССР. 164 стр. Цена 60 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Алмазов, П. Питерский. Зачем церкви календарь? 112 стр. Цена 10 к.
А. Бикчентаев. Адьютанты не умирают. Повесть и рассказы. 160 стр. Цена 13 к.
В труде — смысл и красота жизни. Сборник. 128 стр. Цена 20 к.
Валентина Гаганова. О самом дорогом. 248 стр. Цена 22 к.
Фабиан Гарин. Цветы на танках. Повесть. 312 стр. Цена 65 к.
Георгий Гулла. Литавры. Рассказы. Юморески. Зарисовки. 104 стр. Цена 12 к.
Николай Далада. Степные дали. Литературно-критические статьи. 120 стр. Цена 17 к.
Евгений Карпов. Синие ветры. Повесть. 216 стр. Цена 51 к.
Л. Кудрявцева-Молодчикова. Зеленый шум (Зарисовки из жизни среднерусского леса). 192 стр. Цена 23 к.
П. И. Лаут. Маяковский едет по Союзу. Воспоминания. 184 стр. Цена 51 к.
Ласточки России. Рассказы молодых писателей. 128 стр. Цена 64 к.
М. Лилина. Миллионы в пещере. Повесть-памфлет. 240 стр. Цена 41 к.
Андрей Меркулов. Дорога под парусами. Повесть. 72 стр. Цена 8 к.
Б. Можжев. В амурской дальней стороне. 164 стр. Цена 17 к.
Николай Москвин. Одинокий поиск. Два долгих дня. Повести. 160 стр. Цена 39 к.
На далеких аласах. Рассказы якутских писателей. 112 стр. Цена 39 к.
Петр Никитин. В наши дни... Документальная повесть. 304 стр. Цена 46 к.
Евг. Поповкин. Несентиментальное путешествие. 140 стр. Цена 15 к.
Александр Романов. За морем березовым. Лирические стихи. 96 стр. Цена 10 к.
Людмила Уварова. Ночной разговор. Рассказы. 128 стр. Цена 16 к.
Николай Шундин. С красной строки. Повесть. 224 стр. Цена 50 к.

ЛАТГОСИЗДАТ

В. Кливер. Река пробивает русло. Рассказы. Перевод с латышского. 351 стр. Цена 44 к.
Б. Куняев. Грани. Лирика. 111 стр. Цена 26 к.

ЛЕНИЗДАТ

Ф. Гордеев. Ключи. Рассказы. 116 стр. Цена 14 к.
А. Лебеденко. Дом без привидений. Роман. 468 стр. Цена 92 к.
Э. Офин. Граждане пассажиры. Рассказы. 395 стр. Цена 51 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондрагович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Р е д а к ц и я: Москва Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 20/VII 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 17/IX 1963 г.

А 03932. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 120.600

Зак. 1373.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

**В 1964 ГОДУ
ЖУРНАЛ «НОВЫЙ МИР»**

**предполагает напечатать
следующие произведения:**

- Ч. Айтматов.** Новая повесть.
- О. Берггольц.** Дневные звезды. Книга вторая.
- Г. Бакланов.** Июль 1941 г. Повесть.
- Ю. Бондарев.** Новый роман.
- А. Бек.** Мои знакомые. Роман.
- Г. Владимов.** Три минуты молчания. Повесть.
- В. Войнович.** Жизнь солдата Ивана Чонкина. Повесть.
- Е. Драбкина.** Повесть о Ленине.
- В. Дудинцев.** Неизвестный солдат. Роман.
- Е. Дорош.** Деревенский дневник. Новые главы.
- С. Залыгин.** Новая повесть.
- В. Каверин.** Новый роман.
- С. Маршак.** Беседы о литературном мастерстве.
- А. Марьямов.** Идем на Восток. Путевые заметки.
- В. Некрасов.** Путевые заметки.
- В. Овечкин.** Двадцатые годы. Повесть.
- В. Панова.** Новые рассказы.
- К. Паустовский.** Путевые записки.
- А. Побожий.** Из записок изыскателя.
- И. Соколов-Микитов.** Новые рассказы.
- А. Солженицын.** Новые рассказы.
- В. Росляков.** Дети своих отцов. Повесть.
- В. Тендряков.** Новая повесть.
- Г. Троепольский.** В камышах. Часть вторая.
- К. Федин.** Костер. Книга вторая.
- В. Фоменко.** Память земли. Роман. Книга вторая.
- А. Яшин.** Новая повесть.